КОНТИНЕНТ

1998 КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 96

Марина Тарасова, Наталья Орлова,
Мария Ходакова, Анна Наль

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

Ирина Васюченко, Наталья Рязанцева,
Елена Ржевская, Римма Коваленко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Очерки:

Юрия Оклянского
и Эжена Сент-Эва

Статьи:

Якова Кротова,
Григория Померанца,
Станислава Рассадина,
Марины Родман

Интервью:

Сергея Михалкова Ирине
Арзамасцевой и о. Фомы
Шпидлика Ольге Седаковой

Письмо

Дмитрия Поспеловского
Его Святейшеству Патриарху
Московскому и всея Руси
Алексию II

ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках журнал, который был основан в 1974 г. в Париже Вл. Максимовым и за 17 лет своего зарубежного существования приобрел мировую славу как ведущий орган вольного русского слова, противостоявший идеологической экспансии коммунистического тоталитаризма.

После крушения коммунизма, когда задача духовного сопротивления ему утратила свой актуальный смысл, Максимов передал журнал новой редакции в Москву, и новый «Континент», сохранив преемственность с прежним, стал в ряд отечественных периодических журналов.

Как видим мы себя в этом ряду, что отличает «Континент» от других «толстых» журналов?

Во-первых, «Континент» выходит 4 раза в год и не печатает прозу с продолжением. Поэтому каждый его номер делается как вполне самостоятельная «книга для чтения», в которой мы стремимся к тому же всегда представить достаточно разнообразные по художественным манерам тексты, отражающие главные тенденции литературного процесса. Журнал открыт для молодых талантов, но читатель всегда, в любом номере, встретится в нем и с самыми известными писателями сегодняшней России.

Во-вторых, ни в одном журнале нет столь объемных и столь разнообразных публицистических рубрик, где обсуждаются самые острые проблемы современной российской и мировой жизни. При этом, печатая из номера в номер большие тематические подборки, мы всегда стараемся представить в них разные точки зрения. «Континент» стал сегодня, можно сказать, своего рода постоянным форумом такого рода дискуссий, в которых участвуют самые видные авторы России и Запада.

В-третьих, мы регулярно печатаем раздел БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА», не имеющий аналогов в других журналах: в каждом номере — подробный аннотационный обзор прозы и критики в русской периодике за предыдущий квартал, а раз в полгода — религиозно-философской и культурологической мысли. Это дает читателю уникальную возможность надежно ориентироваться в современном культурном процессе.

И **в-четвертых**, журнал постоянно и широко знакомит своих читателей с творчеством выдающихся деятелей современной зарубежной (в том числе и русской) культуры, значительно превосходя в этом отношении почти все другие общелитературные «толстые» российские издания.

*Что представляет собою «Континент», осознающий себя традиционным для России «журналом с направлением», по своим ценностным позициям? **Ваш** ли это журнал?*

Мы могли бы ответить на это примерно так:

— Если Вы противостоите всякой угрозе коммунистического реванша, но отнюдь не приемлете и торжествующий беспредел современной рос-

Далее см. 3-ю страницу обложки

Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала «Континент» обеспечивается
ИНКОМБАНКом

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

96

1998, № 2
апрель — июнь

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Издательство «Московский рабочий»

Учредитель — И.И. Виноградов

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати
Свидетельство о регистрации № 014255

**Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Контактные телефоны: (095) 201-57-41,
925-98-12, 194-34-73**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© ТОО «Журнал «Континент»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Василий АКСЕНОВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Ежи ГЕДРОЙЦ
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭЙДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

Германия	Юлия Аронс Kaltenhoferstraße 2, 86154 AUGSBURG, BRD ☎ (821) 42-26-58
Израиль	Юлия Эйдельман Hashaftim 22 64365 TEL-AVIV, ISRAEL ☎ (03) 69-67-375
Италия	Джулия Филиппелли Via Olmetto, 5 20100 MILANO, ITALIA ☎ (2) 86-45-47-23
Канада	Ольга Бутенко 1221, Boul. Rene Levesque SILLERY QC G1S1V8, CANADA ☎ /fax (418) 688-1221
США	Марина АДАМОВИЧ 217 4th ave. GARWOOD, N.J. 07027 USA ☎ (908) 789-59-42
	Эдуард Лозанский 1800 Connecticut ave., N.W. WASHINGTON, D.C. 20009 USA ☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
Франция	Татьяна Максимова 5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE ☎ (1) 45-00-67-56
Швейцария	Жан-Филипп Жаккар 104 rue de Carouge 1205 GENEVE, SUISSE ☎ (22) 321-4052
	Нелли Биуль-Зедгинидзе 25 Malagnou 1208 GENEVE, SUISSE ☎ (22) 736-40-69
Латвия, Литва, Эстония	Леон Габриэль ТАЙВАН Raina bulv., 19 LV 1586, Riga, LATVIA ☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Мария ХОДАКОВА
Однажды во сне... *Стихи* 9

Ирина ВАСЮЧЕНКО
Автопортрет со зверем. *Повесть*. 13

Наталья ОРЛОВА
И вдруг я поняла... *Стихи* 121

Елена РЖЕВСКАЯ
Тропами памяти. *Рассказы*. 126

Анна НАЛЬ
Три стихотворения. 155

Наталья РЯЗАНЦЕВА
Завтра — завтрак на траве. *Рассказ* 158

Марина ТАРАСОВА
Четыре стихотворения 181

Римма КОВАЛЕНКО
Рамочка для портрета. *Рассказ* 184

РОССИЯ

Марина РОДМАН
Государственные дети 197

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Эжен СЕНТ-ЭВ
Закрутила нас война 222

РЕЛИГИЯ

Ольга СЕДАКОВА
«Я старался открыть этот «другой свет».
Русская православная традиция на Западе:
отец Фома Шпидлик 240

Яков КРОТОВ
История о Церкви и интеллигенции 246

ГНОЗИС

Григорий ПОМЕРАНЦ
Из цикла эссе «Работа любви» 281

ПРОЧТЕНИЕ

Юрий ОКЛЯНСКИЙ
Кактус. Записки очевидца 298

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Сергей МИХАЛКОВ
«Я служил государству».
Интервью Ирины Арзамасцевой 342

Станислав РАССАДИН
Отщепенец Евгений Б. — семидесятник 352

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 366

РАЗНОЕ

Дмитрий ПОСПЕЛОВСКИЙ
Два письма Патриарху Московскому
и всея Руси Алексию II 391

ОДНАЖДЫ ВО СНЕ...

* * *

Я еду на экскурсию во сне.
Вот одноклассники мои со мною.
Надето что-то странное на мне.
Мне стыдно. Я с подругой в стороне
стою и «я забыла зонтик» ною.
Вдруг, как по волшебству, собрался дождь,
подруга под дождем уходит прочь,
я прячусь в нишу под навес и плачу,
не в силах ни остаться, ни уйти
(что б Фрейд сказал, когда бы с тридцати
трех лет я не потребовала сдачу?).
Дождь кончился. Куда исчез народ?
Но тут их вижу за стеклом в вагоне
метро. Тоннель в Америку ведет.
Сомкнулись двери. Снова не везет.
И я стою с улыбкой на перроне
растерянной, поскольку, что за черт,
мне хочется и ехать, и остаться,
я всех люблю, и в путь меня влечет
сырой и зябкий ветерок пространства.
Но зонтик! И вода в сапог течет...

* * *

Однажды во сне
я своими глазами видала:
летели под облаками,
как на картине Шагала,

Мария ХОДАКОВА — родилась в 1959 году в Москве. Окончила Литературный институт. Стихи печатались в журналах «Юность», «Имидж», в альманахах «День поэзии», «Тверской бульвар», «Граждане ночи» и др., а также за рубежом; в региональных изданиях — проза (рассказы). Живет в Москве.

махая руками, болтая ногами,
бабушка с сумкой,
мама с авоськой,
отец — с пустыми руками.
Наверное, так продолжалось веками,
и вечно летели под облаками
бабушки с сумками,
мамы с авоськами,
отцы — с пустыми руками.
А после пойдут конфетки,
а после пойдут десятки,
и больше не надо будет
на локти строчить заплатки,
не надо беречь колготки
и подъедать остатки.
И будут таким везеньем,
и будут таким весельем
обеды по воскресеньям,
походы по воскресеньям.
Я запомнила всё,
я так ясно видела их —
с трудовыми руками,
с интеллигентными очками,
с подметками и каблуками:
бабушку с сумкой,
маму с авоськой,
отца — с пустыми руками.
И вдруг
я закричала: «Я с вами, я с вами!»
И услыхала в ответ: «Нет! Тебе — еще рано!»
Наверно, они улетали на юг,
в жаркие страны.

* * *

Снится опять то тюрьма, то больница,
хлопают дверью и спать не дают.
Где там покой — если даже не снится,
где, Александрыч, красивый уют?
Вскрикнет ребенок, будильник забьется,
муж встрепенется, восстав ото сна.
Снится опять то война, то работа,

снится опять то тюрьма, то сума.
Господи, что же такое творится!
Будто бы днем не хватает забот.
Снится опять то тюрьма, то больница,
за спину руки и дверь на замок.
К доктору Фрейду пойти обратиться?
Фрейдов-то много, а кто бы помог.

* * *

Провинция сна неясна, непонятна.
Как на карте, на ней всюду белые пятна,
всё непросто на ней, всё непросто.
Ночь за ночью бредешь, путешествуешь, голод подростка
утоляя по новым ландшафтам и видам.
(Сколько видела тайн — этой тайны не выдам.)
Может, эта дорога — какое-то тайное знанье?
Может, это не дом, а свое ж подсознанье?
Нет, — сдается, что эта земля — просто место для сада,
этот сад — просто сад, а вокруг него — просто ограда.
(Всё отрада глазам, всё отрада...)
Этот город с маршрутами улиц так провинциален,
незнакомо знаком, фантастически гиперреален;
я по улочкам этим слоняюсь одна или с теми,
кто давно не со мной или вовсе не в собственном теле.
«Мы живем здесь всегда», — мне они объясняют с улыбкой,
из чего я реальность свою заключаю ошибкой,
словно я умерла и вернулась к живым лишь на время
в это прошлое время, где всё-то не бремя, не бремя...
Но ребенок кричит в зазеркалье, в предутреннем свете,
и для жизни пора просыпаться, как будто для смерти.

* * *

Музей рифмуется со словом «ротозей».
Но всё равно — рванем с тобой в музей,
в какой-нибудь, да всё равно — в какой,
там тишь да гладь, там воля, там покой.
Приладим тапки, ступим на паркет:
вот прошлое, а будущего — нет,
как настоящего. А прошлое — оно
по полочкам разложено давно.

Две даты, между — палочка-тире,
как будто бы в считалочке-игре.
Кто жил, тот умер. Мы с тобой умрем.
Но почему ж нам весело вдвоем
скользить по залам на больших ногах
и отражаться в стеклах-зеркалах?
Я рада бы на митинг, на протест,
но я боюсь, свободных нету мест;
там тесно, негде яблоку упасть,
там мы с тобой не целое, а часть,
там тарарам, там говорят темно.
А мы — в музей, где всё объяснено.

АВТОПОРТРЕТ СО ЗВЕРЕМ

Повесть

1. ФОНТАН И ТУФЛИ

— А кто это такой серьезный? Ну-ка, ну-ка, дай на тебя посмотреть! Большая, прямо невеста! Скоро замуж выдавать будем! Хочешь замуж, признавайся?

— Нет.

— Притворяешься! Невеста всегда замуж хочет, подтвердите, дамы!

— Не дразните ее, она же стесняется, сейчас заплачет, бедненькая!

— Я не заплачу.

— Ого, какая! Гордая, значит? А лет тебе сколько?

— Три года.

— Всё знаешь, молодец. А вот скажи, что ты сегодня во сне видела?

— Фонтан и туфли.

Они аж взвыли от восторга, орда чужих, про которых бабушка успела сказать девочке, что всё это ее дяди, тети, кузины и их друзья, которые приехали в гости. Почему они так орут? Куда подевалась бабушка? Ох, как же их много! Они кажутся огромными: душистые нарядные женщины, полуголые подвыпившие мужчины в пижамных штанах. Без малого полвека спустя они стоят передо мной, как живые, разве что угол зрения странный, снизу — от этого в глаза лезут все больше подбородки, бюсты, животы. А девочки не вижу. Ее я знаю только по фотографии: лобастый наголо стриженый карапуз смотрит оттуда с упрямой задумчивостью. Но поскольку этим карапузом была я сама, должна засвидетельствовать, что видимость обманчива. Мыслей

Ирина ВАСЮЧЕНКО — родилась в 1946 году в Харькове. Окончила МГУ, русское отделение филфака. Начинала как критик в середине семидесятых, в конце восьмидесятых занялась литературным переводом с французского. Автор повести «Лягушка в молоке» (под псевдонимом Н. Юченко; «Дружба народов», 1997, № 10). Живет в Москве.

не было. Их еще долго не будет. Но ощущения... Они так сильны и ярки, что языком детства их не перескажешь. К тому же ребенок, растущий, подобно мне, в окружении взрослых, и не знает никакого детского языка: важная, старомодная бабушкина речь была для меня так же естественна, как для питомцев яслей их «нетушки» и «фигушки».

Итак, я оглянулась, ища, куда бы улизнуть. Между роскошной перезрелой блондинкой в пестром халате до пят и пузатым весельчаком, который приставал ко мне больше всех, такой просвет имелся. Сквозь него я увидела садовую дорожку, усыпанную желтым песком, угол большого белого дома в резных завитушках, цветущий куст жасмина. Внезапно из-под куста величественно выплыло нечто золотое, сказочно сверкающее на солнце. Зверь пересек дорожку неторопливо, важно, словно и не было здесь этой галдящей взбудораженной компании. Кошка? Неужели это чудо — родная сестра обычных уличных мурок?

— Кто это?

— Пушка.

— Неправда! Пушка — то, из чего стреляют.

— Ха-ха-ха! Она и это знает! До чего ж умный ребенок, все-таки наша порода! Сперва, видишь ли, все подумали, что она кот, назвали Пушок, а котик нам котяток принес, вот и оказалось, что это Пушка. Пятерых выстрелила!

— Леня! Она же как-никак ребенок, ну зачем об этом?..

Стройная смуглянка, та самая, про которую бабушка говорит: «Алла — твоя кузина», сдавленно хихикает, потом кричит кому-то, смотрящему из окна:

— Вова! Липочка! Идите сюда, тут дяди Колина малышка такие вещи говорит! Как ты сказала, детка? Что тебе снилось?.. Но сначала поцелуй дядю Вову и тетю Липу, они тебе родня.

— Зачем мне их целовать? Я к ним совершенно равнодушна.

Лица вытягиваются, и шелестит над головой неприязненный шепоток:

— М-да... Однако... Воспитание...

Я не хотела их обидеть. Почему, стоит мне заговорить, чужие всегда или хохочут, или злятся? Ну, наконец отстали, разбрелись. Можно заняться делом, промедления не терпящим: отыскать Пушку. Проверить, не померещилась ли эта невиданная золотистость, эта плавность и независимость. Я обошла огромный сад, заглядывая под низко спускающиеся ветви голубых елей и раздвигая заросли высоких цветов, пробежала по березовой аллее — кошки нигде не было. Наверное, она в доме. Но дом полон гостей, они снова начнут...

— Эй, кнопка, поди-ка сюда! Иди-иди, не съем. Тут про тебя чудеса рассказывают. Выкладывай дяде Васе начистоту: ты во сне что видела?

— Фонтан и туфли.

— Гм, действительно... Ну ладно, гуляй, выдумщица. Свободна.

Ага, значит, они считают, что я придумала свой сон, и это им смешно. А мне и в самом деле приснился фонтан. Он был сух, безжизнен: огромная серая тарелка с железной трубкой в середине и плоским пыльным ободком, на котором стояли ветхие стоптанные домашние туфли. Из-за этих людей придется помнить сие унылое видение до конца дней. Позднее я соображу, что, вероятно, нечто похожее попалось мне на глаза в Харькове, в той покинутой жизни, из которой память не удержала почти ничего. Мерещились, как в сумерках, смутные очертания чего-то большого, угловатого — домов, что ли? А еще было стихотворение Надсона, которое мама, не умевшая петь, монотонно декламировала, усыпляя свое, как ей представлялось, совсем еще бессмысленное чадо:

На полдень от нашего скудного края,
Под небом цветущей страны,
Где...

Нет, даже потом, когда подрасту, стану сходить с ума от стихов и научусь запоминать их километрами, эти строчки, как заколдованные, будут ускользать, хотя в душе поныне что-то отзывается на их баюкающий размер. Но было там дальше про скалы, «прибой средиземной волны», а потом еще какие-то фонтаны, и уже помня, что на самом деле стихи называются «Могила Герцена», я просила сквозь дремоту:

— Мама, про фонтан...

Впрочем, догадавшись — что было бы чудом — о связи между своей давнишней колыбельной и сновидением, имевшим такой негаданный успех, я все равно ничего не стала бы им объяснять. Не хотелось. И всё тут.

Однако где же Пушка? Она такая... такая...

Встав под жасминовый куст и оттуда, по известному человечьему обычаю начиная танец «от печки», я попробовала пройтись по дорожке так же величаво и грациозно, как это недавно сделала кошка. Но сразу почувствовала: пытаться подражать совершенству нелепо. Вряд ли я точно понимала тогда это слово, хотя в бабушкином лексиконе оно, безусловно, присутствовало. А впечатление было именно таким — совершенным. Что до меня, кроме свежих и поразительных, я ведала уже кое-какие привычные ощущения, и среди последних успело надежно закрепиться

ощущение собственной неуклюжести. Где уж тут с Пушкой тягаться... Ох, да вон же она!

Золотой зверь восседал на глухом высоченном заборе: о том, чтобы дотянуться, притронуться, погладить, нечего было и думать. Я стояла внизу и, задрав голову, глазела на Пушку, пока шея не затекла. Вид забора меня не удивил, ведь в Харькове мы жили на улице, где не было деревянных заборов, и я думала, что им положено быть такими. Только потом, начав выходить за пределы этого неуютного земного рая, где среди резвящихся гостей и цветущих клумб почему-то было так скучно, я заметила, что в поселке неподалеку заборы совсем другие. А этот монстр — он претендовал не больше не меньше как на сходство с кремлевской стеной! Обнеся им свою дачу, мой дядюшка, крупный ответработник, кроме свойственного ему дурного вкуса, проявил прискорбную непредусмотрительность: сооружение это вместо ожидаемого трепета внушало местным жителям предположения игривые и непочтительные. Поговаривали, будто такой забор понадобился потому, что тетка, неистовая блондинка со следами былой неотразимости, помешана и, выбегая в сад нагишом, беснуется там. Слухи эти, возможно, не без умысла, косвенно поддерживала домработница Дуся, хитрая и наглая деревенская старуха. Надо было слышать, каким сложным тоном она говорила, к примеру, совхозному пастуху:

— Отгони-ка стадо подальше. Барыне воняет.

Тут всё было: и насмешка над вздорной «барыней», и что-то заговорщицкое, намекающее: «Мы-де с тобой, малый, одного поля ягода», и тут же кичливый вызов: «ан гляди, какой между нами заборище!». Если здешние хозяева и их столь же привилегированные гости казались скорее дико самодовольными, чем злыми, то эта женщина была создана из злобы, ставшей плотью. Тетка, чувствуя это, да и зная, что Евдокия ее обворовывает, временами гнала «дрянь неблагодарную» вон, но вскоре принимала обратно, ибо никто, кроме Дуси, ее обхождения вытерпеть не мог. Злые языки врали лишь наполовину: она и в самом деле частенько бесновалась, но одетая, вся в голубых либо розовых рюшах. В гневе она вопила так, что подвески на люстре звенели, а когда однажды повздорила с моим отцом, дуэт брата и сестры (его баритон стоил ее сопрано) едва не обрушил стены. Домработниц разъяренная тетка, не чинясь, хлестала по щекам. Но тут же отходила, начинала распространяться о том, что, в сущности, она тоже совсем простая баба, «а ты, Дусенька, мне как родная... поди-ка налей нам по рюмочке, и давай поцелуемся. А что, скажи, ведь есть у меня КОП на голове? Как подумаешь, чего добилась! — тут она обводила

комнату широким победительным жестом. — Стоило жить, чтобы умереть в таких палатах!».

Зная жгучий темперамент сестры, равно как и особые свойства «копа на голове», отец очень не хотел жить с ней рядом. Мама желала этого соседства и того меньше. Но родичи настаивали: с тех пор, как появилась дача, из Москвы понеслись письма с неправдоподобно бурными изъявлениями сестринских чувств, а маме еще и сулили работу по специальности в системе, где царил дядюшка. Проматывая громадные суммы на приемы, обстановку, наряды, эта чета в иных случаях страдала отчаянным скупердяйством: им претило тратиться на сторожа. Да и как доверить столько добра постороннему пьяному деревенщине? Оставлять хоромы на всю зиму без присмотра тем паче не с руки. Иное дело родня: тут и надежно, и бесплатно, и есть повод похвалиться благодеянием.

— А в этой сторожке, — говаривала тетка, стоя с гостями на балконе второго этажа и картинно указуя вниз, на низенькую дощатую хибарку, — будут жить Коля и Марина. Уж такой я человек: мне для своих ничего не жалко! Душа у меня русская, широкая, я щедрость люблю! (Эту сцену на теткиных поминках, лет тридцать пять спустя, с ядовитым умилением заклятой подруги вспомнила одна из приятельниц покойной.)

Привычная к победам, тетушка и на сей раз добилась своего. Помог ей в этом мой рахит. Подвальная комнатка, где мы жили в Харькове, была сырой и холодной, я стала чахнуть, а переезд сулил чистый воздух и полтора гектара чудного сада, где дитя сразу оживет.

Скрепя сердце, родители решились. И вот я слоняюсь по саду, высматривая повсюду сияющий хвост Пушки. Она не желает меня знать. Она вообще презирает род людской и, пресыщенная, даже покормить себя позволяет лишь в виде особого одолжения. Правда, есть еще Пальма, серая, мелкая беспородная собачонка, странно похожая на домработницу Дусю. Пальма примечательна тем, что любит, подкравшись на брюхе, неожиданно вонзить зубы в чью-нибудь беды не ждущую пятку. Что самое поразительное, ей ни разу не случилось ошибиться в выборе: среди множества пяток она облюбовывала те, чьи владельцы были мелкой сошкой, случайно затесавшейся среди вельможных гостей. Не станет же шофер, парикмахер или приглашенная из милости застенчивая подруга чьего-нибудь детства поднимать шум из-за какого-то укуса!

Да, Пальме сходило с рук, то бишь с лап, всё, кроме гроз. Тетушка панически боялась молнии и свято верила, что мокрая

собачья шерсть притягивает ее. Поэтому при первых громовых раскатах, прежде чем рухнуть в постель и, постанывая от ужаса, замереть среди огромных, как холмы, подушек, она хватала визжащую Пальму, запихивала в будку, предусмотрительно установленную не у большого дома, а подле нашей «сторожки», и заваливала вход кирпичами. Однажды я, не выдержав Пальминых стонов, выбежала под дождь и попыталась отвалить кирпичи. Сил не хватило, но тетке кто-то донес. Визг поднялся страшный:

— Она же под дом пойдет! Нас молнией спалит!

— А ты предпочитаешь, чтобы спалило нас? — саркастически проронил отец.

При всей своей простоте тетка слегка опешила, и меня оставили в покое. Пальма с той поры немножко ко мне подобрела. А Пушка так и не снизошла. Она была исключительно своевольна, даже для кошки. Мой первый зверь не стал моим, да, похоже, и вообще не считал, что кому-то принадлежит.

К осени Пушка исчезла: то ли украли, то ли погибла. Кроме меня, это никого не опечалило, тем более, что обитателям большого дома стало не до кошек. Всё вдруг изменилось. Гостей как ветром сдуло. Мне это было безразлично: я их уже давно отвадила. Видно, кое-чему надменная Пушка меня-таки научила. Всем, кто в ожидании новых оригинальных сюжетов подкатывался ко мне с вопросом насчет сновидений, я тупо, холодно отвечала:

— Фонтан и туфли.

На самом деле мне ничего не снилось, раньше и потом — да, а в то странное лето, когда меня без конца об этом спрашивали, словно отшибло.

Как выяснилось впоследствии, дядю постигла катастрофа, по тем временам банальная. Впал в немилость приближенный Сталина, чьей поддержке он, субъект столь же невежественный, сколь бесстыдный, был обязан своим возвышением. Дядя слонялся по дому сам не свой; если в поле, среди которого стояла дача, появлялся автомобиль, он положительно терял рассудок и в панике забивался куда ни попадя. Однажды, в погоне за Пушкой вбежав в теткину спальню, я увидела его под кроватью:

— Ты играешь? В прятки? С кем?

— Уйди! — зашипел он. — И никому...

Я не узнала его голоса: он был страшен. Потом мама рассказала мне, уже совсем взрослой, что он совал родителям револьвер, моля и требуя, чтобы они отстреливались, если за ним придут. Напрасно отец твердил, что это бессмысленно, что они отказываются: дядя, по обычаю иных негодяев имевший преувеличенные понятия о самоотверженности порядочных людей, всучил-таки им револьвер.

Сам-то он, как человек разумный и достойный житейского успеха, оставил без помощи семью репрессированного брата, а заодно и собственную мать, хотя они чуть ли не с голоду умирали: так оно было надежнее. Но таким недотепам-идеалистам, как Марина и Коля, прозябающим в бедности, лишь бы не вступать в партию — а он предлагал, уговаривал, обещал сделать папу директором завода, — таким, по его мнению, подобало сложить головы, чтобы дать ему возможность лишние пять минут подрожать под кроватью... За участком был пруд, и револьвер навек упокоился на его илистом дне: родители тоже опасались обыска.

— А жалко было, — призналась мама. — Хорошее оружие, я бы и теперь не прочь его иметь.

2. КОНЕЦ ВОДЯНОЙ МЫШЕЛОВКИ

Дяде повезло: его не посадили. С высокого поста он, правда, сверзился, но благополучно приземлился на другой, тоже достаточно солидный. Однако пока он пребывал в полете, администрация поселка, почуяв неладное, сочла за благо выгнать его из белого дома с завитушками. Купить этот дом он только собирался, а пока арендовал. Вот они и упразднили аренду.

К тому же при новом положении вещей такой дворец был нашим родственникам уже не по чину, и они приобрели другой дом — в престижной дачной местности, тоже двухэтажный, но куда поменьше и всего на двадцати сотках. Прежнюю дачу выпотрошили, плодовые деревья и часть цветов выкопали и увезли на новое место, и после суматохи отъезда наступила тишина. Нам остались сторожка, Пальма и одна из худших картин дядюшкиной кисти. У него была слабость: он писал маслом. В основном портреты красавицы-жены, интерьеры собственного дома, столы, ломящиеся от яств, — всё это в тяжелых золоченых рамах, опять же с завитушками, висело на стенах дачи и московской квартиры, с обезоруживающей наивностью вопя о довольстве и благосостоянии.

Нам перепало изрядных размеров полотно, на котором пятидесятилетняя тетушка в красно-синей фланелевой пижаме с жестокой и сладострастной усмешкой полулежала на диване, перед коим красовался столик на львиных выгнутых лапах, а на нем — серебряное блюдо с грудой виноградных кистей.

Скоро возникла опасность, что этот шедевр некуда будет повесить. В большом доме водворилась туберкулезная больница. Тут-то и выяснилось, что наше пребывание в сторожке незаконно и противоречит санитарным нормам. Слова «забомжевать» в ту

пору не было, но соответствующее действие существовало, и родителям объявили, что пора выметаться, а куда — их дело.

Мне шел пятый год, бабушке перевалило за семьдесят, мама — самая бесстрашная из всех, в свои сорок еще верящая, что сильный человек и без крова не пропадет, — была беременна. Но отец нашел выход. Он навсегда простился с прежней профессией электрика-слаботочника и нанялся в больницу кочегаром. С таким условием нам было разрешено остаться, однако не в сторожке, а в гаражике в самом дальнем углу сада, где раньше обитала дядина машина. Для нее это крошечное утлое строеньице годилось, но теперь отцу пришлось встраивать вторые стены, заделывать щели и прорубать окна, класть печь. Самому — помогать было некому.

Помещение получилось страшно низким, взрослые только что не задевали макушками за потолок. Там, под потолком, было жарко — печь грела превосходно, — а на полу зимой вода замерзала. Так и помню маму в легкой блузке без рукавов и толстых валенках. В этой норе — между собой мы ее называли «палаццо» — нам предстояло прожить пятнадцать лет. При дожде с потолка капало. На морозе стекла пушились узорами. Зато в летний зной наша каморка перегревалась хуже тропических дебрей. До станции и ближайшего магазина было не менее получаса ходьбы, а до Москвы, где работала мама, часа два. Возвращалась она со службы поздно, обвешанная авоськами, как верблюд, — так было всё же проще, чем таскаться за покупками на станцию.

С нежностью вспоминаю то, что тогда казалось само собой разумеющимся: никто не делал из этого драмы. Даже бабушка, а уж она-то, в молодости знавшая богатство, какое нашему чванному дяде не снилось, и к тому — интеллигентный круг, не снившийся ему тем более, должна была бы, кажется, без конца роптать и ужасаться. А она улыбалась. Мама еще помнила времена, когда всех восхищала ослепительность этой улыбки. Но после войны и оккупации у бабушки не осталось ни одного зуба. Теперь она посмеивалась провалившимся ртом, смущенно и всё же светло. Иногда я доставала из фанерной грязной коробки засунутую между презираемыми мамой, но «на всякий случай» хранимыми отцом серпасто-молоткастыми почетными грамотами фотографию двадцатитрехлетней Ольги Питра, дочери ректора харьковского университета, одной из самых желанных и самых разборчивых невест города. Оно притягивало и пугало, это изображение, в котором невозможно было найти и тени сходства с бабушкой. Пышные белокурые волосы, неожиданно черные брови, по-грузински сведенные на переносице, свежие губы,

приоткрытые в беспечной усмешке, маленькая рука чуть опирается на спинку старинного кресла — было страшно поверить, что такая женщина могла превратиться в грузную, морщинистую, как нищенка оборванную бабушку с тощей пыльной косичкой на затылке и седыми усами, в очках, подвязанных резинкой от маминого чулка. Только лоб кое-как можно было узнать — высокий, какого ни у кого нет, и все еще красивый, если бы не драная вязаная шапочка, которую бабушка привыкла надвигать до самых глаз, снимая только в жаркие летние дни.

Из-за той фотографии, неведомо как сохранившейся после всех грабежей, конфискаций и переездов, бабушкино лицо в моей памяти поныне двоится. Сама же она, казалось, принимала свое настоящее легко. И всё напевала тихонько под нос романсы по-русски и по-немецки. Охотно, но без малейшего надрыва рассказывала мне всякие милые пустяки из прошлого. Эти рассказы, населенные тенями давно умерших, всплывают в мозгу до сих пор — тогдашняя моя память была не чета нынешней:

— Наша бонна-француженка была очень благочестива. Меня выводили из себя ее бесконечные молитвы. Знаешь, французы называют Бога на «вы». Она как заведет: «Vous pardonnez Sophie, vous pardonnez Rosalie...» — «Простите Софью, Господи, простите Розалию...», а я изнываю от скуки: да сколько их у нее, этих протеже?

Чем дольше живу на свете, тем лучше понимаю бонну-молельщицу: бессонными ночами, которые теперь нередки, и на меня находит искушение попросить кого-то о милости, причем иногда для тех, кто бы и за гробом немало удивился, обнаружив себя в числе моих «протеже». Вот только, не отличаясь особой праведностью, я в заступницы не слишком гожусь.

Бабушка и сама молилась, но изредка, украдкой. Однажды, проснувшись в предутренних зимних потемках, мне удалось разобрать: «Пошли мир в этот дом...». Боюсь, что Бог не расслышал. Очень уж тихо она шептала — верно, боялась разбудить отца. Он ее не выносил и мог брякнуть что-нибудь, без промаха бьющее в самое больное место: тут ни один снайпер с ним бы не сравнился.

Мне бабушка была тогда ближе всех. Только с ней я могла подолгу болтать о чем попало, открыто и весело. Ей можно было уткнуться в плечо, блаженно зажмурившись, — проделать что-нибудь подобное с папой или мамой я бы не рискнула, хотя теперь понимаю, что в глубине души им тоже хотелось ласки. Особенно отцу: он потому и отвергал с язвительным пренебрежением всякий мой добрый порыв, что боялся растаять, рассиропиться. Любой ценой оставаться непреклонным, пронищательным и

властным, внушающим трепет — вот был его пафос, его крест, его истерика. В маминой трактовке всё это приобретало вид как нельзя более достойный: мол, истинная глубина и красота чувств требует сдержанности их проявлений. Требование было столь настоятельным, что я лет с трех уже пыталась нарастить панцирь. А вот бабушка, по природе вовсе не сентиментальная, преспокойно оставалась верной себе и нежной. Будто знать не знала, что это под запретом.

По мнению родителей, она воспитывала меня плохо: слишком баловала. Но кроме нее, заниматься мной было всё равно некому. Усталая и с трудом переносившая детское общество мама запомнилась мне в ту пору единственной фразой:

— Пожалуйста, уйди куда-нибудь — я хочу побыть одна.

Она не обижала, не тиранила, была просто далека, и я примирилась с тем, что ей всегда не до меня. Лучше бы и отцу... но нет, с ним всё было куда сложнее. Исполненный мужественной решимости повелевать всем в доме и для моего же блага держать меня в страхе, он понемногу становился врагом. Хотя еще недавно на дурацкий, но излюбленный высокопоставленными родичами вопрос «Кого ты больше любишь, деточка, маму или папу?» я уверенно заявляла:

— Папу.

Говорили, будто он чаще всех играл со мной, когда я была совсем маленькой. Не помню. Но был один зимний вечер, которого я никогда не забывала и, пока жива, не забуду. Хотя ничего тогда не случилось, даже ни слова не было сказано между нами. Он просто усадил меня на санки, упакованную в цигейковую шубу не по росту, валенки с галошами и теплый платок, и ровным неспешным шагом двинулся по тропинке, что тянулась вдоль «кремлевского» забора, опоясывая весь огромный участок.

Ночь была морозна и неправдоподобно тиха. Только снег поскрипывал под ногами отца и полозьями санок. Черные ветки деревьев проплывали перед глазами, звезды стояли в вышине. Отец шел и шел, наш путь не имел конца — мы ведь двигались по кругу. Что-то таинственное совершалось с нами, со временем и пространством, что-то такое, чего невозможно объяснить, о чем надо молчать. Я и молчала до сегодняшнего дня, да и теперь, в сущности, молчу: есть вещи, о которых не расскажешь, сколько ни пытайся. Тогда мне казалось, что отец причастен к тайне этой ночи и даже — что это он захотел мне ее доверить.

Он так и не узнал, что для меня сделал. Просто однажды вечером вышел человек подышать свежим воздухом и ребенка с собой захватил, благо ребенок был тихий, а этот чудак, как сам

обмолвился много позже, с ранних лет имел меланхолическую склонность бродить по ночам.

Как бы то ни было, всё это относилось к поре почти младенческой, теперь же моя прежняя любовь к отцу просыпалась всё реже, и я уже стыдилась ее, как слабости. Есть люди, думала я, которых нельзя любить. Какими бы замечательными они иногда ни казались. Потому что это обман. Вроде приманки в западне. А тут приманка была не пустяковая. Наделенный чрезвычайной чувствительностью и почти немыслимой интуицией, до чертиков остроумный, отец бывал очарователен, когда хотел. То есть весьма редко.

Обычно же этот Бог весть почему аристократически изящный, хотя вечно небритый и обтерханный человек с ледяными глазами и тонким подвижным ртом был ядовитым, мрачным ипохондриком. Маму изводил иезуитски, с вывертом, якобы сомневаясь в ее былой и нынешней верности, и она, до глупости прямодушная, всё пыталась его разубедить, предполагала даже, что кто-то оклеветал ее. А он, прикрываясь этой пошлой выдумкой, без устали мстил ей — и за интеллигентское происхождение (сам-то был сыном приказчика), и за крупный, мощный характер, добровольно покорившийся, но не сломленный, и за зарплату, в два с лишним раза большую, чем у него, но главное, за возвышенную любовь, доверчиво и беспощадно слепую к нему, такому, каким он был на самом деле. Что бы он ни творил, не в его власти было разрушить ее иллюзии, больше разделявшие, чем сближавшие их. Есть наваждения, которые носятся в воздухе и настигают даже тех, кто вроде бы надежно от них защищен. Мама не переваривала советской власти и «тупо преданных ей болванов», но ее вера в сверхчеловеческое благородство души своего избранника, в то, что всё грубое и злое в нем не более чем форма, скрывающая прекрасную суть, — эта вера была сродни упорной неспособности сограждан осознать свою бросающуюся в глаза беду.

— Марина, ты святая! — кричала тетка. — Да будь Колька моим мужем, я бы ему день и ночь морду била! День и ночь!

Боюсь, что такой род супружеской любви был бы ему куда полезнее, да и понятнее. Если не мордобой по рецепту тетушки, то умное, твердое сопротивление образумило бы, а возможно, и восхитило его. Даже я, ходившая под стол пешком, смутно чувствовала это. Он зверел от заранее виноватых, просящих о мире взглядов, от беспомощной надежды человека, в сущности, тащившего нас всех у себя на горбу, урвать после утомительного дня тихий вечерок, кусочек радости. Этот товар он отпускал нам скупо, словно из милости, и тут уж надо было стараться ничем не нарушить хрупкое благорасположение властителя. В мамином ослеплении была не

святость, а вина, осознанная ею только в старости: «Вот ужас, ведь я загубила его жизнь, — говорила она о своем уснувшем навсегда мучителе. — В нем было много хорошего, но его нельзя было так распускать». И помолчав, прибавляла: «Впрочем, если бы прозрела, я бы от него сразу ушла».

Всего этого я тогда, естественно, не знала. Но демонстративно зловещее молчание отца, его бешеные взрывы, мелочные придирки и ехидные реплики отравляли жизнь изо дня в день, из года в год. Пройдет еще несколько таких лет, и мысль: «Бывают же счастливцы, у которых нет отцов», — обретет в моей голове четкую словесную форму. Пока до этого не дошло, зато исподволь растет пренебрежение к маме и бабушке за то, что не могут, не смеют ничего с ним поделать. Даже меня не умеют защитить от нападок — их неловкие попытки вмешаться только ухудшают дело.

— Адвокаты заговорили! — цедил он, и глаза белели от злобы.

Он почти не дрался. Случаи, когда он поднял на меня руку, можно посчитать по пальцам, и выходило не больно. Зато он заставлял ежеминутно ждать удара, окрика, и этот навязанный страх был нестерпим. Страх унижения, сам по себе уже достаточно оскорбительный.

Короче, радостей было маловато. Даже с Пальмой дружба разладилась. Ею и купленным недавно Капитаном, крепким надутым щенком, не расположенным к играм, занимался теперь отец. Он чудесно, нежно и весело ладил с совсем маленькими детьми и животными, существами, чью волю не надо подчинять, в ком не заподозришь строптивого помысла. Во мне он уже почуял всё это, что на его языке называлось «влиянием старухи». «Она настраивает девчонку против отца», — твердил он маме. Это была правда: ведь я видела, как каменело лицо бабушки, когда он начинал колобродить. Но это была и ложь: ни одного дурного слова она о нем не сказала. Когда я подросла, еще пыталась защищать его передо мной:

— Ты не должна говорить о нем дурно. Он честный человек, твой отец и очень тебя любит.

Бедный «адвокат», она поплатилась и за это — я от нее отвернулась. В моих глазах ее слова были предательством: ах так, и она против меня? Круговая порука взрослых? Ну, ладно же...

Это будет потом, пока же мы с бабушкой неразлучны. Иных друзей у меня нет. Игрушек тоже. Но я уже выросла: больше не пытаюсь, увидев во сне прелестную глазастую куклу или мишку и сообразив, что они снятся, изо всех сил прижать к груди свое сокровище в дикой надежде не выпустить, протащить через границу, разделяющую миры яви и сна.

И вот свершилось: у меня завелась секретная дружба. Я сидела в нашей каморке одна, что-то малюя цветными карандашами (почему-то старшие предполагали во мне способности к рисованию) и жуя ржаную корку. Вдруг в углу, в щели пола что-то зашуршало. Оттуда смотрел блестящий глаз, уморительно шевелились усы. Мышь! Ура!

— Мне не верится, что есть люди, способные бояться мышей, — говорила мама. — По-моему, дамы просто притворяются. Для женственности. Достаточно хоть раз заглянуть в лицо мыши, чтобы понять, что она похожа на белку. Какой идиот может испугаться белки?

До сих пор для меня это были рассуждения отвлеченные: ни в большом доме, ни в сторожке мышей не водилось. И вот пришла! Наслаждаясь везением, я «смотрела в лицо мыши» и не заметила, как огрызок корки выпал у меня из руки. Зато от гостьи это событие не укрылось. Выбравшись из щели, она подскочила совсем близко, ухватила свою добычу и кинулась бежать. Я пришла в окончательный восторг, отщипнула от буханки еще кусочек и положила перед норкой.

В тот вечер я прождала напрасно: мышь больше не появилась. Однако наутро хлеб исчез. Мой подарок приняли! Я немедленно пристроила на его место другой, и мышь соблаговолила утащить его при мне. Следующий кусочек я положила чуть подальше от норки, потом еще и еще. И всякий раз после некоторого колебания моя новая приятельница бежала за ним, а я блаженствовала, глядя на нее.

Конечно, предаваться этим поучительным занятиям можно было только в отсутствие старших, то есть не часто. Тем не менее через несколько дней мышь так ко мне привыкла, что выхватывала угощение чуть ли не из рук. Я мечтала, что когда-нибудь она разрешит себя погладить, но пока она явно не одобряла подобных поползновений.

Итак, мы с ней зажили душа в душу. Между тем взрослые стали сетовать, что-де в доме завелись мыши и надо бы достать, наконец, с чердака бабушкину водяную мышеловку.

— А помните, как вы надо мной потешались, когда я захотела взять ее с собой? — торжествовала бабушка.

Я беззаботно пропускала эти разговоры мимо ушей. Пока однажды, воротясь с прогулки, не увидела у своей кровати довольно громоздкое устройство, наполненное водой, в которой, о ужас, плавала мышь. К счастью, она была жива. Я схватила мышеловку, кинулась во двор и торопливо выплеснула на землю воду вместе со своей мокрой, но отнюдь не утратившей проворства подружкой.

Она убежала, а я осталась стоять посреди двора с этой мерзкой мышеловкой. Как быть? Что, если они опять ее наполнят?

...Отец копался у себя в котельной, мама на работе, бабушка ушла пить чай к нашим единственным соседям Гороховым. До революции Гороховы владели белым домом с завитушками, а теперь занимали соседний, ветхий, коричневый, но на мой вкус куда более интересный: в таком доме просто обязаны были водиться привидения, если только хозяйки, глупые и чинные старые девы, преподающие где-то в Москве общественные науки, не распугали их своим диаматом, бесхитростно сочетавшимся с ханжеской набожностью. Вернувшись, бабушка спросила:

— Шура, где мышеловка?

— В пруду.

— Надеюсь, ты шутишь?

— Нет. В ней тонула мышь!

— Мышеловка для того и предназначена, я не затем привезла ее из Харькова, чтобы...

— Это была моя мышь!

— Не говори глупостей! Как можно настолько безответственно относиться к чужим вещам?

— Зато к моей мыши я отношусь хорошо!

Меня распирала гордость. Чувство победы, своей смелости и правоты. Только один пустячок умалял величие моего деяния: я знала, что отцу о нем не расскажут. Как ни обижена бабушка, жаловаться на меня она не станет. И потом... что-то мне говорило, что дерзкая выходка по отношению к ней большой бури не вызовет. Возможно, ему это даже понравилось бы...

Догадка была неприятна, и я живо загнала ее в темный закоулок сознания. Кажется, уловкам такого рода человек научается едва ли не прежде, чем ходить и говорить.

А мышь не вернулась. Похоже, она мне больше не доверяла.

3. СУСАМИ

Близкое соседство туберкулезной клиники беспокоило родителей тем сильнее, что в семье папы чахотка была: от нее умерли его мать и две из пятерых сестер. Мне настрого запретили общаться с больными и гулять по саду, где в нашей бывшей сторожке уже устроили мертвецкую: среди пациентов было много тяжелых.

Избегать больных мне удавалось не всегда. Очень уж совестно было шарахаться от них. Как-то, приметив мои неловкие маневры, одна из женщин крикнула:

— Боишься? Обходишь? Не старайся: всё равно и сама заболеешь, и в дом заразу принесешь!

После этого я их больше не обходила. Возражать отцу не осмеливалась, но поступала по-своему. Поняв, что я уперлась всерьез, он решил выбрать из двух зол меньшее и позволил мне удаляться от дому, бродить по окрестным оврагам и полю, даже спускаться к ручью, отделяющему поле от поселка. До того я не имела права отойти от «кремлевского» забора дальше, чем на десяток шагов.

И я пустилась осваивать неведомые пространства — занятие, от которого голова шла кругом. Когда не надо было готовить или стирать, бабушка сопровождала меня. Нас ожидали упоительные открытия. На поле, поросшем редкими соснами, и на склонах оврага мы обнаружили грибы — шампиньоны и маслята. Великолепный конусообразный муравейник возвышался у корней старой березы. Низенькая рощица на горизонте оказалась кладбищем, которое мне почему-то ужасно понравилось: я все тянула туда бабушку. Ее это место не слишком привлекало — может быть, она предчувствовала, что веселым майским утром восемь лет спустя ее принесут сюда, а любимая внучка даже проститься не придет. И, любуясь своей твердостью, скажет подруге:

— Я рада. Ее жизнь стала ничтожной, лучшее, что она могла сделать, — это умереть.

А пока, пока мы, держась за руки, спускаемся к ручью. Он мелкий, поросший тростником, мама его называет «переплюйка». Невдалеке трое мальчишек с большой корзиной шлепают по воде, то быстро погружая, то вытаскивая свою снасть. Я не почемучка, обычно предпочитаю сама проникать в суть вещей (иногда в высшей степени невпопад), но тут не выдерживаю:

— Что они делают?

— Вероятно, рыбу ловят.

— Здесь есть рыба?!

— Должно быть, страшная мелочь.

Мы подходим ближе, и верно: на бережке стоит банка, в ней плавает несколько рыбешек. При виде их я понимаю, что хочу и буду ловить рыбу. Это больше, чем желание, — это страсть. Она оказалась долговечной. Я уже была книжной романтической девицей, уже строила из себя роковую гордячку и даже подыскивала красивый способ покинуть сию презренную юдоль, «где не умеют без боязни ни ненавидеть, ни любить», но ручей и корзина оставались для меня соблазном. А уж в младших классах я рыболовствовала от души. Поначалу долго пыталась заставить свой улов жить дома в банке. Убедившись, что это невозможно,

стала жарить этих крошечных рыбешек на сковороде, благо они мне казались необыкновенно вкусными (домочадцы этого мнения не разделяли). Однажды проходившая мимо не местная, видимо, городская женщина, увидев, как я завожу корзину под бережок, сказала с тихим укором:

— Тебе не жалко рыбок? Им же больно.

У нее было бескровное лицо, страшный зоб и добрые измученные глаза. Она меня задела за живое: я была очень подвержена жалости. Но тут возникало противоречие неразрешимое, уж слишком я любила свою охоту. И я ответила:

— Они глупые. Не понимают, что им больно. Вот животные другое дело, их я бы не могла...

Я запомнила ту женщину, ее взгляд, упрек, к которому отнеслась так по видимости небрежно. Однако ловля продолжалась. Поселок взирал на происходящее с неодобрением, но там были совсем другие резоны. Местные жительницы перехватывали маму на улице и доносили, что ее дочь, вся в грязи и тине, как последний беспризорник, целыми днями мокнет в ручье.

— Знаю. Ее это забавляет, — отрубала мама.

Подрастая, я начала ей импонировать: в моем пренебрежении к суду людскому она узнавала себя. Что пренебрежение было отчасти наигранным, мама не догадывалась, ибо сама никогда ничего не наигрывала — этот порок я унаследовала по другой линии.

...В тот день мне ловилось так себе. Поэтому, когда тощий очкастый старик в соломенной шляпе, остановившись на берегу, осведомился о смысле моего занятия, я охотно пустилась в объяснения. Дачник восхитился, принялся рассматривать моих трех жалких рыбок, спрашивал, как они называются.

— Огольцы, — сказала я, потому что так их звали мальчишки. — Только плохо, что в банке они все время дохнут. Не знаю, что делать.

— Мы что-нибудь придумаем, — пообещал мой собеседник.

Глаза у него прямо горели, но я, зная склонность взрослых морочить голову попусту, не придала значения этим словам.

Как вскоре выяснилось, дачника звали Андрей Петрович, и он вместе с женой снимал комнату у наших соседей Гороховых. Он был профессором, но каких именно наук, не помню, да верно, и не знала. Мы подружились, я стала часто забегать к нему в гости. Он приветливо встречал меня и сразу начинал рассказывать, возможно, не без влияния незнакомого мне тогда Кэррола, фантастические истории, в которых фигурировала девочка Мурочка. Положим, до Кэррола Андрею Петровичу было далеко: Мурочка мне не нравилась, ее похождения казались скучноватыми и глупыми, но я вежливо

скрывала это. Ведь он старался, придумывал всё это для меня и как бы даже про меня. Я понимала, что это не пустяки.

Жена Андрея Петровича взирала на нас весьма кисло. Соседки с ее слов говорили бабушке, что профессорша по горло сыта мужниными чудачествами. Дружба со мной сама по себе достаточно нелепа, но это еще цветочки: с моей легкой руки Андрей Петрович увлекся рыбками, завел у себя в московской квартире большой дорогой аквариум с подогревом, водорослями и черт-те чем еще, на старости лет совершенно помешался!

Услышав об этом, я прониклась уважением к Андрею Петровичу. Он был молодец, и его не понимали. А уж когда в один поистине прекрасный день он явился на пороге нашего «палаццо» с небольшим, но умопомрачительно красивым аквариумом в руках, я от всего сердца простила ему и зануду Мурочку, и неуклюжие шутки, которыми он меня здорово донимал. Я была патологически доверчива, и профессор, смекнув это, с важным видом давал мне всевозможные советы вроде того, что если поймать бабочку и насыпать ей соли на хвост, а потом отпустить, она к тебе обязательно вернется.

Но что значат соленые бабочкины хвосты в сравнении с таким даром, как аквариум? В нем было семь рыбок — и все разные, в том числе два вуалехвоста, черный и красный, и небольшая пестренькая нахальная рыбка, у которой из живота торчали два длинных уса. Будучи едва ли не меньше всех обитателей аквариума, рыбка с усами — со временем эти два слова от частого употребления слиплись, и она получила имя Сусами (лет сорок спустя я узнала, что оно было не столь уж далеко от правильного — гурами), — так вот, рыбка эта дралась! Разогнавшись, она толкала соседок по аквариуму носом, и вероятно, не безболезненно: носик был твердый. Я проверяла: стоило опустить в воду палец, как Сусами и его толкал. Что это было — озорство, злобность или нечто, в естественных условиях имевшее бы определенный, важный для рыбьей жизни смысл?

Я не долго ломала голову над этой загадкой. Да и вообще мой восторг перед подарком угас до обидного скоро. Рыбы были прелестны, но всегда одни и те же. Хулиган Сусами, и тот, кроме своих тычков, не мог предложить ничего нового. Я остыла, стала забывать о рыбках, теперь бабушке всё чаще приходилось заботиться о них вместо меня. Но с Андреем Петровичем мы еще приятельствовали. И вдруг однажды, когда мы с ним, как всегда, сидели на террасе гороховского дома, он ни с того ни с сего объявил:

— А ты гадюка!

Какая муха его укусила? И что я должна была ответить? Не скажешь ведь старому человеку, как мальчишке, что-нибудь вро-

де «От тарантула слышу!». Да и не в моем вкусе были такие препирательства. Однако что-то надо же сделать...

Мне шел девятый год, но я уже не могла послужить примером непосредственности. Сейчас мне требовалось остаться одной и подумать. Не решив пока, обижаться ли, я просто встала и ушла. Перед домом мне встретилась бабушка.

— Андрей Петрович сказал, что я гадюка, — озадаченно сообщила я.

Это была не жалоба, жаловаться у нас было не принято, но бабушка возмутилась.

— Дурак старый! — фыркнула она. — Что за манера говорить такие вещи ребенку? Знаешь, Саша, лучше бы ты с ним порвала.

Теперь до меня дошло, что мне, видимо, всё же нанесли настоящую обиду. Честь требовала подобающих действий. Я отправилась к Андрею Петровичу. Он сидел всё там же, на террасе, и с благодушным видом пил чай. Я встала перед ним и выпалила:

— Андрей Петрович, вы меня обозвали гадюкой. Без всякой причины. Больше я к вам не приду.

Повернулась и с по возможности негодующим видом зашагала к калитке. Никакого негодования, ни даже малой обиды я почему-то не чувствовала, но мне казалось, что я поступила, как должно. Он ничего не ответил, не окликнул меня, но глаза за стеклами очков были растерянными. Этот беззащитный взгляд меня немного смутил — у обидчика, как мне представлялось, должно быть другое лицо.

Больше мы не виделись. Лето кончалось, дня через два этот чудак со своей кислой профессоршей уехал в Москву. Я не скучала и почти не вспоминала. Но когда через полгода одна из Гороховых, встретившись нам на размокшей весенней дороге, сказала бабушке: «Как печально, Ольга Адольфовна! Знаете, Андрей Петрович, наш квартирант, на той неделе умер», — земля подо мной качнулась. Его нет! Нет нигде и больше не будет! Мы поссорились, не успели помириться, и теперь уже никогда...

Тут было нечто такое, что не укладывалось ни в голове, ни в сердце. Спасаясь от тягостного смятения, я вычистила аквариум и потом несколько дней была преувеличенно заботлива к его обитателям. Как будто бедняге-профессору могло быть приятно мое усердие, как будто оно что-то меняло... Но так как оно не меняло ничего, вскоре я снова забросила рыбок. Да и бабушка, вероятно, не столь уж ревностно пеклась о них. Так или иначе, они стали погибать. Не сразу, по одной, с интервалом в несколько недель или месяцев. И наконец наступил день, когда Сусами остался в аквариуме один. Ему некого стало задирать, и только я

изредка, чтобы развлечь его, опускала в воду палец и меланхолически ждала, когда он подплывет и ткнется своим жестким рыльцем.

Я была уверена, что ему тоскливо. Аквариум, где прежде играла разноцветная живая радуга, торчал на самодельной плохо оструганной полке тусклым прямоугольником. Но одинокий Сусами — пестрое подвижное пятнышко на бледном фоне — не унывал. Больше года он так продержался, жил бы и дальше... Но однажды, подойдя поиграть с ним, я шутки ради вздумала накрыть его стоявшим там же в аквариуме пустым горшочком из-под давно сгнившего водяного растения. В дне горшочка было отверстие, он не должен был задохнуться, да и я собиралась, досчитав до двадцати двух — мне нравились такие числа: одиннадцать, двадцать два, тридцать три, — выпустить Сусами на волю.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

— Эт-то что еще такое?!

Грозный рев заставил меня вздрогнуть. Под ложечкой сразу засосало, и я, оторвавшись от аквариума, бросилась на кухню — находящийся в трех шагах, но отделенный от комнаты грубой коричневой в бордовых разводах занавеской уголок «палаццо». Там была печь и ободранный столик, на котором громоздились кастрюли, тарелки, стаканы. Над всем этим в позе хищника, изготовившегося к прыжку, застыл перепачканный углем разъяренный отец.

— Я спрашиваю: до каких пор это будет продолжаться?

Он часто так поступал — не объяснял, чем недоволен, предоставляя теряться в панических догадках, что же не так. Я затравленно оглянулась, как всегда в таких случаях, стараясь сохранить достоинство, но чувствуя, что это удается до отвращения плохо. Всё вроде было в порядке. Но он сверлил меня побелевшими глазами и ждал.

— Я не понимаю... — пробормотала я.

Отец язвительно усмехнулся:

— Ну еще бы! До того ли нам? Мы шалим с рыбой, которую давно пора выбросить на помойку, мы, как колода, валяемся с книжкой, мы уже таращимся в зеркало, воображая о себе невесть что, хотя являемся всего-навсего неряшливой писюхой, но нам не хватает ума не оставлять стакана на краю стола, откуда он неизбежно упадет и разобьется! Как дурно воспитанная обезьяна, мы бросаем вещи, где ни попадя. И добро бы я не говорил! — голос опять перешел в рычание. — Но я уже предупреждал тебя об этом! Заставляешь повторять дважды... Рискуешь... — он схватил стакан и потряс им перед моим носом. — Возьми и

поставь как следует! Я из тебя эту расхлябанность выбью! Если мать и бабка не способны, я сделаю из тебя нормальную аккуратную хозяйку, какой должна быть женщина, уж в этом на меня можешь положиться!

Я поставила стакан на три сантиметра правее и убежала в поле. Щеки горели, сердце колотилось: «Никогда ты ничего не добьешься! Не дождешься, чтобы я стала такой, как ты хочешь! Никогда!..»

После его назидательных монологов я часто давала себе подобные зароки. И, видимо, при этом во мне приходили в движение такие силы, что впоследствии, пытаясь научиться кое-чему из того, что он намеревался «вбить», или изжить то, что он хвалился «выбить», я не преуспела. Сдержала детские клятвы даже полнее, чем сама бы того желала.

Добрый час я проболталась по полю, кипя и мечтая о расплате: когда-нибудь я вырасту, он уже не будет сильнее, и вот тогда... О Сусами я вспомнила, только вернувшись домой и увидев пустой аквариум с перевернутым горшочком. Опоздала.

— Задохнулся, — грустно сказала бабушка. — Как же ты так?..

А я подумала: «Там дырка. Не мог он задохнуться. Он умер от страха».

4. ДУХ НЕРАСКАЯННОГО ЗЛОДЕЯ

У животных короткий век. В сравнении с ними мы сущие мафусаилы. Вот и переживаем их, переживаем одного за другим. Отсюда в моем повествовании череда смертей, из-за которой та пора, умудрившись назло всему остаться в памяти сказкой, на бумаге приобретает чересчур мрачный колорит. Но отступать поздно: раз автопортрет был задуман со зверем, так и будет.

Каштан прожил у нас недолго, всего года два. Со стройными ногами, гладкий, мускулистый пес ровного темнокоричневого окраса. Только над маленькими глазами светлели два желтых пятнышка. Мне всегда казалось, что взгляд Каштана, загадочный и угрюмый, исходит именно из этих слепых пятен.

Это был на редкость странный и неприятный зверь. В нем чувствовалось что-то настолько поражающее воображение, что и много лет спустя родители, бывало, принимались гадать, почему он вырос таким. Напрашивалась мысль, что какие-то кошмарные впечатления раннего возраста искалечили его психику. Но вряд ли: отец купил Каштана на поселковом рынке, когда тому было не больше месяца. Щенок был толст, большелап, прожорлив и степенен. Единственным, что в нем озадачивало, было неумение

играть. Резвости его не прельщали, отцу требовалась бездна изобретательности и упрямства, чтобы вынудить юного увальня развеселиться хоть на минутку. А скоро, уже с полугода, от него стало веять жутью, чем дальше, тем ощутимее.

— Возможно, всё объясняется породой? — спрашивала мама.

Вопрос был риторический: во-первых, в породах собак никто в доме не разбирался, во-вторых, даже профан не усомнился бы, что Каштан дворняга. Правда, теперь, вспоминая его, я догадываюсь, что там не обошлось без добермана. Но как ни славится строгостью и нервностью эта порода, глухую ярость, переполнявшую Каштана, этим не объяснишь.

Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что эта собака опасна даже для хозяев. Бабушка не приближалась к нему никогда. Я ни разу не попыталась вступить с ним в контакт: при всем моем любопытстве и склонности к рискованным шалостям даже мысли такой не возникало. Как теперь припоминаю, я не то чтобы ненавидела, боялась этого пса, но инстинктивно холодно сторонилась его.

Мама, хотя именно она обычно кормила Каштана, гладить его не отваживалась, а стоило ему приподнять губу над острыми сверкающими клыками и чуть слышно заворчать, как она спешила отойти подальше. А мама любила и понимала собак. В пору ее детства у них на даче жила пара южнорусских овчарок, подаренных деду в Аскания Нова, — уж на что грозные псы, но мама утверждала, что по сравнению с Каштаном это так себе, большие мягкие игрушки.

А между тем Каштан был тих. Никто не слышал от него лая. Даже рычал он редко. О нем не думалось, что он может укусить. Только убить. И часто хотел этого, не без явного усилия сдерживаясь.

У нас был маленький садик — выгородка внутри громадного больничного участка. Под «кремлевским» забором росли большие кусты желтой акации. Однажды, сама с собой играя уж не помню во что, я крадучись пробиралась между забором и акациями. Внезапно что-то стремительно, беззвучно прыгнуло на меня, клыки блеснули у самого горла... и сконфуженный Каштан торопливо затрусил прочь. Он обознался, принял меня за чужую, и лишь в последнюю долю секунды успел понять свою ошибку. В противном случае я бы этого не писала.

Держать у себя подобную зверюгу было безумием. Забор, цепь — всё это хорошо, когда речь идет о нормальной собаке, которая, если и вырвется на свободу, в худшем случае порвет прохожему штаны. Здесь же речь шла бы о глотке. Но отец не мог

расстаться с Каштаном. Это чудище признавало и на свой угрюмый манер любило в целом свете только его одного. Такое всякого бы тронуло, а для отца с его характером и представлениями в этой ситуации таилось что-то глубоко значительное, заветное. Он сознавал опасность, принимал меры предосторожности и тем больше дорожил своим кровожадным другом.

— Это не собака, — как-то сказал он. — В него переселилась душа нераскаянного злодея.

Сама по себе фраза была, конечно, шутливая. А тон... странный какой-то. От него по спине пробежал холодок. Тут надобно заметить, что у отца, кроме склонности к насмешкам и мистификациям, была еще предрасположенность к мистицизму, и которое из этих свойств проявилось на сей раз, никто не мог бы сказать определенно. Вообще-то отцовский мистицизм давал о себе знать редко и тем реже, что он считал нужным воспитывать детей в материалистическом духе, поскольку «им жить в эти времена». Проведав, что бабушка рассказала мне евангельскую историю, он закатил ей громоподобную сцену, а потом, усадив меня перед собой, произнес длинную, агрессивную и фальшивую речь, обличающую религиозное мракобесие. Не успев прослушать и половины, я мысленно постановила, что в Бога верю. Бабушка, и та не смогла этого добиться. Ее рассказ хоть и поразил меня, но были в нем подробности, которых не принимала душа. Прежде всего случай с самаритянкой, что просила спасти ее больное дитя и в ответ услышала: «Не могу отнимать хлеб у ребенка (то есть своих единоплеменников), чтобы отдать собаке (иноверке)». И хотя после смиренного ответа женщины ее мольба была услышана, мне всё же казалось: что-то не так. Как это «он ее испытывал»?! Нет, одно из двух: либо Иисус вовсе не был добрым, либо он не мог такого сказать. Этого человека, этого Бога то ли перехвалили, то ли оболгали. Так я думала про себя, до поры помалкивая, когда же дошло до пыток и казни, совсем взбунтовалась:

— Неправда! Люди не могут быть такими злыми.

— Значит, ты не веришь, что всё это было? — спросила бабушка так огорченно, что я поспешно соврала:

— Верю.

Устоявшаяся парадоксальная реакция на отцовские поучения довершила дело, и я долго потом считала себя религиозной дочерью воинствующего безбожника. А потом оказалось, что его атеизм еще сомнительнее моей набожности. Я узнала от мамы, что однажды на вопрос, верит ли он в бессмертие души, отец твердо ответил:

— Я не верю, я знаю.

Были среди семейных преданий и вовсе головокружительные: так, когда папина сестра умерла в Одессе от туберкулеза, а он был в Харькове, она пришла к нему в час своей кончины и за девять дней являлась еще несколько раз. Поэтому, когда пришло письмо о ее смерти, ему всё уже было известно. Он запомнил платье, в котором приходила умершая, и после спросил, в чем ее похоронили. Описание совпадало.

Может, он это выдумал? И это, и вторую жизнь, которую он якобы с ранних лет переживал во сне, в городе, где он знал каждую улицу, среди людей, о которых никогда ничего не рассказывал? И голос, однажды в трамвае шепнувший ему на ухо: «Отойди от окна!», а через мгновение грянул выстрел и то окно вылетело? Я бы не очень удивилась, если бы всё это оказалось его фантазиями. Но, надо признаться, допускаю и другое. И если он, в самом деле бессмертный, оттуда, где он теперь, посмеется над моим легковерием, я охотно доставлю ему это удовольствие. Мы ведь в конце концов помирились. За окном чернела мартовская ночь восемьдесят пятого года. Местные доктора ушли, приговорив его, а машина из Москвы должна была приехать только утром, то есть могла не приезжать вообще. Говорить он уже не мог — задыхался. И я молчала. Мы сидели рядом, крепко взявшись за руки. Это были минуты невероятного просветления: на мгновение мне — и знаю, ему тоже — вопреки очевидности даже показалось, что всё спасено.

...Каштана, а с ним и бедную, ни в чем не повинную Пальму сгубил порыв папиной жалости к своему молодому полному сил любимцу, принужденному весь век просидеть на цепи или, в лучшем случае, за оградой тесного дворика. В одну летнюю ночь, часу уже во втором, когда, по его расчетам, никто посторонний не забредет в «наше» поле, а если такое и случится, при яркой луне можно будет заметить потенциальную жертву издали и взять злодея на поводок, отец вышел с мамой и Каштаном прогуляться. В четыре глаза высматривая, не покажется ли запоздалый прохожий, они упустили из виду маленькую белую собачку. Зато Каштан ее не проглядел. В три прыжка настиг, мгновенно перегрыз горло и стал лакать кровь. Отец подбежал, убедился, что собачка мертва, надел на Каштана ошейник и силой уволок недокушавшего вампира за собой.

А через несколько дней — или недель? С хронологией здесь не все в порядке, но уже нет никого, кто помог бы мне ее выправить, — короче, как сказал бы Хармс, через несколько колов времени в пронзительно зябкое, благодарение Богу, и ветреное утро, когда любимый хозяин, выйдя из дому в толстом ватнике,

подошел к будке Каштана, тот кинулся на него, норовя вцепиться в горло. Отец успел заслониться локтем, и пес вырвал рукав ватника, что называется, «с мясом».

Бешенство. В тот год в поселке было несколько случаев, родители слышали о них, но мы жили на отшибе, и считалось, что ни Каштану, ни Пальме ничего не грозит. Белая собачка, растерзанная Каштаном, была бешеной. Потому и оказалась одна в ночном поле: говорят, среди собак встречаются такие благородные натуры, что, почуяв в себе неладное, не хотят причинить вреда хозяевам и от греха уходят, куда глаза глядят.

— Иди в дом, — сказал отец. — Ольга Адольфовна, — обычно он избегал называть бабушку по имени, а тут вдруг сурово, но почтительно: — Ольга Адольфовна, присмотрите, пожалуйста, чтобы Шура не вышла во двор.

Пальма заливалась тоненьким лаем: рядом с отцом стоял какой-то чужак. С ружьем на плече. Каштан, как всегда, молчал. Я не решилась посмотреть в его сторону.

Как только дверь за нами закрылась, грянул выстрел. Потом другой.

— Почему два? — прошептала я.

Бабушка не ответила.

— Почему два?! — крикнула я, уже понимая.

— Милая, — бабушка обняла меня за плечи, — видишь ли, это очень страшная болезнь. И очень заразная. Вылечить ее невозможно. От нее умирают и люди, и животные. Нам всем придется делать прививки. Наверное, Пальма тоже была больна...

Я вырвалась из ее рук:

— *Наверное?*

5. РЫЦАРСКИЙ РОМАН

Когда слышу опостылевшие дамские сетования, что-де женщине нужна опора, да вот настоящие мужики перевелись, как ни смешно, я вспоминаю его. Юрку. Мне шел седьмой год, ему — восьмой. Он был первым сверстником, с которым мне довелось близко столкнуться: до его появления вокруг были одни взрослые. Бабушка, правда, говорила, что в харьковском дворе у меня была закадычная подруга Вита, и я много раз пыталась вспомнить ее. При этих усилиях в сумерках прошлого начинал маячить какой-то оранжевый капор, но ни головы, на которую он был надет, ни чего-либо еще разглядеть не удавалось. А тут родители, задумав облегчить участь бабушки, как-никак мало приспособленной к ведению домашнего хозяйства, да еще в настолько неудобных

условиях, наняли приходящую домработницу. Поселок не в первый и тем паче не в последний раз зашелся от возмущения: «Как? При их-то нищете? Им побираться впору, а они...».

Местные кумушки преувеличивали нашу бедность. Да, мы жили в хибарке. Мы ходили в лучшем случае в заплатах, в худшем почти в лохмотьях — тоже верно. Мама, высоко ценимый специалист, и та являлась в свою проектную контору, будто колхозница на пашню. Иногда рассказывала, посмеиваясь:

— Вчера Серафима Ивановна, думая меня уколоть, спрашивает: «Как это вы, интеллигентная женщина, носите простые чулки?» — «А я, — говорю, — надеюсь, что моя интеллигентность заключается не в чулках». Так эта несчастная корова не нашла ничего умнее, как обидеться!

Принцип состоял в том, что раз на всё нужное не хватает, экономить следует в первую очередь на одежде. Чем подголадывать и принуждать бабушку выбиваться из последних сил, но заслужить своим видом одобрение Серафимы Ивановны, имя которой — легион, лучше навлечь на себя ее осуждение, но есть досыта и нанять прислугу.

И вот домработница явилась. Загорелая женщина с грубым, но не злым лицом, неопределенного возраста, в платье скучном, но новом, без заплат. Рядом, с той же миной утрированно скромного достоинства, шел мальчик:

— А это Юра, сынок мой. Можно он во дворике у вас побудет, покуда я управлюсь?

— Во дворике нельзя, там злая собака. Вы тоже туда одна не выходите, это опасно. А почему бы Юре вместе с Сашей не погулять в поле?..

Так и повелось. Прасковья Ивановна приходила дважды в неделю, и мы с Юркой отправлялись летом собирать цветы и ловить бабочек, осенью искать грибы, зимой кататься на санках с ближних горок, весной... впрочем, нет. Домработница у нас появилась летом пятьдесят второго, а к весне пятьдесят третьего между мной и моим верным рыцарем пробежал черный, сугубо идеологический кот.

Рыцарем впервые назвала Юрку мама, когда однажды в воскресенье он к нам зашел и она посмотрела, как он со мной обращается:

— Раньше я предполагала, что рыцари перевелись, потому что мало лошадей, — усмехнулась она. — Но посмотрев на твоего приятеля, поняла, что рыцарь может и пешком.

Юрка с первого же дня взялся меня опекать. Не скажу, чтобы мне это понравилось, но известные резоны у него были. Прежде

всего громадный жизненный опыт — он уже перешел во второй класс, мне же только предстояло пойти в первый. Но одним старшинством меня, привыкшую ко взрослому окружению, он бы не пронял. Обезоруживала заботливость. Этакая суровая, даже ворчливая, но до того неусыпная, что и бабушка не могла бы с ним тягаться.

Он про всё знал, как надо. И что нечего стаскивать с шеи шарф и прятать его в карман, раз мать тебе этот шарф намотала. И что грибы не срывают по-глупому, а срезают ножичком: «Вот я тебе и ножичек принес, если у тебя нет». И что букеты собирать надо цветок к цветку, «чтоб ровно было, как у меня, видала? А твой лохматый весь, это букет неправильный».

Спорить с ним я не умела: терялась перед его вдохновенной убежденностью. Мне-то казалось, что неправильное иной раз лучше правильного, а мой «лохматый» букет красивее аккуратного, стиснутого, сверху плоского, как сиденье табуретки, Юркиного. Но если бы я даже сумела найти слова, чтобы выразить это невнятное ощущение, Юрка воспринял бы их как легкомысленный лепет. Он вообще не принимал моих суждений всерьез. А при этом никогда на меня не злился, лишая возможности обозлиться в ответ. Если забота отца, как уверяла бабушка, любившего меня, смахивала на ненависть, презрение, гадливость, то Юркина преданность была безусловна и неколебима, как всё, что от него исходило.

При этом его «так надо» в иных случаях было весьма сомнительно. Он, к примеру, вбил себе в голову, что когда мы катаемся на санках, обратно в гору он должен меня везти. По-видимому, хотел быть и рыцарем, и лошадью зараз.

— Садись! — требовал он и, впрягшись в санки, волок их вверх по склону. При этом он отчаянно пыхтел, его непоправимо серьезная физиономия человека, верного долгу, багровела и покрывалась потом. Не стерпев зрелища его страданий, я спрыгивала с санок. Но Юрка кричал:

— Садись обратно! Я справлюсь! — и я чувствовала, что отказаться значило бы нарушить какой-то чуждый мне, но очень важный для него порядок вещей. Единственное, что мне удавалось, это исподтишка отталкиваться от земли пяткой. Однако стоило Юрке это заметить, и он не на шутку обижался:

— Ногу убери! Ну что такое? Сказал — справлюсь!

Кстати, о шутках: их Юрка, увы, не понимал. И не одобрял — очевидно, в его глазах они относились к разряду неправильного. А в нашем семействе при всех его подспудных тягостных свойствах смех значил много и многое разрешал. Юркина глухота к

смешному обескураживала меня так же, как его уверенность. Но всё это было как бы и не беда: у того, кого везут, никаких забот, а с ним я не только на санках, но и всегда чувствовала себя драгоценным оберегаемым грузом.

— У вас собаки перебесились, я знаю, дядя Гриша Пахомов их пострелял. Ты, поди, плакала?

— Я никогда не плачу.

Это было некоторое преувеличение, но не столь уж большое. Мама, сама получившая спартанское воспитание (дед готовил ее в хирурги, преемницей себе), непритворно презирала плакс, и я, усвоив это чуть ли не в ее утробе, никогда не рассчитывала кого-нибудь пронять слезами, расхлюпавшись, добиться своего. Плакать в нашем доме было бесполезно, а притом еще считалось делом стыдным, и я так привыкла обходиться без этого, что тут уже не требовалось особой выдержки.

Подумав, Юрка изрек:

— Это неправильно. Девчонка все-таки.

Я пожала плечами, не соглашаясь признать себя «слабым полом». Но Юркины заботливые мысли уже приняли другое направление:

— Без собаки нельзя. Воры заберутся. Ты вот что, подожди малость. Наша Сильва ощенится скоро, я тебе тогда щенка подарю. Мать-то как, позволит?

— Ей всё равно, ее же дома никогда нет. А отец... может и не позволить.

Обдумав возникшее препятствие, Юрка решил, что будет надежнее, если щенка подарит как бы не он, а сама Прасковья Ивановна. Это была «правильная» идея, и два месяца спустя мы с отцом явились к домработнице в гости, на собачьи смотрины. Отцу хотелось иметь не какую-нибудь шавку, а внушительного сторожевого пса. Сильва в этом смысле выглядела многообещающе: крупная, крепкая овчарка-полукровка, при виде чужих яростно рвущая цепь.

Под ее басовитый лай мы с Юркой и отец с Прасковьей, стоя посреди двора, обсуждали, когда лучше отнять щенка от матери и кого нам надо, кобеля или сучку, как вдруг Сильва, оборвав цепь, ринулась на нас. Но испугаться я не успела: с ужасающим, совершенно нечеловеческим ревом отец сам бросился ей навстречу. От неожиданности Сильва пискнула и, попятившись, юркнула в будку.

Одновременно уязвленный позором своей собаки и восхищенный папиной лихостью, мой Ланселот некоторое время пребывал во власти противоречивых чувств, затем, шмыгнув носом, решительно подытожил:

— Правильно. Ты всех ближе стояла. Она бы тебя тяпнула.

Так в начале зимы у нас появился Бутон. Это было неуклюжее лопоухое существо, названное в честь какой-то из собак, живших в прежние времена в доме бабушки. Впоследствии, когда он вырос и оказался безобиднее божьей коровки, мама говорила:

— Это мы именем его испортили. Не пес, а цветочек.

— Не цветочек, а бурьян, — брюзжал отец. — Ни красоты, ни толку.

Бутон и в самом деле имел наружность незавидную: весь расхлябанный, глуповато унылый. Похоже, Сильва допустила крупный мезальянс — от овчарки в ее отпрыске не осталось ничего, кроме потускневшей серости.

Но пока он был маленьким, разобрать, что из него выйдет, было трудно, и Юрка, полагая себя ответственным за то, чтобы у меня выросла правильная собака, принялся муштровать щенка. От круговорота кнута и пряника бедняга вконец ополоумел.

— Оставь его в покое! — просила я. — Он не хочет, неужели ты не видишь?

— Собаку надо учить, — ответствовал неумолимый Юрка.

На Бутона он тоже не сердился: был терпелив и не желал признать тщету своих усилий. Кто знает, может быть, в конце концов он бы чего-то и достиг. Но тут произошло событие, разом положившее конец мукам Бутона.

Мы катались с горки, начинавшейся шагах в десяти от нашего порога. Уже смеркалось, подувал ветер, но «кремлевский» забор над склоном оврага и сам этот склон хорошо нас защищали, было не холодно, и домой не хотелось. Только Юрка уж очень запыхался, снова и снова затаскивая в гору санки, отягощенные моей по его силам достаточно увесистой персоной.

В очередной раз впрягаясь в санки, самозванный коняга приостановился, по-видимому, внезапно сообразив, что в моем воспитании, которым он с таким рвением занимался, может статься, зияет недопустимый пробел.

— Ты любишь Сталина?

О существовании названного лица я, конечно, знала. Родители никогда не говорили при мне о политике, но отец слушал «Последние известия», часто один и тот же выпуск по нескольку раз, и рычал, если кто-то в это время осмеливался издать хотя бы звук. Поэтому радио я ненавидела и утешалась мечтой, что когда вырасту, заведу свой дом, там и духу его не будет (как бы не так: мой муж включает приемник немногим реже, чем некогда отец, и хотя он-то слушает «Свободу» или «Эхо Москвы» и не рычит, в иные минуты я не без грусти вспоминаю те несбывшиеся надежды). Однако вопрос меня удивил:

— Как я могу любить человека, которого никогда не видела?

Юрка выпустил из рук веревку санок, и она шлепнулась в снег. Было почти слышно, как у него в мозгу сработал встроенный механизм. Скрипнули шестеренки, и он отчеканил:

— Если ты не любишь Сталина, значит, ты изменила родине!

И тут выяснилось, что проклятое радио не даром бубнило у меня над ухом: механизм успел завестись и в моем черепе. Понятия не имея, что значит изменить родине, я, оказывается, уже обзавелась положенной реакцией на это роковое словосочетание. Я вскочила на ноги:

— Уходи! Знать тебя не хочу!

И он ушел. Прасковья Ивановна какое-то время еще ходила к нам, потом тоже исчезла. Историческая фигура, сыгравшая столь решающую роль в нашей с Юркой судьбе, отправилась в преисподнюю через несколько дней после нашей размолвки. Бутон так и остался неучем. Мне казалось, что он, уж верно, доволен, ведь Юрка буквально изводил его.

А я? Мне бы, кажется, загрустить, затосковать. И природная привязчивость, и одиночество, и редкие Юркины достоинства — всё должно было обернуться против меня и заставить оплакивать потерю. Но этого не случилось. Было даже что-то похожее на облегчение. Чудесный, верный, трогательный Юрка доконал меня своими покровительственными замашками. Зато благодаря ему я, еще не достигнув семилетнего возраста, раз и навсегда убедилась, что опора нужна только калеке. Я поняла, до какой степени не хочу, чтобы кто-то, будь он хоть лучший из смертных, за меня думал, решал, ходил. Даже когда делать всё это самой бывало нестерпимо тяжко, я ни разу не усомнилась, что так — «правильно».

Что до Юрки, мы учились потом в одной школе, но в разных классах. И никогда больше ни единого слова не сказали друг другу. Только один раз, когда мне было уже лет двенадцать, компания поселковых ребят, направлявшаяся в лес мимо нашего дома, вдруг принялась кричать:

— Шурка Гирник, пошли за земляникой!

Это было непривычно: в школе я популярностью не пользовалась. Моя взрослая речь, украинский акцент, чудовищные наряды и нелепый характер мало способствовали народной любви, а авторитет эрудитки и яркой личности еще только предстояло завоевать — в таких делах требуется доля мошенничества, а я в ту пору еще не созрела для понимания сей прозаической истины. Поэтому меня обычно никто никуда не приглашал.

Стараясь соблюсти достойную неторопливость, но с тайной радостью я вышла к ним. Вдруг следом за мной пулей вылетел Бутон и запрыгал, ликуя, вокруг Юрки — только теперь я заметила, что он был среди этих мальчишек и девчонок.

Мы зашагали к лесу. А Бутон никак не мог угомониться. Было похоже, будто все эти шесть лет он только и ждал встречи со своим назойливым дрессировщиком. Вдруг какой-то зловредный шкет, скверно хихикнув, заявил:

— Слышь, Шур, это Юрка нам сказал тебя позвать. Он в тебя втрескался!

Подобные слова, сообразно школьному неписаному кодексу, были оскорблением, причем весьма коварным. На него полагалось непременно ответить, но в драку не лезть, ибо это можно расценить как признание справедливости гнусного навета. Тут нужно было парировать словесно, как можно находчивей и хладнокровнее. Но требовалось всё это в первую очередь не от меня, а от Юрки, ведь вызов брошен ему. Возмущенная, полная сочувствия, я ждала его реплики, чтобы потом (потом — можно) прийти ему на помощь, добив негодяя насмешкой.

— А ты не в свое дело не лезь, — хмуро брякнул Юрка.

Кошмар! Это было уж так не по правилам, что опешила даже я, при моей-то хваленой независимости. И всем стало не по себе, никто даже засмеяться не смог. Что же это творится, он, выходит... не отрицает?

И я спасовала. Пройдя десяток шагов, объявила, что подвернула ногу, и, кое-как распрощавшись, двинулась в обратный путь. Тут же сообразила, что это бегство может задеть Юрку, но ничего изменить уже было нельзя. Я шла через поле, притворно хромая, мои спутники удалялись в противоположном направлении, приближаясь к опушке, а Бутон всё носился взад-вперед, то налетая на меня, то со всех ног устремляясь к Юрке. Он даже скулил, пытаясь нас уговорить не разрывать ему сердце. Какое-то время мне казалось, что он выберет Юрку. Но в конце концов пес все-таки вернулся. Хвост, нос, уши — всё висело и бессильно болталось, изображая неутешную скорбь. Я оглянулась. Компания уже скрылась среди берез. Можно было больше не хромать.

6. ЛИСТОВКА

Я сижу, в три погибели согнувшись над столом. Разодранная на отдельные листки тетрадь в клеточку лежит передо мной, рядом стоит чернильница-невыливайка. Жирными от преувели-

ченного нажима буквами я вывожу: «Неправда, что победила справедливость...».

Школу я невзлюбила сразу и навсегда. Она ответила мне тем же. Одиннадцати лет, проведенных в стенах этого длинного грязно-желтого здания, должно было хватить, чтобы охладить самое кипучее воображение, приморить и загнать в общий строй самую лютую гордыню.

За эти не слишком благостные свойства я держалась бессознательно, но судорожно, как утопающий за бревно, может быть, и сучковатое, но спасительное. Доброта была некстати, она тащила ко дну, предательски оборачиваясь уступчивостью, послушанием, потерей себя. То есть настоящая, зрелая и сознательная доброта, конечно, вывезла бы лучше всего, но где ее было взять? Моя-то была первобытной, дурацкой, лупоглазой, и преподаватели вкупе с детским коллективом в два счета дали мне понять, какая ей цена.

Педагоги, как и одноклассники, были от моей особы, мягко говоря, не в восторге. Даже первая учительница, грузная толстоносая старуха в очках, добродушная и житейски неглупая, хотя совсем темная, взирала на меня с нескрываемым прискорбием. Читала я, правда, хорошо, и уже давно, с четырех лет: не спотыкалась на длинных словах, не путалась в сложных фразах, бойко пересказывала прочитанное. Но иных достоинств за мной не водилось. Мои тетрадки были вечно измяты, строчки размазаны, обложки в кляксах. Готовить уроки я то и дело забывала. Когда звучал приказ собрать учебники и тетради в портфель или вынуть их оттуда, я неизменно управлялась с этим последней. Прочие уже давно сидели, выпрямившись и сложив, как положено, руки на крышке парты, а я всё чем-то шуршала, что-то роняла, нагибалась поднять, рассыпала второпях остальное, потела, стискивала зубы, слепла от отчаяния...

— Какая ты медлительная, Гирник, — вздыхала Анна Алексеевна. — Собраннее надо быть, понятно? Собраннее!

Так было в классе, но в школьном коридоре, во дворе было и того хуже. Меня или не замечали, или поднимали на смех. Заговаривали, звали поиграть, предлагали дружбу только те, кто почему-нибудь на этот раз оказался в одиночестве. Не умея скрыть благодарности, я жадно шла на сближение и назавтра не могла взять в толк, почему вчерашняя подруга в стайке сверстников громче всех кричит мне в спину:

— Хабайда-байда-Украина! Жир-трест-пром-сосиска! (Родительские заботы о здоровом питании растущего организма сделали-таки свое дело: я была не только немыслимо одета, но еще и

выглядела отвратительно упитанной на фоне тоненьких, как стебельки, счастливых ровесниц.)

Всего однажды мне случилось самой оказаться в таком же орущем стаде. Объектом преследования была подлая, противная девчонка, доносчица и подлиза. Я закричала что-то вместе со всеми, мой голос ритмически слился с хором, звонкое, сладкое веселье взмыло в душе, и я поняла... Поняла что-то такое, после чего никогда, ни при каких самых подзуживающих обстоятельствах не смогла бы принять участие в травле. Это была прививка, надо полагать, такая же необходимая, как прививки от бешенства, на которые пришлось ходить после гибели Каштана и Пальмы.

Но, может быть, всего примечательнее, насколько упорно я не отдавала себе отчета, что дела мои плохи, меня обижают, я совсем одна. Наедине с собой я думала о чем угодно, только не об этом. А придя домой, принималась расписывать, сколько у меня друзей, как все меня любят и мной восторгаются. Называла имена. Живописала подробности. Разумеется, старшие догадывались, что я привираю. Но никто, кроме, может быть, отца, чью проницательность мне даже взрослой редко удавалось обмануть, и помыслить не мог, до какой степени я пренебрегаю истиной. Это разнузданное бахвальство облегчалось тем, что иных источников информации у моих домашних не было. Родительских собраний они не признавали. Учительница, которая однажды не без риска форсировала разлившийся весенний ручей, чтобы все-таки поговорить с мамой в надежде, что с ее помощью удастся заставить меня назвать зачинщиков какой-то крупной шалости, получила в ответ:

— Если она их назовет, я ее со двора сгоню.

Мама даже дневника не желала подписывать. Такого рода контроль она считала глупым и оскорбительным. Года два потерпела, потом взорвалась:

— Какое мне дело до твоих отметок? Ну, подумай сама! Ведь ясно же, что они меня касаются не больше, чем тебя — моя служба. Что ты скажешь, если я вздумаю совать тебе под нос свои чертежи?

— Но Анна Алексеевна требует, чтобы была твоя подпись...

— Значит, пора научиться ее подделывать. Сложно? Ничего подобного. Вот, смотри: это «М», потом «Г» на него налезает, а дальше двойная закорючка. Возьми листок бумаги, попрактикуйся и оставь меня в покое со своим дневником.

В такие минуты я гордилась мамой. У нее обо всем было свое суждение, и оно, как правило, нравилось мне куда больше общепринятого. Но и восхищаясь ею, я продолжала безбожно

морочить ей голову. Должно быть, потому, что пока не хватало духу перестать обманывать самое себя.

Лишь перейдя в пятый класс, на каникулах, во время милой лесной прогулки я вдруг с диким, острым наслаждением раскололась и выложила маме, а заодно себе всё, как есть. Ужаснувшись, мама помчалась в школу и потребовала, чтобы из пятого «а» меня перевели в класс «б». В этот «б» я пришла другим человеком. С прищуром. С задранным носом. С идеей, что большинство людей — ничтожества, и не к лицу мне, избранной натуре, искать их дружбы. Нет, пусть теперь они попробуют доказать, что достойны моей. И сразу нашлись охотники, причем из классной элиты. Однако в тот весенний вечер, когда я, склонившись над разодранной тетрадкой, изображала на клетчатом листке бунтарские слова, до этого благоприятного поворота было еще далеко.

Освоив чтение в четыре, к восьми я успела проглотить уже довольно много. Любимый «Всадник без головы» — я долго верила, что в силу редкого везения мне сразу попалась лучшая из существующих на свете книг, — был изучен вдоль и поперек. Война, оккупация Харькова, эвакуация и переезд привели к тому, что дома у нас книг почти не осталось. И я повадилась в поселковую библиотеку. Нина Викторовна уже знала, что серию «Мои первые книжки» предлагать бесполезно, и, завидев у края стойки знакомый нос, вздыхая, несла что-нибудь «Для среднего школьного возраста». Я норовила вымозжить приключенческий заграничный роман, она — подсунуть мне повесть о пионерских делах. В качестве компромисса мы часто сходились на чем-нибудь приключенческом, но советском. Так и вышло, что прокламации, гектограф, явочные квартиры переполняли мою голову наряду с мустангами, креолками и бригантинами.

Я бы, конечно, предпочла унестись в жаркие страны под пиратским флагом. Но вокруг поселка на тысячи миль простиралась суша, и я решила бороться за свободу. Вроде бы ее уже завоевали, но мне представлялось, что не вполне. Что-то было не так... нашла! Вот: «Неправда, что победила справедливость! Животных убивают и мучают все, кто хочет! Долой мучителей!».

Чем дольше я размышляла, тем сильнее разгорался во мне революционный протест. Я вспомнила всё: и Пальму, пристреленную на всякий случай, и Бутона, задрессированного Юркой, и жабу... С жабой получилось ужасно. Как-то, когда я бродила по полю с самодельным луком, пытаясь стрелять в цель по сосновым стволам, ко мне подошел мальчишка. Дачник — они хоть и задавались, но были интереснее местных, а этот с первых же слов

оказался ценителем «Всадника без головы», единомышленником! Мы замечательно поговорили, он со мной пострелял, и назавтра мы условились встретиться снова. На первое в жизни свидание я мчалась со всех ног. Единомышленник уже ждал меня. Я издали видела, как он стоит на освещенном солнцем холмике, картинно опираясь на палку. А когда подбежала, он с любезной улыбочкой показал мне жабу, проткнутую насквозь концом этой упертой в землю палки. Мама учила меня, что защищаться необходимо, но первой затевать драку нельзя. В тот раз я нарушила материнский завет, и только это меня немножко утешало.

А еще — самое страшное. Ворона. Ее живьем поджаривали на костре большие парни, семиклассники. Как она кричала! А я прошла мимо и сделала вид, будто не понимаю, что происходит. Минута, при воспоминании о которой даже сегодня сердце тяжелеет. Их было четверо, и таких... В общем, да, струсила. Я, утверждавшая, что не знаю страха, даже исключившая из своего лексикона первое лицо глагола «бояться», я допустила... Бессилие, унижение, чувство вины долго меня грызли. Ведь, может быть, сделай я то, что следовало, эти гады отпустили бы ее. Закричать, броситься, расшвырять ногами костер, схватить ворону, да, они бы растерялись... наверное. Или нет? Надо бороться, надо! С такими вещами необходимо покончить раз и навсегда. Ну-ка, еще одну: «Неправда, что...».

Отсутствие гектографа, как ни плохо я представляла себе, что это за штука, было крайне огорчительно. Уже на пятой листовке запястье от непривычного напряжения заныло, на седьмой боль стала резкой, девятую я уж не чаяла дописать, о том же, чтобы довести число листовок хоть до десятка, и думать было нечего. Рука прямо отваливалась.

За окном вечерело. Я набрала банку клейстера, который под каким-то предлогом заранее попросила бабушку сварить, и вышла в поле. Ненавистный поселок в закатных лучах, с розовыми сосновыми стволами и красными зеркалами окон, казался приветливым, уютным. Но меня он не обманет! Я брошу ему в лицо свое гневное обвинение!

Пока я добежала до поселка, пока обошла несколько улиц, озираясь, как пристало опытной подпольщице, чтобы не быть застигнутой за расклеиванием листовок, стало совсем темно. Темноты я боялась так, как совсем не подобает подпольщице, но дело свое всё же довела до конца.

Занятия в первую смену начинались рано, еще в сумерках, и хоть мне не терпелось полюбоваться эффектом своей смелой политической акции, пришлось это отложить. Но едва прозвенел

звонок, возвещающий об окончании последнего урока, я, забыв о пресловутой медлительности, первой выскочила из класса, галопом сбежала вниз, на улицу, и понеслась туда, где приклеена к забору ближайшая прокламация.

Еще издали я увидела, что взволнованный народ не толпится у того забора, разъяренные жандармы... то бишь милиционеры не бегут, топая сапогами, разгонять любопытных. Улица, как всегда, была пустынна. Листовки на месте не оказалось. Надо полагать, заборовладельцы в пятьдесят четвертом году не обрадовались, обнаружив мое, хоть и явно детское, а всё же сомнительное творение приклеенным к своей собственности. Листовка исчезла и с остальных восьми заборов. Я все обошла: ни одной! И подавленная, разочарованная, поплелась домой, раз и навсегда утратив вкус к подпольной борьбе. Какой-то мутный осадок остался у меня от этой выходки, я потом не любила о ней вспоминать. Будто сфальшивила, сделала что-то некрасивое, хотя вроде бы столько было благородного пафоса. Может, зря приплела животных? Но мне же и вправду было больно за них! Только, похоже, из-под этой жалости наподобие страусиного зада вылезала другая, побольше, — жалость к себе.

А рука ныла еще несколько дней.

7. ГОЛУБАЯ ЛОШАДЬ, КРАСНАЯ ЛОШАДЬ, ЗЕЛЕНАЯ ЛОШАДЬ

— Идите сюда! Скорее! Она заговорила!

Бабушка в потертой, не по росту офицерской шинели и вязаной бесформенной шапочке, сияя, вбегает в жарко натопленное «палаццо». Не спрашивая, кто заговорил, отец, как был в одной фуфайке, спешит за ней, следом устремляюсь я. Последней, беззлобно ворча, что-де невелика сенсация, выходит мама.

Перед домом на синем вечернем снегу раскорякой стоит крошечная Вера. Тяжелое пальто, сшитое из остатков старого, изорванного взбесившимся Каштаном отцовского ватника, заметно связывает ее движения. Вид у моей младшей сестры чрезвычайно сосредоточенный.

— Верочка! — с мольбой восклицает бабушка. Что ты сейчас сказала? Повтори!

Вера молчит. Думает, стоит ли.

— Ну, курыпа, дерзай, — подбадривает отец.

«Курыпа» — это, кажется, по-украински куропатка. Одно из его немногих ласковых обращений. «Курица», — мысленно уточняю я.

Сестра, превращенная в неповоротливый куль, медленно поднимает голову. В свете месяца блестят громадные глаза, и я вспоминаю, как недавно соседка при мне сказала бабушке:

— У вашей старшенькой тоже глазки большие, но таких, как у Верочки, я в жизни не видела. И у той они зеленоватые, не такие лучистые. С Верочкой не знаешь, кого и сравнить: личико беленькое, нежненькое, носик точеный... А реснички, реснички! Кукла, а не ребенок!

«Ну и пожалуйста. Можете носиться с ней, как дурень с писаной торбой, — опять-таки мысленно брюзжу я. — «Верочка», «носик», «глазки», «покушай»... Сами же раньше говорили, что все эти ножки, ручки, глазики — пошлость, и когда у человека есть вкус, он скажет «руки», «глаза». Та же бабушка учила: «Запомни раз и навсегда, что кушают только младенцы, котята и дорогие гости, а все остальные едят». Вера уже не младенец, она ходит, а значит, ест!»

— Да что вы к ней пристали? — удивляется мама. — Какая разница, сегодня или завтра она превратится в несносную трещотку?

— Лу-та! — вдруг ясно произносит Вера.

— Что?! Что она сказала?..

— Лу-та! — не без досады повторяет сестренка, еще выше задирая голову.

— Она смотрит на луну! — бабушка на седьмом небе. — Мне и в первый раз так показалось, а теперь уже нет сомнения, она сказала: «Луна!».

Что и говорить, ребенок, чьим первым словом вместо «мама», «баба» или «дай» была «луна», должен быть существом особенным. При всей своей ревности я, скрепя сердце, признаю это. Бабушка, наклонясь к Вере, от полноты сердца целует красноречивую внучку. Та в ответ мертвой хваткой вцепляется в ее шапочку:

— Ля-па!

— Шляпа! — кричу я, поневоле заражаясь общим энтузиазмом...

Иметь детей маме очень не хотелось. Она потому и родила меня так поздно, в тридцать пять, что надеялась вообще обойтись без приплода. Для нее с появлением ребенка захлопывался семейный капкан. Пеленки, кашки, сопли — ее брала тоска при одной мысли о них. В этой жизни превыше всего она ценила любовь и свободу, а к институту семьи относилась более чем скептически. В свои девятнадцать повстречав романтического одесского Казанову, двадцатисемилетнего говоруна, певуна и красавца, она

полюбила в нем такую же вольную душу. Его перерождение в угрюмого домашнего тирана с домостроевскими наклонностями происходило так постепенно, что она не осознала подмену судьбы. Но дети... их бы она ни за что не стала рожать, вздумай он потребовать этого. Легко уступая в том, что ей казалось, не всегда справедливо, мелочами, она была бы поражена, в столь важном деле услышав его коронную, без звука «р» и всё же рычащую фразу: *«Я сказал»*.

Тут-то игра была бы проиграна, его власти пришел бы конец. А он, хитрюга, молчал, позволяя ей только догадываться о его мечте. Это была нежная, трепетная мечта, ему мерещилось обновление, иная жизнь, добрая и мирная... как будто он был на нее способен.

Мамино великодушие не выдержало такой деликатности: она сдалась именно потому, что ее не атаковали. Из этого получилась я, за моим рождением последовало формальное заключение брака, фактически уже шестнадцатилетнего. Только с обновлением ничего не вышло. Убедившись в этом, отец стал поговаривать, что, мол, иное дело, если бы сын...

«Ладно, — решила мама. — Жизнь все равно испорчена, пусть будет второй».

Когда ее увезли в роддом и бабушка сказала, что у меня теперь есть сестренка, она родилась из маминого живота и ее скоро привезут, я за несколько дней намалевала огромную кипу рисунков, больше, чем за всю остальную жизнь. И всё об одном: я и моя сестра. Состоящие из палок и огуречиков, мы с сестрой, держась за руки, гуляли под деревьями, листва которых пестрела всеми цветами радуги, под чудовищным желтым пауком-солнцем, среди ни на что не похожих бабочек и птиц, мимо кривых, но тоже неистово разноцветных домиков. То были пейзажи рая, где наконец не будет одиноко.

А потом мама вернулась. Со свертком. В нем фыркало и корячилось сморщенное, красное, бессмысленное. От Пальмы и то было больше толку...

Рожденная мамой в сорок лет, уже явно последняя, Вера стала любимицей отца. К вящему его разочарованию не будучи мальчиком, она, чуть подросши, стала зато такой пленительной девочкой, что он преобразиться не преобразился, а помягчел. Она ласкалась и мурлыкала, как кошечка, и, едва научившись говорить, никогда не забывала предложить маме и папе разделить с ней ее конфетку, благо они всегда умиленно отказывались. А я, «великовозрастная дылда», не делилась. Мне казалось, это будет выглядеть заискиванием. И отец понимал, что я не жадная, дело

в другом. Но он бы, возможно, предпочел, чтобы я была жадной, чем непокорной.

Покорность Веры была шаловлива и грациозна. Я подозревала, что она дурачит родителя. В ее широко раскрытых несравненных очах было уж слишком много невинности — хватило бы на целый сонм ангелочков. Между тем характер у этого миниатюрного созданьица был еще упрямее моего, кто-кто, а я об этом знала. Сестренка души во мне не чаяла, всюду таскалась за мной по пятам, но при этом не уставала добиваться, чтобы всё было по ее. Я раздражалась, начала даже орать, чего со мной прежде не бывало:

— Отстань! Или принимай меня такой, как я есть!

— Почему? Только потому, что ты старше? — кротко лепетала малютка, а мне за этой кротостью чудились стальные тиски, из которых теперь век не вырваться.

— Нет, потому, что я могу без тебя обойтись, ясно?! Ты мне не нужна! Если я тебе не нравлюсь, обходись без меня тоже, пожалуйста! Занимайся чем угодно, только сама, одна!

— Не хочу одна, ведь у меня есть сестра. Почему ты такая злая? Папа, Саша меня гонит, не хочет со мной поиграть.

— Ты у меня дождешься! — рявкал отец.

И я, взбешенная, откладывала книгу, шла играть. Вера ликовала: ей казалось, что вот теперь всё уладилось наилучшим образом. А на мои свирепые взгляды она плевать хотела.

Ей шел четвертый год, когда я свела знакомство с громогласной взъерошенной теткой, рыхлившей на совхозном поле какие-то посадки. Что именно она рыхлила, не помню, но главное, у нее была рыжая пузатая лошадь, впряженная в плуг. Тетка благоволила ко мне, находя меня забавной. Ей запомнилось, как в прошлом году они скирдовали с бабами солому, заодно убивая вилами попадавшихся на глаза мышей. «А тут откуда ни возьмись ты! — хохоча во всю глотку, она хлопала себя по бокам и продолжала рассказывать, как будто меня там не было или я могла по малолетству эту «умору» забыть. — Как кто на мыша нацелится, ты на него прыг! И поди приколи его, когда тебя зашибить боязно! А ты все зыркаешь кругом, боишься еще мыша пропустить! Уж мы с девками ржали, ржали...».

— И-го-го! — отрывисто подтвердила лошадь.

— Можно мне на ней посидеть? — охрипнув от волнения, просипела я.

Еще похохотав, в восхищении от моей новой экстравагантности, — похоже, она произвела меня в шутихи, — тетка сказала:

— А чего? Полезай. Да погоди, подсажу.

И вот я восседаю на спине клячи, а та идет себе да идет вдоль борозды. Блаженство неописуемое, страха нет, хотя очень высоко, лошадь кажется ужасно толстой, а собственные ноги — слишком короткими, чтобы объять необъятное. Всё это пустяки: главное, есть в жизни счастье.

От «палаццо» хорошо видно, как я красуюсь верхом. И я сверху вижу бабушку и Веру. Они стоят и, заслоняя глаза ладонями, смотрят на меня.

Прощаясь, я с надеждой спрашиваю новую приятельницу:

— А завтра можно опять прийти?

— Понравилось! — баба заливается хохотом. — Да приходи, чего.

Что такого уж интересного было для меня в этой кляче, которая тащилась по прямой из конца в конец поля, поворачивалась и тем же равномерным унылым шагом плелась обратно? Не сумею объяснить: сама не знаю. Но только я буквально голову от нее потеряла. Всё в ней, даже явная безотрадная старость, трогало меня и восхищало, должно быть, потому, что в отличие от молодого резвого коня это животное не наводило на меня робости, хоть и было таким большим. Мне уже казалось, что я всегда теперь буду кататься на этой прекрасной лошади, она ко мне привыкнет, и, может быть, придет день, когда мне позволят сесть на нее без плуга, проскакать полем и лесом... О том, как скачут, бедная скотинка, верно, давным-давно забыла, зато моя фантазия уже неслась галопом.

— А меня возьмешь поехать на лошади? — требовательно спросила Вера.

— Ты что? Нельзя! Ты маленькая! — почуяв опасность, я попыталась пресечь ее в зародыше. Но где там!

— Я же не одна буду, а вместе с тобой. Я хочу! Ты нарочно... — сестра энергично дипломатически заревела.

— Так! — на пороге стоял отец в самом неблагоприятном расположении духа. — Опять маленькую обижаешь?

— Саша сама на лошади катается, а меня не берет! — пропищала Вера.

Это был конец. На чело отца набежала грозовая туча:

— Какая лошадь? Кто позволил?

Объяснять, что лошадь смирная, что ее вела в поводу знакомая тетя, не имело смысла. Преступление было налицо: его не спросили. Выкручивая мое ухо, отец прорычал:

— Не сметь подносить мне сюрпризы! Про лошадь думать забудь!

Удар был сокрушительный. Боясь, как бы не заплакать при них, я забилась в укрытие между сараем, забором и кустом желтой

акации. Слез не было, но в горле торчал ком размером с хороший булыжник. Существование утратило смысл. Стало так плохо, что я, вместо того чтобы растравлять свое горе, с болезненным любопытством промеряя его глубину, испугалась и стала искать утешения:

— Жила же я раньше без лошади. Значит, проживу.

Раз десять повторив про себя эту сентенцию, исполненную тухлого благоразумия, я почувствовала, что лекарство омерзительно, но помогает.

Зато теперь лошадиная лихорадка овладела Верой. Она только коней и рисовала, только о них и говорила, а малышовая книжка, на одной из страниц которой изображалась деревянная лошадка-качалка, так всегда и лежала открытая на этой картинке.

Показывая ее отцу, Вера спрашивала самым умильным голоском:

— Папа, ты мне купишь такую лошадь?

Мне в подобном случае он сообщил бы, что денег не печатает, хотя я уже лет с трех приучилась не давать ему поводов для этого столь же справедливого, сколь неприятного заявления. Но Вера была любимицей, и он снисходительно посмеивался:

— Куплю.

Не исключено, что и купил бы. Но сестренка переборщила, она слишком часто об этом спрашивала. Отец догадался, как сильно ей хочется иметь лошадь. А бурных желаний он в нас не поощрял. Так же, как и горячих привязанностей. За этим крылась своего рода воспитательная идея, а еще глубже, за идеей, — ревность: своих близких он был способен ревновать не только к людям, но и к животным, и даже к предметам неодушевленным. Мы должны были принадлежать ему всем существом, всеми помыслами. Оттого он, сам охотно читавший, невзлюбил мои книги — они доставляли мне слишком много радости, независимой от него. А разговоры о том, что я порчу глаза, что сперва надо подмести, помыть посуду, попасти коз и тому подобное, — всё это были скорее предлоги...

Видя, что дело застопорилось, малышка стала нервничать:

— Ты скоро купишь мне лошадь? Точно такую, как на картинке? Серую, да?

— Да.

— А... голубую лошадь ты тоже купишь?

— Куплю.

— А зеленую? И оранжевую? И синюю?

Он кивал и усмехался, не отрываясь от газеты «Правда».

На Веру было жалко смотреть. Ее личико избалованного эльфа напрягалось, глаза влажнели, но губы не переставали улыбаться.

Она и радовалась этим посулам, и чувствовала что-то неладное. «И до нее добрался», — про себя отметила я. Без злорадства. Так думают о законе природы, едином и неизбежном для всех.

— Ну что ты издеваешься над человеком? — мама качала головой. — Вера, папа шутит. Таких лошадей не бывает.

— Бывает! — сестра топала ножкой. — Папа мне их купит. У меня будет много-много лошадей. И фиолетовую, правда, пап?

— И фиолетовую. У тебя будет целый табун.

8. СЦЕНА В ПОДВАЛЕ И ПОХИЩЕННЫЙ КРОЛИК

Была у меня в ту пору тайная песенка-не песенка, а так, речитатив, бесконечная ламентация, тихий горестный упрек, обращенный к судьбе. От дома до школы тащиться приходилось долго, и, оказавшись на этой дороге одна, я иногда затягивала сие произведение неопределенного жанра, подобно тому кочевнику-берберу, что трусит по пустыне и, как принято ему приписывать, что видит, о том поет.

Возможно, невежды-европейцы недооценивают бербера и на самом деле то, что он исполняет в пути, не столь примитивно, ибо отшлифовано веками. Я же попросту бубнила про себя нечто вроде: «Солнце встает, а я в школу иду. Распустился тополь, а я в школу иду. Ручей журчит, а я...». Тем самым я как бы обращала внимание злодейки-судьбы, сколь вопиющим образом моя участь выпадает из общего гармонического порядка вещей.

Это было сверкающим весенним утром. Перед лицом майской веселой природы моя жалоба приобретала особенно душещипательный оттенок, но зато ласковый ветерок и яркие краски, по которым я тосковала всю зиму, да и собственное монотонное бормотание убаюкивали, кружили и затуманивали голову так, что я уже шептала дремотно, почти бессознательно:

— Одуванчик расцвел, а я в школу иду. Покосился забор, а я в школу иду. Вот и заяц сидит, а...

Что?!

Сонливости как не бывало. Вытаращив глаза, я застыла на месте.

У забора, и впрямь покосившегося, уютно прижав уши, сидел в траве серый, вполне беспородный кролик.

...Тут нужно не то чтобы лирическое, но объяснительное отступление. В детстве, лет едва ли не с четырех и примерно до тринадцати, я была дико, бестолково влюбчивой. Ни пол, ни возраст объекта значения не имели — на меня накатывало, и всё. Впервые таковое состояние поразило меня при виде одного из

дядюшкиных знакомцев. Насколько вспоминаю теперь, божественное видение являло собой монументального, лысого как колено старика лет шестидесяти с вальяжными манерами и густым самоуверенным голосом. Стоило ему зайти в комнату, и я растворялась в обожании. Я не висла на нем, не приставала, как бывает с детьми. Даже заговорить не пыталась — это было и ни к чему. Нет, я отходила в самый дальний угол и благоговейно там замирала. Окружающие не преминули заметить, что я неравнодушна к лысому, и немало на мой счет повеселились, но я их едва замечала. В его присутствии всё, кроме самого факта присутствия, абсолютно теряло значение.

К счастью, мои последующие экстазы были уже не настолько всепожирающими. Однако и неприступный Витька Собченко, и вероломная Лидка Афонова — кумиры моих первых школьных лет — попили моей кровушки вдоволь. И влекло-то меня всё к победителям, к лидерам, разбитным и нагловатым: той человеческой разновидности, что была мне внутренне наиболее чужда и по мере взросления стала наводить нестерпимую скуку. Но когда я, как вкопанная, встала посреди сельской улицы, таращась на кролика, до этой трижды благословенной скуки надо было еще дожить: пока полупрезрительное, полумилостивое равнодушие Витьки и мелкие Лидкины пакости были источником моих постоянных терзаний. Ничего, кроме них, эта чертова склонность к увлечениям никогда еще мне не приносила.

И вот — кролик. Мой кролик. Я его сразу узнала. Это тоже была влюбленность, но радостная, не чета той робкой и самолюбивой, что сковывает движения, не дает слова сказать, зато вынуждает ждать, будто манны небесной, чужого слова, пустого и небрежного, бросаемого через плечо с нарочитой снисходительностью, чтобы сразу показать, кто владеет положением. Нет, кролик любил меня, он меня тоже узнал...

Всё это прелестно, однако я понимала, что мое право собственности на кролика, обнаруженного не только под чужим забором, но еще и по ту его сторону, в глазах профанов может выглядеть несколько сомнительным. Чего доброго, кто-нибудь выйдет сейчас из вон того дома, и... Надо было действовать. Я огляделась. Шагнула к забору. Просунула руку сквозь штакетины. Ухватила кролика за уши — это было грубо, но необходимо: слишком многое поставлено на карту. Вытащила и, прижав к груди, со всех ног кинулась назад, к дому.

Погони не было, и, оставив позади улицу, по двум большим камням и покореженному ведру перейдя ручей, я остановилась. Резвость ног была теперь ни к чему, пришла пора пустить в ход

голову. В школу не пойду, пропади она пропадом. Но и домой так, с бухты-барахты, не сунешься, можно всё погубить.

Маячить в поле тоже рискованно: у отца есть манера, поставив ногу на нижнюю перекладину «кремлевского» забора, повисать на нем и озирать местность, самому оставаясь в тени. Толстые зубцы державной ограды и зелень растущих за нею деревьев мешали заметить его голову, и он уже несколько раз заставал меня таким образом за разными провинностями — на голой земле валялась, бродячую собаку гладила, за козлятами плохо смотрела и всё такое. Он пару раз даже умудрялся подсмотреть сквозь щель в двери, что в классе «все дети как дети, внимательно слушают учительницу, держатся прямо, ты одна расселась мешком, в носу ковыряешь и в окно пялишься тупо, как корова!». Ему было важно внушить мне, что от его недреманного ока ничто не укроется.

Внушил. А теперь любой ценой надо всё же укрыться. Кроме того, что мои сегодняшние деяния — с ума сойти: прогул и кража! — чудовищны, а их возможные последствия даже вообразить трудно, у меня есть теперь главная задача: сохранить кролика.

Я забралась в неглубокий овражек, дно которого не просматривалось с наблюдательного пункта противника, уселась на портфель, посадила свою ушастую добычу рядом и углубилась в составление плана дальнейших маневров. Умница-кролик и не думал убегать: сидел смирно, пощипывая травинки. Я в нем не ошиблась!

Полчаса спустя я вошла в «палаццо» уверенная, бодрая. Если и возбужденная, то чуть-чуть, в самую меру.

— Почему ты не в школе?.. А это еще что такое?!

— Сейчас расскажу! — спустила кролика на пол как бы небрежно, оглядела домочадцев как бы беззаботно. — Правда, смешной?

— Не вижу ничего смешного! Сколько раз говорено, чтобы не таскала в дом всякую дрянь? Так почему ты не на занятиях?

Начало было неважное, но лучшего я и не ждала. Главное — не потерять самообладания:

— Там ремонт. Классную комнату вчера покрасили. Сегодня она должна сохнуть. Я еще до школы не успела дойти, Лида Афонова меня на полдороге встретила, она и предупредила.

Это был ловкий ход, я им гордилась. Лидка столько раз обманывала меня и подводила! Бабушка и мама об этом знают, в случае чего подтвердят. Дойдет до разбирательства — буду стоять насмерть: да, встретились, да, она так и сказала. Мне поверят. Все знают, и в школе тоже: Саша Гирник прямая, безукоризненно

честная девочка, тогда как Лида Афонова... «Что ты в ней нашла? — изумляется бабушка. — Лживая, дурно воспитанная, заносчивая». — «Но какая красивая!» — «Она? Всего лишь смазлива, это тип хорошенькой горничной. Если уж на то пошло, ты гораздо пикантнее». Ах, бабушка! Что ты понимаешь! «Пикантнее», «горничная»? Теперь и слов-то таких нет. А допустить хоть на минуту, что я по части наружности могу тягаться с самой Афоновой, это уж ни в какие ворота...

Инквизиторский взгляд отца:

— Если тебя перехватили на полдороге, почему ты заявилась только сейчас? Где болталась?

Ага, он-таки задал этот вопрос! Я его предвидела. С легчайшим оттенком обиды:

— Не болталась. Конечно, я сразу пошла домой. Но в овраге, у ведра, — так мы прозвали место переправы через ручей, и даже когда само ведро исчезло, название осталось, — у ведра я увидела двух собачонок. Они напали на кролика. Я их прогнала и стала спрашивать в крайних домах, чей это кролик.

Физиономия у отца скептически кривится, но я вижу: в душе он доволен моими добродетельными поступками. Хвалить не станет, нечего меня баловать. Но гроза миновала. Теперь только бы не напортить:

— Я обошла три дома, там об этом ничего не знают. А в четвертом дворе ко мне вышел пьяный дядька, да как заорет: «Давай своего кота сюда, я его в суп!».

Сила лжи в деталях. Я это уже смекнула. Рассказывая, я прямо вижу все, о чем вру: кажется, еще чуть-чуть, и сама поверю. Так и надо! И про дядьку неплохо придумано — едва ли отцу захочется уподобиться ему.

— Насчет супа это идея... — он испытующе смотрит на меня. Момент критический, но я предвидела и его:

— Сначала все-таки надо еще попробовать узнать, чей он. Завтра и послезавтра я не смогу, уроков много. А в воскресенье похожу по другим домам, может...

— Нечего по чужим дворам шляться! Опять нарвешься на какую-нибудь пьяную скотину.

— Хорошо, не буду! — я прямо шелковая. — Лучше у ребят в школе поспрашиваю. Но пока ему, наверное, лучше у нас побыть. А то собаки опять...

Отец брезгливо разглядывает кролика. Но я знаю: вообще-то он любит животных. На то и расчет — когда такой прекрасный кролик проживет у нас день-другой, никому, даже ему, уже не придет в голову толковать о супе.

— Гадить будет, вони не оберешься, — брюзжит отец, но я чувствую: он готов уступить.

— Я поставлю ему ящик с песком! — сообразив, что восклицание излишне порывисто, договариваю как можно равнодушнее: — Конечно, это не кошка, пользы от него нет...

— А как его зовут? — встревает сестренка.

— Откуда мне знать? — я пожимаю плечами. — Давайте, пока он здесь, будем звать его, ну, хотя бы Найдой. Раз я нашла его...

Будь моя воля, эх, что за имя я бы придумала моему кролику! Я как раз читаю «Легенды и мифы Древней Греции», сколько великолепных имен можно оттуда почерпнуть! Зевс? Нет, этот не слишком симпатичен. Ахилл? Тоже не люблю. Скорее Гектор. А если это крольчиха? Тогда Медея. Но лучше сразу выбросить богов и героев из головы. А жаль. Терпеть не могу, когда найденышей зовут Найдами, кошек Мурками, собак Бобиками. Это даже не имена, а так, что-то плоское, не выделяющее, а смешивающее их носителей со всеми найденышами, собаками, кошками. Но ведь кролика я... в общем, тут не до античных красот. Слишком важно, чтобы все запомнили, что я его *нашла*.

Будто сознавая сложность момента, кролик мгновенно освоил ящик с песком. Не подвел! Но главное, он и в самом деле с первого же дня подружился со мной так, как ни один другой зверь за все годы моего богатого зверьми отрочества. В жизни появилось нечто настолько пушистое, как никогда прежде. Просыпаясь по утрам, еще не открывая глаз, я опускала с кровати руку, и пальцы касались упругих теплых ушей. Кролик тоже ценил эти минуты: не было ни одного раза, чтобы его не оказалось на месте.

Мы выходили в поле, вызывая веселое изумление гуляющих больных. Я почти перестала скучать, и меня впервые посетила оздоровительная догадка, что Витька Собченко, кроме гордого вида, украинского происхождения, каковое, строго говоря, еще нельзя считать заслугой, и умения очень громко петь песню «Щорс идет под знаменем, красный командир!», по сути, не имеет иных выдающихся доблестей, а Лида Афонова обыкновенная паршивка. Это было то самое лето между четвертым классом и пятым, когда я осознала необходимость решительных перемен и перекочевала в параллельный класс.

Тот же дружище-кролик спас меня однажды от большой беды, которую я едва не навлекла на себя сама. Как говорится, в состоянии аффекта. Мы с мамой к тому времени как раз начали с интересом приглядываться друг к другу. Был славный воскресный день, уже осенний, холодный, но солнечный. Мама была дома, и мне захотелось уговорить ее пойти со мной в лес. Ища,

куда она запропастилась, я заглянула в подвал больничной котельной — рабочее место отца. Услышала голоса. Они были там оба. Страх, внушаемый отцом, помешал мне просто вбежать: осторожность требовала сперва убедиться, не буду ли я некстати. Прислушалась. Голоса из ямы доносились странно четко.

— Это было двадцать лет назад, как я могу помнить такие подробности?

— Не делай из меня идиота — ты не помнишь, потому что тебе выгодно их забыть. Ты ушла вместе с ним, тебя не было полтора часа, и те жалкие, подлые отговорки, которыми ты потом пыталась оправдаться, только усугубляют твою вину!

— Послушай, мне страшно жаль, если я тебе причинила такую боль, но клянусь, между нами ничего не было. И быть не могло, пойми, я бросила бы тебя в ту же минуту, когда перестала бы любить...

— Что лишний раз доказывает твою безнравственность и полное отсутствие чувства приличия. Кроме того, что ты называешь любовью, существуют долг, семья, общественное мнение, и все это выше, благороднее! Ни одна нормальная женщина ради сучьей похоти не пренебрегла бы всем этим!

— Да никакой похоти я не знаю, мне в этом смысле даже ты не нужен, если уж начистоту! Я люблю душой, всей душой, только этим и держусь, а то и жить бы не стала. Пусть я ненормальна, ну, прости меня за это, только умоляю, поверь, наконец, что никогда...

— Молчать! Прекратить скулить! Разжалобить вздумала?! Не выйдет! Даже если бы не было ничего, — предположим смеху ради, что ты не лгунья, — довольно того, что своим развязным поведением ты заставила меня предположить, что это возможно! И вполне вероятно, что не я один мог допустить это! Значит, ничего не было?! И ты воображаешь, что это может тебя оправдать?!

Чудовищный диалог длился и длился — мне даже показалось, будто этот кошмар никогда не кончится. Что сама я поступаю довольно скверно, подслушивая разговор, ни для чьих ушей не предназначенный, мне в те минуты в голову не пришло. Почему я была так уж потрясена? Я, слышавшая столько скандалов куда погромче, страдавшая, но как-то уже привычно страдавшая от них? Но это... это... Там в подвале происходило нечто до такой степени леденяще гнусное, так мало похожее на семейную ссору, где речь всё же идет о любви и обиде, о человеческих чувствах, и так напоминающее...

Нет, я понятия не имела, ч т о может напоминать этот ужас. Много лет пройдет, прежде чем я узнаю о других подвалах, других

обвинениях и оправданиях. Однако же радио я хоть поневоле, а слушала. Воздухом этой свирепой родины, кроваво карающей «за попытку намерения измены», я дышала. Подсознание или как его там, короче, что-то во мне знало достаточно, чтобы почти лишиться рассудка, слыша, как между двумя близкими людьми разыгрывается подобный допрос. Сейчас мне были ненавистны оба. Он — гад, палач, но и она... как она может терпеть?

Очнувшись, я опрометью кинулась вон из подвала. Состояние было такое, когда и смерть нипочем. На свое счастье об этом способе разделаться с безвыходным положением я тогда еще не задумывалась. А разделаться было нужно. Немедленно! Жить с ними я больше не смогу. Что угодно, только не это!

И тут я вспомнила. Совсем недавно они шептались о том, что тетушка, томясь своей бездетностью, просит уступить ей одну из нас, обещая «дать ей всё». Мама тогда еще сказала, что они, может быть, и не вправе мешать нашему счастью, конечно, только при условии, что девочка сама пожелает этого. В сущности, тот разговор я тоже подслушала: они-то считали, будто я уже сплю. Отец же отрезал:

— Нет, Вера мала решать такие вещи, а Саша, — вдруг уважение прозвучало в его голосе, — никогда не согласится.

Эта гордость за меня, такая в нем странная, грела душу потом несколько дней, еще вчера... Вчера? Это было тысячу лет назад! Этого не было вообще! Я буду жить с теткой, с чертом, с дьяволом, мне всё равно!

Тетку я не любила. Злого чувства тоже не испытывала, просто какая-то непрозрачная пустота стыла там, где полагалось обитать чувству доброму. Стоило пробыть в ее обществе час-другой, послушать этот громкий капризный голос, бесконечные восклицания, смысл коих неизменно сводился к хвастовству или злословию, как наваливалась чуть ли не старческая усталость. Даже их роскошная квартира в Москве мне не нравилась, хотя была забита великим множеством красивых вещей. Они там словно бы задыхались в тесноте и в обиде, эти статуэтки, подсвечники, канделябры... Потом я узнала, что дядя по знакомству скупал их в закрытых магазинах ведомства госбезопасности, где по дешевке сбывалось имущество репрессированных. Впрочем, родители подозревали, что скупал он их не по знакомству, а по праву причастности к деятельности почтенной организации.

Вот куда я собиралась нырнуть примерно с тем же ощущением, как бросаются вниз головой в пропасть. Схватила тетрадку. Вырвала листок. Стала лихорадочно писать: «Хочу жить с вами... Только никогда не спрашивайте, почему... Буду делать всё, что

вы захотите...». Всё, что они захотят? Пусть. Я знаю, это гибель, но мне терять нечего.

Мне было что терять. Остановившись, чтобы перевести дух, я почувствовала, как теплое, пушистое щекочет ногу. Первое, чего они пожелают, со своими коврами, это избавиться от кролика.

Я плюхнулась на пол и стала смотреть на него. Чем дольше смотрела, тем яснее понимала, что это невозможно. Родители так и не узнали, что я собиралась сделать. И чем теперь обязана Найде. Отец, раздраженный нашей идиллией, чуть что, донимал меня угрозами из области кулинарии. От этих разговоров всякий раз сосало под ложечкой. Хотя в глубине души я уже догадывалась, что он только пугает.

...Много лет спустя я нашла у одного писателя грустную историю мальчишки и кролика, по эмоциональной тональности до странности похожую на мою собственную. Литературное право первой ночи теперь, ничего не поделаешь, за ним. Хороший писатель, не жалко. Но молодой: его, должно быть, и на свете не было, когда мы с ушастым братом бродили вдвоем по окрестностям — я собирала грибы, стреляла из лука, безнадежно металась по полю, тщась запустить негодного змея, а кролик невозмутимо прыгал следом. Поэтому, хотя кролика я... гм... присвоила не вполне благопристойным образом, любое подозрение в краже сюжета отвергаю категорически. Был кролик, и похитила я его не из чужой повести, а из-под чужого забора.

Правда, когда смотришь из такой дали, велика ли разница между бывшим и придуманным?

Но кролик был.

9. ЛИЦА КУКЛЫ МАРЫ

— Смотри, у нее лицо кривое!

— Да, немножко...

— Совсем кривое! Как мы раньше не замечали? А ну, сбегай к бабушке, попроси ножницы и белую тряпку! Постой, еще чернильницу захвати и цветные карандаши с моей полки!

— Слушай, а сколько у нее там лиц?..

Игрушек нам с Верой не покупали так же, как платьев. Без первого, по мнению старших, можно было обойтись, если дети растут на лоне природы, где впечатлений и так предостаточно. Что до второго, глупо тратиться, когда клан отцовских родственников — точнее, родственниц — то и дело от щедрот сваливает нам свои поношенные тряпки, а бабушка их перешивает. Между собой родители называли этот вид благотворительности «дарами Терека»:

— Ведь он всё приносил трупы!

Право же, дырявые и латаные лохмотья нашего раннего детства — и те были лучше. «Дары Терека» стали для меня истинным проклятьем. Ровесницы бегали в грошовых, но детских юбчонках, кофтенках, платьицах, а я разгуливала живописным чучелом в каком-то немыслимом дамском креп-жоржете, в шелках и бархатах, причем бабушка, не будучи умелой швеей, вносила в фасоны «даров» лишь минимальные изменения. А коль скоро «кургузые» наряды современных девочек казались ей и некрасивыми, и не вполне пристойными, мои юбки солидно свисали ниже колен, тогда как их — едва прикрывали попу. В довершение бедствия, коль скоро платья теток и кузин были призваны подчеркивать соблазнительные выпуклости, то на мне все это сначала пузырилось, а позже, о ужас, и впрямь стало подчеркивать. Развившись не по возрасту рано, я походила на малолетку, собравшуюся на панель, сама себе казалась отвратительной, но почему-то даже не пыталась что-нибудь предпринять. Пожалуй, я бессознательно принимала эти одеяния как бы за часть своего не в меру цветущего тела, питая одинаковое омерзение как к тому, так и к другому. Вера была умнее — взбунтовалась уже во втором классе, приняла сама укорачивать юбки, возмущенно заявляла:

— Я не надену этого! Будут смеяться!

Ее урезонивали, говорили, что придавать столько значения внешнему виду могут только мещане, однако сестра держалась стойко и добилась немалых уступок. Странное дело: даже ее пример меня не вразумил. Должно быть, мне слишком не хотелось показаться мещанкой. Зато с отсутствием игрушек я боролась рьяно. Неизящная привычка, проходя мимо помойки, окидывать ее орлиным взором осталась у меня с тех пор, и когда вижу там игрушку, во мне, солидной даме так называемого предпенсионного возраста, поныне что-то вздрагивает. Да-а... Как, однако, жалостно это выглядит в словесном выражении! А между тем в помоечной охоте даже было что-то веселое. И трофеями, приносимыми с нее, мы дорожили побольше, чем мои юные племянницы своими Барби, успевающими наскучить за какую-нибудь неделю.

Лучшим трофеем была целлулоидная желтая обезьяна. С ее появления началась моя дружба с мамой. Однажды, проходя мимо нас с Верой, поглощенных игрой с новым приобретением, мама услышала фразу:

— Тут царь пошевелил хвостом...

Мы играли в похождения обезьяньего царя. Кажется, он отправился за бананами, а коварные подданные тем временем учинили дворцовый переворот. Или что-то в этом роде. Подобные игры

забывались, едва закончившись, — эту я помню только потому, что мама стала расспрашивать. Открытие, что рядом живет человек, чей мозг способен породить царя, шевелящего хвостом, поразило ее. Дети мало интересовали маму, с ними были связаны заботы о еде и здоровье, и только. А такой человек уже годился в собеседники. Польщенная, я постаралась не разочаровать ее. Мы удивились и обрадовались друг другу, будто чудесной находке — взаимное узнавание стало праздником, которого хватило на годы.

Начались долгие блуждания по окрестным лесам и полям. Мама была рождена для простора, там она становилась настолько другой, что я поначалу с трудом верила глазам. В убогих стенах «палаццо» она казалась увядшей, да и дешевая фабричная одежда старила, а из эффектных родственных обносков ей ничто не подходило. Плечи у мамы были широки, жесты чересчур размашисты, и дамские эфемерные платьица с треском лопались у нее на спине.

Дома она выглядела неуклюжей, как зверь, запертый в слишком тесную клетку. Грубые башмаки словно бы еще больше подчеркивали, что она при ходьбе косолапит. По-мужски большие, красные от давнего обморожения кисти рук нелепо торчали из узких рукавов жакета. Но когда мы шагали по лесным тропинкам, перебирались вброд через ручьи, карабкались по склонам оврагов, она становилась ловкой и радостной, как тот же зверь, вырвавшийся на волю. Зеленые глаза сверкали и смеялись, кожа на солнце смуглела дочерна, белые ровные зубы блестели, красивая сила играла в каждом движении. Вдруг выяснилось, что есть множество вещей, о которых нам пора потолковать. Говорить с ней было наслаждением: она попросту не умела общаться иначе, чем на равных. Не поучала — делилась мыслями и шутила, а шутки и мнения были у нее такие, будто мама угодила в подмосковный поселок из английского приключенческого романа, скорее всего стивенсоновского. По существу неистово романтичная, она считала себя скептиком, если не циником. Короче, я внезапно обрела сокровище, о каком и мечтать не могла...

Желтый обезьяний царь оказал нам обеим такую услугу, что мы благодарно сохранили в домашних преданиях достославную фразу насчет его хвоста. Это вообще характерное свойство нашей семейной памяти: такая эфемерная добыча удерживается ею крепче, чем факты. Та же бабушка на старости лет легко вспоминала какой-нибудь забавный пассаж, услышанный от двоюродного деда или троюродной тетки, но род занятий, общественное, имущественное, семейное положение этих персон уже терялось в тумане: «Как будто, он держал конный завод... хотя нет, кажется, это не он... У нее, помнится, был сын адвокат... или горный инженер?..».

Однако главной игрушкой нашего детства была все же не обезьяна, а кукла Мара. Я ее сшила своими руками, когда мне было лет шесть. Мешок, набитый тряпками, заменял ей туловище. Второй, поменьше, — голову. Четыре тряпичные кишки изображали конечности. Мара была огромна: я шила себе не дочку, а подругу. Игры в кормление, пеленание и тому подобное никогда меня не занимали, а для приключений требуется полноценный соратник.

Увы, злополучная Мара была соратником не совсем полноценным. Руки-ноги болтались, голова свешивалась, да и вся ее вялая фигура так и норовила переломиться пополам. И потом — лицо... Сначала оно было нарисовано прямо на белом мешочке, что служил головой. Но чем дальше, тем меньше пленяли меня его черты. В конце концов я вырезала из старой простыни овал, изобразила на нем по возможности прекрасный лик, пришила поверх прежней физиономии крупными стежками через край и на какое-то время удовлетворилась. Однако пришел час, и третье лицо сменило второе, за ним последовало четвертое. Шли годы, и ни я, ни тем более Вера уже не могли вспомнить, сколько у Мары было лиц.

...В пятом классе я сделала попытку поладить с социумом. С моей стороны это был поступок неординарный: ведь два года назад меня принимали в пионеры насильно. Я так именно и выразилась, когда Анна Алексеевна тянула меня за руку к выстроенной в школьном коридоре цепочке октябрят, готовых перейти в новое качество:

— Хорошо, но вы не сможете потом мне говорить, что я не должна верить в Бога, потому что я пионерка! Раз вы меня насильно...

— Ладно, ладно, — довольно благодушно проворчала добрая женщина, заталкивая меня в строй.

Ей явно были ни к чему осложнения, да и меня на самом деле устраивал такой поворот событий. Я как бы и принципами не поступилась, и галстук нацепила. Он мне нравился: яркий... Впрочем, школьная форма мне нравилась тоже, она по крайней мере была не из креп-жоржета. Но с галстуком или без, а от того, что именовалось общественной работой, я увиливала всеми доступными способами. Явная бессмысленность этой деятельности — вот что оскорбляло. Однако в пятом классе, где всё у меня вдруг пошло на лад, затевать конфликты как-то не хотелось. Тем паче, что работа подвернулась не такая уж пустопорожняя — тимуровское шефство.

«Прикрепили» меня к слепой одинокой старухе, жившей в двух шагах от школы. Поначалу я взялась за дело с жаром.

Чрезмерным жаром — к тому времени я уже и сама стала замечать, что мои порывы, пусть и благие, как-то некрасиво, неумно преувеличены. Но что с этим делать, не знала. К тому же отцовские проповеди, с некоторых пор посвященные воспеванию «здравого смысла» и «чувства меры», отвращали меня от сих пресных добродетелей.

Итак, я разлетелась к старухе со всей душой, распираемой состраданием, к которому примешивалось неправедно острое любопытство. Тайна чужой беды, чужой судьбы... Невидящие мутные глаза, в которые бесполезно вглядываться... Лицо, равнодушное, как маска... Я жаждала сближения — и разгадки. Хочу надеяться, что это не сделало меня навязчивой: в иных случаях застенчивость бывает спасительна. Однако в мечтах я заходила весьма далеко. Мне представлялось, что мои заботы вот-вот растопят лед, и старуха, полная благодарности, раскроет передо мной свое сердце. Другие пионеры, побегав к своим подопечным с недельку, давно уже думать о них забыли, я же, как часы, во все дни, кроме воскресенья, стучалась в дверь голубенького облупленного домика, ждала, когда старуха дошаркает до нее, чтобы мне открыть, говорила самым веселым и приветливым голосом:

— Здравствуйте, Марья Александровна! Я принесла хлеб и молоко.

— Здравствуй, — безразлично отвечала старуха, нащупывая в кармане фартука кошелек. — Отсчитай, сколько надо.

— Можно, я тут немного подмету? И посуду помою? — спрашивала я, у себя дома с немалой изобретательностью избегающая такого рода занятий.

— Как знаешь.

Ей было всё равно. Всё равно, пришла я или нет, приду ли завтра. Всё равно, жива она еще или уже мертва. Я чувствовала это, но в двенадцатилетней голове такие вещи плохо укладываются. Ища способа, как бы сдвинуться с мертвой точки, я заговаривала о погоде, о ее здоровье — бесполезно. Только черная лохматая Жучка всё радостнее бросалась мне навстречу.

— Какая хорошая у вас собака, Марья Александровна.

— Нравится?

В первый раз она хоть о чем-то спросила! Ободренная, я пустилась было расхваливать неведомые мне достоинства Жучки, но старуха прервала мои излияния:

— Забирай.

— Что забирать?

— Собаку. На что она мне?

У меня не было желания владеть Жучкой. Недавно от пустяковой царапины на лапке, от заражения крови умер мой кролик. После этого заводить каких бы то ни было новых зверей, будь они хоть семи пядей во лбу, мне казалось и неинтересным, и ненужным. Я промямлила что-то вроде «но вам же с ней веселее» и посчитала тему исчерпанной. Но Жучка думала иначе: в тот же день она увязалась за мной.

— Это пудель, — без зазрения совести объявила я отцу. Как должен выглядеть пудель, я не имела ни малейшего представления, но не без причин полагала, что отец этого не знает тоже. — Он пришел в гости. Это собака Марьи Александровны.

О моей тимуровской миссии родители были наслышаны и приветствовали ее как затею добрую и разумную, к тому же оставляющую мне меньше времени «гонять собак». Таким образом, визит мнимого пуделя выглядел явлением законным, никто и в мыслях не имел, что эту собаку я пригнала надолго.

На следующий день было воскресенье. Потом я заболела ангиной. А когда после десятидневного перерыва снова подошла с авоськой к голубому уже поднадоевшему домику, дверь была заколочена досками. Сосед, выглянув из-за забора, весело гаркнул:

— А бабка-то преставилась! Конец твоей службе!

Тащить загостившуюся у нас Жучку к опустевшему дому не было никакого смысла. Тем более, что все к ней успели привыкнуть. Однако первый поступок, которым она отметила свое новоселье, был более чем предосудительным. Не успели мы отвернуться, как Жучка схватила Мару и стала азартно трепать в зубах ее ветхое тулово. Когда отняли, от Мары оставалась груда тряпья. И тут сестра предложила:

— Давай проверим, сколько у нее лиц! Теперь ведь всё равно...

Я взяла ножницы и, возгласив «Раз!», отодрала последнее Марино лицо. Что за уродливая рожа предстала нашим взорам! Переглянувшись, мы засмеялись. И это нам казалось красивым? Непостижимо!

— Два!

Новый взрыв хохота.

— Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь!

Мы корчились и стонали. По щекам текли слезы. А наша красавица, многолетняя подружка наших игр, строила безобразные, жуткие, прямо зловещие гримасы. Каждое новое лицо было ужаснее предыдущего, казалось, ничего более чудовищного быть не может, но появлялось следующее...

— Ха-ха-ха! О-о-о! Ха-ха-ха!

... На днях я спросила сестрицу, давно уже мать семейства:

— Помнишь Мару?

— Еще бы! Девять кошмарных лиц! Как мы тогда хохотали!

— Знаешь, в глубине души мне было не по себе. Что-то во всем этом, в этих лицах мерещилось такое...

— А ведь правда, — сказала Вера. — Я потому и запомнила... Страшно было.

10. ВИД С КРЫШИ

Мы с сестрой сидим на крыше сарая. В нем живут куры и козы, а сюда — на эту самую крышу, к которой всегда приставлена лестница, — в летнее время родители перетаскивают свою постель. Но спят они здесь ночью, днем же при хорошей погоде это чудное место для доверительных бесед. С крыши всё видно, весь мир нашего детства: и поле, и овраг, и поселок, и дальний лес, и больничный сад. А еще — на горизонте, за крошечным бором, на фоне закатного неба вырисовывается над верхушками сосен древняя башня, моя любимая, самое красивое и таинственное из всех строений округи.

— Всё выглядит лучше, когда смотришь сверху, — докторальным тоном изрекаю я.

Вера задумчиво кивает. Ее маленький рот надменно сжат, взгляд холодноватый — это лицо девочки, к семи годам уже привыкшей, что при виде ее все принимаются кудахтать: «До чего же мила! Как хороша!» Моя учительница литературы, однажды вместо заболевшей коллеги проведя занятия в первом классе, сказала потом:

— Ну и сестра у тебя! Что за ресницы! Я как посмотрю на них, так и забуду, о чем говорила.

Да уж, второе издание вышло заметно исправленным и дополненным. Но меня «королева ресниц» слушает, как оракула. Я — нерушимый авторитет, по крайности пока речь идет о всяческих умствованиях. Когда доходит до бытовых распрей, я со всем своим влиянием могу хоть лопнуть, но ничего не добьюсь:

— Перестань хватать мои вещи! Сколько можно говорить? Ты опять рылась у меня на полке! И всё разбросала!

— Я искала краски.

— У тебя есть свои.

— Я не знаю, где они.

— Ты их потеряла? А мне какое дело? Я же твоих красок не беру. И требую, чтобы моих тоже никто не трогал.

— Я твоя сестра, а не какой-то «никто».

Эта непререкаемая убежденность, будто наше родство дает ей столь обширные права, приводит меня в бешенство.

— Какая же ты тупая! — киплю я. Киплю тем сильнее, что тупость Веры мне сомнительна. Когда надо, это прелестное дитя бывает поразительно толковым. И в школе дела у нее, судя по всему, складываются лучше, чем у меня в ее годы. Однако этим так мало сказано, что я все же считаю нужным предостеречь ее. Если бы родители, прежде чем отправить меня в школу, объяснили, куда я попаду, скольких мучений можно было бы избежать! Почему они этого не сделали? Они-то знают, каков этот мир. Хорошо, что хоть Вера будет предупреждена, об этом есть кому позаботиться.

— Главное, запомни, что ты на три головы выше всех, кто тебя окружает, — вещаю я. — Я не знаю твоих одноклассников, но это неважно: люди почти все одинаковы. Если поддаваться им, они соберутся вместе и тебя затопчут. Именно потому, что ты на самом деле лучше их, понимаешь? За то, что ты на них не похожа.

— А что же нужно делать? — сестренка искренно старается впитать мою премудрость, но, видимо, всё это слишком возвышенно для ее понимания.

— Нужно научиться презирать. Не разлетаться ни к кому, ни у кого не идти на поводу. Это самое трудное, ведь бывает, человек так нравится, кажется до того прекрасным...

— В нашем классе, по-моему, таких нет, — рассудительно замечает Вера. — Несколько неплохих девочек есть, но они обыкновенные.

Похоже, Вера и без моих разглагольствований смотрит на вещи трезво. Куда потрезвей моего. Но я, уже распалившись, продолжаю клеймить род людской, его стадность, злобу, непостоянство...

— А бабушка говорит, что ты тоже непостоянна, — вдруг сообщает Вера.

Я возмущенно вскидываюсь: после трусости непостоянство представляется мне худшим из пороков. Тут я советская девочка с головы до пят, хоть того и не сознаю. Скормить мне весь набор пионерских понятий наставникам не удалось, но некоторые семена все-таки дали всходы. Гранитная верность себе, своим изначальным представлениям и пристрастиям — эту доблесть я очень чту. В наборе-то она была призвана служить консервантом для преданности партии и государству, вдолбленной в детскую голову до того как в ней пробудится способность суждения. Однако и сам по себе пафос непреклонного постоянства достаточно агрессивен, и я резко бросаю:

— Старая карга выжила из ума!

Сестренка уважительно косится: сказано круто. Однако то ли вредность характера, то ли чувство справедливости побуждают ее возразить:

— Бабушка так сказала потому, что ты совсем забросила Ганну. И других тоже. Была так увлечена, а теперь хоть бы их вовсе не было...

Прикусив губу, я торопливо ищу ответа. Найти его мудрено: упрек справедлив. Но сдаваться нельзя, и я перехожу в наступление:

— Непостоянство тут ни при чем. Я просто разочаровалась в них. Они же безмозглые! Сначала я этого не понимала, вот и увлеклась. Мало того что глупые, они еще и злющие. До крови дерутся за хлебную корку, и ведь не голодные! Малышей, оставшихся без родителей, прямо в клочья рвут! А один, серый с белым, — ты замечала? — он сидит над пищей и всех от нее отгоняет. Сам не ест, ему некогда — он на посту. Ну не мерзавец?

Перенеся таким образом свой обличительный раж с не известных мне одноклассников сестры на собственных недавних любимцев, я заглушаю гневным красноречием тихие укоры совести:

— И ты хочешь после этого, чтобы я продолжала их любить? Тоже мне птички мира!

— А Ганна? Она тебе тоже разонравилась?

Ганна... С нее-то все и началось. В то время я еще заходила к Лидке Афоновой и однажды увидела, как она с другой девчонкой бросают друг другу, словно мяч, пестрого бело-рыжего голубя. Птица трепыхалась в воздухе, била крыльями, но улететь почему-то не могла. И тут я вспомнила, как недавно застала Лидкину мать за ощипыванием воробьев: оказалось, сын ловил их сетью, а она жарила. Дом был полон разновозрастных детишек, и воробьиная охота говорила, должно быть, о страшной нужде. Но я тогда об этом не подумала и сочла Афоновых живодерами. Вот и этого беднягу помучают-помучают, да и слопают!

— Почему он не улетает?

— А так, порченый, — Лидка оглянулась и по моей физиономии сразу поняла, что я на крючке: она меня успела хорошо изучить. — Хочешь подарю?

— Хочу, — в свою очередь неплохо зная Лидку, я постаралась сказать это как можно небрежнее. Но Афонову не проведешь, где там!

— Чур в обмен!

— В обмен на что?

— А давай так: ты сперва поклянись за него отдать, что я захочу, а потом я скажу. Только, чур-чура, слово держать!

Я заколебалась. Один раз Афонова меня уже надула: выпросила единственную приличную куклу, сшитую к моему дню рождения бабушкой, в обмен «не скажу на что». Лидка мне тогда еще казалась редкостным перлом творения, отказать ей не было сил, да и любопытство разбирало, что там у нее припасено. И я принесла куклу в школу. Афонова взяла ее, затолкала в свой портфель, аккуратно его заперла и только потом достала из кармана серебряный конфетный фантик:

— Вот!

Оставалось только вымученно улыбнуться, с грехом пополам скрывая обиду. Сама виновата! Про себя я решила никогда больше с Афоновой не меняться. Но теперь речь шла не о куклах и фантиках, а о живой, ручной и явно обреченной птице.

— Ну, чего? Не хочешь? Я тогда... — Лидка со смехом размахнулась, притворяясь, будто готова шваркнуть свою жертву об стену дома.

— Хорошо! — быстро сказала я. — Обещаю.

— Всю неделю мне будешь отдавать, что мать на завтрак дает, — торжествуя, объявила Лидка. При этом на ее задорной мордашке изобразилась довольно сложная гамма чувств: она разом боялась, не заломила ли слишком и не продешевила ли. Она продешевила, и весьма: потребуй она в ту минуту отдавать ей деньги до конца учебного года или даже всего школьного курса, я бы согласилась. И, чувствуя себя облапошенной дурой, платила бы исправно — как же, вопрос чести.

Птицу — по размышлении было решено, что, вероятно, это не голубь, а голубка, — я поселила на чердаке. И нарекла Ганной. Выбор имени был данью украинскому национализму, обуявшему меня в те годы. Спасибо, что не позже, иначе болезнь могла бы проходить в более острой форме.

Началось с недоразумения. Пока я слышала жалобы старших на «этот проклятый климат» и грустные вздохи «а на Харьковщине сейчас почки распускаются», я еще сохраняла здравость суждений, хотя смутный образ края более ласкового и теплого уже поселился в сознании. Но однажды у меня случилась драка. То есть драки происходили сплошь и рядом, но эта была посерьезнее обычных: впервые я вернулась домой не только помятая, но и с подбитым глазом.

— Ого! Как это тебя угораздило?

— Их было трое. Они Юлю Гольдберг дразнили, кричали, что она жидовская морда, и за косу дергали. Трое на одну, да еще на

девчонку! И вообще я такого не люблю. Что мне оставалось делать?

Отец помрачнел и, торопливо поднявшись, вышел. Опасаясь уронить корону с головы, он избегал ситуаций, в которых трудно произнести окончательный приговор. А эта была из таких: выругать меня нельзя, но одобрить драку он тоже не желал. Тут был замешан старый спор, отец сердился на маму, что научила меня, девочку, никогда не ябедничать и самой защищать себя. Если бы я обзавелась фонарем при самозащите, мне бы, чего доброго, еще и нагорело. А так ему оставалось только ретироваться.

Когда дверь за ним захлопнулась, мама и бабушка значительно, скорбно переглянулись:

— Антисемитизм. Еще не хватало! Среди кого детям приходится расти! Да, тут не Украина... Это повальное хамство...

Я навострила уши. Теплый край, покинутый и забытый, вдруг заиграл всеми цветами радуги. Значит, на свете есть такое место, где никому даже в голову не придет обзывать хрупкую благовоспитанную Юлю Гольдберг жидовской мордой? А мне — кричать про «жир-трест»? И поджигать живых ворон? И... Перспективы открывались головокружительные. Стоило малость подумать, и частная неприкосновенность Юли, типичной маменькиной дочки, исподтишка мною за это презираемой, оборачивалась залогом таких благ, какие и вообразить мудрено. В этом сказочном царстве что же, вообще нет гадов, способных на подобные пакости?

На мой взволнованный вопрос мама сказала:

— Гад может попасться где угодно, их разве что в раю нет, да только неизвестно, есть ли сам рай. Но в массе на Украине народ гораздо культурнее. Я прожила там большую часть жизни и с этой мерзостью не сталкивалась. А тебе уже приходится, так что можешь судить сама. Украина ближе к Европе, там нет такой дремучей азиатчины. Если бы Богдан Хмельницкий не сделал глупости, не объединился с Россией, может быть, сейчас Украина могла бы соперничать с Францией, с Англией — у нее для этого достаточно и природных ресурсов, и талантов. И потом — национальный характер... Хохол более независим: в нем меньше рабства, он чувствует себя личностью, а не частицей толпы. Если бы в харьковском ГСПИ, где я раньше работала, кто-нибудь так пресмыкался перед начальством, как принято в моей московской конторе, его бы за человека не считали, а здесь... — тут мама раздраженно махнула рукой и замолчала, предоставив мне самой разбираться в этой путанице.

Ни про Хмельницкого, ни про азиатчину, не говоря об учреждении, именуемом ГСПИ, я ничего не поняла. Но одно до меня

сразу дошло: я просто не отсюда, в этом всё дело. Где-то у меня есть родина, благородная и прекрасная, хоть какой-то Богдан и подкузьмил ее. Я уже готова была любить землю отцов и признать ее лучшей из всех существующих на земном шаре, благо поселок мне не нравился, а иных краев я в глаза не видала.

Решив перечитать всё, что было в библиотеке из переводов с украинского, я для начала долго мусолила совершенно неудобоваримого Шевченко, пока та же мама не сказала, что эти труды бесплодны: «по-русски его можно читать только за большие деньги». Засим последовали «Энеида» Котляревского, показавшаяся мне грубоватой и однообразной, хоть местами занятной, несколько исторических романов один другого скучнее, из которых явствовало, что у Хмельницкого не было другого выхода, и том пьес Леси Украинки. Пьесы мне понравились, но предмет моего сугубого интереса там отражен не был: Леся писала на европейские сюжеты.

Однако невежество национализму не помеха, напротив, как говаривал у Лермонтова пьяненький штабс-капитан, «так даже гораздо свободнее». Тщетно пытаясь нащупать культурную почву, достойную моих туманных, но гордых мечтаний, я тем не менее лелеяла в душе идею родовой избранности. Вслух об этом особенно не распространялась — было почему-то неловко. Еще не зная, что этот благодетельный стыд возникает всякий раз, когда увязнешь во лжи разума, я старалась скорее овладеть родным языком. Хотелось думать, что тогда я обрету подобающую уверенность.

Но как его выучишь? Родители с грехом пополам могли читать по-украински и понимать звучащую речь, не более того: для них родным языком был русский. А для бабушки — и вообще немецкий. Оставалось полагаться на собственные силы и доселе ненавистный радиоприемник. Напрасно я до ломоты в висках вникала в разудалый текст оперного дуэта Одарки и Карася, которые часто вопили по тогдашнему радио. Напрасно перебирала в уме полтора десятка украинских слов, слышанных от родителей. «Хмара», — почтительно бормотала я, взирая на тучу. Переходя через плотину пруда, не забывала напомнить себе, что под ногами у меня «гребля», а кормить свою нелетающую голубку лазила теперь не на чердак, а на «горище». И уж само собой, голубку звали Ганной. Я бы и себя переименовала, если бы можно было...

— Какого черта вы с бабушкой мне голову заморочили? — лет десять спустя упрекнула я маму. — Расписали землю обетованную! Хамов и антисемитов днем с огнем ищи, зато независимые умы так и кишат, культура цветет, подхалим вызывает всеобщий

гнев... Я же немедленно возомнила себя представительницей высшей расы, вот вы что натворили!

— Да ну?! — мама начисто не помнила собственных роковых слов. — Ты вроде своего папаши: с вами никогда не знаешь, от какой чепухи начнется цепная реакция. Я так сказала? Видимо, одурела от постоянной усталости и Колиных наскоков. И потом, что ты хочешь? Твоя бабушка вращалась в кругу врачей и юристов, это были интеллигентные люди, там действительно насчет «жидовской морды» никто бы не заикнулся: случись с кем-нибудь такое, его бы перестали пускать в приличные дома. А в ГСПИ у нас был симпатичный отдел, славные молодые ребята, я там тоже ничего подобного не... — осекшись, она вдруг рассмеялась. — Фу, какая же я в самом деле дура! Только сейчас сообразила: там ведь большинство как раз и были евреи, какой антисемитизм?

...К счастью, в решающий момент никаких «щирых» хохлов, если не считать Ганны, поблизости не нашлось, а вдвоем мы не только не могли грянуть войною на ненавистную Москву, но и не рисковали набраться друг от друга тех смрадных предрассудков, что обычно сопровождают любую национальную исключительность. Так и не научившаяся летать, хотя с виду вполне здоровая Ганна, сидя у себя на «горище», уютно ворковала, толстела, привыкнув, охотно прыгала ко мне на плечо и смирно сидела там, слушая, как я прилежно бурчу под нос строки из любимой песни Хрущева «Рушник», наследницы славы «Сулико»: «И на тим рушникови оживэ, ще знаемэ до болю...». Я попала в положение безумца, который попытался бы выучить русский, не имея под рукой ничего, кроме слащавых советских шлягеров, призванных украсить дешевенький обиход образцовой коммунальной души: что-нибудь вроде «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке» или «Издалека долго течет река Волга». Этак недолго возненавидеть ни в чем не повинный язык прежде, чем освоишь его. Помнится, именно «на тим рушникови» и рассеялся мой националистический угар. Он сошел на нет тихо, незаметно, что лишний раз доказывало мое прискорбное непостоянство.

Со временем меня стало беспокоить одиночество Ганны: я представляла себе, как ей скучно целыми днями топтаться одной по плохо освещенному чердаку. К тому же мне захотелось — «Загорелось», — пожимала плечами бабушка, — настоящих голубей, чтобы кружились в небе над полем, а не только гукали и клевали.

На так называемой Карандашке, в районе рабочих бараков, который пользовался в поселке самой дурной славой, было несколько парней, державших голубятни. Я решила адресоваться к

ним. Отказавшись от школьных завтраков, накопила, помнится, десять рублей и двинулась на Карандашку. Это был один из самых глупых поступков моей не бедной на глупости жизни. Парни, завидев меня, начинали перемигиваться, придушенно ржали, отсылали друг к другу, надо полагать, затем, чтобы Серега, Толян, Витек тоже не упустили столь выдающегося случая поржать. Наконец кто-то из них всучил мне длинного, унылого темно-серого голубя со сломанным, как потом выяснилось, крылом. От него и Ганны пошло потомство, летающее низко, неохотно, словно из почтения к традициям предков, вообще не знавших полета. Если бы эти зануды владели речью, они бы, надо полагать, ворковали больше о корнях, чем о крыльях. Их драчливое, прожорливое племя наскучило мне, и я перестала его замечать. Только бабушка и кормила их теперь. «Старая карга»... Она впрямь очень постарела, всё реже напевала романсы, и забираться на чердак ей было, наверное, очень трудно.

Я не думала об этом. Подлый, по сути животный инстинкт подбивал меня сторониться угасающей рядом, когда-то близкой жизни. Осознав это вовремя, я бы ужаснулась, всё можно было бы поправить. Но тут пришлась кстати обида на бабушкин отказ составить комплот против власти отца. Это не я, она сама меня предала! Что ж, тем хуже для нее. Меня в то время интересовала исключительно собственная персона — открытия, с ней связанные, заслоняли всё и вся. Какие фантастические, странные, страшные мысли с некоторых пор лезли в голову, какие сны снились! То райские невиданные ландшафты, то мертвые деревни, пустые поезда без пассажиров и машиниста, уходящие вдаль по искореженным рельсам... Солнце, выложенное на небе бледной мозаикой, над землей, готовой к последней погибели... Шальные полеты то над мрачными развалинами, то над очаровательными долинами... Всё это наполняло мои ночи, побуждая с самовлюбленным полунаигранным испугом спрашивать себя: «Да что же я за человек, если мне такое снится?». Предполагалось, что сие знаменует личность, может быть, даже опасную, но дьявольски незаурядную.

Иногда мне все-таки становилось жаль ходячую прародительницу голубиного семейства, и я брала ее с собой на крышу сарая. Я проводила там многие часы с томиком каких-нибудь стихов и ржаным ломтем. Мы с Ганной лениво расщипывали его по кусочку, голубка чуть слышно гукала, а я, оторвав взгляд от страницы, то и дело засматривалась на башню бывшего монастыря, что возвышалась вдали над домами и соснами поселка.

Очень был романтический вид. Стоит вспомнить о тех часах, и снова вижу далекие темнеющие сосны, закатные яркие облака

над башней. Там была политическая тюрьма. Как я потом узнала, одна из самых кошмарных.

...Легко, куда легче и родственней, чем хотелось бы, представляю какую-нибудь нежную Гретхен, всю в девических грезах, заглядевшуюся на дальний дымок над горизонтом, не зная, что он поднимается от лагерных печей. Мы обе не виноваты и обе запятнаны. И чем упорнее убеждаешь себя, что ты ни при чем, что чиста, тем непоправимее ощущение грязи. Вовек не отмыться.

11. ПОБЕГ

Жучка подхватила чумку. Это случилось незадолго после ее водворения у нас, и я менее всего ожидала, что отец примет в ее судьбе такое участие. Когда собачонка, уткнувшись носом в самый темный угол нашего и так мрачноватого «палаццо», явно приготовилась ждать последнего часа, он вдруг скомандовал:

— Шура, собирайся. Понесем ее к ветеринару.

— На руках?

— Она не может идти, ты посмотри на нее. И, по-моему, она ослепла.

Он завернул потускневшую, со свалявшейся пыльной шерстью, за какие-нибудь три дня до невесомости исхудавшую Жучку в кусок рваного одеяла, и мы двинулись в путь. Идти надо было далеко, и не на станцию, а в противоположную сторону, в совхоз — через перелески, где под деревьями еще белели клочки не растаявшего снега, через другой, большой ручей, вздувшийся от талых вод, по пригоркам и оврагам.

— Ты не устал? Я могу понести.

— Не надо.

Я не понимала, зачем он взял меня с собой. Скучно одному? Но мы всё равно не разговариваем. Когда он не распекает и не наставляет меня, мы молчим. Так всегда было, и сейчас тоже...

— Красиво, — вдруг сказал он.

— Да, — буркнула я, безрадостно оглядев голые деревья, мертвую прошлогоднюю траву, косматое серое небо. Вкус к таким пейзажам у меня появится много позже, в те годы мне почти болезненно не хватало ярких красок, жарких стран.

Зато теперь я почему-то знала: усыплять Жучку он не собирается.

Получив консультацию и запасшись лекарствами, мы снова вышли на ту же тропинку. Жучка лежала на руках отца, будто неживая.

— Мало шансов, — сказал он.

И помолчав, неожиданно:

— Знаешь, вот я уже стар, а поверить этому не могу. Бывает, проснешься утром, и кажется, сейчас мальчишки со двора позовут: «Колька Гирник, иди в цурки играть!».

Я ничего не ответила. Это было, как выразилась бы мама, «неласково». Но горло так перехватило, что не выдавишь ни звука. Да и нечего было выдавливать: я не знала, что сказать, можно ли вообще говорить, услышав такое признание. Настолько трагическим оно мне показалось. Колька Гирник, угодивший в ловушку, погибающий в шкуре вечно небритого злого мужика, с тоски заигравшийся в домашнего тирана, чего он от меня хотел? Какой помощи? Я ничего не могла — глупая, бессильная, слишком привыкшая, что ему нельзя доверять.

Домой мы вернулись в молчании. Но месяца на два — срок в нашем случае немалый — между нами установилось некое подобие приязни. Он даже изредка стал что-то рассказывать. Делал он это совсем не так, как мама и бабушка: они помнили слова, он — картины. Отрывочные, без начала и конца, без пояснений. Его рассказы невосстановимы, но пока он говорил, изображаемое оживало с такой достоверностью, что хотелось тронуть ладонью горячий бок той печки, влажную спину той лошади... Откуда лошадь? Что за печка, где, когда? Ни я, ни кто-либо другой этого не знал. В жизни отца зиял прорыв в несколько лет, о котором ничего не было известно. Черным холодом тянуло из этой дыры: он или видел, или совершил что-то ужасное. Это случилось в годы гражданской войны, именно с тех пор, как утверждала тетка, он «стал какой-то не такой». Позже по жуткому секрету она мне поведала, что он служил у белых, а в штаб Котовского его уже потом пристроил муж другой сестры. Впрочем, всё это могло бы оказаться и вымыслом: тетушка отнюдь не была рабой истины, а тут ей явно виделось нечто лестное. Этой золотой кукле было свойственно честолюбие довольно забавного разбора. Уверяла же она меня, что наш род происходит от одного из самых знатных семейств Запорожской Сечи. Уж не хочет быть она домохозяйкой, хочет быть графиней сечевою. Могла наврать и про отца. Замужество за большим советским боссом дело, конечно, умственное, выгодное, но брат-белогвардеец — это шикарно.

Я так ничего и не узнала. Не только его тайны, которая почему-то казалась мне куда более страшной, чем служба шестнадцатилетнего мальчишки в белых войсках, но даже того, что это за цурки, как в них играли. Наша короткая молчаливая дружба

оборвалась так же внезапно, как завязалась. Случилось то, что бывало с ним всегда: злоба и тоска зрели в нем, как нарыв, душа, воспаляясь, болела всё сильнее, он мрачнел день ото дня, потом по любому ничтожному поводу происходил взрыв и наступало облегчение. Он вымещал на нас муку, причиной которой были не мы, и в свои светлые минуты наверняка сам это понимал.

В тот раз он продержался дольше обыкновенного, оттого и скандал вышел еще безобразнее. Я сидела у себя на крыше в самом чувствительном расположении духа и, уткнувшись в книгу, забыв все на свете, шептала:

Как можете вы жить, о странные созданья,
Со смехом, с песнями куда-то торопясь?
Ни неба красота, ни грязь существованья
Не задевают вас...

— Распустилась! Где козлы?! Шкуру спущу!

Мне действительно полагалось поглядывать, чтобы козлята не забредали на территорию больницы. Однако для того, чтобы исключить такую возможность полностью, пришлось бы перестать заниматься чем бы то ни было другим и не спускать с них глаз ни на минуту. Разумеется, никто этого и не требовал. Но нарыву пришла пора прорваться: ждать лучшего повода, видно, было невтерпеж.

Спрыгнув с лестницы, я побежала загонять козлят. Отец ринулся наперерез и в первый и последний раз в жизни ударил меня по лицу. Я и прежде помнила, не прощала ему ни единого тычка, шлепка, подзатыльника, но это... Это была пощечина. Такое порядочные люди смывают кровью.

Дальнейшие события, как ни крути, разумному объяснению не поддаются. Я была уже большая девочка, слыла умницей, без конца читала и полагала, что мыслю. И вместе с тем всё, что я сделала тогда, мог предпринять только до жалости несмышленый ребенок. Очевидно, в голове у меня помутилось от ярости. Гнев был именно слепящий, вдвойне мучительный оттого, что я чуть было не раскисла, не поддалась его обаянию, хотя знала же, что нельзя, что ничего, кроме новых унижений, это не принесет. Моя злость на себя стоила ненависти к нему.

— Никогда не забуду, — рассказывала потом Вера. — Ты вышла из дому с огромным кухонным ножом. Держала его торчком, вертикально. На нож была насажена буханка черного хлеба, а сверху огурец. Ты приостановилась и посмотрела на собак. Выбрала Жучку, отвязала ее, сказала мне: «Прощай. И запомни: ты ничего не знаешь», — повернулась и зашагала в поле. Даже не

обняла меня на прощанье. А я смотрела вслед и думала: «Всё, больше я ее не увижу».

Хотя в глазах темнело от бешенства, мне казалось, что рассуждаю я хладнокровно. Мой замысел упрощало то, что отец, отвесив мне оплеуху, немедленно собрался и укатил в Москву к кому-то из сестер. Видно, сам чувствовал, что зашел слишком далеко. Вообще-то он ездил к ним редко, но совсем прекратить эти визиты не хотел: всё же верил, что родная кровь существует. Мы с мамой считали, что родной может быть только душа, но, не разделяя его иллюзий, уважали их. К тому же бездетная и самая богатая из теток прониклась благоволением к Вере, теперь сестра зачастую неделями гостила у нее на даче. Возвращаясь, маленькая обезьянка первые дни к вящей моей досаде говорила капризным властным голоском и, по бабушкиному выражению, «ломалась, как певичка из дешевого кафе-шантана». Эти Верины гостеванья несколько сблизили два столь различных семейства, и отец, уезжая, предупредил бабушку, что заночует у сестры, вернется не раньше завтрашнего вечера.

Всё складывалось как нельзя лучше. Бабушкино в последние месяцы всё более затуманенное состояние тоже было мне на руку. Она почти перестала замечать, что происходит вокруг, забывала даже самые простые слова и вещи, а взявшись почитать Вере книжку, задремывала на полуслове, начиная бормотать что-то раздражающе невнятное. Теперь, вспоминая ее тогдашнее лицо, догадываюсь: она уходила. Это был тоже побег, но не мой дурацкий, с ножом, огурцом и буханкой, а тихий безвозвратный побег туда, где мы все, равнодушные, грубые, разлюбившие, уже не могли обидеть ее. Она еще готовила нам еду, еще говорила, что соль куда-то запропастилась или что лапша кончается, надо бы завтра купить, но иных слов от нее больше не слышали, и я, утверждаясь в своем пренебрежении, пришла к выводу, что в бабушкиной голове, кроме этих материй, больше ничего не осталось.

— Слушай внимательно, — наставляла я Веру. — Если бабушка спросит, где я, скажи, что, наверное, я увязалась за папой в Москву. Не забудь: «наверное», иначе тебя будут потом изводить за то, что соврала. Когда вернется мама, постарайся сама ничего не говорить. Лучше, чтобы это сказала бабушка. Но если тебя спросят, повторяй то же самое. Тогда до завтрашнего вечера, до его возвращения никто не будет ни о чем беспокоиться. Он-то, когда вернется, сразу поймет, что случилось... и почему. Но я буду уже далеко.

— А куда ты уходишь? — прошептала Вера. Ее серые глаза были больше лица и еще продолжали расти от испуга и восхищения.

— Тебе лучше этого не знать. Они на тебя насядут все вместе, и ты можешь нечаянно проговориться. А так всё просто: ты думала, что я уехала с папой, а если я сбежала, тебе об этом ничего не известно. На том и стой.

Подкладка у этих дальновидных соображений была не столь добротная: на самом-то деле я не имела точного понятия, куда направляюсь. На юг, разумеется, там теплее. До осени далеко, я успею достигнуть мест, где и зимовать не так холодно. Найду себе какую-нибудь пещеру. Питаться... ну, буду печь на костре грибы и коренья.

Единственный корень, который я когда-либо пробовала жевать, принадлежал похожей на редиску сурепке и чем-чем, но питательностью не отличался. Однако помрачение, овладевшее мной, не проходило, и я, уже углубившись в лес, продолжала топать туда, где предполагался юг.

Интересное дело: готовясь к бродяжьей жизни, которую мне отныне предстояло вести, я и в мыслях не имела воровать или побираться. Работать по найму у случайных хозяев мне также в голову не приходило. Грибы и коренья до поры до времени представлялись подспорьем вполне достаточным. Вот только Жучка... Она уже не носилась кругами, радуясь прогулке, а бежала у ноги, всё чаще беспокойно заглядывая мне в лицо. Начала поскуливать, сперва чуть слышно, потом громче, жалобнее. Не надо было ее брать. Это я смалодушничала, не решилась остаться в полном одиночестве.

Что ж, если хочет, пусть отправляется домой. Собака не может заблудиться, у нее нюх.

— Иди отсюда! — закричала я. — Ну? Убирайся!

Среди безлюдной чащи мой голос прозвучал что-то слабо, нехорошо. Природа отказала мне в мощной глотке, которой она наградила отца и его сестер: говорят, смолоду они пели так, что хоть оперную труппу организуй из всей семейки. Такого я не застала, теперь они только орать горазды... ладно, мне-то что до них? Но собственный придушенный, жалкий вскрик меня смутил. А Жучку, похоже, и вовсе напугал: уйти она не ушла, но села на тропинку и заскулила уже без перерыва:

— И-и-и-и-и!

— Ладно! — сказала я ей, ненатурально изображая беззаботность. — Давай перекусим. И прекрати этот писк, пока цела.

Я уселась на поваленное дерево, отрезала от буханки два кусочка, больший взяла себе, меньшим заткнула пасть трусихе Жучке, хотела было откусить пол-огурца, но подумала, что с надкушенного будет капать сок, и съела весь. Ноги почему-то

гудели от усталости, хотя во время наших прогулок с мамой мне случалось проходить и большие расстояния. Но тогда было весело, а теперь...

Да, маму я бросила. Ей будет без меня плохо. Тут ничего не поделаешь. С полгода назад между нами впервые произошел откровенный разговор. Как я уговаривала ее развестись! Она тогда сказала:

— Не могу. Он для меня самый главный человек. Ты придаешь слишком много значения форме, а я вижу его душу. Когда-нибудь все уйдут, и мы останемся одни. Навсегда. Что головой качаешь? Ты тоже уйдешь. Это сейчас тебе кажется, что мы с тобой ни за что не расстанемся. А полюбишь, и никто другой станет не нужен...

Ее лицо, ясное и решительное, на миг затуманилось: не вспомнилось ли ей, как в самые тяжкие времена, после революции и смерти деда, они с бабушкой любили, берегли и поддерживали друг друга, пока однажды не встал на ее пути Николай Гирник?

— Когда я его впервые увидела, я испугалась. Там сидела целая компания, он был красивый, веселый, шутил очень смешно. Вовсе я не влюбилась с первого взгляда, то-то и оно, что нет. Мне именно страшно стало, хоть я была далеко не из трепетных дев. И знаешь, что я тебе скажу? — ее низкий голос стал хриплым. — Ненавижу любовь. Будь оно трижды проклято, это святое чувство!

Она его не бросит, что бы он ни делал, как бы ни измывался над нами и над ней. Стало быть, всё правильно. Она сделала выбор. Я тоже.

Как быстро темнеет! Пора подумать о ночлеге. Чем тащиться, спотыкаясь в потемках, лучше выспаться и двинуться дальше на рассвете.

Я наломала груду сосновых лап, изувечив чудесную круглую сосенку. Часть веток постелила на землю, улеглась, «укубилась», — машинально я всё еще копила украинские слова, — а оставшуюся громадную охапку кое-как навалила сверху.

Получилось не слишком удобно. Что колется, наплевать, можно привыкнуть. Хуже, что всё равно зябко. Толстая бежевая кофта с продранным локтем, очередной отход родственного гардероба, оказалась далеко не такой теплой, как я воображала. Бр-р! Лучше зажечь костер. Согреюсь у огня, а уж потом заберусь в эту колючую груду, авось засну. А Жучку — идея! — Жучку надо поймать и затащить туда же. Пусть греет.

Небо еще не совсем потемнело, а месяц уже взошел, тонкий, но яркий, и было непонятно, он ли озаряет лес, или это послед-

ние лучи заката. Так или иначе, набрать хворосту при этом освещении мне удалось, и костер я развела без труда: было сухо, он скоро разгорелся.

Но тут произошло то, чего я не ожидала. Едва в костре заплясало пламя, темнота разом окутала всё вокруг. Глаза, глянув на огонь, больше не различали слабых отблесков луны и заката. В целом мире остался только маленький кружочек шаткого света, и чуть костер начинал гаснуть, как вал мрака накатывал со всех сторон, подползал, готовясь проглотить.

— Ничего страшного, — сказала я Жучке. И окончательно убедилась, что лучше помалкивать: от звука собственного голоса по спине аж мурашки забегали. О том, чтобы заснуть, нечего было и думать. А о том, что будет, когда хворост, набранный еще при свете, весь прогорит, подумать стоило, но совсем не хотелось.

Не знаю, что бы со мной было, если бы пришлось так провести всю ночь. Чего доброго, поседела бы к рассвету. Но тут Жучка вдруг отчаянно залаяла и прижалась ко мне: она тоже, бедняжка, храбростью не блистала. Раздались шаги, затрещали под чьими-то ногами сучья, и огромная фигура, скаля зубы, выдвинулась из мрака.

Вероятно, он вовсе не был таким уж гигантом, и в его ухмылке не было ничего угрожающего. Шел себе через лесок припозднившийся деревенский парень, изрядно навеселе, и, завидев диковинное явление, подошел полюбопытствовать. Это теперь я так думаю...

— Ух ты! Погреемся вместе? — парень приготовился плюхнуться у костра рядом со мной. И тут я схватила нож. Это было делом секунды: садясь у огня, я положила его рядом. Тот самый длиннющий хозяйственный нож, что так поразил воображение Веры. На моего ночного гостя он тоже произвел большое впечатление. Он шарахнулся в сторону и, грязно выругавшись, исчез в темноте. Жучка проводила его торжествующим лаем. А я с колотящимся сердцем и с ножом в руке застыла у догорающего костра, соображая, что сейчас чуть не убила человека. Человека, который ничего мне не сделал — всего лишь напугал. И я со страху... вот что ужасно! Воображала, будто способна хладнокровно пронзить кинжалом грудь врага, а оказалось — готова из трусости пырнуть прохожего! Да, я могла бы, точно могла бы прикончить его! («Черта с два! — сказала мама, когда лет пять спустя я рассказала ей об этом приключении. — Помню я тот нож. Он был тупой».)

Я вскочила и, наперекор всем правилам не затушив костра, помчалась по тропинке, едва видной при свете месяца. О том, как стыдно возвращаться, я не думала, это придет позже. Кроме

единственной заботы — только бы не сбиться с пути — в сознании не оставалось ничего. Будто смыло... А лес, такой знакомый, уютный днем, «как зверь стоокий», мрачно взирал на мое позорное бегство. Казалось, он сейчас завоет и кинется на меня.

Дважды упав и расшибив колени и один раз чуть не потеряв впотьмах дорогу, задохшаяся до полусмерти, я добралась до дома уже глубокой ночью. Света в окнах не было. Это означало, что Вера, хоть и была в менее драматических обстоятельствах ябедой, меня не выдала.

Как всегда по летнему времени, окно было открыто. Я влезла в него, на ощупь добралась до своей кровати и юркнула под одеяло. Блага цивилизации, о презрении к которой я уже в то время была не прочь потолковать, оказались так сладостны, что я заснула, даже не успев придумать, что завтра соврать маме.

12. ПАСТОРАЛЬ

— Эй, выходи!

— Как вы нетерпеливы! Подождите часика три-четыре.

— Выходи, хуже будет!

— Куда еще хуже? Вы и так мне ужасно надоели.

Я сидела, с комфортом расположившись на перевернутом ящике в деревянном сарае, наскоро сколоченном в углу школьного двора. Сарай еще пах смолой и был щеляст: сквозь щели в него радостно вонзались косые пыльные лучи сентябрьского солнышка. Вдоль стен сарая стояли клетки с кроликами — затея школьной администрации. Это был очередной верноподданный отклик на кампанию так называемого укрепления связи школы с жизнью. Весь позапрошлый год корявый старец, непрестанно кричавший о «тр-р-рудовой дисциплине» и на редкость бестолковый, обучал нас строгать доски рубанком. Потом его сменил бойкий розовощекий малый не то с токарным, не то со сверлильным станком, к которому приходилось подолгу стоять в очереди: нас было десятка три, а станок один. И вот теперь дошло до кроликов. Ухаживать за ними было предложено не всем, а только желающим. Таковых оказалось не много. Но для меня выбор между осточертевшим станком и симпатягами-кроликами, притом, что к ним не выстраивается хвост и они не издают противного железного лязга, был предрешен заранее.

Итак, мне предстоит продежурить на школьной ферме еще два часа. Кролики уже накормлены, им, собственно, ничего от меня не нужно. Зато мальчишкам, сгрудившимся по ту сторону запертой на засов двери, настоятельно требуется со мной подраться.

Меня же этот вариант совсем не устраивает. Во-первых, их пятеро. Во-вторых, в последнее время драки мне заметно приелись. Я и раньше их не любила, но как-то больше верила в их необходимость.

В дверь ломятся:

— Открывай! Всё равно достанем!

— Я уже открыла. Книгу, — на коленях у меня в самом деле лежит роман Густава Эмара. Мне весело: им до меня не добраться, а в словесной дуэли я не то что пятерых, а и пятьдесят таких противников одолею без труда.

— Вы-хо-ди! Убьем!

— Это, конечно, заманчиво. Но вас маловато. Вы бы еще человек десять позвали, а то не справитесь.

— Ну, дает! Эх, как бы ее выкурить оттуда?

Пусть мучаются. Погалдят и разойдутся. Это не настоящие враги, так, дурачье. Вряд ли они дождутся конца моего дежурства. А если и так, тем хуже для них: за мной сюда зайдет наша словесница, милая молодая женщина, сторонница либеральных методов преподавания. Вопреки всем моим достаточно обременительным для нее анархическим выходкам Наталья Антоновна умудряется хорошо ко мне относиться. Она из тех, кого позднее назовут шестидесятниками. Поощряет в меру свободные дискуссии о внутриклассных конфликтах и проблемах бытия, отраженных в томительно плоских современных повестушках (втайне хмыкаю, но участвую и даже, распалясь, преглупо петушусь). Задушевный облик, который она тщится придать школе, оставив ее при всем том безусловно советской, импонирует в нашем классе, кажется, всем. У меня от этого рода задушевности сводит скулы, но придираться грех: по сравнению с казенным рылом, каковое Наталья Антоновна пытается облагородить, это, конечно, может сойти за человеческое лицо. Но главное, у нее самой лицо уж точно человеческое: я, как правило, вижу его с удовольствием. А сегодня, если ее появление разгонит этих болванов, и подавно.

Отпустив еще пару ехидных реплик в адрес осаждающих, я возвращаюсь к Эмару. И вдруг — ликующий вопль:

— А-а-а! Вон идет ее сестра с бантóм! Поймаем сестру, небось, тогда выйдет!

Я пропала. Еще можно было бы надеяться, что они блефуют, но «с бантóм» — это точно Вера. Ее бант едва ли не больше своей владелицы: тетушка подарила ей широченную ленту цвета бордо, и когда она, нацепив на темя это украшение, важно шествует по тропинке через поле ржи, ее не видно, бант сам по себе плывет по желтым волнам...

Делать нечего. Я кладу книгу на одну из верхних клеток — буду жива, потом заберу — и, сделав глубокий вдох, распахиваю дверь. Как можно резче. Я столько успела им сказать! Потасовка будет жуткая.

Вперед! Прямо на нападающих. Они расступаются. Молча. Невероятно! Минуя их и, стараясь не ускорять шага, иду навстречу Вере. Беру ее за руку. Сестренка вскрикивает:

— Ой, ты что!

— Больно? Извини...

Уходим, и нас никто не преследует. Только когда мы уже далеко, один из мальчишек выкрикивает что-то. С трудом разбираю:

— Буржуи! Два мотоцикла!

Ну да, всё тот же лозунг, под которым начиналась осада кроличьего сарая. Новая сенсация, связанная с нашим семейством, сильно будоражит местные умы. Мотоциклы не мотоциклы, но пару недорогих венгерских мопедов родители действительно купили. На поселке, кажется, только об этом и судачат:

— Совсем спятили! Добро бы мужик, но чтобы баба на мотоцикле гоняла! Голова уж седеет, а туда же! Сядет на него и прям несется по улице! Пыль столбом, хвост трубой! Людей бы постыдились! Во психи-то!

У них светлая полоса: новая игрушка на время умиротворила отца. Когда они с мамой, склонившись над разложенными на столе техническими паспортами, вникают в чудовищно невразумительный перевод с венгерского, толкаясь лбами, хохоча, споря, можно подумать, будто... Нет, не надо. Довольно самообманов.

— Девки ходят, как уродки какие, а они на ветер деньги бросают! На платьишко девкам, на пальтецо не хватает, а мать с отцом дурью маются... — стонет поселок.

Спасибо поселку. Его назойливый суд и тупые насмешки помогли мне понять, что тут родители правы. Я раз и навсегда признала, что они вольны отодвигать наши детские интересы на второй и третий план, «жить для себя».

Вере труднее. То, что Гирники — притча во языцех, тяготит ее тем больше, что она, в отличие не только от мамы, но и от меня, такой участи не выбирала. Ей, младшей, весь этот нонконформизм навязали, не спросив. Сестра потихоньку бунтует, отсюда выбор подруг — самых недалеких, судьбой и природой обделенных девочек. Она по горло сыта и моим умственным превосходством, обеспеченным пятилетней форой, и насмешливыми ужимками других куколок-отличниц, которые, даром что от горшка два вершка, уже видят в ней соперницу и не упускают

случая уколоть — за жалкую, трижды перелицованную форму, за «странность» нашего семейства. Существо очень гордое и столь же уязвимое, Вера нуждается в бережном обращении, а ждать его не от кого — ни дома, ни в школе. Потому-то, слывя светочем своего второго «б», она предпочитает общество его отверженных, тех, для кого ее авторитет неоспорим, а блеск ослепителен. Особенно привязалась к Вере одна — Наташка Козлова, нескладное, утомительное созданье с янтарными очами феи и деревянным смехом идиотки. С некоторых пор она торчит в доме постоянно, по всякому поводу разражаясь резким внезапным гоготом.

— Ха-ха-ха! Голая!

Оглядываюсь в досаде. Наташка тычет пальцем в иллюстрацию из «Нивы». Толстенную ветхую подшивку дореволюционного журнала нам дали почитать соседи Гороховы, это сущая прелесть, чего там только нет, особенно до тринадцатого года. Дальше начинается что-то знакомое, военно-патриотическое, только вместо партии все долдонят про Господа и Государя. Но Вера с Наташкой, не будь дуры, листают другие, более завлекательные номера. На картинке — какая-то псевдоантичная статуя, это она приводит Наташку в такой раж:

— Да посмотри же! Совсем голая!

Выдержав впечатляющую паузу, Вера роняет:

— Голая будешь ты, если разденешься. Она — обнаженная. Это искусство.

Ага! «Сестра с бантом» явно начинает соображать. Жаль, что мы так часто ссоримся. В последнее время — из-за мопедов. Сценарий обычно один — Вера пытается роптать, я сердито обрываю ее:

— Кто работает, они или мы? Кто с утра до вечера в конторе и в котельной, пока мы тут слоняемся и придумываем, чем бы себя занять?

— Взрослые все работают, — сестрица надувала губы. — А мопедов никто себе не покупает. Люди стараются, чтобы всё детям. Когда у меня будут дети, я не стану покупать мопеды, а буду следить, чтобы мои дочки выглядели не хуже других!

— Тебе вредно гостить у тетки. Глупость заразительна: ты от нее приезжаешь такая же, как все!

Я так кипятилась не оттого, что была образцовой дочерью, любившей папу и маму больше самой себя и готовой всем для них пожертвовать. Просто моя корысть была иного рода, чем ребяческие претензии сестры. Когда родители седлали мопеды и с треском уносились в даль, я торжествовала: под ложечкой, где,

похоже, и квартирует душа, становилось жарко и весело. С ними и за них я тихо праздновала победу, пусть краткую, над чем-то давно ненавистным. Сбрасывая ярмо повседневности, они в эти минуты доказывали, что жизнь и за пятьдесят может чего-то стоить. А то я уже начинала подозревать, что ей и на втором десятке грош цена...

Однако ничто не совершенно: была во всем этом сторона чрезвычайно обременительная. Козы! В отсутствие родителей ответственность за них целиком ложилась на меня. Из-за этого я почти физически ощущала, как упомянутое выше ярмо с их плеч валится на мои собственные.

Сказать, что я не жаловала коз, значило бы не сказать ничего. Мне, ревностной любительнице живой природы, в козах претило всё. Их вздорный нрав, тупые, упрямые морды и пронзительное блеяние злили меня неописуемо. Это было то самое предельное раздражение, о каком бабушка говорила: «Аж под ногтями колет!».

К козлятам я относилась терпимо: резвые созданья, почти неразличимые, но славные. Да и непреложный факт, что скоро козочек продадут, а козликов зарежут, вызывал легкую грусть. Очень легкую: жалеть козлят всерьез, зная, что из них вырастет, было невозможно.

Взрослых коз было две, Зорька и Белка. Под ногтями особенно кололо от Белки, поскольку она была безрогой, так что в случае нападения даже не за что было ухватиться. Склонные к вульгарному юмору, козы норовили, улучив минуту, хорошенько поддать мне под зад. Но если Зорьку еще удавалось в последний момент поймать за рога, то Белка была неуязвима и, похоже, догадывалась об этом. Опыт велел не поворачиваться к ней тылом, однако и это не всегда помогало — Белке случалось атаковать и в лоб. Не желая себе в этом признаться, я ее побаивалась, что, естественно, не прибавляло симпатии. Что до лохматого, с кудрявым чубом и налитыми кровью буркалами козла Петрония, наш древний римлянин бодался редко, но так сопел и вонял и так прочно врастал в землю вовсе не там, куда я его вела, а где ему заблагорассудится, что хотелось разорвать его на куски.

Пасти эту ораву было мученьем, хотя со стороны картина выглядела, наверное, идиллически. Маленькое стадо, белеющее на зеленом фоне, под сосной — загорелая пастушка с длинными косами, с книгой в руках... Как же! Стоило пастушке погрузиться в чтение — а она туда ухала с головой, глубоко и надолго, — как стадо, дробясь, начинало белеть всё дальше и дальше, так что загнать его потом в сарай оказывалось делом почти неосущест-

вимым. Когда же их привязывали, особенно так неумело, как это делала я, козы исхитрялись за час-полтора вытаскивать колья из земли и разбредаться кто куда, волоча за собой веревки. Если наступало время их доить, а мама всё еще на пару с отцом обгоняла ветер где-то на подмосковных шоссе, приходилось заставлять Веру держать подлых тварей за задние ноги, чтобы не брыкались: очевидно, доила я плохо. Да и за мою неприязнь козы справедливо платили той же монетой.

Когда мнишь себя романтической героиней, а приходится дергать за козье вымя, терпеть Белкины излюбленные пинки, носиться, обливаясь потом, по полям за мекающими и бекающими мерзавками или, надуваясь, как бурлак, тянуть с места упершегося Петрония, контраст между мечтой и действительностью из печального становится оскорбительным. По моему тогдашнему убеждению бедность обихода и даже грубость среды еще можно сносить с достоинством, но с достоинством иметь коз не смог бы никто!

А между тем когда я была младше и мне поручали пасти одних козлят, это было даже интересно. Случались занятные встречи. Однажды пожилой пузатый дачник в белой панаме подошел полюбоваться на моих подопечных. Меня он приветствовал чрезвычайно учтиво:

— Если это не слишком большая дерзость, позвольте, сударыня, осведомиться, как вас величать.

— Саша.

— О, я бы не позволил себе называть вас так фамильярно. Как ваше отчество?

— Николаевна.

— Рад знакомству, Александра Николаевна. Разрешите представиться и мне: Павел Аркадьевич. Я гений и юноша.

Увы, я была слишком мала, чтобы оценить такую шутку, если то была шутка, или испугаться этого бреда, если в наше поле забрел сумасшедший. В том, что он сказал, я не усмотрела ничего сомнительного.

— Я спою вам, хотите?

И тут же во все горло затянул балладу про Ермака, который «сидел, объятый думой, среди раскинутых шатров». Я слушала, немного приуныв: гением Павел Аркадьевич был явно не в области вокала, и баллада показалась мне слишком длинной. Покончив с ней, певец удалился. Когда я рассказала о нем дома, меня надолго перестали пускать в поле одну. Так им не понравился мой новый знакомец. И зря: я поныне уверена, что он был совершенно безобиден.

В другой раз, когда я прогуливала козлят, взору моему представилось ослепительное виденье. Посреди поля перед мольбертом стоял некто, весь в голубом. Незнакомец был строен, как сказочный принц. Его золотистые кудри спускались до плеч. О стилягах я уже слышала, и карикатуры в папиных газетах видела: нет, ничего похожего! Я была так изумлена, что даже позабыла обычную застенчивость. Подошла ближе. Подкравшись на цыпочках, издали посмотрела, что он делает. На крошечной, размером с два спичечных коробка картонке, прикрепленной к мольбертику, златокудрый запечатлевал вид больничной усадьбы: «кремлевский» забор, высокие тополя над ним, старую березу и пару сосен на переднем плане.

Боясь, как бы лазоревый принц не растаял в воздухе прежде, чем я покажу это чудо бабушке, я помчалась домой. Стоя над керогазом, бабушка помешивала какое-то варево и мурлыкала:

Глядя́ на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегу Невы...

— Пойдем со мной! Скорее! — завопила я.

— Сейчас не могу, молоко убежит.

— Пусть! Там... ты не понимаешь... там такой...

Нервничая оттого, что не умею словами передать всё великолепие увиденного, я попыталась объяснить бабушке, насколько ничтожно какое-то молоко в сравнении с тем, что она рискует проворонить. Нимало не взволнованная, бабушка пожала плечами:

— Есть люди, которые готовы на всё, только бы обратить на себя внимание. Это суетное желание, Шура: когда станешь старше, ты сама убедишься, что в натурах этого склада, как правило, нет ничего по-настоящему примечательного. Они это сами чувствуют, вот и отращивают длинные волосы, завиваются, рядятся, как павлины, чтобы похвастаться хотя бы наружностью. Видимо, тебе встретился один из этих бедных людей. Ты говоришь, он художник? Но что ты сказала о его картине? Что она прекрасна? Нет, что очень мала. Только и всего. И ты хочешь, чтобы ради этого несчастного глупца в голубом я переварила кашу? А тебе, кстати, пора вернуться к твоим козлятам.

Кажется, именно тогда я впервые испытала приступ неприязни к пастушескому образу жизни. Бабушка не убедила, а только обидела меня. Даже не захотела взглянуть! А если бы посмотрела, небось, по-другому бы рассуждала... Разве так уж важно, насколько хороша картинка? Главное, есть на свете такие легкие, высокомерные, таинственные люди. Они ни на кого не похожи и никогда — так вещала моя интуиция — никогда не пасут коз.

Но то было давно, теперь же, когда я выросла, галантные гении и загадочные красавцы словно повымерли. Зато на мое поле зачастили дядьки с мутными, как у Петрония, глазами и заторможенной речью. Они были так похожи друг на друга и до того неприятны, что я не запоминала их физиономий и даже местных от дачников с трудом отличала, хотя обычно это получалось само собой. Судя по невзрачности и неотесанности, по большей части дядьки были местными. Мы ведь, живя замкнуто, мало кого из поселковых помнили по имени и в лицо. Зато нас все знали: поле, где стоял, прилепившись к углу больничного участка, наш домишко, открывалось перед поселком, как сцена перед зрительным залом.

Пожалуй, дядек не стоило судить так уж строго: вид, в котором я красовалась на этой сцене, был чистой воды провокацией. Той весной тридцатилетняя кузина Алла, женщина столь редкостной прелести, что и меня бы пленила, если бы природа позаботилась лишить ее языка, самодовольно изрекающего пошлости, отдала маме для меня шелковое гранатового цвета платье, достойное светской львицы. Рукава, слегка обтрепавшиеся, бабушка укоротила, размер же к немалой ее радости и моей печали подошел точь-в-точь. Для своих лет и при высоком стане Алла казалась истинной сильфидой, но мои низкорослые тринадцать рановато вписались в рельефный лиф с глубоким дамским вырезом, заниженной талией и игривым мыском спереди. Длинная юбка, скроенная по косой, струясь волнами, довершала прельстительный силуэт. Всё это, надо полагать, отлично смотрелось на званых вечерах, в кругу преуспевших мира сего. Но на поляне у окраины убогого полудачного-полупролетарского поселка гранатовое платье дразнило, как красный фонарь. Выглядела я в нем на все шестнадцать, да еще странноватые, как знать, может быть, извращенные шестнадцать.

Книжная манера выражаться и до безвкусности горделивые ужимки, которыми я отвечала на заигрыванья докучных петрониев, окончательно сбивали их с толку. Мне бы притвориться пай-девочкой, а я изображала необъезженную лошадку, плела с досады небылицы, называла себя какими-то несусветными именами — более чем остроумный способ отвадить ухажеров! По поселку поползли щекочущие слухи о моем распутстве. Где-то в окрестностях имелись военные казармы, так молва утверждала даже, что я, гонимая неутоленными страстями, бегаю туда. В школе этот слух имел немалое хождение — нет худших сплетников, чем подростки, воспитанные в ханжеских понятиях. Толкуя о чужом разврате, воображая его и ужасаясь, они получают

удовольствие слишком острое, чтобы можно было отказаться от него из почтения к истине. Даже в моем классе, где меня как-никак знали, нашлись пылкие сторонники этих легенд. К репутации интеллектуалки прибавилась слава казарменной Мессалины. Она продержалась годы. Позже, узнав об этом, я умышленно спровоцировала класс на очередной, уже не первый упрек в пренебрежении к коллективу, чтобы отвести душу, сказать им всем сразу:

— Мне известно, какую сплетню обо мне вы смакуете. Вы отлично понимаете, что это вранье, но оно вам по вкусу. Если бы я уважала вас, мне бы оставалось только удавиться. Но, на свое счастье, я знаю вам цену. А теперь посмейте сказать, что я ее занижаю!

— Шура, что это значит? — наша словесница, которая вела то историческое классное собрание, изменилась в лице. — О чем ты? объясни!

— Извините, Наталья Антоновна, но я не возьмусь. Мои товарищи, претендующие на уважение, приписывают мне нечто такое, для чего приличных слов не подберешь.

— Ну, хоть намекни, я же должна понять...

— Нет, не смогу, увольте. Однако Лошакова честно объявила мне в глаза, что ей трудно не верить тому, о чем говорят все. Так, может быть, кто-нибудь из этих всех и намекнет? Ну, давайте, вам же не привыкать! Мила, а ты что же? Ты ведь мне так понятно все растолковала!

Народ, естественно, безмолствовал. Милка Лошакова, неплохая девчонка, с которой мы до и, что любопытно, после этой истории вполне нормально ладили, рыдала, уронив на парту светловолосую пушистую голову. При этом зрелище мне стало не по себе, как щедринскому медведю, который «чижика съел». А бедная Наталья Антоновна, как она расстроилась, испугалась, как смутилась! Я почти пожалела о своей мстительной эскападе. Она, столько сил положившая на создание во вверенном коллективе доброй, нравственной атмосферы, не заслужила такого удара, а мне, в ту пору уже семнадцатилетней, эта мелкая расплата была не слишком нужна. Я тогда носилась с гамлетовским вопросом — он достаточно тяжел, чтобы перевесить любую болтовню, даже такую скабрезную.

Но это будет потом, а пока я пасу коз и бешусь от несносных визитов. Причины явления мне непонятны. Разумеется, я не прочь от успеха. Но не такого же! Однако другого, поэтичного и лестного, нет и в помине. Или он вообще не для меня, и мой удел — петронии? Проклятье! Конечно, можно пожаловаться родителям, и меня тотчас перестанут отправлять на луга и паст-

бища. Но это бы значило сократить их мопедные путешествия, нарушить хрупкое веселое перемирие, установившееся в доме. Из-за дядек? Еще чего не хватало!

— Здравствуй, Эсмеральда.

О, мои Леоноры, Клотильды, Инезильи! Как было не принять их за кокетство? Откуда взялась эта идиотская выдумка? Должно быть, оттуда же, откуда берутся иные авторские псевдонимы: из потребности отстраниться от происходящего, поставить между ним и собой слово-ширму, пестрота которого, по-дурацки кричащая, служит дополнительной защитой. А может, и кокетство всё же было. Волнение рано проснувшейся женственности, не признанное разумом («Если что-нибудь такое почувствую, сразу покончу с собой!»), в своей бессознательности могло проявляться тем глупее.

— Ты меня ждала.

Он не спрашивал, а утверждал. И не ошибался: я уже в прошлый его приход поняла, что от этого отвязаться будет потрудней, чем от прочих. Отталкивающ он был не менее, но отчего-то еще и пугал. Грузный, с квадратными плечами и большим серым лицом, он не улыбался даже той дрянной нагло заискивающей улыбкой, что была мне так хорошо знакома. Вот и теперь он угрюмо взирал на меня сверху: я сидела на траве, а он нечистой глыбой громоздился на фоне голубого неба.

Я пожала плечами. Может, если совсем ничего не отвечать, отстанет?

— Ты, наверное, соврала. Признавайся: тебя зовут не Эсмеральдой.

Молчание.

— А я тебе врать не буду. Смотри, вот мой документ.

Он сунул мне под нос засаленную книжечку-пропуск с фотографией. Мелькнуло: «Иванов», «старший инженер», и я поспешно отвернулась. Голосом таким же безжизненным и серым, как его лицо, старший инженер Иванов продолжал:

— Настоящий мужчина, Эсмеральда, всегда добивается своего. Ты в этом скоро убедишься. Всё будет, как захочу я.

Это было чересчур, и я уже открыла рот для негодующего восклицания, как вдруг за спиной собеседника увидела нечто такое, отчего моя физиономия расплылась в блаженной ухмылке. Приняв ее, должно быть, за предвестие своей победы, настоящий мужчина наклонился вперед — и тут Белка, лихо разогнавшись, врезала ему своей безрогой башкой пониже спины. Даже для такой мастерицы пинков в зад, какой являлась моя милая козочка, это был шедевр. От неожиданности инженер Иванов

упал на четвереньки, а я, насилу успев отскочить, пустилась наутек.

В тот день у меня зародилось подозрение, что козы, может быть, не такие дуры, как я привыкла полагать.

13. ПОХВАЛА НЕБЛАГОДАРНОСТИ

На первом этаже нашей школы был тесный, во время перемен плотно забитый народом буфет. Там продавались пирожки с повидлом, счетные конфеты «подушечка» и мутный, отдающий помоями чай. Денег, которые я получала от мамы на завтрак, хватало на стакан такого чая и два пирожка, помнится, довольно вкусных.

Однажды, купив всё это и приткнувшись в уголке со своей добычей, я увидела маленькую, из третьего, а то и второго класса, изжелта-бледную девочку. Затертая толпой, она провожала каждый попадающийся ей на глаза пирожок тусклым, обреченно-фанатическим взглядом. Ее никто не замечал, да и она, похоже, не замечала толкавших ее.

Оставив свой уютный уголок, я пробралась к ней и, почти робея, спросила:

— Как тебя зовут?

— Люда, — буркнула девочка, но, увидев в моей руке кулек с пирожками, самозабвенно уставилась на него.

— Знаешь, Люда, — промямлила я с трудом, — у меня тут два пирожка, а это слишком много. Может, ты составишь мне компанию?

Я не успела договорить, а девочка уже протягивала крупную для своего роста грязноватую лапку с черными ногтями. «Наверняка с Карандашки», — подумала я.

Люда жевала, ее свинцовые недетские глаза жмурились. Глядя на нее, я упивалась содеянным добрым делом, уже прикидывая, сколь отрадные плоды оно мне принесет. Конечно же, я теперь всегда буду делиться с Людой завтраком, ей больше не придется голодать, она полюбит меня... Мне в то время ненасытно, жадно хотелось, чтобы все меня любили. А догадка, что претендовать на владение чужой душой взамен на что бы то ни было и уж тем более на пирожок по меньшей мере некрасиво, еще не посещала мою умную голову.

— Приходи сюда завтра в это же время, — сказала я девочке. — Я на второй перемене всегда здесь бываю.

На другой день Люда ждала меня с немалым беспокойством: боялась, что обману. Я угадала это по ее лицу, при моем появле-

нии просиявшему почти удивленно. Со мной на сей раз был промасленный сверток: поразмыслив, я сообразила, что изголодавшейся Люде одного пирожка мало, и попросила бабушку дать мне с собой пару бутербродов. Для несчастной девочки это был целый пир.

С тех пор я неизменно являлась в школу со свертком: таким образом, кроме пирожка, Люде доставались два бутерброда. Однажды, проголодавшись больше обычного, я сказала ей:

— Сегодня я съем один из бутербродов, хорошо?

— На что тебе? — она пренебрежительно оглядела меня. — Ты и так толстая.

Растерявшись, я отдала ей сверток целиком и весь следующий урок обдумывала положение. Мне уже давно казалось, что девочка не питает к моей персоне не только ожидаемой поначалу любви, но и малейшей приязни. Однако сегодня я прочла в ее взгляде нечто похуже, чем простое равнодушие грубого, дикого существа, не ведающего чувства признательности. Это была холодная враждебность человека, на чьи законные права осмелился посягнуть кто-то низший, едва ли не подчиненный.

Или мне померещилось? Зная за собой способность нафантазировать с три короба, я решила понаблюдать за Людой и на следующий день нарочно пришла в буфет с опозданием, минуты за три до конца большой перемены.

— Как ты долго! Жди тебя еще! Давай мой хлеб и покупай пирожки! Не копайся, щас прозеваешь!

Впервые я услышала из уст крайне немногословной Люды столь пространную речь. Форменный выговор! Никому другому я бы не позволила безнаказанно говорить со мной в подобном тоне. Но как дать отпор такой маленькой и настолько тяжело живущей девчонке? Я ведь помнила ее ужасный взгляд тогда, в первую нашу встречу.

По-видимому, она считает, что ничем мне не обязана. Что это, напротив, я обязана кормить ее: раз я это делаю, стало быть, должна, иначе с чего бы мне лезть из кожи, зачем со своим добром расставаться? Она, конечно, не понимала, каковы истоки этой моей подневольности, но в ее мире было так много непонятного, что она привыкла этим не смущаться. Сам факт подневольности налицо, и ладно. Ей показалось, что я начинаю манкировать своим долгом, и она сочла нужным меня малость приструнить.

Сообразив это, я была уязвлена, хотя Людин варварский ход мысли по существу стоил моей полуосознанной надежды воспользоваться ее отчаянным положением, за бесценок купить беззаветную преданность. И на черта она мне сдалась, ее привя-

занность? В сущности, я с самого начала находила эту девочку неприятной, да и мудрено быть другим вечно голодному, вшивому, затурканному ребенку. Поневоле приходилось признать, что если я была кругом неправа, то на стороне Люды кое-какие резоны имеются. Ведь не хватит же у меня духу в следующий раз сказать ей: дескать, не все коту масленица, больше на меня не рассчитывай. А раз я этого не могу, значит, и точно влипла во что-то вроде обязанности.

Придя к подобному заключению, я решила смириться и платить свою дань исправно, воображая, что в этом случае всё пойдет спокойно. Не тут-то было: Люда будто с цепи сорвалась. Она стала меня подстерегать. Домой не приходила ни разу, но стоило забрести на станцию за покупками либо в кино, как непременно то у продмага, то у книжного или аптеки передо мной, как из-под земли, вырастала пыльная назойливая фигурка:

— Купи чего-нибудь!

С деньгами у меня было туго: на самое дешевое мороженое или билет в кино хватало далеко не всегда.

— Ты чего это там жрешь? Я тоже хочу мороженое!

— У меня всего одна порция, понимаешь, только девять копеек было.

— Не бзди! Вон уже сколько сожрала, теперь мне дай!

Надо отдать бедняжке справедливость: она, видимо, очень старалась, говоря со мной, изъясняться вежливо. Словечки вроде «жрать» и «бздить» в ее понимании не были грубыми, а других, тех, что были наверняка самыми употребительными в ее кругу, я от Люды никогда не слышала.

В тот день я собралась в кино. Шла заграничная картина «Моя бедная любимая мать». Название не очень прельщало, но зато было понятно, что там не будет рабочих и колхозников, солдат и матросов, нудных разговоров про труд и народ, а также того, что мама с непередаваемым выражением называла «бодрыми песнопениями». Правда, на заграничные картины пробиться было особенно трудно: парни толкались и выдавливали неудачников из очереди, тянувшейся вдоль стены клубного вестибюля к окошечку кассы. Несколько молодцов с Карандашки, пристроившись в хвосте, начинали давить. Счастливцы, почти добравшиеся до окошечка, держались крепко, а вот в середине очереди под этим напором вздувался как бы огромный пузырь. Потом он лопался, и те, кто был между ее головой и хвостом, вылетали из цепочки, которая мгновенно смыкалась, да так туго, что нечего и думать втиснуться обратно. Однако я научилась бороться с этой напастью: вся хитрость состояла в том, чтобы как можно плотнее

прижиматься к стенке, в остальном же стихии не препятствовать. С тех пор как освоила этот прием, я почти не вылетала, так что бесчинства озорников оказывались мне даже на руку.

Из дому я вышла несколько позже, чем следовало. Еще билеты кончатся! С другой стороны, чем меньше я буду околачиваться у кассы, тем больше шансов ускользнуть от Люды. Ее безошибочный нюх наводил на меня трепет, близкий к мистическому.

Уже перейдя ручей и поднявшись на взгорок, откуда начиналась Павловская — улица, ведущая прямо к станции, — я услышала за спиной железное позвякиванье. Жучка, оборвав цепь у самого ее основания, мчалась за мной, звеня оковами. Как она была довольна, как плутовато улыбалась ее усатая смышленая мордочка!

Я попыталась расстегнуть ошейник. Не вышло: он как раз накануне порвался, и отец зашил его намертво прямо на Жучкиной шее, а маме сказал, чтобы купила в Москве новый.

Ликуя, что вырвалась на свободу, собака носилась вокруг, приглашая разделить ее радость и вынуждая двигаться вприскочку, перепрыгивать снова и снова захлестывающую ноги бряцающую петлю. Напрасно я кричала: «Фу! Перестань! Домой!» — ум и деликатность изменили Жучке. Оно и понятно: с сидением на цепи эти достоинства плохо сочетаются.

И тут я обозлилась. Пропустить кино из-за того, что ее именно сейчас угораздило сорваться с привязи? Чего ради? Когда я скроюсь за дверями клуба, она преспокойно вернется к себе в будку, такое уже случалось, и не раз. Правда, с этой цепью ее проще простого поймать... Да пустяки, кому она нужна?

К зданию клуба мы подошли вместе. Но войти я не успела — из-за угла выскочила Люда:

— Я мороженое хочу!

— Не получится. Тогда на билет не хватит.

— Зачем тебе в кино? Купи мне мороженое, а сама домой иди.

История с Жучкой, подспудное ощущение вины оттого, что бросаю собаку посреди поселка с проклятой цепью на шее, — всё это сделало меня нетерпеливой. Я отрезала жестче обычного:

— Нет!

И двинулась дальше. Люде такой бунт не понравился, и она, обогнав меня на крыльце, раскорячилась в дверях:

— Купи мороженое, кому говорят! Хватит дурью-то мучиться!

В том возрасте со мной случались приступы дикого гнева. По счастью, редко, но в такие минуты я, видимо, не слишком походила на уравновешенную юную особу из приличной семьи.

— Отстань! — прошипела я, злобно сузив глаза. — А ну, прочь с дороги!

Девочка отшатнулась. Ее лицо, не умеющее выражать сложные чувства, странно перекосилось. Что это было: ненависть, стыд, испуг? А может, сожаление? Я на нее больше не смотрела — торопливо проскользнула в дверь, пристроилась к очереди и почти тотчас оказалась у кассы усилиями татуированного богатыря, вставшего за мной и, двинув плечом, в одиночку выдавившего человек семь конкурентов.

Когда, насладившись жестокой мелодрамой, я вернулась домой, Жучки на месте не оказалось. Старшие, качая головами, сетовали, как плохо, что она удрала с цепью. Но тем не менее ждали, что всеобщая любимица погуляет и вернется. Они-то думали, что она обследует помойки на ближайших окраинах. Им и в голову не приходило, что Жучка могла оказаться в самом центре поселка, волоча за собой цепь. И что я ее в таком виде там бросила. У меня не хватило духу признаться в этом. Даже Вере.

Когда на следующий день я спустилась в школьный буфет, Люды там не было. Не пришла она и назавтра. Она больше вообще не приходила. И на улицах, где еще недавно нельзя было шагу ступить без того, чтобы натолкнуться на маленькую угрюмую попрошайку, ее не стало. И в школьном коридоре ни разу, даже издали, не мелькнула. Явись она, я бы снова покупала ей пирожки, куда бы я делась? Но нет: похоже, этот наглый звереныш со свинцовыми глазами воспринял нашу размолвку серьезнее моего. Да ведь и я чувствовала, что между нами случилось что-то темное. Даже не попыталась отыскать ее. Впрочем, это было бы и мудрено: я не знала, ни в каком она классе, ни как ее фамилия, а под крышами одинаковых скверно-желтых бараков Карандашки жило много истощенных грязных девчонок. У моей подопечной не было особых примет.

Исчезнувшая, как наваждение, она преподала мне ценный урок: никогда, ни за что, ни от кого не ждать благодарности. Не потому, что ее не существует, а потому, что желать ее — пошлость, за которую потом стыдно. Сделать что-нибудь хорошее достаточно приятно, чтобы за свое же удовольствие требовать еще и награды, норовя получить то, чему нет цены, взамен на то, что недорого продается в буфете. Не за эти ли по сути мошеннические расчеты девчонка, живущая в нищете и потому с пеленок навидавшаяся, верно, самых разных мелких обманщиков, так упорно мне мстила?

Я-то ей благодарна. В конечном счете ничего, кроме добра, Люда мне не сделала. Даже в тот последний день, когда она так

бесстыдно вымазживала это злосчастное мороженое, лучше бы я и вправду не пошла в кино, а плюнула и купила ей его. «Моя бедная любимая мать» была, должно быть, никудышным фильмом. Ни слова, ни кадра, ни единого лица оттуда не помню. А ведь из-за того, что мне приспичило его посмотреть, пропала Жучка. Моя бедная любимая Жучка... Я постаралась убедить себя, что такая милая, смешная собака не могла погибнуть: приглянулась кому-то, вот и украли. К тому же меня в то время прельщала идея, что надо быть выше угрызений, и даже казалось, будто я в том преуспела. Но когда года три спустя отец сказал, что, кажется, видел Жучку на дальней окраине поселка, и описал дом, у крыльца которого она была привязана, я так и не собралась пойти посмотреть. Слишком хотелось верить, что Жучка спасена. А я, сколько бы ни упражнялась в самоутешениях, достаточно хорошо знала родной поселок, чтобы не понимать, как мало надежды. Скорее всего отец ошибся — он мало смыслил в собаках.

14. КОТЕНОК МАДАМ АГНЕССЫ

Подмосковный поселок конца пятидесятых — начала шестидесятых годов был местом до крайности унылым. На всем лежал отпечаток нищеты, то скромной, чистенькой, то вопиющей, но куда хуже была бедность душ. Стоило пересечь поле, перейти ручей, и тебя обступало царство ветхих домов, скрипучих заборов, стертых физиономий, скучных серых слов.

Лица могли быть добродушными или злобными, речи — мирными или скандальными, но проклятая печать монотонной тусклости лежала на всем. Только от детей, если не считать вконец обездоленных уроженцев Карандашки, еще исходил какой-то недолговечный свет. Вечерами, по своему обыкновению не слушая преподавательницу, что-то долдонившую у доски, я иногда с тревожным изумлением оглядывала ряды киснущих за партами одноклассников. В начинающихся сумерках их лица бледнели, становились тоньше, в глазах появлялся темный глубокий блеск... чертовщина! Учительница протягивала руку к выключателю, вспыхивали желтые прозаические лампы, и вокруг опять торчали надоевшие рожи, которых за двумя-тремя исключениями век бы не видать. Одно слово — пионеры. Или, позже, комсомольцы.

Тут надобно уточнить: я не считала себя ненавистницей советской власти. Этот режим, без остановки тупо и громогласно прославляющий сам себя, был мне противен так же, как школьные и поселковые нравы, но при всем том осторожное молчание

родителей и непрестанное гудение пропаганды привели к тому, что я не мечтала о переменах. И в дальние страны не рвалась. То есть рвалась, конечно, но не к свободе, которой — верила! — там еще меньше. Просто хотелось взглянуть хоть раз на все эти джунгли, саванны, теплые моря, прежде чем... прежде чем умереть.

Не повезло с эпохой, думала я. Невозможно, стыдно жить в таком мире. Если то, что меня окружает: эта серая покорная стадность, это скудоумие, эти припадки визгливого жалкого веселья по праздникам и беспросветная уверенность в завтрашнем дне, который, хоть ты лопни, будет похож на сегодняшний или — вот спасибо-то! — немножко лучше, если всё это суть высшие достижения современного человечества, стало быть, выхода нет. Подобно бедолаге из анекдота, что топчется спьяну вокруг афишной тумбы и голосит «Замуровали!», я с ранних, даже до смешного ранних лет чувствовала себя погребенной в скучнейшем из времен.

Между тем среди однообразных обитателей поселка имелись две живописные фигуры, заброшенные сюда из другого, не столь удушающего времени. Они возбуждали во мне жгучий интерес. Оба «из бывших», господин и дама. Друг друга они не знали — поселок был велик, и жили эти двое в разных его концах.

Господина я приметила первым: он, случалось, прогуливался, тяжело опираясь на трость, по нашему полю. Это был старик неправдоподобно высокого роста, окостенело прямой, с длинным, брезгливо изогнутым синим ртом и пергаментной бескровной кожей. Не стала бы утверждать, что он мне был симпатичен, однако я много дала бы, чтобы познакомиться с таким человеком. До поры до времени это, впрочем, не представлялось возможным: пустой надменный взгляд загадочного старца скользил не мимо меня, а, кажется, мимо целого света.

Что до женщины, я приметила ее в вестибюле школы. И задохнулась от восторга и любопытства. Тоже прямая и высокая, тоже старая, дама была нечеловечески тонка, томна, изломана в движениях. Шляпа с бумажными мятыми цветами увенчивала ее иссохшую, как у черепахи, но бесподобно горбоносую головку. С плеча, скалясь лисьим облезлым черепом, спускалась вытертая горжетка.

— Клавдия Васильевна! — я чуть не ухватила в азарте за полу пробегавшую мимо с ведром школьную техничку. — Кто это такая?

Насмешливо фыркнув в спину медленно уплывающей в дверь незнакомке, тетя Клава, как ее называли все, кроме меня, сказала:

— Да так, кружок ведет вышивальный. А тебе для чего? Вышивать, что ль, хочешь?

Вышивать я не собиралась, но чтобы рассмотреть даму получше, стоило пойти на жертву: записаться в кружок. Я проходила туда месяца полтора. С тех пор знаю, что такое мулине, петельный шов, стебельчатый шов, мережка... до глади дело не дошло. Наверное, нечасто Агнессе Максимовне случалось иметь дело с такой ленивой и неспособной ученицей. Тем не менее мой интерес, робкий и почтительный, она заметила и стала приглашать меня к себе поболтать и попить чаю с неизменными «подушечками».

Мадам Агнесса, как я вскоре привыкла про себя называть ее, жила вдвоем с ничего, даже собственного имени уже не помнившей матерью, занимая половину маленького дома с яблоневым садиком невдалеке от станции. Квартирка была разделена на две комнаты, первую из которых украшали вышивки, в то время казавшиеся мне великолепными. Гигантские узорчатые бабочки пылились на стенах, прикрывая дыры в обоях. Шелковая жар-птица, раскинув многоцветные крылья, как бы готовилась присесть на электрическую лампочку слабого сортирного накала, в свете которой жилистая шея и впалые щеки Агнессы Максимовны сильно выигрывали по сравнению с ее же дневным обликом. Салфеточки всевозможных размеров и форм лежали везде и отовсюду свисали. От них, как и от хозяйки, попахивало тлением, но, как и она, все эти предметы не теряли своей неукротимой решимости блистать. Только мама-склеротичка блистать никак не могла. Изредка она высовывала из своего чуланчика, где я не была ни разу, совсем лысую и уже окончательно черепашью головенку, и тотчас дочь резким, как щелканье хлыста, окриком пресекала эти поползновения:

— Назад! Кому сказано?

Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что мадам Агнесса глупа и не добра: оба эти факта бросались в глаза даже самому неискушенному наблюдателю. Впервые я заподозрила неладное, когда еще в пору своих кружковских занятий провожала Агнессу Максимовну домой. Мимо нас пробежали по переулку две девчонки. Поравнявшись с нами, одна из них пронзительно крикнула другой:

— Ты не русская! У тебя жопа узкая!

Сия изящно зарифмованная дразнилка, наводящая на размышления как о скромных успехах внедрения интернационализма в умы, так и о специфике эстетических понятий народа, была в большом ходу среди местных подростков. Мне не раз случалось слышать ее и в собственный адрес, меланхолически отмечая про

себя, что как раз можно бы и поуже. Но в присутствии этой выступающей рядом королевы в изгнании популярное речение прозвучало особенно грубо, меня аж передернуло.

— Ах! — вздохнула Агнесса Максимовна, игривым жестом поправляя непокорный, хоть и жидковатый локон. — Такие выражения в девичьих устах! Нет, мы были совсем, совсем другими. Нежные, стыдливые... Бывало, идешь с кавалером по улице, вдруг — исподнее висит, и значит, кавалер видит, что ты это видишь! Ужас что такое! Вся так и затрепещешь, закраснеешься, ну прямо до слез!

Насилу удержавшись, чтобы не прыснуть, я без прежнего почтения покосилась на точеный профиль собеседницы. Но трудно так сразу разочароваться. А тут еще рукотворные бабочки, и птица, и фотографии на стенах, откуда юная, губительно прекрасная Агнесса глядит непостижимым взором светлых очей, о которых никто не дерзнул бы предположить, что они принадлежат дуре. И каково, сидя за чаем с подушечками, слушать, как эта феерическая старуха вспоминает былые победы, вояжи прежних дней: «Помню, в Ницце...».

Казалось бы, ну и что, если расфуфыренный болван, из всех достоинств которого она, похоже, лучше всего запомнила галстук и жилет, действительно затащил ее в постель не в Конотопе, а в Ницце? Мне-то с какой стати впадать в столбняк при одном упоминании иных географических названий? Моя собственная бабушка тоже, бывало, обмолвится: «Когда мы с Мишей были в Италии...», — а я и ухом не веду. Потому что у бабушки всё это звучит слишком обычно, будто здесь нет ничего особенного. Если мадам Агнесса произносит: «Мой будуар был отделан...» — за этими словами такая душераздирающая повесть величия и падения, что уже совершенно неважно, чем там его отделали. У бабушки тоже был будуар, но если она и упоминала о нем, пафоса было не больше, чем в разговоре о собачьей конуре. Да... Я прозевала бабушку, как чеховская Попрыгунья — Дымова.

И года не прошло, как я знала наизусть всё, о чем мадам Агнессе было благоугодно мне поведать. В ее истории осталось, правда, множество белых пятен, но их она, по-видимому, намеревалась оставить таковыми, меня же потчевала повторениями.

— Очаровательный мальчик, правда? — она доставала из ящика секретера фотографию молодого человека лет тридцати с породистым злым лицом кинематографического эсэсовца. — Его убили немцы. Ах! Такой любящий, нежный сын!

Вышитый платочек привычно вспархивает, не касаясь сухих морщинистых век.

— Посмотри, а это мой второй муж. Интересный мужчина, только ревнивец ужасный, да и скуповат... был. Видишь, это мы с ним на отдыхе в Сочи. Заметила, в каком я платье? Кстати, с портным, который мне его шил, была уморительная история...

Историю с портным я слышала в сотый раз, но истории о том, куда подевался второй муж, она так и не рассказала, и моего единственного осторожного вопроса об этом не пожелала услышать. Глядя на мадам Агнессу, я стала понимать, что было бы с нашей роскошной теткой, если бы дядюшку тогда арестовали. Только тетке пришлось бы еще хуже: она бы не сумела украсить шелковыми бабочками приют своей бедности.

Это знакомство, так неосторожно мной завязанное, тянулось годами. Временами я пробовала улизнуть, не казала глаз месяца три-четыре, но в конце концов мадам Агнесса, встретив меня на улице и укорив, что забываю друзей, добивалась обещания, что приду, что буду приходить почаще. Она ценила меня, кажется, не больше, чем я ее. Но уж слишком пуста была ее жизнь. Местные кумушки, правда, судачили, что-де «к Агнеске бесстыжей любовник молодой ходит», но потом, узнав этого унылого неприкаянного юнца, я поняла, что и это неправда. Федя был рабочий парень, мечтающий стать или певцом, или художником. Родители не понимали его, да и правильно: трудно было решить, с чем у него обстоит хуже — с живописью или пением. Вот он и повадился к мадам Агнессе изливать свои горести. Потом уже и мне изливал, так что однажды я даже продиктовала ему любовное письмо для какой-то неумолимой Сони. Сраженная моим красноречием, бедная Соня вышла вскорости замуж за этого зануду, так что я, возможно, стала причиной несчастья всей ее жизни.

Короче, это был род болота, где хоть и не захлебнешься — мелко, — но выбраться трудно. А хотелось. Не будь Агнесса Максимовна так устрашающе одинока, ноги бы моей не было в ее пестреньком обиталище. Но я же знала, что кроме тощей сиамской кошки Зизи ей и словом-то перекинуться не с кем.

— Зизи родила! — мадам Агнесса, которой я не видела уже месяцев пять, была в такой ажитации, что даже забыла поздороваться. — Что делать с котенком? Ты должна, ах, молчи, не возражай, ты непременно должна мне помочь!

Одинокий потомок Зизи сидел в кокетливой корзиночке, украшенной бантиками, и не имел в своем облике, увы, решительно ничего сиамского. Он был буровато-сер и неотчетливо полосат, но, впрочем, прелестен, как любой котенок мира сего. И вдруг я вспомнила, как дядя Жоржик недавно со вздохом, полным трагической покорности судьбе, сказал:

— Мне скучно жить, Шурочка. Остается только завести себе кота.

Дядя Жоржик — он требовал, чтобы я называла его именно так, — был не кто иной, как тот самый господин с тростью, что некогда казался мне таким неприступным. Я и не собиралась приступать к нему, но тут вмешался случай. Когда мне было девять лет, а Вере, соответственно, четыре, отцу взбрело на ум окрестить нас.

— Будьте им крестной матерью, дорогая Елизавета Антиповна! — галантно прогудел он, и хотя был весь, как обычно, в саже, и ватник на нем тут и там топорщился выдранными треугольничками, петушком подскочил даме к ручке.

— Ой, да что ж вы... право, — от растерянности Елизавета Антиповна едва не сказала «барин», — да я всегда послужить рада...

Это была древняя сгорбленная старушонка, состоявшая из одних морщин. К нам она зашла, чтобы снять мамины размеры: Елизавета Антиповна подрабатывала тем, что скверно, но недорого шила на заказ, и мама заказала ей плотный темный сарафан, в котором потом проходила на службу чуть не до самой пенсии. Старушка едва успела опомниться от маминого: «Мне нужна высокая юбка простого, строгого фасона» — сарафаном, по мнению мамы, можно назвать только летнюю одежду, портниха же отродясь не слыхивала о «высоких юбках», — а тут еще родитель со своей изысканной учтивостью. В общем, ошарашенная Елизавета Антиповна согласилась, и вскоре обряд был совершен.

О том, что портниха живет в двухэтажном ветхом доме, видном с крыши нашего сарая — типичной вороньей слободке, — я знала и раньше. Теперь, попивая чаек в нашем «палаццо», она на новых родственных правах пустилась описывать свое житье-бытье:

— Со мной человек один проживает, большого благородства и учености...

— Ваш внук? — ни с того ни с сего брякнула я.

Мне казалось, что у такой старой женщины если кто и есть, так непременно внук. Все посмеялись, но Георгия Владимировича у нас дома с тех пор так и прозвали Внуком. На самом деле Елизавета Антиповна приходилась ему всего лишь кормилицей, а он, по рождению чуть ли не граф, именовал себя актером, ибо подвизался в кино на неразличимо мелких ролях, где иногда пригождалась его в высшей степени изысканная и столь же отталкивающая физиономия.

— Взгляни, — Внук тоже любил показывать фотографии, — вон там, слева, я в роли боярина в фильме «Иван Грозный». — И

здесь... нет, здесь меня совсем не видно. А вот еще я с мальчиком, смотри, какой мальчик славный...

Пройдет года три, и маму вызовут в школу:

—Неужели вы не знали? Невероятно, ведь всему поселку известно! Этот человек гомосексуалист, его уже два раза судили за несовершеннолетних, за мальчиков. Не позволяйте своей дочери ходить в лес с подобным чудовищем!

— Моя дочь сама выбирает друзей и влиять на свой выбор не позволяет даже мне, — скажет мама, в который раз ставя учителей в тупик своей невозмутимостью. — К тому же она не мальчик.

Об этом разговоре я узнала лет семь спустя, и не от нее, а от Натальи Антоновны. Зная мои реакции, мама боялась, как бы попытка запрета не сблизила меня с Внуком: на самом-то деле сообщение ее смутило. Хотя совершенно напрасно. Только и того, что мы ходили иногда вместе по грибы, взаимно терпеливо скучая: дядя Жоржик как-нибудь тоже понимал, кто мальчик, а кто нет. Но поскольку я понятия не имела о его особых склонностях, разговор с мадам Агнессой о пристраивании котенка навел меня на заманчивую идею. Они так, в сущности, похожи! И так одиноки! Я познакомлю их, и может быть, они подружатся, даже поженятся! Будут показывать друг другу фотографии, рассказывать про будуары и вояжи, ходить на прогулки — он со своей изогнутой тростью, она в шляпе с цветами. Вот было бы здорово! А я тогда потихонечку устранюсь, потому что никто не знает, как они оба мне надоели.

— Свахе первая чарка, но и первая палка, — усмехнулась мама, когда я поделилась с ней своим планом. До палки, к счастью, не дошло, но ничего, кроме лишних хлопот, из моего замысла не вышло. Правда, мадам Агнесса охотно напялила свою горжетку, взяла корзиночку с чадом Зизи и отправилась со мной в гости к Внуку. Он был любезен, одобрил котенка, показывал нам полки с рядами толстых старых, сплошь французских книг, скорее всего, как теперь вспоминаю, то были энциклопедические словари. Я не ошиблась: дядя Жоржик и мадам Агнесса были из одного теста. Но это ничего не давало. Вдвоем они казались как бы даже не совсем человеческими существами, скорее знаками, двумя иероглифами утраченного языка. Похожими, но разрозненными: их случайное соседство не содержало смысла.

Недели три спустя удрученная, но на удивление спокойная крестная, зайдя к нам вечерком, рассказала, что Внук скоропостижно скончался.

— С утра говорил, что нездоровится ему. Потом вроде полегчало, даже прогуляться собрался. Трость уже взял, к двери пошел,

да вдруг и упал. Я к нему, что, мол, с тобой, батюшка. А он как воскликнет: «Всё кончено!». И больше ни словечка не промолвил... — она вздохнула и прибавила деловито: — Может, книги его заберете? Мне ни к чему, на помойку вынесу, а вам, может, пригодятся.

...Когда мой муж слышит об этом, он чуть не волосы на себе рвет: «Словари! Чего доброго, Большой Ларусс! Робер! Как ты могла?!». Но до нашей встречи с ним было еще добрых семнадцать лет, в доме французского языка не знал никто, кроме бабушки, к тому времени уже лежавшей пластом, не в силах не только читать, но и говорить. А хранить пусть и ценные, но никому не нужные книги в нашей тесноте было невозможно. Поэтому из всего графского наследства нам достался только котенок: мадам Агнесса категорически отказалась принять его обратно. Я ждала, что отец тоже воспротивится, но как только крестная заикнулась об осиротевшем питомце Внука, он сразу объявил, что мы, разумеется, возьмем беднягу.

Дело тут было не столько в самом котенке, сколько в том, что внезапная кончина Георгия Владимировича поразила его. С недавних пор ко всему, что касается старости и смерти, отец начал относиться с проникновенным, скорбным пониманием человека, ведающего, что и его час уж недалек. Отменно здоровый, при всей нервической неуравновешенности бодрый и крепкий, он уже примеривался к роли угасающего, всеми покинутого и отчасти даже поруганного старца, почти короля Лира. А так как актерских данных у него было побольше, чем у злосчастного дяди Жоржика, нам предстояло без малого три десятилетия наблюдать за творчеством мастера, вдохновенно углубляющего свою трактовку темы, и в то же время с куда меньшим блеском исполнять отведенные нам роли презренных и неблагодарных.

— Ну что, котя? — отец устремил на съежившийся серый комочек взгляд, полный пронзительной горечи. — Старика больше нет, — любой, кто бы увидел его в эту минуту, поверил бы, что глубоко презираемый им Внук был его дорогим, единственным другом. — Старик больше не сможет заботиться о тебе, дурачок. Он не знал, что ему поздно заводить котят. Ибо не ведаем ни дня, ни часа, так-то, котя.

— Давайте так и назовем его — Котя! — с деланной веселостью воскликнула мама, как всегда, неловко пытаясь разрядить атмосферу. Уничтожив ее, а заодно и нас с Верой, молчанием, тяжелым, как топор, отец отвернулся и монументально застыл в своей гордой, непонятой печали. Котенка он держал на коленях

так, словно был полон решимости защитить его от всех ужасов этого мира, погрязшего в беззакониях.

Это ему не удалось. Звери, подобно нам, грешным, порой рождаются неудачниками. Случай Коти был в этом смысле из самых тяжелых: смерть первого хозяина была только началом его злоключений. Вскоре у него обнаружилась хворь, какой я ни раньше, ни позже у животных не встречала: что-то вроде эпилепсии. Припадки были кошмарны. Кот без видимой причины падал и начинал биться, всё его тело в эти минуты сводило так, что оно колотилось об пол с деревянным неживым стуком. Попытка посоветоваться с ветеринаром ни к чему не привела:

— Мало ли кошек? Усыпите, возьмите другого, и дело с концом. Это не лечат, это, знаете ли, центральная нервная...

Не слишком частые, проходящие без заметных последствий, Котины припадки хоть и выглядели жутко, но сами по себе были еще терпимы. Однако то ли болезнь, то ли всё та же злая судьба лишила Котю радости жизни. Это было неласковое и нелюдимое существо. Даже к отцу, его всегдашнему покровителю, Котя относился довольно равнодушно, прочих же обитателей дома вовсе не признавал. Убедившись, что приручать его дело гиблое, они в свою очередь тоже к нему охладели. Так и вышло, что когда через несколько лет маме на ее службе, наконец, дали квартиру в хрущовке, никому не захотелось брать кота с собой. Невзрачный, угрюмый, Котя жил рядом с нами так тихо, что пока он не ужасал присутствующих очередным приступом, все забывали о его существовании. Мисочка с едой, выставляемая мамой каждое утро, — только она и связывала жизнь Коти с нашей жизнью. Поэтому когда больничная повариха Татьяна Тарасовна предложила оставить его ей, папа, и тот не стал спорить.

Спорить, может быть, и не надо было. А вот предупредить о Котиной хвори следовало. Никто не потрудился сделать это. Потом нам рассказали: как только отъехала наша машина, с Котей случился очередной приступ. Перепугавшись и брезгая больным животным, повариха удавила его.

15. БЛАТНОЙ РОМАН

После исчезновения Жучки у меня пропал интерес к домашней живности. Наступали иные времена, пора желторотых дружб, страстных, болтливых и патетических, как влюбленность. И столь же неспособных выстоять под грузом житейской прозы и моего собственного деспотически требовательного нрава. Да и в оставшихся у нас тогда животных было мало любопытного. Голубиная

родоначальница Ганна околела, видимо, от старости; ее потомки топтались и ворковали на чердаке, такие же чуждые мне, как вороны, пролетающие над «палаццо». Неприветливый Котька похаживал вокруг, поглядывал вверх, лениво помечтывал о голубятах. Томился на цепи лопоухий флегматик Бутон. Единственное, что было в нем примечательно, это его ни с чем не сообразная трусость. Забредая по делу к отцу, служащие и пациенты больницы потешались, тыча в него пальцами:

— Ну и пес! Вот так собака! Как рвется! Жаль, не в ту сторону.

Только один человек был способен заставить Бутона, позабыв все страхи, рваться не назад, а вперед, по-волчьи ярясь и скаля пожелтевшие клыки. Стоило ему завидеть мою подругу-москвичку Таню, обманчиво тихую, аффектированно робкую девочку в очках, в высшей степени начитанную и учтивую, как желание растерзать ее овладевало моим трусишкой настолько, что я начинала бояться, как бы он впрямь не сорвался и не учинил кровопролитие.

Слыша о подобных вещах, люди тотчас начинают подозревать наличие потаенного злого начала, угаданного зверем на дне сознания по видимости мирного человека. Но здесь все было проще. Мое семейство Таню не выносило. Бутон, как и пристало верному псу, учуяв это, на собачьем языке выкладывал ей то, что мои домашние хотели бы сказать на своем. Когда Тане надо было уезжать с дачи в Москву, отец нарочно поручал мне безотлагательно вымыть полы, подмести дорожки, нарезать козлятам травы на неделю, только бы я не успела сбегать проститься с любимой подругой. И сегодня помню, как в день ее первого отъезда, покончив со своим золушкиным уроком, я примчалась, запыхавшись, к дому, который снимала семья Тани. Хозяйка, старуха, похожая на злую колдунью, начавшую было превращаться в сову, но на полдороге передумавшую, уставившись на меня круглыми хищными глазами, отрезала не без злорадства:

— Уехали, — и помолчав, как бы неохотно, — записку тебе оставили.

«Хоть ты и не любишь красивых речей, напоследок скажу тебе, что для настоящей дружбы расстояние не преграда», — читала я на ходу, оступаясь на неровной, спускающейся по овражному склону тропинке. Оттого, что у нас отняли прощание, разлука казалась вдвойне невыносимой. Ох, как я была в ту минуту далека от чувств, подобающих почтительной дочери! Раз в сто дальше обычного! Ведь знала: он это подстроил нарочно. Однако и мама, органически не способная на такие каверзы, не скрывая досады, спрашивала:

— Что ты смотришь в рот этой Татьяне? Заурядная ломака! Да ты вспомни: она так старается подчеркнуть свою хрупкость, что буквально ходит, держась за стену! Это же верх безвкусицы! Такое бесхребетное созданье не может быть настоящим другом. Чучундра, мускусная крыса, вот она кто!

Мама ошибалась. Мы с Таней стоили друг друга вопреки уморительному внешнему несходству: я была сильной личностью полутора метров роста, она — беспомощным цветком, едва не достигающим двух. Она изъяснялась как могла пышнее, я — как могла лапидарнее. Она вздыхала о некоем равнодушном, но неотразимом соседе. Я, если меня послушать, принимала всерьез только дружбу — высокий союз, свободный от «всех этих пошлостей». Думаю, мы, каждая по-своему, безотчетно искали способов ускользнуть от уготованной нам русской, точнее, советской долюшки женской, этого тяжкого, грубого и безрадостного ярма. Таня хотела быть слишком нежной, я — слишком неукротимой для такой участи. Оттого-то обе так безбожно утрировали эти свои полунадуманные свойства, оттого и друг к другу тянулись, хотя вроде бы при этакой противоположности не должны были.

Впрочем, и моих родных вкупе с Бутоном понять не трудно. Обидно же. Стоило терроризировать всех своей независимостью, чтобы вдруг так подпасть под влияние московской кривляки, которая лепечет и держится за стену! Мне же в этом лепете чудились головокружительные бездны прекрасного. И как бы на самом деле ни обстояло насчет бездн, факт остается фактом: Тане я едва ли не больше, чем впоследствии филфаку МГУ, обязана поворотом судьбы, которого никто бы не предположил. Когда лето кончалось и моя драгоценная собеседница уезжала, я, до той поры не склонная марать бумагу, принималась строчить ей письмо за письмом. Они не умещались в конверты и являли собой, вероятно, настолько мутный поток сознания, что впору было бы усомниться в моей вменяемости. Потребность в таком не вполне естественном, чтобы не сказать пагубном занятии, как писание, закрепилась у меня именно тогда.

Старые дневники и письма — это, замечу мимоходом, вообще что-то вроде ящика Пандоры. Хорошо, что, рассорившись с Таней после трех лет столь бурной и чернилоемкой дружбы, я в отчаянной обиде конфисковала и уничтожила злосчастные сочинения. Их не только другим, даже себе показывать жутко. Тут как с девятью лицами куклы Мары: неужели я могла так писать?! Не может быть, чтобы я была настолько злокачественно глупа! Ну ладно, помню, имелась некая чарующая юная завиральность, умилительная наивная пылкость, но чтобы такая дикая развесис-

тая белиберда? Стыд и смех, перемешавшись, многократно усиливают друг друга. Я-то, вовремя сообразив это, сожгла не только те безразмерные послания, но и всю свою отроческую писанину. А неосторожная Вера дала мне потом почитать дневник, что вела лет в четырнадцать. Оттуда я коварно выудила фразу, до сей поры живущую в нашем обиходе. Ее произносят, закатив глаза в экстазе глубокомыслия:

— Зачем мои идеалы так сложны?

Бедная сестренка: да из моих писаний наверняка можно было бы навыдергивать добрую сотню перлов куда похлеще этого. Какое счастье, что иные рукописи все-таки горят! Что до Веры, она меня тоже ревновала, и кстати, по сему поводу между нами произошло объяснение, имевшее далеко идущие последствия.

— Твоя Танька просто жеманная фифа! — выпалила сестра, к тому времени тоже вооружившаяся изрядным словесным запасом. Ей шел десятый год; она, как и я в ее возрасте, считала себя вполне взрослой. — Она тебе дороже меня, я знаю! И еще знаю, что она тебя предаст, а я — никогда.

Я взбеленилась. Нападки на своего идола мне было трудно прощать даже маме, а тут совершалось явное святотатство, переход всех мыслимых границ.

— Никогда, — отчеканила я, — не смей говорить о ней так! Есть вещи, которые выше твоего понимания, заруби себе на носу!

С этими словами я, не зная пощады, в упор наставила на Веру взгляд, отточенный в кулачных и словесных боях, грозно прищуренный, исполненный бешеного презрения. Качественный был взгляд, мне и теперь его порой не хватает — может быть, по своей смертоносной силе он и уступал гиперболоиду инженера Гарина, но не намного: громилам с Карандашки не раз случалось пятиться перед ним.

Положим, барачные мордовороты были слабаками в сравнении с моей крошкой-сестрой. Бестрепетно выдержав хваленый взгляд, она вздохнула тихо, с оттенком почти гражданской скорби:

— Как ты сейчас похожа на папу!

Озарения посещают смертного редко. Прожив полстолетия, я бы могла пересчитать их по пальцам, один из которых пришлось бы потратить на описываемый момент. Я, столько раз дававшая себе яростные клятвы, что никогда, как мама, не допущу, чтобы мужчина властвовал надо мной, никому не позволю меня тиранить, с мгновенной убийственной ясностью осознала, что все эти годы громоздила защитные укрепления не там, откуда подстерегала угроза, а в другом, безопасном месте.

То-то мне так легко давались эти зароки! Их исполнить проще простого. А вот смогу ли сама никого не давить, запретить себе это, не брать силой и хитростью верх над теми, кто не сумеет вовремя смекнуть, какой это капкан — полюбить меня, довериться мне? Стоило посмотреть на вопрос с этой стороны, и волосы вставали дыбом: никаких укреплений! Конь не валялся! Ох, да у меня уже, чего доброго, и глаза белеют? Не удивительно, что от такой милашки шарахаются даже хулиганы... Да нет, быть не может: глаза у меня, слава Богу, темнее отцовских. Но с эффектными вспышками, прокурорским красноречием, да и с самим гиперболоидом пора кончать. Как ни удобно, а иногда и красиво, и весело быть этакой чертовкой, которой побаиваются, лучше отказаться от любых преимуществ, чем дать волю отцовским задаткам. А они сильны, Вера права, я похожа на него, как ни ужасно, гораздо больше, чем на маму...

Когда берешься за дело с огоньком, всё, как правило, удается: на это потребовались годы, зато теперь я рохля рохлей. Ношу в кругу семьи прозвище Кролик, и, сколько бы изобретательный супруг ни пристраивал к нему определения типа «демонический», «громоподобный», «вулканический» и т.п., безобидные уши никуда не спрячешь — торчат. Раз в пять лет я еще могу взъерепениться и нагнать оторопь на какого-нибудь нахала, уж слишком зарвавшегося от сознания гарантированной безнаказанности, но сердечно-сосудистые и нервные явления, которыми организм не замедлит отплатить мне за подобную демонстрацию, таковы, что себе дороже. Сестра, вступившая в какое-то сообщество восточного целительства или как их там, утверждает, что я теперь работаю на более тонких энергиях. А в юности функционировала, стало быть, на толстых. Одно жаль: вторые так и перли, а первые сочатся и впрямь уж до того тоненькой струйкой, поневоле ждешь, что вот-вот иссякнет...

Далековато занесло, пора возвращаться. Итак, я забросила четвероногих и пернатых. И всё же было одно пернатое, которое пользовалось исключительным уважением не только моим, но и всех обитателей «палаццо». Луша заслуживала своих привилегий. Среди доброго десятка наших безымянных и неразличимых кур она выделялась оригинальным характером, в котором чувствительность сочеталась со строптивостью. Луша обожала то, чего птицы обычно не ценят: ласку. Стоило ей заметить, что кто-либо из домочадцев присел на бревно, лежавшее у заднего крыльца, заменяя скамейку, как она деловито поспешала к нему и вспрыгивала на колени. Там она, потоптавшись, устраивалась с максимальным комфортом, и ее глазки заволакивала блаженная пленка. Всё это значило: «А теперь гладь!».

Сидеть так, прикрыв глаза, словно в дремоте, Луша могла сколько угодно: ей это не надоедало. Когда человек, утомясь, переставал равномерно водить ладонью по ее пестрой спинке, Луша какое-то время выжидала, потом с упреком ворчала: «К-к-к-о!», дескать, «Ты что, спишь? Продолжай!». Если же хозяин, будучи не в духе, грубо сбрасывал ее с колен, возмущенная Луша, зайдя к нему с тыла и хорошо, вдумчиво примерившись, клевала. Однократно, но впечатляюще, тем паче, если на жертве было летнее платье или легкая рубашка.

Все любили и баловали Лушу. Смолоду она была еще и отменной несушкой, потом начала стареть, толстеть, однако было решено, что даже если Луша вовсе перестанет нестись, пусть живет на персональной пенсии. Кому придет на ум зарезать такую курицу?

А у нас с Лушей были особенные отношения. Я ими гордилась. Луша встречала меня над оврагом по дороге из школы, я брала ее, усаживала на портфель, держа его левой рукой на уровне груди плоско, как поднос, а правой гладила. Так мы проходили вместе последнюю сотню метров до нашей двери, и там я осторожно, стараясь не обидеть, ссаживала курицу на землю. Кто мог ожидать, что эта игра, полюбившаяся нам обеим, доведет до беды?

Я уж и думать о нем забыла... Ведь больше года прошло с тех пор как однажды кто-то из самых незначительных и темных лиц нашего класса, из отпетых двоечников с неприятно ускользающими глазами и хриплыми голосами, прокуренными чуть не в колыбели, с видом заговорщика отозвал меня в сторонку:

— Ты вот что, Шур. Малый один, ну это, чувак, ваще, насчет тебя интересуется.

— Не понимаю.

— Так чо? Дело прошлое. Как ты, это, Марину Мишкину представляла, а он зашел, ну и видел тебя. Как позырил раз, так это, вот...

Личность вестника Амура не предвещала ничего хорошего, мне бы с первых же слов оборвать его упоительную речь. Но любопытство, уж коли вступит в борьбу с благоразумием, как правило, побеждает. Если не считать назойливых дядек, что мешали мне пасти коз, — а как можно их считать? — я была совсем не избалована успехом. В старших классах, когда начались первые романы, сразу наметились две категории особ, пленяющих сердца: разбитные девахи, всё больше из лыжниц и волейболисток, и аккуратненькие благонравные тихони. Одни внушали ровесникам безумные надежды, другие — трепетное поклонение. Я определенно не относилась ни к той, ни к другой разновидно-

сти. Оставалось утешаться тем, что Юлю Гольдберг поклонники тоже не переутомляют. Уж Юля-то Гольдберг, библейская красавица с высокой шеей Нефертити и длинными, таинственно мерцающими глазами, умеющая медленно-медленно опускать свои тяжелые веки, иронически приподнимать черную надломленную бровь, чуть видно усмехаться краем ярких полных губ, с таким арсеналом изысканного кокетства могла бы, кажется, испепелять сердца владык и повергать царства к своим ногам, а поди ж ты — никому здесь это не нужно! Что тогда говорить обо мне? Однако нашелся же проникновенный ценитель, который, единожды «позырив»...

Правда, мое выступление на школьных подмостках многих проняло, так что потом недели две я ловила на себе если не влюбленные, то озадаченные взгляды. Я изображала Марину Мнишек: вероятно, меня выбрали за то, что со своим украинским акцентом я на худой конец могла сойти за полячку. Самозванца играл некто Бузенков, получивший роль благодаря установившемуся басу: режиссеру Наталье Антоновне не хотелось, чтобы знаменитый авантюрист верещал со сцены мальчишеским дискантом.

В этом был резон, да только бедняга Бузенков, чуждый гуманитарных пристрастий, так и не сумел выучить роль. На репетициях ему подсказывала я, но проделывать то же на сцене затруднительно. Поэтому было решено, что Наталья Антоновна встанет позади меня и будет суфлировать оттуда. И вот мы торчим на возвышении у воображаемого фонтана, по очереди барабаня свой текст. Бузенков, облаченный в золотистый дамский плащ, через мою голову столь пламенно пожирает глазами суфлера, что на это стоит посмотреть. Я в марлевых обносках какой-нибудь отставной Снегурочки, вся деревянная, но хоть слова помню... Внезапно мой взгляд фокусируется на ушах партнера, и я впервые замечаю, что у дуболома Бузенкова они крошечные, словно у младенца. От этого меня посреди речи разбирает сумасшедший смех, я прыскаю, мне конец... но вдруг до сознания доходит, что это ничего, это даже можно использовать:

— Клянешься ты? — уничтожающий хохот. — Итак, должна я верить? — опять смех, такая уж стерва моя полячка. — О, верю я! Но чем, нельзя ль узнать... — уф! Обошлось! Эта блестящая импровизация, какой на репетициях и не пахло, произвела впечатление. Даже Савельев, мой непутевый сосед по парте, завтра скажет: «Ну, ты даешь!». Однако со времени моего триумфа прошло уже несколько месяцев. А неведомый воздыхатель всё еще помнит?.. Нет, надо спросить, кто это.

— Да ты, Шур, его не знаешь. Он с Карандашки, здесь не учится. В ремесленном, это, пашет. Василий Крысанов, — последние слова мой собеседник произносит с почтением, так говорят о большом человеке, но я втайне вздыхаю. Да уж, лорда Бекингэма на Карандашке не встретишь. Однако снобизм не входит в число моих пороков: я верю, что родственная душа, редкостный, единственный на миллионы объект моих вечных поисков, может быть заключена в какую угодно оболочку. Мне случалось не на шутку задаваться вопросом, могла ли бы я полюбить старика, урода или, скажем, голову профессора Доуэля, если бы искомое сокровище было обнаружено именно под ее черепом. Я очень хочу думать, что могла бы...

— Он, это, после школы тебя ждать будет. Сегодня. А мне велел тебе сказать, ну, чтоб знала. Так я вроде сказал, да?

Василий Крысанов сверх ожидания оказался почти хорош собой: рослый, смуглый, синеглазый. Только рот уже кривила грязноватая злая гримаска да прыщи проступали на подбородке. Он представился, ткнул мне омертвевшую от смущения руку и предложил проводить до дому. О чем говорить, он явно не знал; мои попытки завести беседу о книжках или на худой конец фильмах были тщетны, когда же я их оставила, нависло молчание. Провисело оно долго, как вдруг ни с того ни с сего мой спутник сообщил:

— А мы с парнями фонари на Ольгинской били!

«Зачем?» — хотела спросить я, но прикусила язык, чувствуя, что человеку совсем худо. Пусть говорит, о чем хочет, ну его!

— И на Гоголевской! Все фонари раскокали! Возьмешь кирпич, прицелишься — бах! Другой возьмешь — трах! Стекла так и сыплются. Вот. Смешно.

— А-а-а, — промямлила я, начиная понимать, что голова профессора Доуэля еще далеко не самый трудный случай. Если в оболочке Василия и обитала какая-либо душа, извлечь ее из-под завалов кирпичей и битого стекла не было никакой надежды.

— А на Вокзальной я пока всего три разбил. В другой раз приду, всё кокну на... ну, кокну, в общем. Это, что ли, твой дом? Ты прям живешь тут? Ну, бывай.

Казалось, тем всё и кончилось. Крысанов больше не появлялся, с чем я мысленно поздравила как его, так и себя. Но однажды поселковая библиотека в союзе со школой, представленной на сей раз нашей Натальей Антоновной, организовала вечер-диспут о повести «Рассудите нас, люди». Имени автора не помню, книжка слова доброго не стоила, да и не о ней, собственно, спорили, а о том, позволительно ли разводиться, когда в семье есть дети... кажется, так, если за давностью я чего-то не путаю.

Но мероприятие было обставлено солидно, даже из районной газеты кто-то приехал. Наталья Антоновна дала мне понять, что очень на меня рассчитывает. На дверях библиотеки и нескольких столбах заблаговременно развешали объявления: «... В числе прочих на читательской конференции выступят полковник в отставке Мосин П.П. и ученица девятого класса Гирник А.».

Затесавшись среди людей, готовых рассудить напрашивающихся на это поругание персонажей, я провозглашала свободу от пут постылого супружества, как вдруг среди негустой толпы слушателей узнала Василия. И мгновенно смекнула, что не интерес к диспуту привел его сюда. Проклятое объявление попалось ему на глаза, вот он и... Но зачем? Что ему нужно?

Крысанов стоял, набычившись, у самой двери и до того нехорошо смотрел, что у меня пропала вся прыть. Кое-как скомкав свое выступление, я направилась к выходу с отсутствующим видом мыслителя, погруженного в себя настолько, чтобы иметь право не замечать окружающих. Да и что может быть естественнее, чем не узнать человека, виденного всего однажды, полтора года тому назад? Парня, о котором только и знаешь, что он разбил много уличных фонарей, но еще больше разобьет впредь?

Выйдя в ненастную темень октябрьского вечера из читального зала, где Мосин П.П. разорялся о дисциплине и долге, я облегченно вздохнула, как вдруг голос за спиной негромко, отчетливо произнес:

— Сука.

Я вздрогнула, но не оглянулась. Такие вещи не могут касаться меня. Я просто иду домой, одна по пустынной улице, обычным размеренным шагом.

Так мы и шли. Едва не наступая в темноте мне на пятки, Крысанов шагал следом, продолжая говорить. Он больше не запинался. Речь лилась размеренно, будто он назубок вытвердил ее заранее. Такого я никогда не слышала и надеюсь не услышать впредь. Лексика была черным-черна, под цвет осенней бесфонарной темени, но разве дело в словах? Крепко настоенная, лютая ненависть, вот что ошеломляло. Можно было подумать, будто всё время, что прошло с нашей единственной нелепой встречи, он только и делал, что мстительно копил похабщину, которую теперь изливает мне на голову. И мрак. В этой кромешной тьме каждый из нас один — Крысанов со своей злобой, я со своим страхом... Что, если он сошел с ума?

Улица осталась позади, впереди овраг и поле. Этот путь, занимающий от силы минут пятнадцать, кажется бесконечным. Дойду ли? Он способен ударить... убить...

Знает только ночь глубокая,
Как поладили они!

Разудалый хор грянул совсем близко: это подгулявшая молодежь возвращалась из очередной самоволки в свои туберкулезные палаты. Излюбленная песня больных — в тот год ее горланили у нас под окнами каждый вечер по нескольку раз — была как сладостная весть о спасении. Еще не успела «распрямиться рожь высокая», а темнота за спиной уже затихла, без следа поглотив моего врага.

Несколько дней потом я ходила сторожко, ждала опасной встречи. Потом успокоилась. Но старалась возвращаться домой пораньше.

Это и случилось рано. Солнышко еще стояло высоко над старинной башней, полуоблетевшие деревья больничного сада прощально зеленели, краснели, золотились. Увидев, что навстречу семенит Луша, я положила портфель на дорожку, а когда она уселась сверху, со всеми предосторожностями подняла его, изрядно потяжелевший, и плавно двинулась к дому. В эти минуты глазеть по сторонам было невозможно: всё внимание уходило на то, чтобы не споткнуться, ровно держать портфель, гладить Лушу, а потом со всей учтивостью спустить ее с рук перед самой дверью.

Когда курица сошла на землю, а я, подобрав портфель, устало распрямилась, Василий стоял передо мной. Встретившись с ним глазами, я мгновенно поняла, за какую-то долю секунды просто увидела, что сейчас произойдет. Но помешать не успела. Да и вряд ли могла бы: Крысанов был силен, а Луша, доверчивая и заласканная, никого не боялась. Он просто поднял ногу и со всего размаха — каблуком — опустил. А потом повернулся и зашагал назад, к поселку.

Но как можно было знать такое заранее? Будто кто-то из нас внушил это другому. А что, если... Господи, не может же быть, чтобы я подумала об этом первой!

16. ОБМАН ЗРЕНИЯ

В ту зиму декабрь выдался до того ветреный и снежный, что наше «палаццо» со стороны поля замело до самой крыши. Нам и в другие зимы случалось из-за сугробов отказываться от парадного, с позволенья сказать, входа и до весны довольствоваться задней дверью, выбираясь потом наружу через больничные ворота. Но был один год, когда метели преобразили наш домишко вместе с палисадничком в снежную гору, мы с сестрой даже катались с нее на лыжах. Горка была ничтожная, не только я,

даже Вера уже освоила не в пример более крутые и высокие склоны оврага. Но в этой забаве было что-то особенное, разом символическое и смешное.

Окошко, смотревшее в поле, больше не белело тропическими узорами. Сквозь него было видно нутро гигантского сугроба, заглотавшего наш фасад: слежавшийся снег за стеклом почему-то застыл мелкой равномерной рябью. В доме из-за таких заносов стало теплее, но вообще зима стояла суровая.

Уже наступил февраль, когда по поселку пошли слухи о громадной дикой овчарке. Будто бы она рыщет по окрестностям, нападая с голоду на мелких животных и даже якобы едва не лишив жизни больничного бухгалтера, страшного алкаша, уже гонявшего чертей.

— Едва ноги унес! — икая, кричал бухгалтер, ради такой новости зашедший к нам в гости. Он требовал, чтобы отец налил ему стаканчик, как герою, чудом избежавшему лютой смерти.

— Я бы и налил, — плутовски подмигнул папаша, выпроводив страдальца за дверь. — Но после стакана он где стоял, там и падает. Так пусть уж это случится с ним в другом месте.

— Бедный пес, — заметила мама. — Или ты думаешь, это всё вранье про овчарку?

— Как знать, — сурово ответствовал отец. — Я тут на днях видел на снегу такие следы, что и волку впору. Шура, потрудись не возвращаться затемно одна. Иначе не собака, так я тебе покажу, где раки зимуют.

Где бы ни зимовали раки, я втайне уже приняла решение: бедной одинокой псине не придется зимовать без моей помощи в холодном, заваленном сугробами лесу. Я найду ее! Всем известно, что овчарки умны, — значит, она поймет, что я ей не враг. А уж когда я приведу ее домой, родители, неравнодушные к большим благородным собакам, не устоят. Что такое Бутон? Недоразумение, мелочь, посмешище. А настоящая матерая овчарка — это же...

У нас никогда не было овчарки. Но когда мне было лет десять, а Вере пять, нам с ней довелось пережить одно впечатление, после которого у меня долго щемило сердце при одном виде собак этой породы. Мимо нашего домика к лесу тянулась аллейка молодых осин. И вот однажды, славным летним утром выбежав в поле, мы увидели большущего черного пса, кем-то повешенного на одной из них.

Могучее тело зверя висело, почти касаясь земли. Он был еще теплый и совсем молодой: шкура не успела потерять щенячью мягкость. Пес так недавно был живым, что нам не верилось в

невозможность спасения. Задыхаясь от поспешности и волнения, мы его отвязали, и я принялась, как умела, делать ему искусственное дыхание: перевернула на спину, все сводила и разводила большие послушные лапы... Только окончательно выбившись из сил, проглотила комок в горле и сказала:

— Похороним!

Вера притащила лопату, я вырыла яму, и мы печально опустили туда своего пациента. А несколькими днями позже нашли могилу разрытой: кто-то сделал это, любопытствуя, что там закопано под сосной, и, раздосадованный, бросил на холмик коробку с изображением собачьей морды. От папирос «Друг», они в ту пору были в большом ходу. Помню, выходка эта меня тогда возмутила, как настоящее надругательство над усопшим.

И вот теперь я запихнула в рюкзак буханку, заблаговременно порезанную на крупные, соблазнительные для голодного зверя ломти, встала на лыжи и вдохновенно устремилась к лесу, шаря взглядом по белому полю в поисках следов, о которых упомянул отец. Их нигде не было, наверное, ветер успел все замести.

День был пасмурный, грустный. Февральский лес казался необитаемым. Я углубилась в него, оставив в стороне запорошенную снегом, но еще различимую лыжню. Вряд ли имело смысл искать там, где проходили людские тропы.

Идти без лыжни по глубокому снегу достаточно утомительно. Одолев каких-нибудь три километра по лесной целине, я стала уставать. Вместе с силами понемногу таяла храбрость. Кто его знает, этого зверя? Собаки, как и люди, бывают разные, великодушием не всякого проймешь.

Некстати вспомнился Каштан. Как это я раньше о нем не подумала? Вот уж кто не стал бы ждать, когда я соблаговолю угостить его горбушечкой! Сначала со мной бы управился, а уж после разодрал рюкзачишко и на свободе подумал, с чего начать: с мясного или постного блюда. Почему она рыщет беспризорная по лесам, такая, если верить слухам, породистая, красивая собака? Не оттого ли, что...

И тут я его увидела. Он стоял в начале узкой просеки метрах в пятнадцати от меня. Мне не надо было его рассматривать: в одно мгновение он отпечатался в сознании весь целиком — от мускулистых высоких лап до стоячих, чутких и грозных ушей. Это был настоящий волчина, в нем не оставалось уже ничего собачьего, и в желтоватых зрачках дикаря, не желающего знать людей, нельзя было прочесть ни его чувств, ни намерений.

Рюкзак, буханка — всё напрочь вылетело у меня из головы. Должно быть, мы простояли так не более секунды, но этот

промежуток времени показался мне долгим и смутным, как в дурных снах, где нет разумной меры вещей.

Зверь ринулся ко мне. На бегу его скульптурные очертания размылись в тусклом свете зимнего вечереющего дня. Прыжок, и мокрый горячий язык ляпает по моему оледеневшему от предсмертного ужаса носу. Бутон! Очевидно, что-то в моей сегодняшней прогулке встревожило его: он оборвал привязь, чего обычно себе не позволял, и пустился разыскивать меня. Нюх у него, по общему мнению, был не ахти, но добряк не сплоховал, нашел-таки.

Переведя дыхание и устыдившись своей трусости, я, с детства не выносившая пословиц и поговорок, называвшая их «коллективной глупостью веков», с отвращением вспомнила, что у страха глаза велики. Чтобы спасти хотя бы остаток достоинства, было одно средство — посмеяться над собой, и я невесело, ценой потного волевого усилия постаралась сделать это.

Что-то не выходило. Мешала гордыня? Это уж обязательно. Но не только. Я видела того, другого пса. Он не имел ничего общего с Бутоном. Перепутать их невозможно даже в глубоких сумерках. Но никаких сумерек не было. Дикая овчарка предстала передо мной при дневном свете. Ее мощный силуэт четко обрисовывался на белом снегу. Да что там силуэт! Я и сейчас могла бы описать ее всю, до последней шерстинки.

Что же я видела?

Если подобное возможно, где гарантия, что и всё остальное, то, что я, доверяя своим глазам, привыкла считать действительностью, не такой же обман зрения?

Как знобит. А ведь вроде не холодно.

— Знаешь, Бутон... Пойдем домой!

17. КАМЕНЬ

...Да нет же, это был никакой не камень. Так, ссохшаяся грудка придорожной глины. Совсем небольшая. И он не попал в цель, я ведь не хотела попасть...

Мы покидали поселок. По другой дороге, ближе к Москве, мама получила двухкомнатную небольшую квартирку. Теперь, когда бабушки не было на свете, больше двух комнат нам бы никто не дал. Но и эти тридцать квадратных метров казались роскошью в сравнении с «палаццо». У нас с Верой будет своя комната! Какое блаженство! Если закрыть дверь и говорить тихо, отец не сможет ничего расслышать, мы будем на веки веков освобождены от его чутких ушей и непрошеных ядовитых комментариев. Я заведу себе настоящий книжный шкаф, пусть не-

большой, но все-таки... Может быть, даже удастся обзавестись письменным столом! Раз мне пора готовиться в университет...

— Коля, а как мы поступим с Бутоном?

Судьба кота уже решена, но больничная повариха говорит, что готова взять к себе и собаку. У нее ему будет сытно, куда сытнее, чем у нас. Да и, в сущности...

Все молчат. Каждый хочет, чтобы другой первым нашел довод, почему Бутона лучше оставить при больнице. Цепной пес, уже весьма пожилой, подслеповатый, отнюдь не светоч ума,— что он будет делать в квартире городского типа? Станет ли соблюдать правила приличия, необходимые комнатной собаке? Маловероятно.

Мы уезжаем в новую жизнь. Так нам кажется. Тащить из старой жизни такую обузу, как эта несуразная псина, неохота смертная. Чего доброго, он еще начнет брехать по ночам, как привык здесь. Нам не хватает только конфликтов с соседями.

Молчат. Малодушные! И ведь все думают об одном. А если сейчас спасуем, кому придется прогуливать этого красавца на поводке? То-то и оно. Три такие прогулки в день — удовольствие, которое, пожалуй, стоит возни с козами. Ох, прямо не верится: Белка и Зорька вчера проданы! Петрония, того зарезали два месяца назад. Родители ворчали, что мясо воняет старым козлом, но мы народ закаленный, и Петроний благополучно отправился в наши желудки, впервые не упираясь.

Голуби проживут и без нас: это проверено. К их услугам больничная помойка.

Сейчас досчитаю до тридцати трех и скажу: Бутон не в том возрасте, когда меняют привычки, для него будет лучше остаться с Татьяной Тарасовной...

Нет, мама первая не выдерживает затянувшейся паузы, ее тихой подлости:

— Он прожил с нами всю жизнь, было бы все-таки некрасиво...

— А тащить собаку, привыкшую к воле и свежему воздуху, в тесную городскую коробку — это красиво?! — взрывается отец.

Опять она сунулась «поперед батьки в пекло», и, как всегда, некстати: он-то склонен к иному решению. Если бы мама или одна из нас сказала, что надо расстаться с Бутоном, он обвел бы семейство убийственно проницательным взглядом, многозначительно процедил бы: «Понятно: бедняга стал стар» и вышел державным шагом, оставив гнусный приговор на нашей совести. Но дело повернулось иначе, и он уже рвет и мечет:

— Иногда, хотя бы для разнообразия, не мешало бы малость подумать! Особенно когда решаешь судьбу беззащитного живого

существа, которое всецело зависит от тебя, которому нечем защититься от твоего эгоизма и легкомыслия!..

Увы, проданы не только козы. Мопедов тоже больше нет, их сбыли за бесценок: в квартиру две громоздкие машины не затащишь. Да и деньги нужны позарез, ведь мебели у нас совсем нет. Самодельный колченогий стол, такие же скамьи, кривые нестроганые полки. Вся надежда на мебельную комиссионку, у родителей что-то отложено...

— Бутон имеет право дожить там, где вырос! Здесь его дом, он привязан к этому месту, как дерево к своим корням!

Я начинаю закипать: да не к корням, старый ты комедиант, а к столбу он привязан! Ты столб вбил, ты и цепь подвесил. Вот и вся воля, к которой привык бедный пес. В квартире ему будет тесно, а на цепи что, просторно?

Это я так думаю: вслух заявить что-нибудь подобное не рискну. Недостижимая мечта! Отец нашел-таки на меня управу, его дело беспроигрышное. Скажи я сейчас хоть слово поперек, выйдет сцена. Он будет орать, что я дрянь, что его не обманешь, он знает, откуда ветер дует, у кого я нахваталась таких мыслей, такой морали, а вернее, полнейшей аморальности... Бабушки нет, теперь разлагающее влияние на нас с сестрицей оказывает мама. В этом отец непреклонен: иметь что-либо против его персоны, его распоряжений и соображений можно исключительно под чьим-либо порочным воздействием. Самостоятельно до подобных вершин разврата добраться нельзя. Но хуже всего не это. Допустим, я пойду на открытое столкновение. Дальнейший сценарий известен наперед: пройдет несколько дней, и мама, болезненно смущаясь, скажет:

— Шурка, попроси у него прощения. Он сживает меня со свету. Эти бесконечные обвинения, что я тебя настраиваю, эти надутые позы... — да, о неизреченных высотах отцовского духа слышно теперь все реже: мама начинает прозревать, от этого ей еще тоскливее. — Я что-то совсем вымоталась, мне в этом вялотекущем скандале до того паршиво, знаешь, такое чувство, будто я уже умерла. Извинись, ну что тебе стоит? Плюнь, просто сделай это для меня!

Такое уже бывало. Я извинялась, скрепя сердце, сквозь зубы, но всё же выдавливала из себя положенные смиренные слова, и отец величаво торжествовал победу. Странное дело: пока правда была не высказана или по крайности удавалось заставить меня от нее отречься, она в его понимании как бы не дотягивала до ранга полноценной правды. Он будто и над ней, а не только надо мной брал верх. Итак, с Бутоном разделались. Фу ты черт, да ведь я

хотела того же! Вышло по-моему, меня даже избавили от надобности высказать это полупочтенное желание вслух. Лучше и быть не может...

— Лучше и быть не может! — шепчет Вера, тихонько дергая меня за рукав. А глазищи невеселые.

Четыре года спустя я совершила сентиментальное паломничество к старым местам. Заборы и сосны поселка, как водится в таких случаях, словно скукожились, стали меньше, и взирала я на них со щемящей, но снисходительной нежностью. Любимые и ненавистные воспоминания можно было теперь перебирать с тем чувством, с каким взрослый рассматривает свои найденные в чулане давние игрушки. Что за рухлядь! Какая прелесть!

Вот и поле. Оно всё такое же: я помню каждую ложбинку, каждый холмик, и где какая травка, и под какими соснами растут маслята, и этот узор, что рисуют на небе сосновые стволы и кроны. «Кремлевский» забор! Крепонек, однако. Местами заваливается, но в общем, держится пока. А «палаццо» разрушено. От передней стены почитай ничего не осталось, в задней и боковых зияют проломы, клочья обоев свисают — знакомый рисунок! Когда болела в детстве ангинами и страшнейшей корью, из этого рисунка лезли рожи... ну да, вот они, те глаза, носы, пасти. Хочется заплакать, но я ведь не умею. И потому смеюсь. Мы бросаемся друг другу на шею. Да, я пришла не одна. Я уже никогда не буду одна. Это больше, чем счастье, больше того, что другие зовут самыми выспренними словами. Я победила этот мир, что мне теперь до его низостей и мук? Я вырвалась из своего одиночества, как зверь из капкана. Меня боготворят, как никто, никого, никогда, но в этом высшем из соревнований и я не уступлю. Теперь мы вдвоем, нам любое море по колено. Подумать только, что я собиралась испытать любовь и умереть! Какая нелепость, ведь для истинной любви, такой, как наша, нужно бессмертие, жалкий срок человеческой жизни не может вместить ее...

— Смотри, какое чучело! Живая руина!

Я оглядываюсь. Господи, да это же Бутон! Пес неуверенно приближается на шатких подагрических лапах, и я понимаю, что он слеп. Ну конечно, зрение у него еще тогда заметно сдавало. Да и нюх тоже... Я хватаю своего спутника за руку и тащу прочь. Молча: нельзя, чтобы собака услышала мой голос. Пока Бутон сомневается, ему чудится что-то давнее, родное... только бы он меня не узнал! Трусит следом, еще минута, и всё поймет!

В смятении я хватаю камень и бросаю в него. Грудка сухой глины, ударившись оземь перед носом растерянного пса, разле-

тается на куски. Бутон останавливается. Понял, что обознался. Это не я. Я не могла бы так поступить.

— Да что такое? Неужели вы, мэм, вы с вашей чертовской отвагой устрашились этого привидения?

Не сбавляя шага, почти на бегу, я шепчу: «Тихо! Это моя собака! Она осталась жить при больнице...».

Он хохочет — почему-то всегда приходит в особое насмешливо растроганное возбуждение, если случится поймать меня на чем-то не вполне благородном. Как будто я еще ближе, еще милее ему в такие минуты. Холодок безотчетной тревоги отзывается во мне на эту его странную восторженность, но там, в душе, такой тропический зной, что легкая прохлада только освежает.

— Жестокая! Так вот как ты обходишься со своими верными псами, когда они тебе наскучат?

Он подхватывает меня на руки, поле начинает кружиться, и с ним кружится вдали маленькая понурая фигурка. Бутон всё еще стоит у старой березы, там, где упал камень.

Прости эту несчастную дуру, старина. Будь покоен, она скоро научится плакать. Да еще как: можно будет пускать кораблики. Помнишь, когда-то они с Верой в овраге, в половодье, до умопомрачения пускали бумажные корабли. Еще воображали, что эти мятые тетрадные листки доплывут до океана. И ведь умудрилась с тех пор не поумнеть — теперь ей подавай бессмертие, а то она со своими амурами опасается не уложиться. Ничего. Уложится, как миленькая: пяти лет за глаза хватит. И в финале совсем не потребуется божественных молний, чтобы испепелить дерзких за то, что осмелились сравняться с небожителями. Все кончится так же бездарно и тошно, как обыкновенно кончаются неудачные браки. А пока эти двое, хохоча, сбегают по склону оврага. Явись перед ними сейчас шестикрылый серафим с известием о том, что их ждет, она даже смеяться не перестанет. Не поверит, представляешь?

А он?

Этот, пожалуй, испугается. При всей любви он явно потолковее.

Не думай о них, старик. Не стоит. Померещились. Ступай лучше к Татьяне Тарасовне, она тебе даст чего-нибудь вкусненького. С Котькой у нее плохо получилось, что правда, то правда. Но тебя-то повариха любит, вон ты толстый какой. Ведь повезло на старости лет? А?

И ВДРУГ Я ПОНЯЛА...

* * *

Июль.
И синий блеск весла.
И небеса за бортом,
И пропасть света и тепла
Уже в часу четвертом.

И до заката — соловьи,
Бессменно, беспробудно,
И лес,
и склон —
они — твои,
Бери, пока не трудно...

...И твой приезд
Все дни подряд,
И шум в конце аллеи,
И леса жест,
И солнца взгляд,
Ну, милый мой,
скорее!..

* * *

Где рифмы нет,
Там требуется бездна
Таланта
Или пропасть простоты,

Наталья ОРЛОВА — родилась в 1950 году в Куйбышевской области. Окончила Литературный институт. Автор книги стихов и переводов «На синем пороге» (Тбилиси, 1986). Стихи и переводы печатались также в периодике России, Армении, Азербайджана и др. стран СНГ. Живет в Москве.

Или — по крайности — тяжелое томленье
С восторгом пополам...
И разберись попробуй,
Что там за властное преображенье
Случается с опальными словами,
Которым до рифмовки дела нет...
Но этому бездвижному стремленью,
Но этому безгромному теченью,
Но соловьиному сердцебиенью —
Они послушны...

* * *

Больше всего на свете
Я люблю тебя целовать,
Но разве это я каждый вечер тебя целую?
Больше всего на свете
Я люблю услышать цыганское изломанное пенье,
Когда ты поминаешь мне былое
И стыдишь меня и упрекаешь,
Но разве это похоже на то, что было?
Больше всего на свете
Я люблю только что написанные стихи,
Но разве это я их пишу?
Но больше тебя,
Больше стихов,
Больше песен — ты слышишь? —
Я люблю дышать ночью, через форточку
Острым, морозным воздухом,
Но разве я знаю,
Почему это мне так приятно?

Прогулка

Сначала вниз ступай — по первой Римской,
Дойдешь до площади Всеобщего Согласья,
Здесь воздух массам роздан широко,
Здесь я сама дышала, как хотела,
Но ты сверни — жестоким сквозняком
Тебя протянет —
двигайся навстречу.

Здесь январями скалывали лед,
И ветер вымораживал ступени,
И никому проходу не давал,
И воздух воровал у самых губ.
Спеши!
И в первый раз передохни,
Рукою тронув черные перила
Огромного рабочего моста.
Смотри —
вода угрюмая ползет,
Встают широкоплечие заводы,
И башни высятся.
Здесь к середине дня
Заря едва расклеивает веки,
И пресный снег,
И воздух пожелтел,
И высота раскалывает ребра,
Но только здесь возможно полюбить.

* * *

Это — смерти глоток,
Это — долгая ночь без рассвета,
Это — грезящих волн
Подступающий грохот и гром,
Это ясный урок
Бескорыстия,
Или же это
Тот пролом и провал,
Что спасеньем потом назовем.

Это — гибели дар,
Это — боль невозможной утраты,
Не кори же меня,
Правотой непосильной не мучь!
Это — страшный удар,
Опрокинувший лица и даты,
Это — солнечный луч...

Март

Все говорят,
Что смерть — разлука,
А я скажу —
Разлука это смерть.

Как бледный воздух влажностью измучен,
Стоит, едва переводя дыханье,
Водою студит черные виски,
В глубокий полдень губы окунает,
Но город —
Словно каменный кувшин —
Наклонишь —
Камешки просыплются на снег,
И винный запах — трезвым ожиданьем,
Оглохшей памятью пустых подвалов
Дохнёт
И вдруг гармошкою губной
Грустней веселого откликнется —
Я тут!

Я говорю:
Как этот воздух груб,
Оглядка льда,
И легкость голубятен,
И паруса высоких этажей
Стоят поверх стремления дневного,
Перекликаясь,
Для чего же я
Вся помертвела,
Словно этот март,
Худой и страшный,
В ледяной постели,
Отогревая пальцы
Еле-еле.

Декабрь

И вдруг я поняла,
Что некуда спешить —
Черт ладана боится,
Ты — забвенья,
А я — тебя...

Тут всё перемешалось:
Морозный пар,
Мельканье горожан,
Декабрь,
Забвенье,
Черт, ладан, я и ты —
Нам некуда податься,
Всяк у себя в долгу...

Скорей декабрь лишится козырного
Последнего туза —
Свой тридцать первый день —
Подарит январю,

Скорее черт, приткнувшись у дверей,
Отслушает достойно литургию
И, ладана нанюхавшись, уснет,
Как будто бы печеного объелся
И захмелел,

Скорей забвенья гром
Помедлит
Над темнеющей страницей
И, эхом пошатнувшимся, вернет
Тебя,
Твой голос,
Зиму...

...а душа
и так бессмертна.

Так я говорю
Сама себе,
И весело мне думать,
Что тем, кто так твердит,
И впрямь — не страшно...

И то, что ты меня
Совсем не любишь —
Порою кажется
Такой
Обыкновенной вещью.

ТРОПАМИ ПАМЯТИ

Рассказы

ПЕРВЕНЕЦ

Вздрогнувшая ветка, перебор листьев, тяжелая поступь ежа, беличье рыжее размашистое ликование вверху, упорство дятла, лесная полянка (ромашки, колокольчики, куриная слепота), муравейники, облака над лесом, дым из трубы — этот земной трепет пронизывает с головы до ног, и сливаешься со всякой былиночкой.

А под вечер, в ранних сумерках подступающей осени чувствуешь какую-то робость. И захватывают странные мысли, в хлопотливом городе им не подступиться: откуда ты взялся? почему именно ты?

В самом деле: почему? откуда? как это сошлось на тебе?..

Старший брат украл мою булку. Это случилось на Кузнечной улице, в доме Ганшеевых, в Гомеле, — на следующий день после того, как мама здесь, в доме, разрешилось мной. Она дремала. Я — тоже — поблизости от нее, в бельевой корзине второго дня моей жизни. Мама очнулась, услышав дробный стук мелких, скорых шажков. Это мой старший брат — ему было полтора года, — заглянув к нам, стянул с прикроватной тумбочки булку. Держась за нее обеими руками, кусая, спешно удалялся.

Ту булку выдали папе на работе для кормящей роженицы — выходит, и для меня.

Елена РЖЕВСКАЯ — родилась в Гомеле (Белоруссия). Училась в ИФЛИ. В 1941 году ушла на фронт, была военным переводчиком в штабе армии. После войны окончила Литературный институт (1948). Автор многих книг, неоднократно переиздававшихся и переведенных более чем на 20 языков, — «Спустя много лет» (1958), «Весна в шинели» (1961), «От дома до фронта» (1965), «Берлин, май 1945» (1965), «Февраль — кривые дороги» (1975), «Была война» (1979), «Ближние подступы» (1980), «Вороненый жар» (1985), «Далекий гул» (1988), «Знаки препинания» (1989), «Геббельс. Портрет на фоне дневника» (1994) и др. Живет в Москве.

Когда мы немного подросли и, бывало, кто-то со стороны скажет: «Брат, гляди-ка, упитанный, а она — дохленькая», — тут же всплывал семейный апокриф:

— Так ведь он съел ее булку.

А тогда срочно приехал из Витебска дедушка, папин папа, по случаю рождения внучки. Успокаивал маму:

— Не надо плакать. Она, может, как Мина будет.

Это про меня, что в бельевой корзине, пока с едва надежным дыханием.

Мина — гордость родни, известная пианистка, разъезжает по губернии с концертами.

Ах, милый дедушка, чего не посулишь в утешение невестке! Ведь как некстати я явилась: на дворе — голод, гражданская война. Брат — тот был выпрошенный, взамен невыжившего первенца. Ну, а я-то на что?

У меня никакой надежды появиться по доброй родительской воле и не было. Это же надо, затаившись, не подавать о себе знать до той поры, пока избавиться от меня было поздно! Ведь дозналась современная наука, что и эмбрион уже кой-чего проворно соображает... А главное, — чувствует себя неуютно, пригнетенно, если ни материнского тепла, ни ласки к нему во тьму его одиночества не проникает.

Если добавить к этому токи материнского смятения, страха, когда мать с маленьким сынишкой и беременная мной скрывалась в подвале в дни прокатившегося с погромами восстания Стрекопытова, чьи повстанцы завладели городом, то понятно станет, отчего на ранних фотографиях у меня лицо чрезмерно задумчивое.

Из того таинственного мира, что зовется младенчеством, проступают только два видения: я — в немом вопле от боли — обварила ногу, опрокинув чашку с бульоном, метка осталась. И другое. Наш двор, залитый солнцем. Что-то чинят, подновляют. Разобрали старое крыльцо, и под ним вдруг — запропастившаяся маленькая кукла, подаренная дедушкой. Это огненный, длинношерстный Султан уволок, заиграл ее, затащил под крыльцо. И вот нашлась эта куколка с тряпичным тельцем, гипсовой головкой, завалившейся набок на подгрызенной тряпичной шее.

Но что-то еще важнее этой находки.

Вот что. Это тогда же, на опустевшем в обед солнечном веселом дворе я бегаю за рыжим, лохматым Султаном. Мама зовет меня. Она стоит высоко в распахнутых дверях на пороге дома. Еще нет ни крыльца, ни ступенек, и мне не вскарабкаться на порог. Мама наклоняется, протягивает ко мне оголенные до плеч

руки, и я тянусь к ней. Она берет мои руки в свои, легко вскидывает меня и ставит рядом с собой. И так радостно от этого полета, от прикосновения ее свежих рук.

Самый первый сын наших родителей прожил два с половиной года и внезапно трагически умер от назначенной врачом роковой для него касторки. Это всё, что мы знали о нем. Правда, благодаря ему касторка нам ни при каких обстоятельствах не угрожала. Чуть кто-нибудь из нас заболевал, маме чудился приступ аппендицита, так страшно не распознанный тогда. Тот мальчик не оживал в нашем воображении, мы, по правде говоря, не думали о нем. Его как бы и не было вовсе. Мы его только на фотографии видели, но и она не была на виду, а в глухом ящичке среди маминых реликвий: костяного веера, серебряной пудреницы с треснувшим зеркальцем, лорнетки с простыми стеклышками. На той единственной фотографии, «по-старинному» добротной, — мальчик в бархатном костюмчике с кружавчиками нашивного белого воротничка; волосы, как у девочки, рассыпчатые, почти до плеч, по лбу низкая прямая челка; рукой держится за мягкий подлокотник дедушкиного кресла.

Мы проживали свою бойкую протяженную жизнь, а он отстал от нас в какой-то далекой, глубокой дали, и не только смертью (да и что на самом-то деле она такое?) — отделен рубежом: он по ту сторону революции, мы — по эту.

Но вот стоило мне коснуться тех неведомых минут, когда я появилась на свет, как меня зачем-то отнесло вдруг к этому мальчику. Почему ж такое? кто да как из нас мечен? кому что отпущено? Ему — такая малость: от рождения до смерти почти слитно. И не оставлено нам никаких следов его детских выходок, слов. Такая цепкость безмолвия на той фотографии. Лицо крупное, ямочка на щеке, глаза большие, круглые. Смотрит прямо, серьезно, сосредоточенно. Даже не представишь себе его с улыбкой.

Никогда не было ни малейшего прикосновения к нему ни чувством, ни мыслью. Почему же он явился мне здесь, в Дорохове, в непогоду, в сумрачном лесу, в изношенном, с подгнившим полом доме, стареющем у лесного болота под скрип отживающих сучьев величественных, прекрасных, вековечных дубов, среди подступивших к окнам всей своей устрашающей, торжественной громадой елей, — здесь, где так первородно, могущественно, сыро и уже поубавилось комарья и стало время слепней, а там и черных мух с золотистыми крыльями, где, постояв терпеливо на крыльце, нет-нет да и различишь тяжелую поступь ежа в траве...

Он разбил коросту, которой зарастала в чрезмерном тут одиночестве душа, и чувство вины, смущения от бездумности о нем во все годы, тревожной нежностью к нему за его непрожитую жизнь душа просветлела.

Он мог бы спросить с меня. Но пришел без упреков, стенаний за погубленную пошлой касторкой жизнь. Что-то во мне дрогнуло. Он тронул меня и спутал мои пути к итогам жизни. Его опыт т о й жизни и мой э т о й устремились отзывчиво друг к другу. И теперь вроде у меня есть еще и этот мальчишечка. Сиротка. Заступник мой, пусть там где-то, но есть. Тамошний долгожитель.

Будто что-то очень важное, покоряющее случилось. С ним всё стало приемлемо, не отягощало, не мучило, как это бывает, когда проснешься на рассвете.

Может, оттого, что я всё ближе к тому неведомому миру, в который он давно унесен и давно обжил своим там младенческим присутствием, он отогнал его сумрак.

В эти дни газета печатает «Как перестать беспокоиться и начать жить» — с прагматическими наставлениями американского психолога. А этот убитый мальчишечка поддержал меня, укрепил. Устоялась какая-то тишина и легкость неотвратимого в его присутствии.

БЕЛАЯ БАБУШКА

Мы отправлялись вслед за отцом, отозванным на работу в Москву. Мы расставались навсегда с Гомелем, с рыжим дворовым псом, с беспомощным нашим теленком, тоже рыжим, обитавшим до поры на кухне. С отцветавшими яблонями — они сеяли белые лепестки, мы гонялись за ними, пытаясь схватить их из-под носа набегавшего ветра, пока они, кружа в воздухе, спускаясь всё ниже, еще не улеглись на утоптанном дворе.

И много еще всего оставляли, что припомнится спустя годы. А тогда мне еще не исполнилось трех лет и была теплушка, покачивался деревянный конь, брат взбирался на него, но тут же сваливался вместе со своим конягой от толчков в теплушке, подпрыгивающей на расхлябанных стыках рельсов.

Ехали долго. На стоянках раздвигались двери теплушки и сбрасывался чемодан, служивший кое-какой ступенькой, когда спускались на землю. На одной из таких стоянок, а может, уже на конечной станции, в Москве, на вокзале появился дедушка. Благоразумный, доброго оптимизма и терпения, он всегда был уместен, особенно в напряженные моменты. Завернули меня в ватное красное мое одеяло и понесли по Москве. Как-то уже из

далека мне привиделось, что нес меня папа. Нет, то был дедушка, сильный тогда.

К тому времени он — советский служащий, бухгалтер; всё же ему удавалось иногда отлучаться из Витебска, ради своего назначения — отца и деда. Оно стремительно обесценивалось в те дни. Но в провинции еще кое-что уцелело.

Потом, много позже, я поняла: в дедушке был какой-то комок н е п р о ж и т о г о. Он с детства проявлял незаурядные способности к точным предметам. И эти способности он моим братьям передал через поколение. Сам же он, когда подрос, бежал из дома в Ригу, учиться в Политехническом училище. Силком вернули в семью. Он был старшим из десяти детей и, чтобы остальные его братья и сестры могли учиться, должен был идти «по стопам отца» — заниматься оптовым сукном. Но «стопы» тихого отца вели каждое утро в синагогу, где в кругу приверженных толковались вот уже тысячи лет священные книги. Здесь его тихий отец кое-что значил. Но не дома. Главой семьи была его жена, моя прабабушка, почти легендарная в масштабе города, — Хвалиса, Хволос. Необыкновенной энергии, да и дерзости по тем временам невиданной. Когда тихий, неразговорчивый муж удалялся в синагогу, она натягивала брюки и вместе с подрядчиком и кровельщиком лазила под стропилами и на крыше возводимого дома. И когда однажды ее муж, встав поутру, как обычно собрался в синагогу и подошел к окну взглянуть, что за погода на дворе, он заметил новый двухэтажный дом по соседству. «Смотри-ка, чей-то новый дом у нас тут появился?»

— Это — твой дом, — отвечала Хвалиса.

Эта быль стала городским анекдотом.

Оказывается, прабабушка была заядлой преферансисткой. А в этом городе всё про всех было известно. Известно, что Хвалиса уже надела корсет, и в нарядном платье дожидается к ужину гостей, и теперь до глубокой ночи просидит за ломберным столом. И если пациенты ее зятя, врача-акушера, пытались дозвониться к нему на квартиру, городская телефонистка, самый осведомленный человек, отвечала: «Яков Маркович на преферансе у Хвалисы».

Далеко не всё было гладко в многодетной семье Хвалисы. Старшая дочь сошлась с женатым человеком и вынуждена была скитаться с возлюбленным за границей. А младшая бежала от сыска в Швейцарию и вывезла подпольную типографию. Оба младших сына, выпускники Харьковского медицинского факультета, один за другим женились на русских девушках и, значит,

крестились, переступив веру отца. Религиозный мечтатель, отец их мог по-прежнему сидеть в синагоге, размышляя над вечной книгой, — всеми семейными делами правила и всё утрясала, улаживала жена Хвалиса. Ее самообладание и при сокрушительных обстоятельствах было бесподобным.

И то ведь сказать: на дворе всё еще XIX век, хотя и на исходе. И такие выбрыки — добро бы столичной молодежи, а то ведь детей «черты оседлости» — были, мягко говоря, — нетрадиционны. Но Хвалиса выстаивала и делала, как говорили люди, хорошую мину при плохой игре — кто ж, мол, не знает: маленькие дети — маленькие горес, большие дети — большие горес, дай им Бог здоровья. Выделяла женатым сыновьям долю на обзаведенье и слала содержание дочерям, находящимся по разным причинам в бегах.

Сняв на лето дом на хуторе под Витебском, собрав разлетевшихся детей и внуков, она в базарный день выходила на дорогу и заворачивала на хутор возы, идущие на базар.

Добросовестному моему дедушке приходилось усердно трудиться, чтобы «оптовое сукно» не рассыпалось прахом под щедрой материнской рукой.

Одна из дочерей Хвалисы, средняя по старшинству, не связывалась с социал-демократами и их типографией, не влюблялась в женатого человека, не стремилась получить университетский диплом (в чем преуспели обе беглянки в Швейцарии, тогда как в России еще дебатировался вопрос о целесообразности предоставления женщинам права на высшее образование) — словом, она оставалась дома и беспокойства не доставляла.

Нельзя сказать, чтобы Хвалиса предпочтительно благоволила этой дочери. Может, ее незаурядной натуре существеннее были чинимые другими детьми огорчения и встряски, взламывающие дерзостью и новизной косный распорядок жизни.

Однако в свой срок, не в пример другим дочерям, подхваченным новыми веяниями, та средняя дочь, не отлучаясь из дома, удачно вышла замуж за молодого обещающего врача-акушера — того самого Якова Марковича, что теперь зачастую проводил вечера за пулькой у Хвалисы. Он стал популярным в Витебске человеком, принимал чуть ли не каждого новорожденного в городе. Мы с братом застали Якова Марковича в зрелых его годах, очень живого, остроумного, с короткой шеей, пузатого и с золотой цепочкой часов из-под жилетки по круглому, подвижному животу. Его дочь, моя тетка, и сейчас вспоминает, как мы с братом преследовали его, цеплялись: «Дедушка мой!», «Нет,

мой!» Ничего удивительного, он был обаятелен, с ним было весело, и каждый из нас хотел быть ему внуком.

Повезло Витебску — повивальной бабкой в городе был исполненный жизнеобильных сил, веселый человек. Куда только девался такой тип горожанина!

Яков Маркович изредка наезжал в Москву к дочери в дни отпуска и спешил обратно к себе. Его знал и почитал, можно сказать, весь Витебск, там он был круглосуточно необходим. И в советское время по-прежнему, когда он ехал в трамвае, кондуктор спрашивал: «Яков Маркович, где вам остановить?».

Моего брата — ему уже было два года — успели свозить в Витебск, представить правнука Хвалисе, а точнее — проститься. Она не поднималась с постели. Брат увидел ее большое мучное лицо с горящими черными глазами и много, много белых волос. До того он не видел у людей таких волос, изумился, может, испугался, — «Белая бабушка», — сказал он. И это пристало к ней. Я, подрастая, слышала о Белой бабушке. А как звали ее, узнала многие годы спустя.

А тогда съехались ухаживать за ней две преданные дочери, обе с высшим образованием и несостоявшейся личной жизнью. Хвалиса лежала под белым пикейным одеялом, большая, с лицом страшноватым (фотография!) в своей остаточной силе, в последней цепкости густых, темных глаз, в бессилии неприбранных, взлохмаченных волос. На этой кровати она родила десятерых детей, на ней же расставалась с жизнью. После родов всякий раз на пол у кровати ставилась корзинка, в нее летели сверху куриные косточки, и Хвалиса не поднималась с постели, покуда гора косточек не достигнет подушек.

Преувеличение? Еще один городской анекдот? Возможно. Но и устойчивая картина в памяти родственников. В ту пору врачи, будь то в Витебске, в Киеве, в Житомире, знали один универсальный рецепт при всех заболеваниях и для восстановления сил: «Кушайте куриный бульон!».

Но ни тех кур — на России голод, ни восстановимых по любым рецептам прежних природных сил — неумолима череда лет, исход поколений...

Как ни притягателен был Яков Маркович, как ни азартно было отстаивать свое первородство возле него, всё же я не поступилась бы в его пользу нашим дедушкой.

Невысокий, ладный, в меру лысый, наш дедушка был не только значительно старше Якова Марковича, но в отличие от

него был скорее, как сказали бы сейчас, интровертом. Говорил он мало, лишь по мере необходимости, сипло, убедительно. Если он не читал газету, воздев очки в серебряной потемневшей оправе, то, случалось, сомкнув накрест руки на груди, погружался в раздумья. Если же в нем возникала нужда, а это случалось часто в семейных делах, он тотчас отчетливо во всё включался, бодро посапывая.

В отличие от своих братьев и сестер он не имел диплома специалиста, не крестился, к тому же не был богат, чтобы иметь привилегии, как купцы первой гильдии, — и значит, в прежние времена лишен был многих гражданских прав. И в ту пору, приезжая по делам в Москву или в другой какой крупный город центральной России, он не мог нигде заночевать, даже на постоялом дворе у городской заставы. И однажды, застигнутый лютой метелью и тенью жандармского преследования, он угодил в публичный дом — единственную обитель, где почтенный отец семейства мог, откупаясь, смиренно перебыть до утра в зале, в обществе обитательниц дома, сонно поджидавших клиентов.

Революция покончила с его «оптовым сукном», и дом, что строила Хвалиса, вместе со столовым серебром был отдан им безвозмездно государству еще до того, как оно спохватилось и приступило к конфискации. В стесненной квартире вместе с дедушкой и бабушкой доживала прабабушка Хвалиса.

Попросту говоря, дедушка был разорен. Но ведь этим знаменовалось пришествие нового времени и с ним того, чему не было цены, — равенства. И дедушка принял это разорение со всей терпимостью, как само собой разумеющееся, легко. И не он один. С такой удивительной безболезненностью и беззлобно многие переносили в те дни эти утраты, иногда немалые: имущества, средств, ценностей; слом быта.

Теперь дедушка был совслужащим, бухгалтером Потребсоюза в Витебске. Всё же ему удавалось иногда отлучаться. Он был, что называется, легок на ногу, и нет-нет да появлялся у нас.

Мне нравилось, как щелкала крышка его карманных часов. Как пахла его толстовка ношеным сукном и махорочным дымом самокруток его сослуживцев. И сиплый, будто уточнявший что-то его голос нравился. С появлением дедушки вроде всё было на месте.

Он мог бы быть добрым духом дома, когда б эту службу не упразднило новое время, разметавшее семейные очаги.

Мы еще жили на Тверском бульваре. Брат в тот год пошел в школу, в бывшую 1-ю гимназию в Леонтьевском переулке. Взрос-

лые уходили на работу. В наших комнатах и у соседей пустело. Я и дедушка, случалось, оставались одни. Ему хотелось чем-то занять меня и, не зная чем же, дедушка читал мне наизусть Гейне по-немецки.

И вот — папина небольшая комната, пасмурный свет от окна, обращенного в глуховатый двор, черный диван. Вскинутая дедушкина подрагивающая рука с короткими пальцами, достоверный, приглушенный голос.

Нас с братом пытались учить немецкому, мы не были прилежны, я едва узнавала только отдельные слова. Но грузно-торжественное звучание стихов, то горестное, то пронзительное, обрушилось на меня. Я цепенела в волнении.

Помню свое состояние. Но это я сейчас подыскиваю слова для обозначения той ранней ловушки: внезапному романтическому зову во что-то неведомое.

Дедушкин сиплый голос, пересиливающий затрудненное дыхание и от этого по-особому торжественный...

Черный диван, тусклый свет в комнате.

Неизгладимо.

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ

В 1996-м, в день рождения Сталина 21 декабря, ведущий программы новостей НТВ в заключение поведал: 12 лет назад в день рождения Сталина скончался народный артист СССР, исполнитель роли Сталина в фильмах — Михаил Геловани, преследуемый кошмарами: тело Сталина в мавзолее портится, разрушается и подменить его, сыграть эту последнюю роль принудят Геловани...

В вечернем выпуске новостей это сообщение было повторено. Оно могло сойти за анекдот. Мне же показалось, что могло быть правдоподобным, и побудило восстановить то, что случилось мне узнать о Михаиле Геловани.

А было это так. С его сыном познакомил меня Вячеслав Кондратьев. В то лето Кондратьев отдыхал в доме отдыха ВТО, километрах в десяти от лесного домика, где жила я. Он оказался соседом по столу с главным режиссером Воронежского театра оперы и балета и за разговором с ним упомянул меня. Режиссер встрепенулся, оказалось, что он сочинил либретто — то ли балета, то ли оперы по мотивам моей книги с главной партией военной переводчицы по имени Елена. Узнав, что я нахожусь неподалеку, он настоял, чтобы Вячеслав отвез его ко мне, ему не терпелось увидеть живой прототип своей героини.

Вот так однажды в моем лесном уединении требовательный стук в дверь разбудил меня. Было хотя и позднее утро, но самый сон для «совы», к тому же накануне вечером я вернулась из города, вымотавшись.

Кому понадобилось вламываться ко мне? Я выжидала напряженно. Может, решат, что меня нет, и уйдут.

В то лето вообще было неспокойно. Впридачу разгулялась «Память». На их листовки с призывом к еврейскому погрому можно было наткнуться в будке телефона-автомата, в подземном переходе, на троллейбусной остановке и даже, как мне говорили, в вестибюле МГУ.

Стук повторился еще настойчивее. Я спешно натянула свитер, брюки, сполоснула лицо. Кто? Господи, Вячеслав! Как я обрадовалась ему...

— Как это вы тут одна в глуши! — с порога накинулся Кондратьев. — Я и то не согласился бы.

Ну, а для меня не было большего блага, чем это уединение в маленьком домике среди леса, а то, что иногда бывало чуть жутковато, только прибавляло приверженности ко всему тут.

Кондратьев представил своего спутника: Георгий Михайлович Геловани. Среднего роста, темноглазый, с пристальным, заинтересованным взглядом, при бородке. Вот, пожалуй, всё.

До сих пор я не приспособилась отчетливо воспринимать тех мужчин, что обзавелись бородой. Нередко они мне кажутся на одно лицо или очень уж схожими. А если и нет, то нечто индивидуальное в их лицах защищено, затемнено, утоплено в бороде.

Геловани объяснил, что привело его ко мне, чем вызвано желание познакомиться, — ну, и значит, о своем либретто. У него в Воронеже, в театре приступают к репетициям. На груди у него висел фотоаппарат, и, как только мы вышли, он снял нас с Вячеславом вместе, а передав ему аппарат, попросил, чтобы он сфотографировал его со мной. Я обычно избегаю фотографироваться — не фотогенична, тем более с посторонним, но упираться было неловко.

Разговор вертелся вокруг либретто, автор рассказал, что придумал мне трогательную печальную фронтовую любовь. «А в том месте, где у вас старуха протягивает пленному немцу миску с кашей: «Жри!» — «Да нет у меня этого! Она протягивает ему миску с кашей и плачет», — прервала я его, негодуя. Он записал мой адрес, чтобы прислать фотографии, и вскоре на машине Кондратьева они укатили к себе в дом отдыха ВТО.

Я осталась в недоумении и досаде — не была спрошена заранее, готова ли разрешить использовать мою книгу. А тут еще и текст увечат. Как он вообще соотносится с танцем? Нелепо.

Геловани, кажется, говорил, что женат на молодой балерине. Вероятно, это она метнется из-за кулис на пуантах и в очаровательной своей пачке станет в разных па-де-де и прочих тру-ля-ля танцевать военную переводчицу Елену — меня...

Спустя полгода внезапно, без предварительного телефонного звонка, появился Геловани. Принес обещанные фотографии.

Он был какой-то совсем другой. Что-то в его жизни переломилось: он вышел на пенсию, оставил Воронежский театр, намерен перебраться в Москву и работать в Большом театре.

Мы разговорились. Вернее разговорился Геловани. Он был разворошен: сорван с насиженного места и еще не пристал ни к чему устойчивому. И на него нашел стих разговорчивости, как случается с пассажиром поезда: в пути он раскован, никаких привычных координат, волен. Слово за слово о том, о сем, но всё больше об отце.

И тут я узнала: оказывается, Георгий Михайлович Геловани — сын того самого Михаила Геловани, который в «Падении Берлина», да и в других фильмах, играл роль Сталина.

Остановился Георгий Михайлович у сестры, жившей поблизости, и снова наведался ко мне. Звонил от меня некому влиятельному лицу, хлопоча о переезде в Москву. И возвращался к рассказу об отце. Слушать его становилось захватывающе интересно. Я взялась за карандаш. Георгий Михайлович откликнулся на мою заинтересованность, продиктовал мне названия упоминавшихся им фильмов, в которых снимался отец до того, как стал двойником Сталина.

Рассказывал он вразброс и только факты, ничего от себя не добавляя, не замечая, в какую поразительную картину они выстраиваются — вот уж где и сценарий, и либретто, и роман! Но можно понять — это ведь об отце и неприложимо для сына к художественным домыслам.

Так вот, отец — Михаил Георгиевич Геловани из знатного рода князей Геловани — был женат на богатой батумской еврейке. Еще до первой мировой войны играл в театре драмы не то в Батуми, не то в Тифлисе. Он был замечательный *романсист*, как выразился мой собеседник. Публика ходила по множеству раз, чтобы услышать в спектакле исполнение им романсов.

В 20-е годы он снялся в трех фильмах тифлисской студии. В каждом из них герой сходил с ума: в фильме «Три жизни» — из-за смерти жены; во втором — «Два охотника» — оттого, что его преследует образ брата, которого он не спас из объятий медведя, потому что они были соперниками в любви; в третьем фильме — «Злой дух» — из-за гибели дочери, утонувшей. «Этот фильм, —

сказал Георгий Михайлович, — обошел весь мир. Бабушка видела в США».

(Я вспоминаю фильм, он примерно той поры, может, чуть позже вышел, — «Медвежья свадьба» по сценарию Луначарского; в фильме героиня тронулась от пережитой в лесу встречи с медведем. Похоже, в моде были в кино-мелодрамах подобные концовки. Но я не об этом.)

В 30-е годы Михаила Геловани снимал режиссер Шенгелая в «Золотистой долине» в роли бухгалтера колхоза. Тут он поет на вечеринке. Но он — убийца — убивает председателя колхоза.

Приехал Чиаурели — он жил в Москве, но был художественным руководителем Тифлисской студии, — смотрел отснятый материал. Вскричал: «Вы кого сняли?!». Прокрутили еще раз. Ахнули. Отец был очень похож на Сталина. Перегримировали, пересняли. А Чиаурели взял на заметку и когда снимал «Великое зарево» — первый фильм, где на экране появляется Сталин, — взял Геловани.

Но это позже. А до того, в 1934-м, вышел фильм Чиаурели «Последний маскарад», Геловани сыграл в нем предателя. Его герой — в рядах революционной молодежи, и он участвует в демонстрации, схвачен вместе с другими охранкой и сразу же в охранке становится предателем — это первая ступень, обеспечившая последующие ступени его карьеры. В меньшевистском правительстве он — министр. Это и есть его «последний маскарад». Бежит он из Батума вместе с красавицей Натой Вачнадзе, снимавшейся в фильме. На экране лезгинка чередуется с расстрелом в Батуме: лезгинка — расстрел — лезгинка...

И вот наконец «Великое зарево»: Геловани — Сталин.

Меня поразило: прежде чем наработать психологический материал для этой невероятной роли, вжиться в нее, воплотиться в образе Сталина, Геловани предстал на экране в трех ипостасях — сумасшедшего, убийцы и предателя — агента охранки. Так это сошлось.

В Москве артиста Михаила Геловани поселили в доме, что напротив «Арагви». Жил один. Безалаберно. Безденежно. Из «Арагви» ему приносили на дом обед.

Звонок: «Спуститесь вниз, сейчас за вами подойдет машина, поедете к товарищу Сталину». — Он посчитал, что его разыгрывают. Михаил Чиаурели был на это мастер. Опять звонок. Отмахнулся: «Миша, ну чего разыгрываешь!» — Наконец понял, что взаправду.

Повезли на дачу. Он — в полуфренче. По безалаберности и безденежности костюма не имел, но в Грузии многие ходили так одетыми.

Чиаурели ждал в вестибюле на даче. Как увидел: «Ты меня убил!» — Полуфренч ли имел в виду, задержку ли с приездом?..

Пошли к Сталину. У него Чарквиани, тогдашний секретарь ЦК Грузии.

«Вы знакомы, ведь из одной деревни», — столнул их Сталин...

— Тут отец сгорел.

— С чего? — недоумеваю я.

— Осрамил его Сталин. Чарквиани были крепостными у князей Геловани. В Грузии известно, чьи земли где были.

Ну я-то думаю, Сталину импонировало, что его играть будет князь. Известно, он имел обыкновение перед встречей просмотреть досье. И при его цепкой памяти любил ошеломить. Мне рассказывал командующий армией И.М. Чистяков: представ перед Сталиным за новым назначением, был ошарашен — Сталин без бумажки чешет по фактам его биографии. Всевидящее око...

Повезли на просмотр Сталину первый фильм. Он сел в кресло («полувольтеровское», сказал мой собеседник), утонул. Позади него — Чиаурели, отец, Храпченко. Голова Сталина не видна, спинка кресла над ней, только свисавшие по сторонам его руки видны.

Геловани-сын откинулся в кресле, развел руки и свесил с подлокотников — представил, как сидел Сталин, будто сам там присутствовал.

Фильм кончился. Сталин молча поднялся, пошел к двери, не произнеся ни слова. О н и — ни живы, ни мертвы.

Уже стоя в дверях, обернувшись, Сталин произнес:

— Обаятельно Геловани сыграл товарища Сталина.

Двери закрылась. Они повскакали с мест, бросились обниматься, целоваться, вне себя от счастья.

«Фильмы делались тогда года два, а Чиаурели предугадывал заранее, что будет нужно, такой это был человек», — говорит сын Геловани. В первом фильме со Сталиным в «Великом зареве» Сталин—Геловани шутит, поет. А в «Падении Берлина» Сталин целует руку Гиацинтовой — в сцене в Кремле с многодетными матерями. Кто мог себе такое позволить! Только Чиаурели. Угадывал — и попадал в точку. И всякий раз снова угадывал.

— А отец, он играл свою мечту о Сталине. Ведь Сталин маленький, левая рука короче, в оспинах лицо. Отец играл его таким, каким хотелось ему видеть Сталина.

Снявшийся в роли Сталина артист Алексей Дикий, по словам Георгия Михайловича, менее угодил Сталину. «Больше никто не играл Сталина, только отец».

Не решаюсь навязывать сыну то, что думаю. Выбор замкнулся на его отце, окончательно решив участь артиста Гелови. Защелкнуло в клетке, позолачиваемой почестями, Сталинскими премиями за актерское искусство, высшим званием — народного артиста СССР. Однажды даже встречал Новый год у Сталина в узком кругу: Сталин, Чиаурели, Гелови. И всё, никого больше. Сталин любил грузинское народное пение — и церковное тоже. А Гелови был солистом в архиерейском хоре в соборе в Кутаиси. Сталин любил его слушать. Поднял первый тост: «За товарища Сталина, вождя народов».

— Это всерьез он? Не в шутку?

— Нет, нет. Серьезно. Понимаете, он отделял товарища Сталина, вождя народов, от себя.

— Так ведь это что-то вроде раздвоения личности.

Как бы там ни было, то был последний раз, когда Гелови пел. Да больше и не для кого было петь. Жил он одиноко, замкнуто. С женой давно расстался, сын приезжал к нему. Всё, чем делился отец, запало; носит в себе и с его слов рассказывает, будто сам очевидец.

В молодые годы, наверно, обжигало тщеславием за отца. Это и понятно. А осознавал ли уже взрослым, как выморочна, призрачна, принудительна и поднадзорна жизнь двойника? И ни шагу в сторону — никакой иной роли. Только роль Сталина для Сталина. Столь почетна роль, что ни игры, ни художественного озарения, однако чтоб с обаянием.

Жил вдали от Грузии, на привязи у Москвы. И ни тебе прежних застолий, жизнелюбия, театральных подмостков, аплодисментов... Бывший *романсист*, любимец публики, видел себя ежеминутно только глазами Сталина. Всё свое, личное вытеснено разместившимся в нем Сталиным. Его смерть могла опустошить Гелови, но не вывести из-под его посмертной власти. И правдоподобна на краю уже его собственной жизни эта мука: его, сталинского избранника-двойника, заживо уложат в мавзолее в гроб вместо разлагающегося тела мертвеца, заставят играть последнюю, зловещую роль.

Вырвавшийся при меркнувшем сознании из подкорки кошмар больше всяких иных слов сказал о том, что скрытно копилось в ней за годы его сталинианы.

В одном лишь ошибся ведущий телепрограммы: умер Гелови не 12 лет назад. Какое там! Он умер давно — в 1956-м, в год разоблачения Сталина. В день его рождения 21 декабря.

А ведь Гелови «играл свою мечту о Сталине». И Сталин виделся себе в его исполнении — обаятельным.

ЦУКЕРМАН

В Познани, в белесые мартовские дни 45-го, к нам в штаб повадился ходить экзотический «сахарный человек» — Цукерман.

Его приходу предшествовало явление тощей, как жердь, скорбной польки, скупыми словами отчаяния просившей вызволить ее мужа из тюремного подвала беспеки (службы безопасности).

В двадцатом году эту злосчастную женщину угораздило спрятать подстреленного буденновца, выходить его, обзавестись с ним при Пилсудском двумя детьми и кое-каким домом.

Но спустя годы в Познань вторглись немцы и, легко заподозрив в нем еврея, как водится, схватили. Однако с его заточением прекратилась выпечка сладких пирогов, тортов, булочек, до которых немцы были большими охотниками, тем более в скудное на лакомства военное время.

Его ненадолго выпустили. Так повторялось несколько раз. Потаенные запасы спрессованной муки и сахарина продлевали жизнь Цукермана. Он счастливо дождался нашего вступления в город.

Но не дремлющая беспека с л у ч а й и с л у ч а й н о с т ь сочла смехотворной уловкой. Выходило, что с л у ч а й н о недорезанный еврей — заведомо преступник.

Нам удавалось вызволять нашего бывшего соотечественника, и незадачливый буденновец, не мешкая, являлся к нам размашистой походкой, с черным задрипанным портфелем, окрыленно разлетавшимися полами распахнутого светлого плаща, сливающегося с молочно-серым светом дня.

Зато большая черная голова его, притянутая короткой шеей к плотному телу, при любой погоде была удручающе чужда местному колориту. Не тратя попусту ни часа свободы, он доставал из портфеля позитивный манифест своего предприятия, и одесское жизнелюбие, спотыкаясь о пустяки русской грамматики, оповещало о библейских хлебах и розничной кондитерской невидали, рассчитывая снискать поддержку во всех влиятельных инстанциях.

Но беспека не была сладкоежкой и, без труда оставаясь стойкой перед кондитерскими соблазнами Цукермана, очень скоро определяла его снова в подвал. Из окна этого подвала, еще по-дилетантски не заколоченного и даже не схваченного решеткой, несся к прохожим вопль негодования, высовывались и сотрясали воздух рыжие здоровенные кулаки, которые во все времена желали лишь одного — месить тесто, будь то в Познан-

ском воеводстве или позже, когда оно было переименовано немцами в провинцию Вартегау, или теперь, когда настало освобождение от фашистского ига и среди еще невнятных очертаний новых институтов власти проступил твердый контур беспеки.

У окна подвала простаивала, на глазах мумифицируясь от страданий, жена узника. Теперь во дворе нашего штаба среди рыкающих машин она появлялась точно из склепа — бессловесный, смиренный, потусторонний знак отчаяния.

Вызволенный снова на волю ее муж как ни в чем не бывало размахивал портфелем, не веря ни в чох, ни в сон, но — в здравый смысл печного изделия. И со всей энергией оптимизма, взбодрив крем из потаенного маргарина, разукрасив огромный торт, проводил нас на штурм Берлина. Так что мы ехали не налегке, наделенные в дорогу праздничным тортом, украшенным нашей пятиконечной звездой и вензелями кондитера Цукермана, временно пребывавшего на свободе.

Мы принялись за торт лишь через четверо суток, когда немецкий гарнизон сложил в Берлине оружие. Когда уже всё отгрохотало, хотя повсюду еще дымилось и красные полосы не зари, а зарева пожаров блуждали в небе. Когда гражданские немцы разгребали завалы на улицах. А военные немцы в колоннах пленных плелись за город Бог весть куда и насколько... Когда уже сколачивали спешно деревянную арку Победы с портретом Сталина в центре, а мертвые всё еще дожидались, чтоб их предали земле.

Тогда лишь, заночевав на городской окраине, мы уселись праздновать победу над Берлином, водворив на стол огромный торт с вензелями познанского кондитера, изготовленный с кремом, возможно, уже прогорклым.

Хозяева, пожилые супруги, отсиживались на кухне. Из всех, кто проживал в квартире, только одно живое существо оставалось здесь, в комнате, с нами — маленький попугай.

Было странно, забавно, умилительно, что он благополучно пропрыгал тут, в клетке, перемещаясь с шестка на шесток, всю войну, вынес падение Берлина и как ни в чем не бывало живет на поверженной в прах окраине города и наблюдает сейчас наше застолье.

Хмелели, спохватывались: как там наш соотечественник, тоже вот уцелел как-никак злополучный кондитер, но каково теперь без нас ему?

Вставали из-за стола, ласково заговаривали с попугаем. Благодушно совали ему в клетку куски торта — пусть полакомиться. И он с готовностью клевал.

А наутро увидели его в клетке завалившимся на бочок — мертвым.

Он, маленький, так удививший нас своим живым присутствием, — не пришлепнут бомбой, не разорван снарядом, осколком, пулей, не задушен и не сожжен пожаром, — он не вынес нашего рокового для него вторжения: обкормленный праздничным тортом, умер.

Мы обескураженно, избегая встречи с хозяевами, утекали из квартиры.

Сотни тысяч людских смертей плюс одна — попугаева. Не кощунственно ли о ней? И никто ведь не желал ему зла, не знал, что так получится. Что поделать. Бог с ним.

Но такая вот малость, такой пустячный, ничтожный, смехотворный довесок торчит в своей несоразмерности с чудовищной глыбой катаклизма, с глобальностью исторических событий, с ними рядом, — и тычется в память, гнетет, как грех, как привкус горечи победительства...

ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ

Верните этого человека с его застекленной будкой чистильщика сапог. На угол Большой Грузинской, в то место, где она сходится с улицей Горького, теперь опять Тверской, возле ресторана «Якорь». Чернобородого человека, лет пятидесяти, в берете, этого красивого айсора из вымирающего крохотного племени чистильщиков сапог, таинственно разбогатевшего после войны и пустившего своих детей в городской оборот, но цепко держащегося за корень — за эти племенные будки, уже в 70-е годы новенькие, застекленные, увешанные шнурками, стельками, заставленные коробочками с подковками и шурупчиками — дешевым товаром безучастного, ленивого промысла.

И не мелочью за начищенные сапоги тут были живы. Что-то другое, скрытное, вращало тут колесо наживы. Но это, упаси Бог, не наше с вами дело. Пусть хоть что-то где-то вращается. И я совсем о другом. Ежедневно пробегаешь в задохшемся, оглохшем, осатанелом городе мимо тысячи разных чудес, ничего о них не ведая. И только в тот знойный день 9 июля 1972-го мне, вытолкнутой посещением кладбища из повседневности, потихоньку бредущей домой, открылось чудо. В этом самом человеке. Он сидел на выставленном на тротуар стульчике возле своей будки и читал. Я было прошла, на ходу ненароком глянув в его книгу, возвратилась, заинтересовавшись, не по-древнееврейски ли он

читает. Его Библия была двуязычной с расчлененной пополам страницей. Он читал и кое-где подчеркивал карандашом на русской ее половине.

Это в западных странах, где в каждом номере отеля клиенты рационально обслужены как телефонным справочником, так и новенькой, чистенькой Библией, нет таинства прикосновения к ней.

У нас иначе. У нас тогда ее не издавали. У нас неведомо как и откуда, с великим трудом и удачей д о с т а в а л и ее, старую, потрепанную, как мир Божий. В своей ветхозаветной ветхости она утрачивала признаки типографского происхождения, и над страницами, истертыми молитвенными и взыскующими касаниями, витал божественный дух.

Словом, у нас Библия была вообще в диковинку.

Но чтоб вот так в 1972 году в столице, да на главной улице, да у чистильщика сапог на коленях — средь бела дня на работе, на виду у всех пешеходов, — такое у нас проживешь жизнь, не увидев...

Опустив в нее бороду, он метил деловым карандашом строки Библии, словно готовился к семинару. И тем внезапнее было то, как, зацепившись за меня, он без промедления вознесся в ослепительной библейской проповеди. Ах, что это было! Искушение поэзией и шарлатанство, вызов и лицедейство. Дух захватывало.

Уступив мне стульчик, он перебрался в будку и вещал в ее раздвинутые дверцы. Он сидел теперь на своем рабочем месте, на низеньком сиденье, сантиметров на тридцать всего приподнятом над тротуаром. Уж ниже его, ближе к асфальту, никто не сидит, да еще день-деньской, и никому не дышит в упор, в лицо, грязный сапог.

Из этой самой низкой точки уличного бытия он упивался своей истиной, своим талантом и превосходством над языческой шушерой. Но не запомнить, не воспроизвести романтический каскад и блуд его проповеди. Уцелело в памяти только кое-что побочное:

— Это вас враг посылает: там котлеты дают. Чтоб в суете не думали о Святом Духе.

Высунувшись из будки, пламенным, пророческим взором охватывая суетящуюся улицу, твердил, что куда-то предстоит путь.

— А тут останутся язычники. Тут будет дым, ямища.

Кощунство — Гагарин. Бог поднял небо. Сатана на 11 километре. Выше — Бог.

Грохотала улица, перекатывала мимо, не оскудевая, людской поток. Подходившим купить что-либо или почистить обувь он отказывал, всем своим видом давая понять, чтобы они шли прочь.

Я забеспокоилась, что он сегодня не заработает по моей вине. Но он отверг мои опасения, сказав, что не зря тратит время.

— В вас есть что-то от Божественного Духа. Угашенное, но есть что-то. Вы не дочь гнева, а то бы я с вами не разговаривал. Вы — дочь света.

И крепко советовал:

— Примите крещение. Тогда воспламенится ваш дух.

Ему же за меня, обращенную, от Бога золотой столп будет.

Тем временем по низу улицы, у самого асфальта, вилась какая-то своя канитель, неприметная нам с вами, отчужденным от асфальта во весь свой рост и только топчущим его подошвами. Некто мышиного цвета, горемыка, принадлежность закатных часов дня, семеня с пачкой закупленной «Вечерки», поспешал кого надо обнести тут в асфальтовой округе.

Мой проповедник выдвинул денежный ящичек, метнул в ладонь розничного поставщика «Вечерней Москвы» двугривенный, и не успел тот отойти, как он разорвал газету.

— Зачем мне эта ложь! Машинами. Макулатура. Это я как подаяние. У меня книга — вечная.

— Она у вас от отца?

— У меня один отец — Бог и Христос мой учитель.

Он что-то упоминал об огненном испытании, которое ему предстоит, и о гонении, в котором фигурировала гонительница жена, работавшая в смену с ним в этой будке.

— Куда ж вы пойдете?

— Куда Господь поведет.

— Евреи уезжают, — сказал он. — Это их Бог собирает. Израилево племя. Там им будет расправа кровавая. Треть спасется. Мы не должны к ним плохо относиться, как к людям. Они — маслины природные, а мы маслины — дикие.

— Почему?

— Потому, что Я — Бог Авраама, Исаака, Иакова...

Потом, не раз проезжая в троллейбусе, я высматривала, сидит ли этот чернобородый в будке, и видела, как он чистит сапоги клиенту и возносится в проповеди. Как-то вечером, проходя мимо, я столкнулась с ним, щеголевато одетым — в высоких сапогах с пряжками, в куртке на меху. Он навешивал замок на будку и торопился по каким-то своим делам в ресторан «Якорь».

Надо бы пойти как-нибудь послушать его, говорила я себе, но тугой мрак повседневности опять поглощал меня.

А через год стало уже поздно. Он не сидел больше в будке чистильщика сапог на углу Грузинской и улицы Горького. Теперь

в ней была бессменно его гонительница — жена с гуттаперчевым, тугим лицом, с тяжелой замысловатой короной из черных волос. А его, значит, нет и не будет.

Огненное испытание, которое он предрекал себе, погнало его куда-то...

НЮРИНА ТЕЛЕЖКА

«Ан вселенная — место глухое»

Б. Пастернак

Вот и наше Дорохово «место глухое». Лес, где живу, нетронутый, первозданный — дубы, сосны, березы, ольха — густой стеной выступает отсюда до самой Белоруссии, уверяют местные. И Вселенную тут в лесу издали слышно в каждой зазубрине спотыкающихся колес Нюриной тележки, груженой молодой картошкой на продажу.

Без дороховской Нюры Дорохово как бы и не Дорохово, хотя она не коренная тут, как и большинство жителей. От коллективизации семья ее разбрелась с родной Смоленщины кто куда. В колхозе только одного из всей семьи оставили. Нюру прибило в Дорохово. Здесь намешанный отовсюду люд. Кто от раскулачивания сюда подался, кто, отбыв лагерный срок и лишенный прав проживания в крупных городах, здесь пристоился. И по сей день прибывают из заключения. Соблазн: Москва под боком, в 80 км всего.

Как-то она рассказывала о брате. Когда вернулся из плена, не найдя в Смоленске Нюру, искал ее. Крик был, говорит она, когда пришел в деревню, где Нюра в войну жила.

— Ну, теперь всё уладилось. Пережил в плену, наши трясли, мучили. Теперь ездила — ему 60 лет, — как его провожали! Он начальником над тремя районами (по связи), в Дорогобуже он. Теперь всё уладилось, и все дети определенные.

Но это уже давнее. А прошлым летом о брате, умершем, говорила:

— Я целый год глаза не простуживала... Ноги коляные. Я давай его трясти. Еще два дня живой был. Сестра, та болела... А с братом, это я не соглашусь. Он здоровый был. А лежал белый, полный — красавец. Они ведь худые бывают.

Она очень сочувствовала моему горю, жалела меня, но была тверда:

— Крепись.

— Сколько же терпеть такую муку?

— Год. — У нее на всё была мера.

Я-то знала про себя: год и всю остальную жизнь. Но от ее слов отпускало. Так бы и просидела возле нее.

— Меня стебануло горе, брат умер. Пошла до Бога. Молитвы кое-какие прогонишь. Мы же — земные, мы — согрешаем. Пою в церкви. На клиросе я не бываю. За ними вслед иду.

Священника прислали из Москвы. Батюшка молодой, ну а то вовсе никакого не было.

— А мы не к нему идем. Мы — в храм. У меня нет таких особо больших грехов. Я только скажу: «Грешна, Господи». А у кого есть, кто исповедываться хочет, остается.

— И он отпускает грехи?

— Он — не может, Господь — отпускает. А он — пастырь наш. Он службу ведет полностью, не скосит. Беда — попивает. Связался с продавщицей пива. Вместе пили. А тут еще женщину молодую привез себе. Что делать? Мы молчим. Пожаловаться — его тут же отзовут, может, и сана лишат. Заберут его от нас, и мы опять без пастыря останемся. Сюда никто не поедет. Он уже был, уходил. Отхлопотали его назад. А его хоть ночью подними, если заболел кто и надо, без машины, без лошади придет, хоть там гроза, буран. И службу он знает.

Но что-то ее беспокоит насчет веры.

— Есть сталоверы, а то баптисты. Праздники баптисты не чтут почему-то, — не спеша смотрит на меня, может, помогу что-то понять. — Петров день, Ильин день...

И, помолчав:

— Кто знает, чья до Бога вера дойдет.

Но и житейски она пытлива, приметлива. Судит нынешних девушек за их худобу: «Идет, ее перещипнешь всю».

Раньше ее племянницы приезжали, не успевали войти, есть хотели и с аппетитом ели. А теперь стараются есть поменьше.

— Сами говорят, что у них все кишки пересохли.

У ее сестер и младшего брата — отдельные квартиры. В Калуге и в других городах, где они живут, в Смоленске, Пинске — нет ни мяса, ни колбасы. Плохо с продуктами. Но живут — хорошо. Хорошо — одно слово. И, правда, — хорошо. Обживают, обставляют квартиры. Гарнитуры. Помышляют, а то и покупают автомобили.

Эта большая крестьянская семья, оставившая в колхозе только одного своего человека, обратала город, обустраивается. И деньги у всех есть, хоть и не поймешь, с чего?

И снова раннее утро в дороховском лесу. Отрада. Тут тебе и кукушка отстукивает, и соловей в свой час разливается, а всё к

чему-то еще прислушиваешься. Ну вот — зазвякало: перекатываются сюда неверные колеса Нюриной тележки.

— Племянница замуж выкатилась, — говорит Нюра.

Она побывала на свадьбе в Смоленске. Невеста — контролер на заводе, он тоже с завода, на пять лет старше. Попивает, не без этого. Но пока все довольны. Свадьба им обошлась крепко, пополам и тем и тем родителям — 1400 рублей. Справляли в городской столовой. Всего, всего много было. Мяса не было. Было сердце, хорошо приготовлено. Молодым приносили в подарок деньги. С тарелкой обходили стол. Нюра 20 рублей положила. А одна тетя его — 50 рублей... И что очень хорошо было: в загсе на коврик молодые вставали. И к ним обращались: «Вы вступаете в семейную жизнь. Вы обдумали?»

— Скажи, как на венце.

Она вернулась из Калуги, вызывали няньчить сестрину внучку. Дышать там ей нечем. И тяжело подниматься по лестнице так высоко.

— Я тужу, — сказала Нюра, — убираются старики. А то и те, кому не время. Вот и Женька, царство ему небесное. Доставили из тюрьмы. 300 километров. Губочки сощемивши, нигде не разошлись. Жена подала на него на алименты — не платил. Его и посадили, не работал — потому посадили... Кто ему не дал жить, всё есть — жена, дочка. Вышел из рамок. Пил, нигде не работал. Болото трясучее. Господь на него взглянул, взял его, он бы всех мучил, а Господь определил его к месту, убрал его. Может, грех мне, но правильно говорю. Жена сказала: мы с дочкой будем бояться. Нам с дочкой страшно, если к ним в дом положить его мертвого. Брат и невестка очень плакали. Он у них жил зиму, не работал. Пил он. Брат и ругал, и случалось, бил его. А то ездили с невесткой к нему в тюрьму.

Господь его взял на свои руки, и теперь он никого не будет касаться.

Я земельку посыпала на него.

Она спросила: вот что это значит: в Библии сказано, чтобы не поклоняться идолам. «Может, это единобожие противостояло идолам»... — что-то в таком роде неуверенно проговорила я. Но она, кажется, не вникала в мои слова. Ее маят сомнения. Слово за слово оказалось: евангелисты ее сильно зовут к себе. Соседка уже сняла и пожгла иконы. И Нюра смущена и, чувствуется, склоняется. Священник попивает, другую себе нашел. Церковь не внушает ей святого почтения. «В церковь я теперь редко хожу». А ведь и пела там, и прилежно ходила совсем недавно.

О евангелистах говорит: «Поддерживают друг друга. У них мужчина жену называет — «спутница».

А главное — ее смущает: может, они в настоящей вере? Сказано: придет Христос и поведет с собой малое стадо. Вот ей и кажется: может, евангелисты — малое стадо?

— Что же мне теперь иконы поснимать?

И чувствуется — она приблизилась к этому. Опасаюсь, как уеду завтра до конца недели, как бы она их уже не сожгла. А я не предупредила, не попросила, чтобы дождалась и отдала мне, если решится снять.

Мать, деды, она сама молились на иконы. И вот она явно — на пороге революционного решения. И это Нюра, с ее ясностью, теплом, естественностью, удивительным мощным, дремучим яблоневым садом и вечными трудами. Только низкий, правдивый голос ее и то для меня целителен. Но и то сказать — кому какое дело до ее души? Никакого. Никому. А нашлись люди, которые проникают в самое сокровенное, она нужна им не нянькой сестриной внучки или под какую-то другую родственную ношу, о ее душе пекутся. А про близость конца света, про что они говорят, так ей сама жизнь на то указывает.

Не атомная бомба, не хозяйственная разруха, не нехватка продовольствия — другое. Вот против ее дома на проходящей дороге какой-то мужчина — «вот тут, простите за выражение, — показывает примерно, где у них ширинка, — рукой трясет в этом месте, шаламается и заваливается. Женщина пьяная к нему подготавливается. Другой пьяный подошел, ее взвалил, — показывает на плечо, — и как палку дров понес».

Такой разврат, мерзость ей говорят о крае, о близящемся уже конце света. «Господь не допустит»...

И, помолчав в неясности душевной:

— Сказано: предстал фарисей перед Богом: — Я бедным помогал, всё исполнял, как ты велел... А пришел бедный и сказал: — Господь, будь милостив. — Бог фарисея прогнал, а бедного оставил с собой... Вот и я, — говорит Нюра, — никому плохого не делаю, бедным помогаю, молюсь...

В общем, она не знает, какая ей участь. И боится, что неправильно жила, и не погубить бы душу.

Выходит, чем ближе к исходу жизни, душа подвижнее, взыскующе? Выходит, что так.

ДЕВЯТЫЙ СТАРЫЙ УЧАСТОК

На моей памяти, до войны, в тридцатые годы смерти как бы вовсе не существовало. Это была неловкая заминка в непрерывном движении к высотам социализма. Без затей, в непрезента-

бельном автобусе, мчась по асфальту, а где и по булыжнику, отряжали скоротечно покойника, сопроводив коротким деловым прощальным митингом, и выносили под оркестр. Не в моде было предаваться горю, сожгли или схоронили — и по местам. Смерть не числилась в новом молодом мире по реестру. Ей подходящего места, наименования не нашлось. Она была бесполезна, нередко даже — вредна. И почтения к ней в Москве — никакого.

С тех пор общество постарело, израсходовало свой безудержный оптимизм и счастливую беспечность бессмертия. Но отстающая сфера обслуживания оставила за смертью всё те же аксессуары — серый автобус без траурных примет, не омрачив жизнелюбие города, протрясет гроб и лиц сопровождения по запруженной людьми, машинами Москве, и никто не снимет шапку, не проводит его сочувственным или любопытствующим взглядом.

На утесненных кладбищах кипит скорбный промысел. И борьба за место, потом за памятник надорвет близких. Но горе изливается теперь в православно-языческих поминках, и за могилами ухаживают куда старательнее. Бодрствующий, воинственный дух единообразия ослабел, упускает индивида, и в этом странноприимном мире он, глядишь, вдруг сойдет с горизонтали, неумело и робко заглянет внутрь себя.

На Востряковском кладбище — девятый старый участок — покоится моя бабушка. Я помню бабушку, ее колкую ладонь, наделявшую меня шоколадкой, и вкус той шоколадки, и гортанные звуки непонятной речи, и мамину в ответ громкую, раздражавшую нас тарабарщину из еврейско-русских слов. Она вступала иногда в разговор взрослых, когда мы, дети и домработница, чего-то не должны были понимать.

Шестилетней меня водили к бабушке на Маросейку, где она жила со старшим сыном Моисеем и его милой женой Ревеккой. Та квартира помнится мне в рембрандтовском глубоком полумраке, высвеченном белой бородой отца Ревекки, — стоя у чердачного окна своей каморки, он крошил хлеб слетавшимся на крышу голубям; помнится и резвым голосом висевшего на телефоне в коридоре бабушкиного внука, сына Моисея и Ревекки — моего двоюродного брата Зямы, студента-востоковеда, будущего писателя Захара Хацревина.

Во взрослые свои годы я знакома с ним не была, он погиб на войне, а до того я видела его раза два издали в пору, когда он был красив и известен — литератор, пишущий о Монголии, Афганистане, Персии. Едва ли он задумывался о своем

происхождении, но, быть может, его таинственно влекло туда, где затерялся след наших блуждавших предков, откочевавших потом в Россию.

Разрез глаз у моей мамы и у всех Хацревиных, темноватый цвет кожи, их пластика, гортанные голоса, тип их фамильной породистости и звучание фамилии — всё указывало на связь с азиатским Востоком.

Вероятно, это так и есть, в то время как папины родичи несомненно явились с Запада. Мои родители резко отличались друг от друга, и каждый из них был на свой лад исчерпывающе завершен. Я же чувствую в себе трескучий хаос несоединимых частиц Востока и Запада.

Эта бабушка, мамина мама, гостила у нас на даче. Она ела из привезенной своей посуды что-то такое, что, как я потом узнала, называлось к о ш е р н ы м. Носила на голове парик, имевший отношение не к практичности вольной моды, но — к строгим установлениям ее религии. Вся эта чужеродность нас, пацанят, почему-то не смешила и не отдаляла от нее. Мы не понимали ее слов, она — наших. Но мы чувствовали, что она нас любит, каждого в отдельности, хотя у нее было двадцать два внука и некоторые из них к тому времени были уже не молоды.

В бабушке, рослой неграмотной старухе, были неподдельность, патриархальность, благодатно отзывавшиеся в ребячьей душе. Она умерла, когда мне было восемь лет, с нею ушло нечто с о б и р а т е л ь н о е. Добрую половину ее внуков, живших в Москве, в ее отсутствие я так и не узнала. Иные из них уже перевелись и заселили землю, в которую ушла их бабушка.

У ее надгробья я оказалась впервые осенью шестьдесят седьмого года, когда мы захоранивали в могилу бабушки прах нашей матери. Я не стану травить свою тоску описанием похорон, да у меня и нет на то нравственных средств. Скажу только, что неизбежная, так называемая «естественная» смерть близких ничего общего не имеет с насильственной смертью на фронте. И если за долгую войну тебе довелось повидать ее различные обличья — из этого еще не следует, что ты сколько-нибудь подготовлен к ней. К ужасу от внезапной окаменелости того, кто казался тебе вечным. К дикости безмерного «никогда». К непредвиденной навсегда связи с ушедшим и лихорадочности невостребованных дочерних чувств. К превращению того, кто *был*, — в урну с прахом.

На этих повторных похоронах, спустя несколько месяцев после крематория, были только родные. Попав впервые сюда, в эту

странную обитель, я испытала замешательство. Уже пережита была недавняя «шестидневная война» и скрипели перья: «Внимание: сионизм!», а здесь на старом участке как ни в чем не бывало — высеченные на камне, вырезанные из жести, зияли криминальные звезды Давида, которые до того времени мне довелось увидеть только на узницах еврейского концлагеря под Бромбергом. И что-то совершенно неведомое таили письмена на памятниках.

В аллеях встречались еврейские нищенки с их требовательным «гиб а медове!» («дай подаяние!») и работоспособные мужчины в жестких плащах с сунутыми в карманы кулаками, назойливо предлагавшие прочесть молитву.

Бабушкина могила была в полном порядке. Она четырнадцать раз рожала и оставила после себя верных сыновей и суеверных дочек. И хотя ее кости потревожили по генплану Москвы и они вместе со всеми соседями по Дорогомиловскому поселению и с надгробьями перекочевали сюда в конце тридцатых годов, тут всё было словно искони: и вековые лесные деревья, и укоренившиеся фундаментальные надгробья, доставленные сюда оттуда. В те годы старики хоронили стариков, а молодые шли вперед и выше. Но в эпоху до строительства метро гранит и мрамор были доступны, тщеславный дух не изнурен, а кое-какие сокрытые от Чека средства расходовать было не на что. И на пути к бабушке встречаются памятники большого размаха и скудной фантазии, как вот эти два огромных черного мрамора гроба, в каждый из которых может укрыться по семейству лилипутов.

Бабушкина могила с белой мраморной стелой, обнесенная массивной цепью, казалась достойным прибежищем. Помыли надгробье, высадили цветы. Что же еще? Я знала, что наша мама, когда навещала здесь свою мать, заказывала молитву.

Маячивший неподалеку среди могил еврей по моей просьбе приблизился и завел молитву, достав из кармана плаща толстые кулаки. Мои братья, слегка шокированные, отдалились с женами в аллею. Престарелая двоюродная сестра Рая, старшая бабушкина внучка, почти ровесница нашей покойной мамы, прицыкнула на еврея: «Не кричите так! Тише!» — и дала ему рубль, когда он закончил.

Эта бедняга Рая тоже вскоре легла в бабушкину могилу рядом с нежно любимой сестрой. Их, осиротевших, забрала к себе бабушка в Витебск. Однажды в какое-то праздничное утро, сестры-подростки носились по дому в ночных рубашках, когда вошел дворник Федот поздравить с еврейским праздником и по этому случаю получить законный рубль. Сестры завизжали и бросились бежать по кроватям, чтобы скрыться под одеялами.

Бабушка прикрикнула, унимая визг и суету: «Вос форштейт а гой!» («Что понимает неверный!»). Защитное высокомерие неграмотной вдовой бабушки в парике, просвещенной лишь крохами еврейской религии — теми, что заклинали ее замкнуто выстоять в грозном, враждебном океане инородных, в отторженности от мира, в недоверии заведомо ко всем, кто не еврей и от кого, выходит, можно дождаться гонения, ненависти, насилия.

Теперь в день смерти мамы я прихожу на кладбище. Прежняя надпись на могиле переведена на русский язык. Вписано имя мамы. Распоряжавшийся этим заказом наш дядя учел, что мы, дети нашей матери, причастные теперь к этой могиле, не нуждаемся в «сионистских» письменах, к тому же не поддающихся нашему прочтению. И гребешки таинственных начертаний — исчезли, возникли в переводе ординарные слова: «горячо любимой матери» — это бабушке от ее детей.

И вот — мою надгробье, поливаю цветы и потом немного сижу тут на маленькой скамеечке. Одна. Шелест листьев, птичьи хлопоты, шорохи перекатываемых ветром камешков. Мраморные излишества черных гробов сбоку от меня. Летучие мысли в голове о странности, бренности этого мира сплетаются с взволнованным недоумением оттого, что с соседних могил и оград смотрят на меня не убывшие, как с нашей мраморной доски, еврейские письмена. И архаичные шестиконечные звезды, вдруг обретшие современный нерв. Они вне закона, и здесь, на скорбном, молчаливом пристанище, вдруг страстно заговорили горьким языком древнего эпоса.

Такие вот метаморфозы произошли на девятом старом участке большого всеобщего кладбища — в странной еврейской резервации. И никакого антисемитизма тут. Конечно, от всех других явлений внешнего мира эта резервация не защищена: зимой 1972 года с бабушкиной могилы украли цепь. Соседняя могила в борьбе за существование вдруг налезла на нее приобретенной ржавой оградой. Но это уже, как в лесу. Сначала в борьбе с другими видами молодые деревья дружно, спаянно, всем скопом своего вида отвоевывают жизненное пространство, а потом уже бьются насмерть друг с другом, с соплеменниками, чтобы выжить. Это называется — «самоизреживание леса» и имеет, говорят, непреклонный биологический смысл.

Ох, мама. Который год хожу к ней. Стою у надгробья в недоумении: так это и есть венец всему? завершение круга жизни? И выходит, сюда, под эту мраморную доску, убрались обещанное ей с юности вознаграждение за красоту, за ее снисходительность к судьбе, за неисполненные посулы, за ее несносность в кругу семьи и всё же легкость и всегдашнюю готовность к празднику.

Заслоняясь от нестерпимой жалости к ней, я черствею. Надо произвести уборку и уйти поскорее не слишком расквашенной. В конце концов это всего лишь условность, будто она тут в своей урне с пеплом.

Пока я вожусь, приходит тишина. Она всегда здесь, но не сразу ее услышишь. Осторожный шорох листьев оттеняет ее глубину. Такой глубокой, волнующей тишины, как на этом кладбище, нигде больше не случается. Слушаешь ее, ни от чего более не оберегаясь, и всё заскорузлое, отягощающее, что притащилось со мной сюда из повседневности, отступает, втягиваешься в тишину налегке. И тогда между мной и мамой вдруг пролегает напряженная, болевая непредвиденная нежность и душит до слез.

Я прибралась на могиле, но хочется что-то еще сделать.

Я вернулась к кладбищенским воротам. Тучные пенсионеры — все как на подбор в жестких плащах и в кепках, с загорелыми, грубыми лицами, — переминались у ворот и, высмотрев среди входящих посетителей еврея, предлагали ритуальные услуги. Спрос невелик. Люди проходят мимо. И я было также, но вот почему-то же вернулась.

Человек в плаще, схожий с другими, перехватив мой взгляд, отделился от группы, неторопливо, с достоинством двинулся ко мне. Мы пошли. Он расторопно придержал меня за рукав:

— Люди старше вас и то не знают, что не надо спешить, когда идешь на кладбище — к с м е р т и. А с кладбища — хоть бегом.

Мы шли по долгой аллее, замкнутой с обеих сторон теснящимися друг к другу надгробьями. Мой спутник счел нужным представиться. Живет он в Малаховке. На пенсии. Вдов. Но недавно женился. Долго выбирал. «Не на всех женщин с открытыми глазами смотрел... — не очень внятно пояснил. — Женщина, что я взял, имеет большие заслуги перед государством...»

Какие же, не стал уточнять.

Мы сошли с аллеи. В стороне у маминой могилы было укромно, лежали принесенные мной гвоздики. Мой спутник взглянул неодобрительно на цветы — выходит, я уже здесь побывала.

— Если вы заходите в квартиру, что вы говорите раньше всего? «Здравствуйте». Так и надо сказать: здравствуйте. А уж потом убирать могилу. Ведь «здравствуйте» — это молитва, — поучал меня посредник в делах мистических.

Взяв за козырек, надвинул плотнее кепку и застонал, настраивая голос на какой-то необычный лад, и сноровисто зашелся, то преувеличенно громко, то сникая до быстрого шепота. Его темная, странная песня оттеснила меня. Я поозиралась рассеянно. О, боже, что тут поделывает Теркин! Не его ли эти строки — так похожи — рядом с шестиконечной звездой выбиты позолоченными буквами на соседней могильной доске, где покоится некая Гита Израильевна Гринштейн.

И покуда не поймешь,
Смерть — для жизни новой.
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.

Молитва всё же закончилась. Я спросила, о чем она, какие слова у молитвы. Он с чувством затянул по-русски:

— У вашего праха самая близкая. Даже сосед, если он что сделал хорошее, тоже близкий... Она Вам прощает, простите и ей, если что. — «Только надо просить!» — сказал мне, живо прервавшись. — И Вы, — обращаясь снова к могиле: — ей пожелайте, чтобы жили не тужили... Может, ей что суждено в дороге, на работе. Если суждено какие болезни, она просит, чтобы Вы просили у Бога, чтобы это минусовалось...

Опустил деньги в карман плаща и пошел напрямик, привычно лавируя между надгробьями, сокращая обратный путь к воротам. Но обернулся — из-под козырька кепки — загорелое на кладбищенском солнце тугое лицо, — выкрикнул надрывно, будто на пустыре:

— Только надо просить. Чтоб о н а старалась...

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

В. Иванову

Пустотелый сосуд, расширяющий звук
до соборного хора под куполом неба,
где парит Саваоф, полукружьями рук
обхвативший вселенную справа и слева.

Луч трубы золотой, серафический пух
облаков и с боков свежеструганой стружкой
по отвесу скользят шелкопряды из двух
скоростных аппаратов с игольное ушко.

Он построил свой дом, как большой алфавит,
на твердыне согласных, обмазанных глиной.
Между каменных ребер корзинкою свит
подголосок малиновок, чистых, как инок.

Частокол зияний и плотность частиц,
из пучка вырывающихся наружу,
отзывается эхо трудящихся птиц,
чье усилье не видно, но гласный напружен.

Разрывающий шелковый кокон букварь
больше жизни, в которую не поместиться.
И отдельные звуки, как мошки в янтарь,
залипают в кормушку для ласточек Стикса.

1996

Анна НАЛЬ — родилась в Омске. Окончила филологический факультет Московского университета. Автор двух сборников стихов — «Имя» (1990) и «Весы» (1995). Переводила Т. Готье, В. Незвала, П. Яворова, Д. Максимович и др. зарубежных поэтов. Подборки стихов публиковались в альманахах «День поэзии», «Весть», в журналах «Новый мир», «Знамя» и др. изданиях российской и зарубежной периодики. Живет в Москве.

* * *

Что ты ухаешь, птица ночная,
на рассвете в овраге сыром?
Бронхиальная астма тебе, бедолаге,
заменила врожденный синдром
шизанутых синиц и запойных зорянок
в разгулявшемся хоре дневных меломанок,
оглушенных собой, как сивухою.

Ночь трезва, и струной на приречной коряге
тишина выплывает в тисках каподастра.
Ты одна на правах горлового балласта
в трюме трав, в духоте молочая
равновесие держишь в стремнине молчанья,
с хрипотцой в одиночном куплете.

Сколько раз в нашей жизни, чумной и зачуханной,
прижимаясь плечами в прокуренной кухонной
тесноте, по второй принимали, по третьей...
Нараспашку душа, вал витийства и сплетен,
невесомая полночь — и голос гитары,
заглушающий боли височной удары.

На окне занавеска прозрачна, цветиста.
Между веток завеса туманного ситца
всколыхнулась, и ветер, сквозящий синкопом,
по листве прошумел, не буди, он закопан
на Ваганьковом — дальше, чем может присниться
в темноте ненароком.

Наверху развиднелось, и кончены счеты,
но в дыханье остались провалы, длинноты,
и ничем не заполнить их, кроме мелодий
невозвратных Булата, Володи.

1997

* * *

Памяти И.Б.

Храни, Харон, того, кого хоронишь,
перевозя к пустынным берегам.
Тепла и жалкой утвари Воронеж
не дал тому, кто не чета был нам.

На сучьей стуже при баланде грейся,
сластена, щеголенок, баламут.
Проси пощады, веруй и надейся,
тебя как Данта с фени переймут.

Косноязычья праздная суббота,
труха соломы, втоптанная в грязь,
всё перетопчется, и смертная зевота
язык прикусит, в корень его хрясть...

Вот из такого сора и позора
кукует эхо будущему в счет.
В родимых пятнах Божьего призора
блестит скорлупка, времечко течет.

Неосторожное, как будто не острожное,
не помня, что у вечности плену,
косит в бедлам, как зеркало, похожее
на мертвеца, чьи бельма на луну
похожи.
Храни Иосифа тоже.

1997

ЗАВТРА — ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

Рассказ

Теперь надо вспомнить всё по порядку. Как на следствии: вопрос-ответ. Что он сказал, что я спросила, почему вообще разговор перекинулся на Алису, и зачем я ему вдруг позвонила? Был бы «черный ящик», как в самолете, записал бы нашу историческую беседу — не столько беседу, сколько смех, мой глупый смех, и его — дребезжащий невпопад, и прослушать бы нашу болтовню без комментариев — вот тебе и одноактная пьеска. Да разве вспомнишь? Мысли разбегаются, как мыши. Нет порядка в моей бедной голове. «Но нет его и выше» — или как там? Давай-ка без иронии и без цитат, своими словами и ближе к делу, давай-ка четко — вопрос-ответ — разберемся в этом скверном анекдоте, чтоб не сосало под ложечкой, чтоб не просыпаться, как сегодня, от стыда — не то сделала, не так сказала... А что не так?

Нет, надо было продать к черту эту дачу со всеми ее гнилыми потрохами, сразу, прошлым летом, и не пошла бы Алиса на тот берег пасти детей Судаковых, то есть уже внуков, даже правнуков, если считать от старика... Не познакомилась бы там со всем этим безразмерным, неувядающим кланом Судаковых—Мусатовых... И не сидела бы я, вечерами ее поджидая, гадая, кто у них там «герой романа», как был у нас когда-то Л.М. Кстати, у нас с ним совпадают инициалы. Мы когда-то обнаружили, что подписи одна к одной, можем друг за друга расписываться. А теперь повсюду сигареты «LM»: красные «LM», голубые «LM», лезут в глаза, не дают забыть. Вы мне, кажется, задали вопрос — часто ли я его вспоминала и почему никогда не звонила? Отвечаю: я вообще никому не звоню на тот берег, не только Л.М., но и никому. Да и некогда мне, и некому. Наши два берега оконча-

---

Наталья РЯЗАНЦЕВА — родилась в Москве. В 1962 году окончила ВГИК. Автор многих сценариев — к кинокартинам «Крылья» (совместно с В. Ежовым), «Долгие проводы», «Чужие письма», «Голос», «Я свободен, я ничей» и др. Публиковалась в журналах «Искусство кино» и «Киносценарии». Прозу печатает впервые. Живет в Москве.

тельно разбежались и раззнакомились. Тот берег, как всегда, процветает, а мы чудом выживаем, доживаем в нашей резервации. Да, были поводы, сидела у телефона и думала: как его теперь называть, по имени-отчеству или просто Лёва? И как зовут его теперешнюю жену? Вроде мы с ней знакомы, а вроде и нет. Назовусь по имени, а она и не вспомнит. Вся эта канитель с запахом уязвленного самолюбия мне ни к чему уже — «не к лицу и не по летам»... А память — поди знай, на какой цветок она осядет: открываю пачку «LM», выбрасываю — опять что-то родное в помойном ведре.

А позвонить меня заставила старуха Фирсанова. У нее телефон отключили. Каждый день ковыляет ко мне на костылях — «не откажите в любезности»... От этих оборотов речи на фоне нашей рухляди прямо плакать хочется, я ей в ухо кричу: «Может, отключили за неуплату?» — «Ах, вот оно что! — притворяется, что не слышит, шутит над своей фамилией. — Я как старый Фирс, заколотят, забудут...» А вчера ей взбрело в голову, что Мусатов ей поможет. «Он непременно всё уладит, у него большие связи». Кричу — «не по тому ведомству, не по связи!». Слуховой аппарат она забыла дома. Стало быть, я и должна позвонить — от ее имени. «Вы можете себя не называть, если вам неловко, скажите — медицинская сестра, скажите — Вера Фирсанова терпит бедствие. SOS! Он не откажет, он хороший мальчик...» Почему она так заботилась о моем инкогнито? Вчера я не обратила внимания, а теперь понимаю. Ее редкие реснички с угольками туши так невинно подпрыгнули — «если вам неловко» — с намеком на какую-то печальную тайну. Да, с намеком. А я отвернулась. Я грубо ее отшила — «почему неловко — вечером позвоню». Не могу видеть старушечий подслеповатый макияж, бабусю она мне напоминает. Бабуся, тоже бывшая красотка, в панбархате, за ветхим нашим «инструментом», читала нараспев при гостях: «Встречаются, чтоб разлучаться, влюбляются, чтоб разлюбить — так как же не расхохотаться?..» Не помню, и не спросила, кто автор, сгорала от стыда и ненавидела семейные торжества.

Но я отвлеклась. Спроси меня — почему я позвонила только вечером? Да, я готовилась. Настраивалась, что подойдут домочадцы, потом будет натянутый разговор про дачу, про родных и соседей, беглый отчет за десять лет, угадывание — а что тебе, собственно, нужно, по какому делу, говори уж сразу...

Я вываривала краску и репетировала до полного одурения. Предусмотрела все варианты, все поводы и причины — разве он поверит, что я могу шпионить за собственной дочерью, да таким сложным путем? В конце концов — я звоню «п р о с т о т а к!»

плюс старуха Фирсанова и другие дачные вопросы. Контора у нас общая, правление, что думает центральная власть про наш Богом забытый берег? Я хлопнула рюмашку и отважилась.

Лёва сам взял трубку, сразу, как будто ждал моего звонка.

— Чего не заходишь? Могла б навестить больного товарища. — Без предисловий, будто виделись вчера. — Лежу тут один, как в темнице сырой. Как раз послал узнать твой телефон. Память стала дырявая, меня ж сюда из больницы привезли, а записная книжка в городе, мне до тебя не доскакать, колено еще не гнется, я на том свете побывал, теперь как новенький, склеили из кусков, замечаешь разницу?

Я не успела спросить, по какому поводу он собрался мне звонить. Вопрос завис. Я спросила — ну и как там, на том свете, есть ли там свет в конце туннеля? «Меня все спрашивают, я всем говорю по секрету... разное!» — жизнерадостный у нас пошел разговор, детский треп о жизни и смерти. Он обрадовался мне, это точно. Я тоже расслабилась, отметив про себя — какой неприятный у него смех и что мне совсем не хочется его видеть.

Про аварию я, конечно, знала — что он зимой, на гололеде, шарахнулся об автобус. Говорили — при смерти. Я не верила, ни секунды не сомневалась, что он выживет. Впрочем, мне было всё равно — ничто не шевельнулось в моей душе, когда Алиса — со слов Таты Судаковой — сообщила мне эту дачную новость. Душа стала, как подметка. Первая любовь ее не колышет. Ни первая, ни вторая, ни третья. Тот берег, где Л.М. и их родовое гнездо, вообще остался за горизонтом. Всю зиму я вкалывала — стыдно сказать, где и на кого, — зарабатывала на ремонт дачи. Еле ноги унесла. Получила шиш и коленом под зад. Теперь у нас Алиса — глава семьи, кормилица, получает неплохие денежки как гувернантка с английским.

С чего наш разговор с Л.М. перепрыгнул на Алису? Я рассказала, как она в прошлом году канючила — «мам, давай продадим эту дачу, станем богатыми, пошлем меня учиться куда-нибудь подальше... ты от меня отдохнешь, а так ты погрязнешь до конца жизни под обломками», — и почти уговорила. Я почти сдалась. А она вдруг пошла поступать в актрисы — тайно от меня, я была против. Вот этот момент — когда она срезалась на третьем туре и где-то, не при мне, отплакалась, — я упустила этот момент, я была враг номер один... А потом мою барышню как подменили, взяла себя в руки, летала, как на крыльях, к Судаковым-внукам, по выходным — на дачу, и, что самое интересное, категорически заявила: «Ни за что не продадим эту дачу! Я была дура. Мы вытянем, мы отремонтируем, мы лучше квартиру сдадим». И еще

она сказала этой весной, я дословно запомнила: «Тут я наконец-то поняла, что такое родина, а то это был для меня пустой звук». Да, у нее время больших перемен, не уследишь. «Попала в вашу орбиту и сделалась патриоткой», — сказала я Л.М. Патриоткой того берега. Ну конечно, там главная тусовка вокруг теннисных кортов и старого клуба, там у вас детский театр, говорят, и рабочий день Алисы плавно переходит в вечерние посиделки — у кого? У тебя за стеной или во флигеле? Говорят, племянник твой, Лёвушка маленький, весь в тебя пошел и по твоим стопам; надо думать, что он и есть «герой романа»...

Я болтала и болтала, а Л.М. как-то примолк. Я вопрошаю — уже, чувствую, в пустоту: что они там репетируют, с тобой советуются? Или ты к ним не снисходишь, и вообще — знаешь ли ты мою Алису? Мне показалось, что он отключился, что ему всё это неинтересно... А он, значит, в это время принимал решение: сказать или не сказать?

— Я сам хотел тебе звонить. По деликатному вопросу. Лучше — не по телефону.

Я, конечно, закричала, что теперь не засну, говори уж сразу. Он прикрыл трубку рукой и долго мялся, уговаривая:

— Может, завтра зайдешь? Тут всегда под окнами кто-то ходит. Ладно, скажу. Тут ходят упорные слухи, что Алиса — моя дочь.

— Чего-чего? — говорю. Как будто не расслышала.

— Тут все, оказывается, считают, что Алиса — моя дочь. Вчера жена спросила в лоб. А я, признаться, как-то растерялся...

— Чушь какая! — я залилась хохотом, а он там что-то бормотал, что за давностью лет чего там скрывать, историю не перепишешь, да он бы и не против, и жена отнеслась с юмором, а он — запамятовал, все даты перепутались, имена и даты, между Кларой и Кариной — сплошной провал и вообще ранний склероз — «что-то с памятью моей стало»...

Не передать наш дуэт из оперетты. «Между Кларой и Кариной», да, веселая оперетка. Он — «запамятовал», что неудивительно — много нас таких было в те безумные годы его холостой жизни, когда Клара его бросила. Вот это был поступок, широко известный в узких кругах. Сама бросила — с маленьким ребенком, нет, с двумя, у нее уже своя была дочка. И страдал Лёвушка у всех на виду, а куда скроешься? Театр есть театр.

Легкими касаниями мы пробежались по знакомым, по соседям. Оказалось — падчерица его навещает, гостила с ребенком, а сын их с Кларой — наоборот, отбился от семьи, зато племянники — под их с Кариной руководством, родители вечно на гастролях... Я спрашивала и не слушала, я наливалась злостью. Мы

уходили от темы — всё дальше и дальше, и я не знала, как вернуться. Неужели они меня такой представляют — брошенная, несчастная, беременная, молчу, как партизан, кто отец ребенка, выхожу замуж, чтобы грех прикрыть, всю жизнь молчу, и вот, как в сериале, прекрасная моя принцесса приходит гувернанткой в богатый дом соседей — да разве это про меня?

А почему бы нет? Я прокрутила про себя весь сериал, и вдруг меня как ошпарило: он мог подумать, что от меня исходит этот слух. А почему бы нет? Привет от президента Клинтона и Ива Монтана. Если бы не было всех этих дам, что набиваются в любовницы, с их адвокатами, свидетелями, анализами — позорище! — мне б такое и во сне не приснилось. На каком-то повороте разговора меня прямо потом прошибло, и я сказала монолог ни с того ни с сего:

— Между прочим, у Алисы есть отец, вполне живой и звонит по праздникам, даже на похоронах моей матушки был, и если она его в грош не ставит, то это чисто моя вина, а Лисенков такой подлянки не заслужил, чтоб дочь отнимали. Кто это — «говорят»?! На вашем берегу много чего говорят про ваши две династии, кто их там разберет — детей и внуков, законных, незаконных, вам наплевать давно — одной больше, одной меньше — без разницы, а у меня она одна!..

Я еще много чего наговорила. Вылезла зависть, вековая зависть к тому берегу — это я сейчас понимаю. Он устал слушать.

— Выкинь из головы, — говорит. — Если ты уверена — выкинь из головы, прости меня, дурака, и вопрос снят.

— Так прямо и выкину! Я хочу разобраться... Человек бессилен против молвы, сам знаешь. Что теперь — на спине ей написать — «Я не дочь Мусатова»?

Он не засмеялся. Он вообще как-то скис, будто локти кусает — зря сказал.

— Приходи завтра, часов в двенадцать или пораньше. В двенадцать ко мне приедут из театра — будет завтрак на траве. Заодно и поболтаем в спокойной обстановке. Я, право, не думал, что это тебя так заденет... Дорогу-то помнишь?

Как не помнить! Я готова была бежать хоть сейчас, в этом драном дачном узбекском халате, с немытой головой, но зачем-то стала ломаться — «я постараюсь, если получится...». И опять про дачу, про ремонт, что руки уже не отмываются, одичала, людей не вижу и не хочу — боюсь, испугаются. «Да ты ж меня видел прошлым летом, — зачем-то я вспомнила, — ты был за рулем, еще покрутил пальцем у виска, ты меня чуть не сбил — не помнишь? — на развилке к магазину, такая тощая, седая девушка,

типа Бабы-Яги...» Дура! Получилось, что он мне повсюду мерещится. Это был не он. У него никогда не было иномарки, у него девятка, и обычно жена за рулем. Я сказала: «Вот видишь, ты мне повсюду мерещишься, ни дня без Л.М. Даже вот сейчас, в помойном ведре — голубые «LM», красные «LM», увы пустые. Да, я, пожалуй, пожалую завтра к тебе на завтрак, всё равно идти за сигаретами. Только ты меня можешь не узнать — такая кочерга в шляпке и с белым зонтиком — это буду я...».

Эта шляпка с потолка упала — мамина старая шляпка из тонкой соломки. Я не отложила ее в «реквизит» — есть у меня такой сундук и два ящика в сарае, а решила куда-нибудь ее прогулять — классная вещь, самое то — «ретро»! А она пропала. И тут вдруг выскочила — она завалилась в щель за буфетом. Я потянулась — искать сигареты, какие-нибудь завалящие, не отрывая трубку от уха, и увидела шляпку. Знак судьбы — прямо к «завтраку на траве»! Вот она, простая бабская правда, — шляпку прогулять. А что он мне повсюду мерещится — это неправда, пусть ему так показалось, что мне терять? Я развеселилась от этой шляпки, нашла китайские сигареты, отчим мой Пан Паныч обнищал под конец жизни и дома курил китайские, называл их «легкая смерть» и чужим не показывал, и вот закурила я «легкую смерть» и ввернула к концу беседы легкий комплимент — что видела его по телевизору год примерно назад, и он совсем не изменился, а лысый череп ему идет. «Переходим к светским процедурам», — подумала про себя, язва, представляя, как утром искупаюсь в речке, натрусь песочком, потом льдом и камфарным спиртом, хорошо, что Алиса чемодан тряпок привезла из города...

А интервью мне совсем не понравилось, я хотела выключить. И журналистка — дура жеманная, и они вдвоем с женой жалко смотрелись. Она, оказывается, организатор всех его побед и зарубежных гастролей, тараторила без пауз, а он кривился — будто зубы болят — от этой журналистки. Я не выключила, потому что Алиса не дала, она смотрела без разбора все эти «Кулисы», «Аншлаги», юбилеи, и она спросила: «Это разве он — тот самый Мусатов, который у бабушки на даче? В которого все были влюблены?». Я объяснила, что люди стареют и портятся, он явно не в духе, а во-вторых, — не влюблены, это слово не подходит, не столько он нам нравился, сколько мы хотели ему понравиться, не только девочки, мальчики тоже, и даже взрослые дяденьки-тетеньки старались быть замеченными Его Величеством, а почему — тайна природы. Гипноз. Он и рванул в режиссуру, когда осознал это свойство — что все перед ним приподымаются на цыпочки и показывают лучший профиль. «Пристройка снизу,

пристройка сверху», Алиса тогда любила порассуждать о театре — со мной. Теперь тоже любит — только не со мной.

Этого я ему, разумеется, не рассказывала.

Вышла на крыльцо, шатаясь, как с корабля. Вспомнила: забыла сказать про старуху Фирсанову. Ну да завтра поговорю — завтра, завтра, завтра, что-то будет... Ах, завтрак на траве! Ходила по участку, мало что соображая, в рассеянности блаженной. От слова «блажь». Самое-то главное я забыла спросить: знает ли Алиса про эти слухи? Ну да завтра, завтра, дожить до завтра... «На вашей даче очень тихо, как будто здесь живет портниха...» Полезла всякая чушь из юности. Из детства. Память сбегала туда и обратно, натаскала «чушек». «Мы с тобой два Беринга без одной руки»... «Чушка-кая, чушкакая, чушь какая!» — бабушка учила плюнуть десять раз подряд, выплюнуть всю отраву. Мечтательность она тоже пресекала. Я опрокинула собачью конуру и долго над ней стояла, мечтала об апельсиновом дереве. Вчера — как в детстве. Надо сделать цветочные ящики, и пусть у нас на террасе зреют апельсины. Я видела когда-то у соседа за промерзшими стеклами апельсиновые блики и пыталась их нарисовать. Тот старый волшебник, что жил в оранжерее, влюблен был в маму, или так казалось, показалось — мне, когда он задержался у калитки и не хотел войти. Однажды мне причудилось — а вдруг он мой отец? Ни разу не спросила, почему отец нас бросил — как провалился. Хотела знать, но отгадать самой куда интересней. Ботаник был затворник и старик, лет пятьдесят. Седые лохмы из-под берета, длинное лицо и тайна одиночества. Меня волновали одинокие старики и старухи. Потом само прошло. Не помню, как и звали худого дедушку, куда он вдруг исчез. Тот берег завладел воображеньем. Высоким слогом говоря.

«С велосипедами не входить». А куда же их деть, когда идешь в кино? Мы — дальние, с того берега — заводили их на участок к Судаковым, а там и Мусатов — через забор. Мы ждали, мы гадали — приехал ли из города Лёва, приедет ли? Вслух никто не спрашивал, и «умненькая Тата», хозяйка вечернего салона, — с ее веранды просматривались владения Мусатовых — насквозь нас видела и наслаждалась «подтекстом». Л.М. не был душой общества, он был именно подтекстом. Все понимали, кого все ждут — не младшего, Кота, красавца, балагура, Кот был уже не в счет, поскольку знать не мог, одарит ли Л.М. своим присутствием.Тот вечер я запомнила дословно; мы выпили всю «кислятину», что покупали на станции, послали Костю добыть чего-нибудь из «погребов». Окно Л.М. светилось: а вдруг зайдет? Он явился вместо брата, с начатой бутылкой виски, разлил всем по чуть-

чуть, а я прикрыла свой стакан: «Я крепкого не пью, а виски вообще ненавижу!». Лёва схватил мою руку и поцеловал ладонь: «умница, только не надо ладошкой закрывать стакан, никогда так не делай, так делают одни горняшки», — это он добавил громким шепотом, в самое ухо, щекоча усами: «Такой красивой барышне надо держать спинку, я не люблю, когда барышни сутулятся... и пальчик не оттопыривай, пожалуйста». — «Я не оттопыриваю!» — я залилась краской и дернулась от него в сторону, сбросив со спины его руку. «А я не люблю мужчин, которые...» — я не придумала, что сказать, только видела ухмыляющиеся рожи, все были наготове. «Ты не любишь мужчин, ты, может, лесбиянка?» Все разом грохнули. «Которые хватают барышень за плечи», — пояснила я ровным голосом и в наступившей тишине, не мигая, уставилась ему в глаза. «А за коленки?» — «Да ради Бога!» — я выдержала его нахальный взгляд, его руку на моем колене, сидела, выпрямившись, не шевелясь, до судорог, с одной победной мыслью — «ну, что дальше?» — «А так можно?» — он сказал и пальцем приподнял мой подбородок. Я позеленела — рассказывала потом Тата, что она даже испугалась. Изваяние вякнуло — «могу и врезать» — дрожащими губами, и размахнулась стиснутым кулачком. Я помню — бутылка покатилась со стола, и косточка на среднем пальце долго не заживала. Помню — долго еще звучал его голос: «Учтем на будущее. Я больше не бу... Не бу...». Помню — рыдала всю дорогу над своей погибшей любовью. Кручу педали и не вижу ничего. Как я его ненавидела! И себя. И всех их, дураков хохочущих. Неужели не видят, что он просто пошляк, что он фамильярен и дурашлив, как отчим мой Пан Паныч. Этих фамильярных, дешевых сердцеедов я выбраковывала из племени мужчин, они не проходили мой строгий ценз.

Кстати, Пан Паныч мне вчера приснился — конферансье, при бабочке, клацающий челюстью. Он дергался на ниточке и уносился в ритме вальса. Я собираю кукольные сны. Несчастный и беззлобный был старик, любил меня впридачу к маме, но омерзенье первого знакомства не поддается на уговоры разума, он снится до сих пор резиновым уродом, улыбка, улыбка и угроза в одном лице. Я выгоняю злых духов детства. Здесь, на даче, сны длинные, как цирковые представленья, и утром можно вспомнить весь сюжет. Вчера еще подумала: здорова, как корова, жизнь прекрасна, и, кроме денег, нет проблемы. И — на тебе! — вот зачем было звонить Мусатову? А затем, что нам, таким, как я, на чистом воздухе чего-то не хватает, нам бы приникнуть к выхлопной трубе...

Нас дачная молва уже связала во время того поединка на веранде. На мне, как на воре, шапка горела. Я избегала его. Я влюблялась — поголовно — во всех приятных мальчиков, но первые же поцелуи обрывались приступами смеха, он сторожил меня, заносчивый профиль Мусатова маячил на общем плане, он дирижировал и отменял мои утехи, подкрадывался в трепетный момент и шептал: «не верю». Порчу навел, как теперь сказали бы. С шестнадцати до двадцати я была «порченой», с жадностью питалась рассказами подруг про недоступные мне страсти и метила в монашки, в старые девы, прямиком в одинокие старухи, в глубине души любуясь, что я — «не как все». Легкая «шизанутость» тогда была в моде. Однажды, на спор, я постриглась наголо и пришла в разных туфлях на выставку: правая с пряжкой, а левая — замшевая, с бантом, мамина. Все на меня смотрели. Еще до панков, до зеленых волос, до дырок на колготках и серьги в одном ухе — мы в наши игры играли не коллективно, а штучно. Так мы и поженились с Сережей — на спор, спьяну, от застенчивости, можно сказать. Перескочили полосу препятствий и прожили счастливый год словно на сцене — в актерском общежитии.

Когда возник Мусатов — не помню, но помню, как он нас стал знакомить — такой рассеянный, весь устремленный, погруженный... «Познакомьтесь, мой друг Сережа, он гений, из Читы, ты его полюбишь на всю жизнь...» Да знал он, что мы женаты! «Знал, но забыл», — объяснял он позже, когда я догадалась спросить. Они репетировали ночами на пыльном чердаке нечто «вокруг Есенина», а я делала костюмы и — за неимением актрис — должна была подыгрывать — то даму полусвета, то отрока в лаптях, то молчаливую старуху, кивающую головой в такт ходикам, немую русскую Кассандру. Он придумывал мне роли, чтоб я с Сережи не спускала глаз. Сережа успевал где-то надраться, «не выходя из кадра» — как после шутили киношники, уже посмертно, на панихиде, когда Сережу все полюбили и оплакивали. А я — помню — не уследила: он сползает с лавки, сползает, то ли играет пьяного, то ли на самом деле. «Где-то плачет иволга, схоронясь в дупло...» — и совсем съехал, покачнулся. Я сорвалась с места, нарушив мизансцену. «Только мне не плачется...» Лавка кувыркнулась, он упал, ударился. Я кидаюсь поднимать, а Лёва как гаркнет: «Ты где была, любимая?! Я тебя зачем нанимал — эту сволочь сторожить! Пусть лежит, проспится!». Это он — меня — «нанимал»? Мне бы собрать гордо костюмы и реквизит, поднять своего Сергуню и удалиться без слов, или послать Л.М. подальше, как я сейчас бы сделала... Нет, я побежала за ним, и

ревела, и оправдывалась. А он отходчив, он сентиментален, его самого надо пожалеть, его жена покинула, вернее, выгнала. Он привез меня в чужую пустую квартиру и велел «вить гнездо». Ребята притащили две табуретки и ящик водки. Спектакль — гори он синим пламенем! — забыли, всё забыли, завили горе веревочкой, и я, закодированная, играла «подругу дней моих суровых», невесту, хозяйку шалаша, Любушку-голубушку-«золотые ручки», и доигрались мы до свадьбы, дней пять беспробудно пили, но когда нам крикнули «горько!», я не смогла с Лёвой целоваться. Только в постели, то есть на полу, на матраце из спортзала, тело мое выделывало всё, чтобы не перечить мужской поспешной жажде мщения. Он Клару ненавидел, он ее любил, он брал реванш, а я претерпевала свое невероятное счастье молчком, с большим достоинством, в трезвом уме и ясной памяти, хотя пила, как все. Ему годилось именно такое глухонемое бревно, которое всё понимает. С похмелья мы наговорились об искусстве, о бездарно прожитой молодости в бездарной нашей стране, и на седьмой день почти стали друзьями, и шевельнулась робкая мечта — «а вдруг — ?..». Недолго, правда, она шевелилась. «А вдруг» случилось всё наоборот. Он впустил к нам пьяного Сергуню, а сам деликатно исчез. Предал меня Лёвушка, предал — если называть вещи своими именами.

Сережа — да простится ему всё на том свете — избил меня до полусмерти, швырял об стенки, пока сам не испугался. Лежу, кровь из подбородка хлещет, вся в слезах и в соплях, не вытираюсь, не встаю — нарочно — он лежачую бить не станет. Мне его даже жалко стало, когда он сам испугался. К счастью, ребята подвалили, в больницу отвезли. Шрам у меня на подбородке с тех пор. Никому не показываю, не рассказываю. Крем-пудрой в три слоя замазываю срам. Синеет на морозе. Вот если бы тогда прижить от Лёвы ребеночка и всему свету по секрету рассказать? Примеры были рядом. «Ляля-бубу» опять с коляской», — смеялись над гримершей Лялькой, она сама любила пошутить: «Чей? — Мой! — Не помню, жизнь покажет. Я по призванию — мать-одиночка». Я думала — лучше удавиться, чем так шутить. Она меня видела насквозь, однажды изрекла: «Как вижу счастливую семью, хи-хи, баран да ярочку, — так лучше удавиться!». Чтоб я не прятала глаза, ее жалея. Но это было позже.

Это я вспомнила про шрам, про срам. Не люблю травить душу воспоминаниями. Больше меня никогда никто не бил, а тогда — поделом. Мы квиты. Я не хочу туда, обратно, на ярмарку невест. «Ляля-бубу», кстати, когда мы с ней подружились и пили роскошный португальский портвейн, который стоил меньше водки,

да, в черных бутылках — где он теперь? — Лялька оказалась большим философом. «Мужчин любить нельзя, это разврат и наркомания. Любить можно детей, собак и кошек. Мужики нужны для переноса тяжестей и для зачатия, и вообще пусть живут — а при чем любовь? Пока мир не перевернулся, они платят проституткам, а не наоборот», — Лялька подавляла меня железной логикой и народной мудростью. «А вам, которые из благородных девиц, надо замуж позарез — а зачем? — чтоб срам прикрыть, а то ходите, как голые — «выбери меня, выбери меня!» — одинокая девушка всегда как голая, поставь табличку «занято» — штамп и кольцо, и не трать нервы на ахинею». Я ей показывала шрам — след замужества, да она и так знала. Все знали про побоище. Она меня научила орать во весь голос, проветривать легкие. «...Парней так много холостых, а я люблю Мусатова!» — психоаналитик мой, Лялька, подруга смутного времени, где она теперь — «Ляля-бубу»? Говорят, в Канаде, поехала к старшему сыну и нашла старичка богатого. Про что это я?

Я выпила водки, стою на крыльце, ору деревенским голосом частушки, чтоб не зацикливаться на прошлогоднем снеге, а то со мной бывает, далеко заносит. Вдруг слышу — сзади подъехала машина. Фырчит, разворачивается, будто чертыхается. Попала в наш тупик. И кто-то ломится, как лось, через малинник. Там у нас щель, гнилой штакетник обвалился. Алису кто-то привез. Никогда ее пьяной не видела. Несется к дому зигзагами, в лицо не смотрит: «Мам, пи-пи — умираю!». А машина развернулась и стоит, полоснула дальним светом по сараю, по веревке с забытым бельем, назад подалась, осветила весь участок, включая меня, и встала у колонки. И выходит из машины женщина. Подхватила длинную юбку, лезет через крапиву.

— Можно на минутку заглянуть? Я вижу — вы не спите.

Лицо у нее белое-белое, в ушах серьги сверкают, улыбка до ушей — хоть завязочки пришей. Американская. Я ее сразу узнала. «Такая армянка типа американки», — болтали в гримерной, когда Мусатов на этой Карине женился. Познакомились мы заново, за руку, стоим, рассыпаемся в любезностях, а уже дождик моросит.

Я, разумеется, благодарю — зачем вы такой крюк давали, тут в наших проулках и завязнуть можно, а пешком через старый мост двадцать минут, Алису всегда кто-нибудь с собакой провожает... Стоим мы под веревкой с трусами и полотенцами, мизансцена — нарочно не придумаешь, щупаем эти полотенца махровые, еще не высохли, да, сыро тут, на нашем берегу медленно сохнет, не то что у них на горке, другой микроклимат. Я снимаю полотенца с прищепок, тяну беседу про погоду да про климат, собачью

конуру ей показываю — хочу, мол, на веранде оранжерею с апельсинами или хоть пальму посадить, ну да, маниловщина, я такая — с приветом. А у самой сердце выпрыгивает — как же ее в дом пригласить? Надо первой войти и убрать натюрморт: недопитая бутылка и рюмка прямо на видном месте торчат, и плевала бы я на это, а что Алиса перебрала — мне ясно, но зачем заострять внимание? Мать — алкоголичка, да еще с приветом, и дочь туда же... А она — ни слова про Алису, и я не могу понять цель ее визита. Она ходит за мной и про свое тараторит — сто слов в минуту. В городе жара, пробки, машина глохнет, пресс-конференция, презентация, она с ног валится, а здесь тоже покоя нет, у племянника — галдеж, музыка, они ведь на часы не смотрят, так и останутся спать вповалку, в общем, разогнала она компанию, девиц — на электричку, и Алису заодно подбросила, потому что давно, давно хотела взглянуть на наши участки — пора разъезжаться с родственниками, не дача стала, а коммуналка, и кто же этим займется, коли не она?

— Нет, — говорю, — мы не продаем, раздумали, а рядом уже продали, вон дом снесли...

— А за сколько они продали — вы не в курсе? Какие тут примерно цены? Ну хотя бы порядок цифр... — Пристала намертво, а я всё пожимаю плечами — «не могу знать, скрывают», и про старуху Фирсанову и ее алчных наследников поговорили, и все тайны дома Мусатовых она мне выболтала — что приходящей бабе Варе платят — уж дом давно можно купить за эти деньги, а маму свою она не может привезти, потому что — не-ку-да! — и стало мне вдруг скучно-скучно, и жутко захотелось курить. Она вдруг говорит:

— Пошли в машину. Я сигареты там оставила, а жутко хочется курить.

— А у меня как раз кончились сигареты... — Лезем через малину, через крапиву, я придерживаю забор, раздвигаю щель, она одной ногой — хлюп! — в канаву, туфли скинула, в машине у нее есть тапочки. Всё у нее есть в машине. Два блока сигарет «Парламент». Дает мне пачку, дарит. Закуриваем и переходим к делу. Но не сразу.

— А почему вы раздумали? Я ведь знаю, что вы искали покупателей, вас цены не устроили? Тут ведь с дороги надо начинать, дорогу насыпать, это отпугивает...

И мы опять про цены, про убытки, про дядю Васю, про бригаду молдаван, что у них флигель строили. Я не выдержала — ну сколько можно про дядю Васю, сколько можно меня просвечивать рентгеном, приспичило ей купить наш участок, а то она

цен не знает, прямо «Вишневый сад» с «Дядей Ваней», и такая злобная муть поднялась со дна души, вплоть до бреда, что хотят они нас купить с потрохами, раз Алиса — его дочка; почему бы нет — породнимся, родственный обмен... Сигарета ударила в голову. Я ей спокойно говорю:

— Алиса раздумала. Ей тут понравилось. Да я сегодня Лёве по телефону рассказывала, он вам не говорил?

— Когда? Мы с ним еще не виделись, я заскочила на минуту, он вас, кстати, на завтра пригласил? Ах да, про Алису! Чуть не забыла. Почему она так уверена, что она дочь Мусатова? Может, это так и есть, я, собственно, не против... Вот, я вас напрямик спрашиваю, чтобы покончить со слухами, или — вы что, в первый раз слышите? Тогда — я не знаю... Я не прошу вас клясться на Библии, меня вообще не волнует, что было до меня в вашей бурной молодости, но тогда одно из двух — кто-то же ей это сказал, или она у вас с большими странностями, советую обратить внимание. Только не считайте, ради Бога, что это цель моего визита, я действительно хотела с вами познакомиться, и мы вам косточки перемыли, уж будьте уверены, но это мы всё завтра обсудим, завтра...

Я слишком долго молчала. Алиса — со странностями? Алиса сама распустила этот слух? Я не находчива. Когда много вопросов, всё путается в голове, тем более — под тенью, под сенью Мусатова. Я сидела на его месте, вот так он ее видит — она у него водитель, она у них мотор. Она хочет меня пригласить в свой «проект», если он «тьфу-тьфу-тьфу!» состоится, она навела справки, у меня прекрасная репутация.

— Да какая там репутация!..

Пустяк, а приятно. Я честно ей объясняю, что поставила крест, как с Пташковым разругалась — на сценографию не зовут, на костюмы — от случая к случаю, с кем попало не хочется, сил нет...

— Мусатов — не кто попало. Он вас очень ценил, но, говорят, вы в торговой фирме теперь пашете, за большие бабки, а в театре — сами понимаете...

— Говорят! Вон напахала на ползабора...

Как умеют деловые дамы разговор повернуть — восхищаюсь. Я вся у ней как на ладони. Трепещу и обнажаю суть. Свою рабскую суть. От легкой лести «в зобу дыханье сперло». Я засмеялась, наплевать, что двух зубов не хватает слева:

— Про меня много чего говорят! Вон, я уже свой бутик открыла — говорят. От Мусатова дочку родила и молчу восемнадцать лет, прям мать-героиня! Кому это нужно слухи распускать? Нет, я теперь докопаюсь...

Вот тут я перегнула палку, я наиграла возмущение.

— Докопайтесь. Я и сама сначала поверила. Разве так не бывает? Лёва тогда под капельницей лежал, я и не спрашивала, разумеется, потом вообще забыла... Поверьте, мы не делаем из этого проблемы, — на «мы» она сделала большое ударение, «мы» у нее звучит гордо, того и гляди скажет — «мы с супругом»... Однако повезло Л.М. в третьем браке. В ней всё прекрасно. Я бы тоже на такой женил...ась? Сколько дел она успела переделать после трудового дня! Неслась на дачу — завтра будут гости, девчонок пьяных отвезла, глянула на наши участки под видом делового предложенья — или наоборот? Убила трех зайцев и заодно меня поставила в известность, что с девочкой не всё в порядке. Ну да, это мои проблемы. Лицо у нее гладкое, как мыло, хотя уже, наверно, под сорок. Их общий сын в школу пойдет. Какая-то была у нее жизнь до Лёвы, но прошлое — нет, не читается, должно быть, она спит спокойно на правом боку после всех свершений, и грехов за собой не знает.

А я? Не пригласила ее в дом, сама не вошла — ну и мамаша! — дочурка напилась, а ей хоть бы хны... Привычное дело — такое впечатление может сложиться; в собачью конуру хочет пальму посадить, а мокрые полотенца в сарае бросила. В театре разругалась, в торговлю не вписалась — вот нелицеприятный мой портрет. «И с чего ты взял, что тебе должно быть хорошо?» — любимый мой девиз плюс чувство юмора вчера куда-то испарилось. Я привязалась к ней с вопросами. Она хрустела вафлями и неохотно вспоминала.

Оказалось — племянник Лёвин, Лёва маленький, влюблен был в Алису без памяти и даже родителям сказал, что хочет жениться. Но вдруг что-то произошло, и он нанес визит в больницу, он от деликатности не помрет, и Лёву, полуживого, — стал терзать: правда ли, что Алиса его кузина? Мусатов и не вспомнил, что за Алиса, он уж потом к ней стал приглядываться. Оказалось, что некая Сусекина, подружка подколодная моей Алисы, конфиденциально, совершенно секретно ему сообщила, что Алиса — незаконная дочь Мусатова, и это ей известно с детского сада, и всем известно — от бабушки!..

— От моей мамы?!

Вот это был момент, о котором не хочется вспоминать. У меня вытянулась физиономия, все мои старания «быть выше этого» пошли псу под хвост. Меня как волной накрыло всем этим вздором жизни, которая не удалась. Мама так считала. «Понятно», — я пускала колечки дыма и горестно усмехалась, пока она честно припоминала источники. У Судаковых об этом всю жизнь

судачат, баба Варя хитро помалкивает — «со свечой не стояла», но намекает на какое-то кино, «кино они тогда снимали, а я у дяди убиралась, у покойного...». Она спросила — что за кино, и, не дожидаясь ответа, глянула на часы — «Ох, Лёва там с ума сходит! Так вы придете к нам завтра на ланч? Он, как никогда, нуждается в поддержке, он собирает новую команду из с в о и х людей, своих, понимаете, он новых уже не хочет...».

Я встала у ржавой колонки в позе семафора, чтобы она не съехала в канаву, показала ей, как большую лужу объехать — между сосной и забором. Она помахала мне пальчиками — «не упускайте свой шанс!».

Я не могла войти в дом. Там всюду горел свет. Алиса не спала, а я боялась. Надела дождевик и долго-долго запирала сарай. Он «ищет с в о и х людей»! Как эта Карина меня вычислила! Дождь хлопал по капюшону, как по крыше. Мама носила этот дождевик негнушийся, цвета самолета. «Командир — пилот самолет ведет, у-у-у-у — мы летим в Москву!» — Алиса не любила бабулины притопы-прихлопы, она делалась букой при стариках. Этот серебристый плащ-шалаш меня переживет. Карина мне ввернула про «театр вещей», моя была идея, несостоявшаяся, она изучала мою «творческую биографию» — да где она записана, в каком досье? Почему она про кино спросила? Позорный факт биографии. Я его выжигаю, как татуировку. Забыла даже название этого кино несостоявшегося. И кто меня на студию привел. Какой-то Пан Паныча знакомый ассистент. И вдруг прямо навстречу, как в сказке, вылетает Мусатов. Нет, сначала я его голос услышала. Идет и орет, и прямо столкнулись мы с ним, бросились в объятия друг друга, как будто ничего и не было прежде, как будто мы друзья детства. «Спасай, Любаня, мне тебя сам Бог послал, по-ги-баю! Через три дня съемки, никто ничего не умеет и не хочет в этой клоаке!» — Он извергал проклятия на публику, в коридоре, у костюмерной, а потом шептал мне в самое ухо: «Ты не представляешь, в какой я ж...! Меня в упор не видят, зачем я в это ввязался?». Он был там — никто, какой-то гений из полуподвала, пришел и чего-то требует. Мне б головой подумать и скромно оглядеться на другой картине, куда меня и вели. Мне б его спросить, почему художники разбежались накануне съемок, почему он сам обо мне не вспомнил? «Любаня, ангел, золотые ручки... а ты где была?! пока я тут... Опять в каком-то Мухосранске Бабу-Ягу шьешь навырост?» Буря и натиск с легким хамством — ну в самую десятку, то, что нам надо, дурочкам. «Нет, я была в Мисхоре. Я замуж выхожу», — ляпнула, похвалилась. «Это серьезно... — он пригорюнился, две секунды держал печаль в глазах,

отеческую скорбь, — ну ты подумай, подумай, медовый месяц я тебе не обещаю...» Я бегала по цехам и складам, комиссионкам и старушкам, одевала актрис, а ночью делала эскизы и не знала усталости — после Крыма, после бурного курортного романа мне казалось, что я всё могу — звездный час наступил! — Лисенков меня любит, я его люблю, а работаю я с самим Мусатовым — он такой несчастный, такой одинокий на студии, среди врагов, ему даже посоветоваться не с кем, я одна у него — «луч света в темном царстве».

Съемки всё откладывались, назревал скандал, директора он выгнал за воровство и взял тайм-аут. Заболел и скрылся. Я одна знала, что он живет у дяди в мастерской, опять холостой и бездомный. Он как раз тогда от «бабуси» ушел, была у него балерина, в два раза его старше, но это неважно, суть в том, что я опять оказалась кошкой, которую запускают в новый дом первой — на счастье. Мы с ним опять вдвоем обживали логово. Жарили пельмени в закутке на плитке. «Жизнь всегда вовремя посылает нам нужного человека», — сей лукавый афоризм я на всю жизнь запомнила, я была нужным человеком, а он — наоборот — ненужным и не вовремя. Мы играли в такую игру. «Унижение паче гордости» — это его конек. Кроткий, мудрый, отвергнутый, «всё в прошлом». Кстати — коньки, я в тот день достала «снегурки» с допотопными ботинками и беличью муфту, предполагалась сцена на катке. Он расцеловал меня в оба уха и велел примерить ботинок. Сам стал шнуровать. А ботинок на размер меньше, на актрису вообще не налезет, ору от боли, хохочу: «Возьми другую актрису, лилипутку, лолитку... больно, щекотно... Не прикасайся ко мне, я люблю другого!» — «Кто этот счастливец?» Мы опять листали «Столицу и усадьбу», распотрошили сундук с семейными фотографиями — «дышали воздухом эпохи», и по рюмочке, по наперсточку копили приметы времени для нашего кино, но лед уже тронулся, черти меня поджаривали на сковородке, за шесть лет у меня накопилось, что ему сказать, и я долго и витиевато объясняла ему, что никогда его не любила и не хотела, как мужчину, и мы за это выпили весь коньяк из дядюшкиных запасов — за мою свободу от его царской власти, потому что я — «уже не та девочка», меня обкатал провинциальный театр — я выдала монолог типа Нины Заречной про свои одинокие скитания и про неслыханное счастье, ожидавшее меня в Мисхоре. «Я даже имени его не знала, увидела на водных лыжах и всё...» — «Такой — с бородкой, Лисин, что ли, или Лисицын? Такой — искусствовед в штатском?» Разве теперь вспомнить, как я ему возражала — про Лисенкова и про свойства страсти,

напилась я до беспамятства, потолок плыл и шел надо мной кругами. Может, и не возражала. «Не учи меня жить!» — выкрикивала и падала на подушку, и опять вскакивала, изображала, что ни в одном глазу. «А мне наплевать, где он служит, от него мужиком пахнет, он мастер по трем видам, тренер по теннису...» — «Стало быть, в погонах», — дразнил меня Л.М. «А я люблю военных!» На нас напало дикое веселье, мы хором читали стишок — «Действительно, весело было, действительно, было смешно...». Из нашей первой серии, или из второй. «Однажды красавица Вера, одежды откинувши прочь, вдвоем со своим кавалером до слез хохотали всю ночь. Действительно, весело было, действительно, было смешно...» Эрдмана стишок, двадцатые годы. «Ты его спроси, — не унимался Лёва, — их там стихам учат? А то я дам списочек. Нет, что ты, что ты, что за общество без офицерства? Зачем они погоны прячут? Как было бы красиво...» Он издевался и почти что ревновал: «А как насчет дуэли? Он меня на дуэль не вызовет?». Я смеялась надрывно, до икоты, и повалилась спать, одетая, провалилась минуты на три, не могла я при нем спать, всё слышала — как он шуршит альбомом, как гасит верхний свет, заваривает чай, как раздирает крахмальную слежавшуюся простыню. Эти драгоценные моменты я не могла проспать. Я помню запахи и звуки, и вещи помню лучше, чем слова. Я тыкала кулаком в свалявшийся ворс дядюшкиной, из одеяла сшитой блузы, пыталась выговорить — «негиге... не-геги...». От нее исходил застарелый запах сладкого табака, чужой, душный запах неукротимого в пороках старика — «сними, ты пахнешь дядей, сними — тошнит». Легенду о порочном дяде он нежно развенчал: та клетчатая блуза сшита из американского подарка в сорок шестом году любимой дядиной натурщицей Тасечкой, тоже «золотые ручки», как у меня, а вот ее портрет, вот прогоревший абажур ее работы, а вот сам дядя с трубкой — мешковат и крючконос, последний его автопортрет. «Не узнаёшь? — смеялся Лёва. — Это же я в старости, если доживу...» Как он любил, однако, свои фамильные черты и всё причастное к семейству — я после это поняла, когда перебирала в сотый раз вот эту ночь. Грехопаденья. Так я думала тогда и думаю сейчас, когда все прочие грехи себе простила, вернее, позабыла. «Пить надо меньше», — сказала бы я кому другому, сказал бы мне любой, любая, кому бы я покаялась. А я пила затем, чтоб не уйти. Меня как пригвоздили к той тахте, и я злорадно знала наперед, что будет. Грех для греха. Искусство для искусства. «Без божества, без вдохновенья» и уж точно — без любви, как приговоренные, мы на рассвете, размякнув, поплыли друг к другу сонными

податливыми телами, а когда проснулись и застали себя за этим занятием, что теперь называют «заниматься любовью», старались не дышать друг на друга в лицо перегаром и не смотреть в глаза. Я думала — зачем я не ушла, про Лисенкова, про маму, где они меня ищут, подлую скотину, и потолок опять плыл и качался, не выветрился алкоголь, накатывала тошнота. И если, как на следствии, спросить — да было или не было то, от чего бывают дети? — не помню, хотела забыть и забыла, теперь хочу вспомнить — чего уж там, за давностью лет, «историю не перепишешь» — как он вчера пошутил... Она сама тебя перепишет. Вот не помню, не помню, не помню. Как в романсе. Недаром от этого романса меня тошнит. Еще помню — должна была в девять явиться прислуга — убирать, что-то взять дяде в больницу. «Варвара не войдет сюда, будет греметь ключами...» Та самая Варвара, что теперь баба Варя. «Бойся Варвары, спозаранку приходящей» — мы склоняли эту самую Варвару до одурения, спасаясь от самих себя, как от погони.

С картины я сбежала, как крыса с корабля. Врала, что разругалась с режиссером, разошлись во вкусах. Мой Лисенков и бровью не повел, своей неотразимой бровью, «кисточки делать из этих бровей, ондатровые»... Он был таким самоуверенным мужчиной, а я — очередной бабенкой, мечтавшей замуж — «захомутать вольного стрелка», как выразился он позже, уже после развода. Да так оно и было, что скрывать. Я страстно, ежесекундно, со всеми ухищрениями и капризами беременной бабы тянула его в законный брак. Ради мамы, как мне казалось. Мать шипела и злилась — непонятно на что. На всё.

Вот тогда она и придумала мне Великую тайну. Вот откуда ниточка вьется, я вчера ловила ее конец и не могла поймать. Помню один эпизод, который хотела забыть. Мать по телефону докладывала подруге:

— ...Ну конечно, кому она там нужна — беременная? Мусатов ее тут же выгнал с квартиры...

— Я сама ушла! — Я ворвалась в кухню так, что она вздрогнула. — Я не могу ехать в экспедицию, не знаешь — не говори!

— А я не с тобой говорю...

Ах, мамочка, как она умела отмахнуться красивой ладонью, показать, кто тут хозяйка, в нашей маленькой кухне:

— Будь добра, прикрути, пожалуйста, газ.

Варилось варенье из айвы. Я прикрутила, повернулась и услышала — «у нас опять бешеные кошки», и увидела ее беспомощную, самую обаятельную из ее улыбок. Я двинула кулаком по разбитому нашему, склеенному телефону и скинула его со стола.

— Не ее собачье дело — с кем я работаю и с кем я сплю!

Мать этого и хотела — скандала. «Не мое, не мое собачье дело», — чтобы, как в тысяче кухонь, над осколками битой посуды дочки-матери, обнявшись, утирали друг другу слезы, всё-всё-всё рассказав, облегчив душу — «мы и сами воспитаем, зачем тебе замуж?». Но не такая я была дочь, не доставила ей этой радости. И не каюсь, не каюсь. Хотела бы, а не могу. Каждый день закипали у нас «бешеные кошки», но как вспомню запах закипевшей айвы — так тошнит, как беременную, и подслушанная фраза маминой главной подруги — «что ты хочешь — обыкновенный мещанский брак» — озвучивает всю эту малогабарит- ную галиматью. Нашу свадьбу — совмещенную с Новым годом, у друзей на даче. Мы там и остались на две недели. Красивая была пара. Да, на необитаемом острове мы бы с Лисенковым никогда не разошлись, если бы был такой остров.

Может, потому мне и выдумали параллельную жизнь, что своей не было? Мы долго еще соблюдали приличия ради Алисы, а красивая наша пара вызывала зависть, когда мы появлялись где-нибудь в театре или ходили по пропускам на запретное кино, но как же мы ненавидели друг друга, уже и в постели помириться не могли. Когда Лисенков «нашел себя в искусстве», в рекламе Аэрофлота, стал грести денежки, «чаевые», как он выразился, и полюбил новое слово «дизайнер», чуть что вворачивал. Ладно, про бывшего мужа — или хорошо, или никак. Разошлись из-за слова «дизайнер», пусть будет так. Было у нас время большой бессонницы, всё как у людей. Шутку он принес, не сам придумал: «Москва эпохи у-па-дэ-ка», то есть «управления делами дипломатического корпуса». На четвертый раз я заткнула уши и завыла в голос. В Москве эпохи «упа-дека» у пьяных жен случались необъяснимые истерики. «У вас лингвистическая несовместимость», — шепелявила моя умная Аська. Где она теперь? И Дина, по прозвищу «динозавр», объяснила вековую ненависть: «да не потому, что он взяточник, а потому, что он квадратный!». Я присоединилась к незамужнему большинству, и все меня поздравляли.

Я нашла в сарае, в «реквизите», мамины духи «Каменный цветок», там еще осталось полфлакона, а я выбросила. И вот с этой зеленой коробочкой из бумажного малахита вхожу в дом, снимаю плащ-шалаш. Водку, что оставила на веранде, допила, а то зуб на зуб не попадал. Алиса болтала по телефону «нездешним голосом», будто на сцене.

— ...Да пожалуйста, хоть спеть, хоть сплясать! А басню — хотите я вам прочитаю? Ха-ха! «Мартышке где-то бог послал

кусочек сыру, на дуб мартышка взгромоздясь, позавтракать уж было собралась, да призадумалась — ужель я к старости слаба глазами стала? На ту беду Лиса близехонько бежала...» Ну да, они все там попадали, такой коллаж-монтаж, а то же им там тоже скучно... А прозу мне советуют типа Зощенко, а у меня не идет, можно я с вами посоветуюсь, если можно?

Я сразу поняла, с кем она говорит. Стоит в пижаме на одной ноге, второй тапочек потеряла по дороге. Предъявила свой поставленный голос, теперь внимает чутко, на каждое слово — «Ой! Да-а? А вы его не слушайте! Я-я-а?!». Увидела меня и продолжает играть этюд:

— Ой, мама пришла! Она вообще против, мне даже не с кем посоветоваться... Мам, Карина давно уехала? А то там волнуются. Вам маму позвать?

— Уже полчаса.

— Что, уже приехала? Ну, слава Богу, а то мы тоже волнуемся. Я зайду завтра, да?.. Бай-бай. — Звякнула трубка, потом сковородка. — Мам, я все грибы доела, у меня от холода жор... — Она обхватила себя руками, и голубая старая пижама треснула по шву. Я заметила, что у нее мокрые подмышки.

— Мам, дай что-нибудь выпить, а то не засну.

— А нету, я всё выпила, — я собрала посуду и понесла под дождь. Она вышла за мной.

— Они на наш участок глаз положили. Я сказала — мама хочет продать за оч-чень большие деньги. Оч-чень большие. У них таких нет. Пусть пока смотрят, да? Пусть пока копят?

— Ну что ты кривляешься, что ты врешь? Думаешь, тебя Мусатов в актрисы запишет — прямо так, сходу?

— Он мне скажет — да или нет. — Она смотрела мимо меня и ждала, пока закипит чайник. Она умеет держать паузу, она мне доказывает, что она актриса, и каждый раз я думаю — может, и впрямь?

— Не смотри на чайник, а то он никогда не закипит. Кстати, откуда ты взяла, что ты дочь Мусатова? Кто это выдумал?

Она облизала ложку с вареньем и сделала детские глаза:

— А что ли нет?

— Что ли нет. А интересно, откуда ты это взяла? Ты ж не могла сама это выдумать, правда?

— Ну-у... Мне так казалось.

— Давно? В детстве? Бабушка на что-то намекала, да? — Она кивнула задумчиво и стала заплетать косичку. — А у меня спросить? — Больше всего я боюсь спугнуть Алису с разговора. Я перед ней стелюсь, это все замечают.

— Ну, я стеснялась.

— В детстве. А потом? Ты что — всегда так думала? Мне же интересно — как это могло произойти, как ты думала, ну как ты с отцом встречалась, ты думала, что он и не отец?

— Да ничего я не думала. Вы меня совсем запутали.

— Ты на него похожа.

— Я на всех похожа. Я могу быть шпионкой, да? На моем лице можно нарисовать любую роль, это считается не минус, а плюс для актрисы, неуловимое лицо — да? — Она потянулась к своему отражению в темном окне и долго разглядывала свой профиль, разглаживала переносицу, где преждевременная складка портит ей всю жизнь. Называется «горе от ума» и требует работы над собой. — Дай выпить, мам, Я же знаю — у тебя есть, вон там. От меня что ли прячешь?

— От дяди Васи.

От себя прячу. Пока стоит по всем углам — значит, не сопьюсь. Она достала из буфета полфляжки дрянного бренди и мамины любимые граненые стаканчики. И просияла — «хорошо сидим!». Спиртное и тряпки — тут мне еще позволено давать советы, всё остальное — не моего ума. Даже чай она заваривает по-своему и готовит свое ризотто, а не мой плов.

— Уфф! — выпила, разгладила свою складочку, повеселела вмиг. — Ну, мам, ну давай мне на майке напишем — «я не дочь Мусатова», ну что теперь делать-то? Ты кашу заварила, ты и расхлебывай.

— Я?!

— Ну а кто же? Ну любила же ты его, чего тут скрывать-то, теперь-то?

— Твои детские фантазии — это одно, это бабушка выдумала Великую любовь, ей во мне всегда чего-то не хватало, — я стала лепетать что-то про того ботаника, что у меня — тоже была фантазия, что я вообще подкидыш, ну и так далее. Она слушала внимательно и кивала сочувственно. Я поставила все точки над «и» — что она — дитя летнего Крыма, что я раз в жизни захотела ребенка, и вот сбылось, жизнь вовремя послала мне нужного Лисенкова, и мы были, были, были счастливы — да она видела сама на фотографиях. Надо купить альбом и разобрать, кстати, семейные фотографии.

И тут она вдруг говорит:

— Кстати. Фотографии. А что вы делали в дядиной мастерской, когда изучали эпоху, и ты принесла дореволюционные коньки? — Про ту злополучную ночь не знал никто. А она знала, и ее душил смех, она делала вид, что ее душит смех:

— Вот, мамочка, всё тайное становится явным. Я ж не с потолка взяла, я всё просчитала. Это ни для кого не секрет, скоро книга выйдет. Испугалась? Да там ничего такого, не бойся. Он Лёвушке диктовал в больнице, типа учебника по режиссуре, а получалось очень занудно, ее печатать не хотели. А Лёвушка ему подсказал ход — смешные такие рассказики, с картинками, типа комикса. Там есть такой рассказик — как он не снял кино, все от него разбежались, даже подруга юности Л.М., сделала эскизы и сбежала, ну, в том смысле, что король-то голый, не знал, как снимать, и все это видели.

— Остроумно. И картинки сам нарисовал?

— Нет, Лёвушка. Там рассказ кончается, что у него остались коньки-«снегурки», и он не мог вспомнить, откуда, почему у него эти коньки, он вычеркнул это кино из памяти, а художница Люба Милашевич ему напомнила...

— Всё врет! Ничего я ему не напоминала! — закричала я, как ошпаренная. — И не потому я сбежала с картины, что он там не знал, что снимать, а потому, что была беременная, нервы берегла.

— Ну какая разница! Зато ты теперь попала в историю. У них такая книжечка будет — с руками оторвут, байки, сплетни — это Лёвушка всё за ним записывал, и это его поставило на ноги... Вот Тата Судакова, она же врач, она правильно говорит...

Мне надоело это слушать — она вся была на том берегу, а про меня забыла. Их книжечка, их болезни, их сплетни...

— Мне неинтересно это слушать. Хватит мне зубы заговаривать, ты-то зачем попала в историю? Стыдно же. Могла бы обо мне тоже подумать...

— Да я о тебе и думала в первую очередь! Ты чего-то не понимаешь. Сидишь тут, всеми забытая, как старуха Фирсанова. Не напомнишь — не вспомнят. Мне именно важно было эту Карину на уши поставить, ну пусть она думает, что я — «ку-ку», с приветом...

До меня не сразу дошло. И сейчас до меня не всё доходит, что она молола, прихлебывая чай, обжигаясь и фыркая. Нет, всё же ей хотелось оправдаться.

— Ну, так совпало, понимаешь, так само совпало! Лёвушка мне совсем не нравится, ну как мужчина, увы, а он же для меня столько сделал и вообще он лапонька, я ж не хочу его терять, он меня теперь называет — кузина, я из себя вся такая — гувернантка, знай свое место, очень гордая девушка, ну оччень гордая, а то ведь это не инцест, да? С кузинами еще как трахались, да? А на меня, смотрю, все смотрят и впадают в задумчивость — то ли ей стульчик подставить, то ли воды принести?

— Солнышко, не говори при нем — «трахаться», Мусатов этого не любит, в артистки не возьмет.

Я сама впала в задумчивость, в какое-то даже оцепенение. Челюсть отвисла, короче говоря.

— А то я не знаю, я сама учу манерам. — Она стала разливать последнее, и я прикрыла рюмку рукой.

— И при мне не говори.

— Кстати, мам, «горняшки» от какого слова — от горняков или от горничных?

Как будто она там была, на той веранде, где Лёва учил меня манерам, за десять лет до своего рожденья, когда я не решалась спросить, кто такие «горняшки».

— А ты у него спроси. Где слышала — там и спроси. Завтра у них завтрак на траве, тебя там тоже ждут?

— Тебя ждут. Видишь, всё так удачно сложилось. Ну что ты сидишь с опрокинутым лицом?

— Думаю — идти или не идти.

— Да вижу я, о чем ты думаешь. Думаешь — вот дочечка уродилась — «без мыла в жопу влазит», как говорит баба Варя. Она ж Варвара, которая со свечой не стояла. Не про меня говорит, не про меня. А кому от этого плохо — скажи, я ж только намекнула, и процесс пошел!

Расшалилась моя Алиса, с ней ночью бывает — смех без причины, переходящий в рев.

Я ночью прислушалась — вертится, читает. У меня тоже бессонница, и я не пошла на тот берег прогуливать шляпку, куда с таким лицом? Недолго я тешилась мечтой о завтраке на траве, и на том спасибо, Карина правильно говорит — надо обратить внимание на девочку. И вот я пишу, пишу, пишу, докапываюсь, а концы с концами не сходятся, у нее «неуловимое лицо», ну да, наши помятые жизнью лица уже открылись, какие есть, а у них — неуловимые, можно напялить любую роль, все роли еще впереди. Я думаю не о том — они же ее просекли, они раскусили, что она самозванка. Таких в гувернантках не держат. Ее же выгонят! Одно только может быть оправданьем — я выдумала, девочку ввела в заблужденье. Или она или я. Вот, наверно, звонит Карина. Господи, почему мы не продали эту дачу!..

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Урок ползет, как сонный жук, по школе,
кружится майский шмель над школьным садом,
понурый раб спросил царя: — Доколе? —
и к утру возвратился с ядом.

Цветет жасмин, поскрипывают двери,
и я горю в жасминовом пожаре!
У глобуса огромный голый череп
и очертанья полушарий.

Как хорошо не знать, не ведать в детстве
свой краткий срок в небесной круговерти,
беспечно жить в нечаянном соседстве
чернил, тетрадок и бессмертья.

* * *

Я хочу купить себе Пони,
но чтоб он не жил в понюшне
за понюшку зяблого сена,
я хочу, чтоб он жил в моем доме.

На мне вечно кто-нибудь ездил.
Я не хочу, чтоб мой Пони работал,
заведенный ходил по кругу,
замкнутому, как наручник.

Марина ТАРАСОВА — родилась в Москве. Окончила Московский полиграфический институт. Автор восьми книг стихов и прозы — «Певчий город» (М., 1978), «Старая музыка» (М., 1987), «Воздушный мост» (М., 1993) и др. Живет в Москве.

Я хочу, чтоб он жил в моем доме
и лежал на ковре, как патриций,
и держал красивым копытцем
пиво или сухой мартини.
(Нынче овсы дорогие!)

Я хочу, чтоб в коричневой холке,
как на зимней оттаявшей елке,
засветились небесные звезды,
а у ног прикорнуло, греясь,
Собачье Дитя.

Так в моем пастушьем вертепе
мы дождемся конца столетья,
я, Собачье Дитя и Пони.

* * *

Пельмени в пост, газета «Мегаполис»,
тариф исчерпан, вьюга впереди,
и полюс холода, и Южный Полюс —
одно и то же, как ни погляди.

В витринах блажь, хрустальные пионы
и абажур, оранжевей хурьмы,
какие бра, какие лампионы
от «Дома Света» и до Князя Тьмы.

Лохматый бомж достал цветы из урны
и преподнес подружке чуть живой...
Московский бомж, привставший на котурны,
Марсель Марсо с расквашенной губой!

Она их гладит синими руками —
клешнями в язвах городского дна,
и пьяный смех плывет под облаками,
и это жизнь, и может быть, весна.

* * *

Бог не любит своих сумасшедших
за таинственный складень лица,
в этот мир ненароком пришедших
ни о чем не просить у Творца.

У крыльца, у торца наших зданий,
где в труху рассыпаются дни,
ни одно из верховных заданий
не способны исполнить они.

И не ведая Божьего страха,
выбирают короткий маршрут,
наполняется ветром рубаха,
надуваясь в живой парашют.

Из окна, из окна на свободу,
покидая постылый футляр,
превращается снова в природу,
улетая, безумный Икар.

РАМОЧКА ДЛЯ ПОРТРЕТА

Рассказ

1

Давненько я его не видела на своем пороге. Но вот явился и принес букет флоксов. Какой-то сон. Андрей в благоуханном зареве цветов. Надо было что-то сказать, и фраза нашлась: «Как хороши, как свежи были флоксы!». Андрей буркнул в ответ: «Вот именно». Он никогда не трудился быть любезным, а уж остроумием с рождения не блистал. Подходящей вазы для такого гигантского букета у меня не было, и я сунула его в пластмассовое ведерко. Поставила чайник на плиту, стала соображать, чем бы накормить гостя. Андрей отверг еду, устроился на своем обычном месте, в углу, и сразу отключился, задумался, замечтал. Знакомое состояние. Он всегда такой, когда влюблен.

Такса Чуча зашла на кухню, постояла, убедилась, что не едят, и ушла. Интересно все-таки, о чем он думает? Когда-то этой его задумчивостью я сражала своих соперниц. Андрей далеко не ходил, всех их я знала. Выбрав момент, говорила очередной дурище: «Андрей влюбчив, и это прекрасное состояние будет сопровождать его всю жизнь. Но влюбленность и любовь — разные чувства. Любить, думать, вспоминать он будет только меня». Иногда я добавляла, что это думание ничего не стоит, оно, как болезнь, и ей к этому надо привыкнуть. Новая подружка вяла на глазах, этого я и добивалась.

«У нас какая-нибудь дата, — спрашиваю, — как понимать букет?»

«Не придавай значения. Был у своих на даче. Это тебе привет от мамы».

Так я и поверила. Мать его может прислать в дар кастрюлю борща, но не цветочки. На свадьбу она мне подарила байковый халат фабричной выделки, причем своего размера. И разгуливает в нем до сих пор, когда наведывается.

Римма КОВАЛЕНКО — родилась в Белоруссии. Окончила Белорусский государственный университет. Автор многих книг прозы: «Свой человек Зойка» (1974), «Добрая сила доверия»(1876), «Хоровод» (1981), «Жена и дети майора милиции» (1990) и др. Живет в Москве.

«Там растут флоксы?» — я удивляюсь натурально. На даче — фруктовые деревья, грядки, невиданные по своей красоте помидоры и перцы в теплицах. Цветов моя бывшая свекровь никогда не выращивала.

«Там не только флоксы, — говорит Андрей, — ты бы съездила, убедилась. Неужели Анюта такое препятствие?»

Анюта — это десятилетняя дочь от второго брака. Упитанная миловидная девочка. Она не препятствие. Она бездонный колодец, в котором утонуло сердце моей бывшей свекрови. Мне она говорит, что любит эту девочку так, как не любила своего единственного сына.

«При чем здесь Анюта, — отвечаю, — времени нет».

Времени действительно нет. Театр съедает всю мою жизнь. С утра и до ночи. Потому что утренняя зарядка, лицо мое, одежда, настроение — это тоже театр. Хочешь не хочешь, а каждый день заново рисуй себя, лепи, а то не узнают. Бедный Сизиф со своим камнем — дитя, ползущее с санками в гору. С горы-то у него камень сам катится. Да и не видит никто Сизифа, не сочувствует, не злорадствует. А тут попробуй в магазин выскочить с просто умытым лицом. «Ой, какая страшная в жизни!» Да не страшней вас. Вот это должно быть в глазах: не стра-шней вас.

«Я знаю, почему ты принес цветы. Ты подумал: она умная, я приду к ней с цветочками, и сердце мое сожмется в раскаянии — почему я ей живой никогда не дарил цветов?»

«Дарил — ты забыла».

Ничего я не забыла. И это запомню: принял, как должное, что умрет позже меня.

«Хорошо. Букет оставим. Так что тебя привело? Какая забота?»

«Ты должна отказаться от роли», — выпаливает он заготовленную фразу и счастлив, что она уже сказана, что выполнил поручение и остался жив.

Я знаю, кем он послан.

«Слушай, — я стараюсь говорить спокойно, — Белая Мышь с розовыми глазами — существо временное в твоей замечательной жизни. К нам она не имеет отношения. Давай не перегружать нашу пьесу третьестепенными персонажами».

Что мне всегда удается — это запутать его и тем самым, разумеется, обидеть. Обижается он искренне, тут уж себе не хозяин. Глаза обесцвечиваются: из серых превращаются в светло-голубые, в них недоумение и опаска, как у ребенка, проглотившего пуговицу.

«Ты не можешь по-человечески, — говорит он, — тебе главное раздуть ссору. Из чего угодно. Ты растянула свою жизнь на годы и щиплешь меня, как гусыня, вместо того, чтобы сразу убить».

Это уже монолог. Наверное, многих уверил, что я преследую его, шипя и щелкая клювом. Мне мешают цветы. Ведро стоит посреди стола. В красных и розовых флоксах столько радости и покоя, что хочется подойти к этому дураку, прижать к себе его крепкую, как кокос, голову, и пусть она закружится от недоумения. Не может человек принести такой куст красоты ради земной унылой просьбы: «Ты должна отказаться от роли». Если я отказалась от тебя, чудовище, что мне какая-то роль.

«Всё хорошее совершается медленно, — говорю, — не могу я вот так вдруг взять и отказаться. И потом такое предложение должно исходить не от тебя, а от Хари».

Харя — наш главный. Харламов — в паспорте. Харлай — на афишах. Буйный, перекормленный славой режиссер. Его пунктик — уродовать классику. Бить по мозгам дремлющую интеллигенцию и переворачивать в гробах великих драматургов. Больше всего достается от него Чехову. Вишневый сад он заставил цвести под крышей: деревья росли у него из спинок стульев, «дорогой, многоуважаемый шкап» тоже был вишневым деревом, Фирс в финале выходил с топором и слова его: «Про меня забыли... Ничего...» — звучали зловеще. Казалось, что Фирс вот-вот порубит топором все эти растущие из мебели деревья. Было понаписано много рецензий. Харя читал их вслух на репетициях, чтобы и мы наконец-то уразумели, что в том спектакле наворочали.

«Харя не будет возражать, — тянет Андрей, — он поймет тебя. Роль Маши не твоя».

Белая Мышь с розовыми глазами, ради которой он явился с букетом и уговаривает отказаться от роли, дочка Хари. Плод его подпольной, роковой любви. Говорят, что жена Хари получила этого ребенка вместе с письмом-проклятием: из-за тебя, зараза, ухожу из жизни, береги девочку, каракатица. Девочке сейчас под тридцать, у нее двое таких же, как сама, беленьких мелких детей. Развод с мужем-алкоголиком дался ей нелегко, со скандалами и милицией, но Андрея всё это не коснулось. Белая Мышь не втягивала его в эти дрязги. Зато сейчас наверстывает, превратила его в золотую рыбку, которая согласилась быть на посылках. Я не знаю, любит ли ее Андрей, но он всегда с ней рядом, таскает ее сумки, ждет после спектакля. Ее амплуа в жизни — грустная, хрупкая женщина. Но она не хрупкая, а какая-то малокровная: волосы жиденькие, веки красит розовым, и еще эта плоская грудь с большой в жемчужинах брошью. В новом спектакле у нее роль Ольги, но ей хочется сыграть Машу.

«Скажи, Андрей, а почему бы и тебе не отказаться от роли? Давай вместе уйдем из пьесы, а заодно из театра. Уйдем в какую-нибудь новую, неизвестную нам жизнь».

Такое заявление ему не по зубам. Это надо было разделить. Роль — отдельно, наша новая жизнь — отдельно. Губы его собираются в узел и поднимаются к носу — единственная гримаса, о которой он не догадывается.

«Зачем это тебе?» — спрашивает.

«Продадим свои квартиры — это сейчас большие деньги. Купим в глуши дом с огородом и садом, разведем кур. Ты только представь это чудо: из ничего, из каких-то крошек, зернышек, рождается великое произведение природы — яйцо».

«Ну-ну, — Андрей выдает одну из своих загадочных улыбок, — какие там еще нас произведения ожидают?»

Ему нравится, когда его любят и готовы отправиться с ним на край света. «С ним», но не «за ним», сам он никого никуда повести не может. Домик в глуши ему не нужен, у него с детства есть дача, и все эти куры, грядки, фруктовые деревья его совсем не волнуют. Ко мне он относится спокойно, доброжелательно, как к своей первой любви, которая почему-то не стала воспоминанием, а каждый день маячит перед глазами. И я давно уже люблю его без ревности, без желания сблизиться, повторить то, что когда-то у нас было. И все-таки он моя собственность. Это как у детей: пока никто не зарится, вроде и не нужна игрушка, но попробуй отбери — сразу горе и слезы. Его отбирали у меня с первого дня, и это чувство во мне осталось.

Мне ничего не стоит отказаться от роли. Я занята во многих спектаклях, к тому же мне не нравится работать с Харей. Он криклив, распущен, память ему отказывает. На репетиции, когда забывает чье-нибудь имя, орет: «Эй, как вас там, послушайте...». Но самое невыносимое в нем — это уверенность, что вся его вздорность не что иное, как гениальность.

А настоящий гений у нас в театре один — Андрей. Он родился для сцены, для нее созданы его тело, голос, вся та пустота, которая как дупло в дереве предназначена для какого-нибудь жильца — белки или птицы. В Андреевой пустоте поселяются никогда не жившие на земле мужчины. Это всегда интересные люди, даже самые злые и несчастные. Ему нельзя играть второстепенные роли, он притягивает к себе внимание, как собачка в клетке со слоном: слон большой, но какой-то неодушевленный, а собачка живая, забавная. Французы это называют эффектом присутствия: каждый жест, каждый взгляд актера притягивает к себе.

«Я пошутила, — говорю, — какой там домик, какая новая жизнь. Наши старые и новые жизни на сцене. Теперь ты мой брат, и я одна из твоих сестер. Мы все хотим в Москву, хотя, кто нас там ждет и что нам там делать — неизвестно. Ну вот ты посидишь,

как мечтаешь, в хорошем московском ресторане, а дальше? Опять ныть и страдать?»

«Ты не будешь страдать, — говорит Андрей, — ты всё разрушишь. В этой семье все доверяют друг другу. А тебе этого не дано. У тебя за душой ничего святого».

Вот это влепил — ничего святого. Скажи кто другой — убил бы наповал.

«Сам додумался, — спрашиваю, — или выучил текст? Она тебя с голоса обучила или надиктовала?»

Опять губы потянулись к носу. Не нравится. А защитить женщину, на сегодняшний день любимую, не умеем, не научены, не испытываем в том нужды. У меня нет глубокой неприязни к его возлюбленной, у меня лишь простенький женский вопрос: почему она? Почему это бесцветное, с уксусной улыбочкой существо, да еще с таким хвостом в виде детей, сумело приковать к себе такого супергероя, как Андрей? Отсвет Хариных успехов не падает на нее, он не участвует в ее жизни. Живут они отдельно, девочки ходят в детский сад и, когда болеют, Белая Мышь сидит дома. В театре она из-за детей на задворках, кому нужны постоянные замены, когда в детском саду карантин или сами девочки болеют. И вот сейчас у Белой Мыши, кажется, звездный час. Вот вам всем: от мужа-алкоголика избавилась, любит меня сами знаете кто, и Машу, как бы эта первая жена ни упорствовала, сыграю я. Впрочем, никто от ее жизненных достижений в обморок не упадет. Театр будоражит всё тайное, а когда всё, как на ладони, о чем тут поговоришь. Тайна — это я. Мне известно, о чем шепчутся у меня за спиной. «Она ненормальная. До сих пор на что-то надеется. Давно бы могла устроить свою жизнь, но ей это не надо. Ей надо, чтобы он еще раз пять женился, а потом приполз к ней раскаявшийся и просветленный: лучше тебя так и не встретил». Выть хочется, покусать хоть одну из этих умниц. Но я улыбаюсь им издали. Я закаленный боец на этом ядовитом поле сплетен. Голыми руками меня не возьмешь.

2

«Они не в Москву рвутся, а вот куда, куда, куда?» — Харя кудахчет и смотрит на нас вопрошающими яростными глазами.

У нас застольное осмысление пьесы, первый разговор о будущем спектакле. Считается, что накануне каждый перечитал великое произведение, проникся его бессмертной идеей.

«Люди бьются, как мухи о стекло. Они знают много лишнего, но не знают главного, может быть, чего-то обыденного, поэтому и рвутся ввысь. Мы должны это главное найти, вытащить, объ-

яснить, почему нет им счастья. Я не о том счастье, которое посещает в первом действии Ирину, когда мерещатся ей большие белые птицы, я о другом, которое знали до своего греха Адам и Ева, если знали, ведь именно к этому счастью, проливая реки слез и крови, стремится человечество».

Всё, о чем говорит Харя, надо тут же забыть. Завтра он будет говорить другое. Запутает нас, запутает себя и тогда набредет на какую-нибудь мысль. Белая Мышь сидит рядом с Андреем. Лицо скорбно-внимательное, Андрей и Харя должны читать на этом лице преданность. Андрей погружен в свою привычную задумчивость. Он не слышит Харю, все эти общие установки, которые нащупывает режиссер, ему ни к чему. Его роль будут определять персонажи пьесы. Он будет любить Машу и бояться Ольгу. Эти чувствоа будут руководить им.

Наташу, жену Андрея, будет играть Галка. Она и в жизни Наташа, такая же деятельная, заземленная, такая же агрессивно-наивная. Галка — мой крест. Мы никогда не были подругами, но она постоянно, каждый день в моей жизни. Ее откровенность, суета по поводу всяких мелких дел, восторженная готовность поучаствовать в чужой судьбе притягивает к ней людей. Многие пользуются Галкиной открытостью, как вампиры. Высосав из Галки все ее тайны, они потом веселятся от души. «А помните, как она соблазняла Ватугина, чтобы получить участок? Я, говорит, женю его на себе, из-за участка на всё пойду. А потом приходит и говорит: всё пропало, у меня точные сведения — Ватугин гомик». Меня Галка отравляет лестью: «Ты — Юнона. Тебе нет пары не только в Москве, но и на всех континентах. Все мужики — козлоногие уроды, а ты — Юнона». Харю она изводит своей фальшивой любовью. Смотрит на него зачарованными глазами, хохочет, когда тот пытается острить. И сейчас, перебивая Харю, заявляет, что пьесу прочитала впервые и ей совсем не понравились сестры. Хотят работать, так и работали бы. У брата дети маленькие, а ни одна из этих сестер к ним не приблизилась. А дети такая нескончаемая работа, на всех бы хватило. Застолье наше замерло: сейчас Харя обрушит на Галкину голову свой водопад. Но он выдохся.

«То-есть, как это в первый раз прочитали пьесу, — удивленно произнес он, — вы разве не учились в школе?»

Номер не прошел. Харя не ждет от Галки ответа, вопрос его риторический. Он отпускает всех, и мы, как школьники, вырываемся на волю.

С Галкой мы живем по-соседству, и всю дорогу — в метро и на улице — она выговаривает мне то, что не удалось сказать Харе:

«Тоска зеленая, а не семейка. Ну подумай сама, чего этим сестричкам надо? Всё им не так, всё их оскорбляет».

«Галка, уймись, не ревизуй святые строки классиков, Харя с этим справляется лучше тебя».

Но Галку несет. Она уже не Галка, а Наташа, живая, деятельная, которая попала в дом Прозоровых, как в мышеловку. Но не на ту напали: и приманку съела, и весь этот капканчик на свой лад перестроила. Она детей рожает, они болеют, у нее столько хлопот. Но эти хлопоты и переживания у существа низшего, пошлого, так, во всяком случае, считают те, кто сторонятся ее и осуждают. Мне эта Наташа без надобности, какая есть, такая уж и есть. Но Галке нельзя ее возносить. Спрашиваю:

«А как насчет того, что твоя великолепная Наташа изменяет мужу?»

«Кому?! — Галка возмущена. — Какому мужу? Это не муж, а подушка, ничего не понимает, ничего не умеет».

«Умеет. Рамочку своими руками сделал».

«Что еще за рамочку?»

«Рамочку для портрета. Сделал и подарил младшей сестре».

Память избирательна. Галка не помнит про рамочку. Морщит лоб, глядит куда-то поверх моей головы и не может вспомнить.

Я зову ее к себе. Она охотно соглашается. Ей лишь бы куда, только бы не домой. Дома у нее мама, бабушка, сын-восьмиклассник, красивый серьезный мальчик. Собака там есть добродушная, лохматая, похожая на щенка-великана. Семья трудовая: мать работает продавцом в магазине, бабушка дежурит у лифта в соседнем доме, сын, сделав уроки, бегает с приятелями на какой-то склад разгружать машины. Семья хорошая, там каждый день что-то пекут, варят, жарят, смотрят телевизор, обсуждают политические новости. В театре никто не догадывается, что у Галки такой теплый дом. Вид у нее озябший, одинокий. Всем кажется, что ей негде согреться. Так оно и есть. Галку родное гнездо не греет. Она любит своих близких, задыхается, умирает возле них от скуки. И деваться некуда. От мужа можно уйти, а от сына с матерью — куда? Поэтому она не живет дома, а ныряет в него, как в гостиницу, перекусить, переночевать. И мечтает о домике на дачном участке, как о спасении. Иногда она звонит мне в понедельник, в наш выходной, и говорит несчастным голосом: «Ну, чем вы меня, Аркадий Петрович, порадуете? Значит, шефский спектакль не отменили? Машина будет? Безобразие! Тогда повторите адрес, — и на горьком вздохе заканчивает, — когда это кончится?».

Чуча заждалась меня. Я вывожу ее, Галка остается. Она знает, чем заняться. К нашему приходу запах жареной картошки плавает в

прихожей. Сейчас мы поедим, примем душ и опять в театр. Я не рассказываю Галке о визите Андрея, ей это неинтересно, она не связывает его со мной. Галку будоражит его роман с Белой Мышью.

«Это больше, чем сойти с ума, — связать себя с такой мимозой, — говорит она в этот раз, — а потом будет, как этот батарейный командир Вершинин, ходить и жаловаться, что жена у него полоумная и есть еще две маленькие несчастные девочки и ему их якобы жалко, так как неизвестно, что их ждет впереди».

Я согласна с ней: Андрей готовый Вершинин. Почему же Харя не дал ему эту роль? Спрашиваю об этом Галку.

«Побоялся, — отвечает она, — зачем ему такого зятька искушать. Войдет в роль Вершинина, влюбится в какую-нибудь Машу и бросит Белую Мышь с ее выводком».

Я понимаю, о чем она. В театре такое сплошь и рядом: персонажи вмешиваются в судьбу исполнителей, что-то в ней меняют, предсказывают. Харя знает, что делает: мою Машу рядом с Андреем — Вершининым он в спектакле не потерпит. Ну, а я не позволю какой-то замухрышке с розовыми глазами выманить у меня роль. Я понимаю, что моя роль, как и все другие, в кармане у Хари, он им хозяин, и всё же его отцовский интерес куда слабее собственной жажды славы.

«Ты — Юнона. Твоя Маша будет умна и значительна, — разливается Галка, — там есть такая фразочка: «Ты, Маша, глупая», но это ничего не значит. Они там все глупые, эти сестры».

Галка зарывается. Мне этих сестер жалко. Куда-то рвутся, только что они с собой привезут в Москву? Найдется ли там ключик от этих прекрасных роялей? Меня больше интересует Белая Мышь. В чем сила этой женщины? Кто она, какая?

«Она никакая, — отвечает Галка, — она из тех, кто знает, сколько денег у них в кошельке. Вот ты это знаешь?»

«Приблизительно».

«А она точно, до последней копейки. И еще она знает, сколько у нее простыней и наволочек. Если какая-нибудь дырочка, она ее тут же заштопает. И еще она помнит немыслимое количество рецептов всяких салатов и пирогов».

«С этим всё ясно. Ну, а духовная сторона, тут какие достижения?»

«Тут, по-моему, без достижений, — говорит Галка, — если бы она не была актрисой, то никогда бы не ходила в театр».

Замечательно. Так ему и надо. Пусть ест пироги и укладывает свою глупую голову на заштопанную наволочку. Я посылаю Галке обиженный взгляд: ох уж эти мне наблюдательные люди, сами не знают, сколько боли доставляют другим своими словами. Под

ледяными струями ду́ша сердце мое постепенно успокаивается. Пусть он будет счастлив с этой хозяйственной Мышью, пусть она родит ему пару мальчиков, чтобы уж был полный комплект. А я буду жить как живу.

«Ты что там книжку читаешь? — орет Галка. — Мы опаздываем!»

3

Утверждают, что собаки похожи на своих хозяев. Таксы не похожи. Вислоухие, коротконогие, с выпуклыми кроткими глазами, они берегут свою индивидуальность. Такса не защитит хозяина, не вцепится грабителю в горло, но может подбежать к благодушному господину и ни с того, ни с сего куснуть его за ногу. Может загнать кошку на дерево и вопить под этим деревом так, будто кошка приканчивает бедную собачонку. Но главная задача таксы превратить своего хозяина в идиота. Хозяин уже навеки потерял свою драгоценную собачку, мечется по дворам в отчаянии, зовет, свистит, а такса, как сыщик-виртуоз, всё время у него сзади, коварная и безвинная в этой своей игре. Я купила ее шестимесячным щенком на Птичьем рынке, и она до сих пор пребывает в задумчивости: почему она? Могла ведь и какая-нибудь получше дамочка подойти и купить меня.

Я везу таксу на дачу. Каждый раз перед гастролями я отвожу ее своей бывшей свекрови. Но в это лето театр никуда не выезжал, и все жаркие дни Чуча провела на балконе под полотняным навесом. В электричке она ведет себя хорошо, сидит в сумке и только иногда поглядывает на меня снизу. Я знаю, что сердце ее замирает от радости, она знает, куда ее везут.

На калитке дачи объявление, написанное детской рукой: «Кто хочет увидеть смешной гладиолус, пусть войдет и посмотрит». Ветки деревьев гнутся от плодов, упавшие яблоки лежат в траве. Дом накрывает своей тенью площадку с качелями и приземистый, вбитый в землю стол, заваленный куклами, игрушечной посудой, разноцветными лоскутами. Кукол очень много, они лежат и на скамейках, тонконогие красотки по имени Барби. Я не понимаю, каким образом эти великовозрастные куклы-дылды вытеснили милых глупеньких кукол-деток. Веками велось: сначала у девочки куклы-дети, потом настоящие дети. Считалось, что куклы воспитывают будущих матерей. А эти Барби способны воспитать только манекенщиц. Жуть какая — целый мир манекенщиц.

«Бабушка, — слышу голос Анюты, — смотри, кто приехал!»

Голос звонкий, она рада моему появлению. Выскакивает на дорожку, за ней — две белоголовые девочки. Я сразу узнаю их, хоть и не видела никогда.

«Как хорошо, что ты успела, — говорит мне Анюта, — завтра мы уезжаем. Уже через три дня в школу. Они пойдут в первый класс».

Сама она пойдет в четвертый.

«Так где ваш смешной гладиолус, — спрашиваю, — разве цветы бывают смешными?»

«Бывают, бывают!» — визжат девочки и ведут меня к летней кухне, где в одиночестве выгнулся дугой гигант-гладиолус. Его не расцветшие зеленые клювики склонились к земле, а верх дуги в красных пылающих цветах. Три пары глаз воткнулись в меня в трепетном ожидании.

«Ну, знаете, — я выразительно удивляюсь, — это чудо природы, такое надо видеть, на словах такому мало кто поверит», — я еще что-то говорю, девочки жаждут слов, наверное, я первая, кто откликнулся на объявление.

Подходит мать Андрея, Анютина бабушка, моя бывшая свекровь.

«Ты привезла ножницы? — спрашивает она и оглядывается, ищет глазами Чучу. — Где собака?»

Если бы я забыла ножницы или не привезла Чучу, она бы загрустила, расстроилась, но ни словом не упрекнула бы меня. Она не фиксирует чужие промахи, ее девиз: жизнь всё равно хороша.

«Чуча здесь, — отвечаю, — ножницы привезла и подстригу вас сегодня. Завтра, как я поняла, понаедут сюда более близкие родственники. Утром мне надо будет вовремя исчезнуть».

Моя бывшая свекровь этого не понимает.

«Ну вот еще, — говорит она, — зачем уезжать? Еды всем хватит. Уже картошка пошла, помидоров в теплице столько, хоть продавай».

Она действительно не видит ничего особенного в том, что две бывшие жены Андрея и Белая Мышь, окажутся рядом.

«А Чучу надо было давно привезти, — продолжает она, — ну, что за жизнь летом в городе у собаки? Слушай, может, и ты поживешь? Театр закрывается, у всех отпуск. Куда тебе ехать при нынешних ценах?»

Я не готова к такому предложению, но она настаивает: «Оставайся, деньги сэкономишь, а работы здесь у тебя никакой не будет. Дети уедут, мы с тобой по утрам кофейничать будем, а потом, если захотим, в лес прогуляемся, грибов не очень много, но попадаются». Тащит меня в теплицу: «Ну? Видела где-нибудь такую красоту?». Потом прямо руками подрывает куст картошки, хвастается урожаем. Горюет, что клубника отошла: «Я тебя каж-

дый день вспоминала, ты же любишь клубнику». Она слита с этим домом, теплицей, грядками, зимой будет звонить мне: «Слушай, давай съездим на дачу, печку затопим, там снег белый, летом его не будет». И один раз в зиму мы туда выбираемся, и действительно, там такой снег, что мы иногда не достигаем крыльца и возвращаемся обратно.

Чуча наконец удостаивает всех своим появлением. Бредет по дорожке нехотя, память у нее хорошая, она помнит этот мир и обижена, что он так подолгу обходится без нее. Девочки бросаются к ней, ни одна раскрасавица кукла не может соревноваться с этой вислоухой надменной собачкой. Они изливают на нее столько любви и обожания, что бедная Чуча не выдерживает и кусает одну из них. Но это их не останавливает. Девочки счастливы. Но счастье их коротенькое: завтра они уезжают, а Чуча остается. И они обсуждают, как бы еще на денек-другой остаться.

«До зимы еще далеко, — говорю им, — еще долго будет тепло. Вы будете приезжать по воскресеньям, а Чуча будет вас встречать».

«Чуча и бабушка», — добавляет моя бывшая свекровь и смотрит на меня.

«Может быть, мы втроем вас будем встречать», — говорю я девочкам и вижу одобрение на лице хозяйки. Это не довольство, не радость, а именно одобрение.

В чем моя бывшая свекровь гениальна — это в умении накормить. Она никому не накладывает в тарелки, у нее всё посреди стола — чаша с салатом, жаровня с котлетами или золотистым пловом. Каждый накладывает, подкладывает себе сам без всяких комментариев и понуждений. Только оладьям она делает исключение. Жарит их на летней кухне, и все стоят к ней в очереди с тарелками и едят, где попало, взошедшие на дрожжах, благоухающие топленым маслом оладьи.

С ней не поговоришь ни о Чехове, ни о новом президенте, ни о матери этих белоголовых девочек. У нее другие мерки возможного и невозможного, другие радости и страхи. Верней, страх у нее один, чтобы не вспыхнула, не сгорела в недобрый час дача. Она постоянно проверяет розетки, осматривает провода, не сводит глаз с зашедшего с сигаретой соседа и заливает мерцающие в печке угли водой.

«Сейчас будем ужинать», — говорит она, показав мне все достопримечательности своего хозяйства.

«Под грушей! Под грушей!» — кричат девочки, и что-то коварное слышится в их криках. Оказывается, вчера, когда они обедали под грушей, желтый перезрелый плод сорвался с ветки и превратился в кашу на голове у бабушки.

Ужинаем на веранде. Бабушка поссорилась с грушей и ужинать под ней наотрез отказалась. Я удивляюсь, как тихи и послушны за столом девочки.

«Ты хочешь в Москву?» — спрашиваю Анюту.

«Да, — отвечает она, — мне всегда куда-нибудь хочется. В Москве — на дачу, а сейчас — в Москву».

Едим молодую картошку со сметаной. Темно-розовые помидоры «бычье сердце» горкой лежат на выскобленной добела дощечке. Девочки Белой Мыши напротив меня, и я рассматриваю их лица. Глаза светлые, безмятежные. Они близнецы, но не очень похожи: одна крупней, другая помельче, но у обеих на лицах готовность радоваться, откликаться на всякое обращенное к ним слово. Хорошие девочки. Живут и не знают, какая им привалила удача. Останется Андрей с их матерью или через несколько лет, как с ним бывает, покинет ее, дача останется незыблемой в их жизни. Каждое лето они будут приезжать сюда, и моя бывшая свекровь будет кормить их, сторожить, обстирывать, как и свою родную внучку.

«Вы похожи на Барби», — вдруг говорит одна из сестричек. Видимо, это высокая похвала, но она меня обжигает. Я не Барби и не Юнона. Я выхожу на сцену под разными именами, а в собственной жизни меня как бы нет.

Анюта бросает на меня насмешливый взгляд, я в ее глазах не так прекрасна, как Барби. Спрашиваю:

«Скажи, Анюта, чем вам, детям, интересна эта кукла?»

«Это их игрушки, — отвечает она, — я уже давно в них не играю. А у них целый чемодан, этих Барби. Они с ними разговаривают».

Вот оно что — разговаривают. Может быть, поэтому я самая лучшая Барби — не только их слушаю, но и что-то могу сказать в ответ. Так я это объясняю себе, а в душе колючка — Барби.

Уже вечер, но еще светло. У крыльца веранды заросли флоксов. В букетах они сливаются в одно яркое пятно, а здесь, на воле, хоть и растут кучно, каждое соцветие хранит свою индивидуальность. Красное солнце пылает за деревьями ближнего леса. На его фоне груша теряет свой цвет, становится похожей на тучу. Девочки возятся у ее ствола с Чучей, верещат, смеются, и моя бывшая свекровь, глядя на них, говорит мне то, что я уже знаю:

«Хорошие девочки. Анюта с ними ладит. Мне, конечно, работы прибавилось, но в чем еще моя жизнь».

Ее жизнь еще и в самой жизни — в этом солнце за лесом, в нерастерянной любви к созревающему помидору и спрятавшейся в земле картошке. Она хороший рассказчик, память ее хранит много добрых и смешных подробностей. Но сказать ей, что груша

стала похожа на тучу, что будущее девочек темно и тревожно — значит крепко ее обидеть. «Давай, давай, — ответит она, — расскажи еще, как дача сгорит, и я буду разгребать тут золу и жить в палатке». Это уж точно: она отсюда — никуда, поставит палатку и будет в ней жить.

Но пожара не будет, дому еще стоять долго-долго. Только вот эта картина мгновенна: черная груша, девочки под ней, играющие с собачкой, флоксы у крыльца.

«Анюта, Катя, Лизочка! — кричит моя бывшая свекровь, — а ну-ка быстро мыться, пока комарье не налетело!»

Девочки бегут к летней кухне, и Чуча за ними. А я собираю со стола посуду, наливаю в миску горячую воду. На веранде уже всё поменяло свой цвет, погрузилось в сумерки. Комары только и ждут, когда вспыхнет электричество. Дверь настежь, но я не закрываю ее, не тороплюсь включать свет. Включается что-то внутри меня, я мою посуду и говорю вслух: «Вполне возможно, господа, что через двести-триста лет жизнь станет лучше, осмысленней, и услышат нас ангелы, и небо мы увидим в алмазах. Но всё равно и тогда найдется какая-нибудь неприкаянная душа, необъяснимая дура, которая отвергнет покой и будет страдать и рваться куда-то». Понимаю, что звучит это чересчур красиво, но меня никто не слышит и мне хорошо. Я рада, что есть на свете эта дача, что моя бывшая свекровь такая, какая есть. Она не смотрит на людей через своего единственного сына. У нее каждый человек на своем отдельном месте, и никто никого не заслоняет. Все едят ее клубнику и помидоры, привозят ей детей и собак, ведут с ней незамысловатые спокойные разговоры. И никому не приходит в голову, что ее уже сейчас слышат ангелы, что все мы лишь самодельная вычурная рамочка вокруг ее портрета.

Марина РОДМАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕТИ

1. БЕЗ СЕМЬИ, БЕЗ КРОВА, БЕЗ БУДУЩЕГО

На Руси всегда жалели сирых и убогих, будь то калеки, бездомные, каторжники, немощные старики или брошенные дети. Жалеют и сейчас. Но кто? Как правило — простые люди,отнюдь не обремененные в нынешних наших условиях лишней копейкой в кармане. И нынче им все чаще приходится, узнав о чужой беде, спешить на помощь к тем, о ком напрочь не желают помнить власти предержащие.

На окраине Москвы в полупустой комнате живет парализованный Володя. Ему 20 лет. Он сирота. По выходе из детского дома его «забыли» обеспечить всем тем, что на казенном языке называется «оборудование и мягкий инвентарь». Вот и мыкался Володя в пустых стенах, пытаясь раздобыть средства на стол и кровать. Потом его комната кому-то понравилась, и от парнишки решили избавиться. Володя чудом выжил после тяжелейших ран, но на всю жизнь остался прикованным к постели. Впрочем, тогда, когда всё это случилось, ни кровати, ни постели у него просто не было.

Факт этот мало кого, однако, волновал. Больница, где Володя год боролся со смертью, выписала его домой со справкой об инвалидности 1-й группы и двумя простынями в придачу, сердобольная повариха дала трехлитровую банку с супом и батон. Вот, пожалуй, и всё. Зная, на какую жизнь обречен он теперь государством, бывший детдомовец уже жалел о том, что выжил.

Но преданный властью, Володя не был предан людьми. Все, кто узнавал о его несчастье, не оставались равнодушными: приносили одежду, продукты, кое-какую мебель. Удалось раздобыть даже старую инвалидную коляску. Энтузиасты из ряда организаций, помогающих бывшим детдомовцам,с огромным трудом,но «пробили» пенсию и социального работ-

Марина РОДМАН — родилась в 1950 году в Москве. Имеет высшее юридическое образование, с 1972 года — член Московской городской коллегии адвокатов. С 1985 года сотрудничает с различными правозашитными благотворительными организациями, с 1995 года сочетает профессиональную адвокатскую деятельность с работой в общественном Благотворительном центре «Соучастие в судьбе». Живет в Москве.

ника, который навещает инвалида, попутно рассказывая другим своим подопечным о его судьбе. И они, престарелые и немощные, тоже откликаются на Володину беду.

Описанная мной история — только одна из великого множества других, сходных, которых не было бы и не могло бы быть, если бы не было главной их причины: предательства российской властью своих собственных — «государственных» — детей.

Об этом — и предлагаемая вниманию читателей статья.

За четверть века адвокатской деятельности я не сталкивалась с таким бесправием и с такой безысходностью человеческих судеб, как за несколько лет работы в Благотворительном центре «Соучастие в судьбе», который пытается облегчить положение бывших детдомовцев. Только работая здесь, я узнала и поняла, что в России существует, оказывается, целая огромная прослойка никому не нужных людей, официально именуемых «выпускниками государственных детских учреждений», и что они поставлены, в сущности, вне закона, вне государственной защиты.Это люди без семьи, без крова, без будущего.

Вот некоторая информация к размышлению.

На 1 января 1997 года в России проживало 37,6 млн. детей в возрасте до 18 лет, что составляет 22,5% от общей численности населения страны. Из них государственная статистика насчитывала около 533 000 сирот, что составляет примерно 1,5% от общего числа детей. Но из них, в свою очередь, только 5% — сироты в истинном смысле этого слова (по данным ООН — не более 10%). Остальные 95% — так называемые *социальные* сироты, то есть дети родителей, не желающих или не имеющих возможности заниматься их воспитанием. По той же статистике ООН, за период с 1992-го по 1996 год число ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения, увеличилось **почти на 70%. В четыре раза** увеличилось число родителей, лишенных родительских прав.

Во время Великой Отечественной войны сиротами стали 687 000 человек. Но это — на всё тогдашнее население СССР. Так что вполне можно утверждать, что сегодняшняя Россия по «сиротскому» показателю находится в состоянии государства, пережившего — и всё еще переживающего — более страшную войну, чем в 1941—1945 годах...

Теперь последние данные — на 1 января 1998 года. По ведомству одного только Министерства образования Российской Федерации в России насчитывается 220 000 детей-сирот.Из них в детских домах и школах-интернатах страны воспитывается 96 105 человек. Кроме того, более 30 000 детей из малоимущих семей стали воспитанниками общеобразовательных школ-интернатов, 24 000 сирот живут и обучаются в специальных интернатах для детей с отклонениями в умственном и физическом развитии, 2500 человек находятся в семейных детских домах. Если добавить к ним сирот, обучающихся в ПТУ, воспитывающихся у опекунов, а также тяжелобольных и инвалидов, которыми занимаются Министерство здравоохранения и Министерство социальной защиты, то выясняется, что в

России на сегодняшний день уже 546 000 детей нуждаются в особой государственной поддержке.

Из них примерно 32 000—34 000 детей не подлежат усыновлению. Число детей, отобранных у родителей, лишенных родительских прав, превышает 35 000 человек, а число изолированных от родителей без лишения их родительских прав достигает 7 000 человек. По информации Прокуратуры Российской Федерации, в 1997 году по России было выявлено 113 000 детей, оставшихся без попечения родителей (сравните: в 1992 году их было 67 000 человек). И это цифры, видимо, далеко не окончательные, так как с 1993 года МВД практически не занимается профилактикой неблагополучных семей, а на учет ставятся только те семьи, где ребенок совершает правонарушения.

Результат: в 1997 году в исправительно-трудовых учреждениях России содержалось более 20 000 осужденных несовершеннолетних, выпускники детских домов и школ-интернатов составляли из этого числа примерно 15%.

Итак, уже эти цифры позволяют — и, на мой взгляд, просто обязывают — сказать, что ситуация с сиротами в целом и с теми, кто выходит в жизнь из детских сиротских учреждений, становится сегодня НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАГЕДИЕЙ РОССИИ. Особенно если учесть, что число выявленных *социальных* сирот во много раз превышает сегодня число сирот от рождения. При этом вот что еще настораживает. Пьянство и наркомания, преступность, психические заболевания родителей и, как следствие, безнадзорность детей — всё это факторы давно уже известные, хотя сегодня их роль в пополнении сиротского фонда страны становится уже поистине угрожающей. Но в сегодняшней России дети все чаще становятся социальными сиротами и попадают в детские дома и просто из-за безденежья и голода в семье,из-за отсутствия жилья, болезней родителей или других детей. Другими словами, дети сегодняшней России попадают в детские дома из-за невозможности выжить в условиях семьи. Это — страшная тенденция, она предупреждает об опасности настоящей национальной катастрофы.

В этой статье я не берусь, однако, рассматривать «сиротскую» проблему сегодняшней России в целом, во всем полном ее объеме. Я сосредоточу свое внимание лишь на той части сиротского «контингента» нашей страны, из которой образуется контингент воспитанников ее государственных сиротских учреждений. Ибо если уже и положение в государстве сирот вообще (особенно социальных) — это показательнейшее зеркало состояния всего общества в целом, то положение в нем сирот «государственных» — зеркало особенно выразительное.

О чем же рассказывает нам сегодня это зеркало?

В ситуации, когда ребенка необходимо забрать из семьи и когда всё больше детей попадают в детские дома просто уже потому, что семья материально не может обеспечить их жизнь, помещение их в государст-

венное сиротское учреждение становится, казалось бы, благим делом. Ведь на содержание одного воспитанника сиротского учреждения сегодня тратится до 20 миллионов неденоминированных рублей, тогда как государственное пособие семье с одним ребенком за этот же период составляет менее 720 000 рублей. Учтем при этом, что примерно 18% современных семей с детьми имеют денежный доход **ниже половины прожиточного минимума** постоянно, в течение года.

Однако вся эта забота о детях,изымаемых из семей и помещаемых в сиротские учреждения, оказывается, увы,палкой о двух концах. Суть в том, **что государство думает о сиротах только до тех пор, пока они находятся под крышей детского дома. Дальнейшая судьба бывших воспитанников никого не интересует. Более того, их бросают во взрослую жизнь безо всякой поддержки со стороны государства, взявшего на себя ответственность за судьбу детей при помещении их в детский дом.** Получается, что государству не жалко даже тех средств, которые затрачены за годы пребывания детей в приютах на то, чтобы их вырастить. Погибнут сироты или сумеют выжить — это уже их собственные проблемы...

Начнем с того, что, как это ни парадоксально, в России лишение родительских прав на деле означает лишение асоциальных родителей их обязанностей. Прав же лишаются дети, помещенные после отобрания их у родителей в сиротские заведения.

Моя практика показывает, что, как правило, никто из так называемых родителей, соизволивших явиться в суд после многомесячного игнорирования вызовов судьи, не переживает особенно по поводу вынесенного решения о лишении их родительских прав. И понятно почему: теперь инспектор по охране детства или милиционер не будут мешать им вести ту жизнь, которая им по вкусу. Можно пить, превращать квартиру в притон, не работать, не заботиться о голодных и грязных детях, приводить в дом новых жен и мужей, рожать и оставлять в родильных домах очередных детей или забирать их до следующего лишения родительских прав. Какое-то время дети даже спасают биологических мам и пап от уголовной ответственности. На детские пособия можно пьянствовать. А главное — **никто не выселит бывших родителей из предоставленной государством когда-то на всю семью квартиры — ни с детьми, ни без них.** В результате лишенные забот о своем потомстве родители за время пребывания детей под опекой государства создают в своих квартирах в большинстве случаев еще более ужасную алкогольно-криминальную среду, чем та, из которой ушли когда-то дети в детский дом.

И вот в эту-то среду **15-летних выпускников государство и будет возвращать по окончании учебы в школе-интернате.** Ему не важно, что безразличие бывших родителей к своим детям за годы их нахождения в детском доме сменяется, как правило, ненавистью или агрессией к будущим соседям по жилью. Причем претензии к подросткам будут теперь предъявлять не только их «бесправные родители», но и новые члены новых семей — формальные родственники, никогда не навещавшие своих бра-

тьев, сестер или племянников в детских домах, а зачастую и вообще ничего не знавшие об их существовании. Государству не важно, что у выпускника не будет места для кровати и стола, что он окажется в одной комнате с совершенно чужими людьми, что станет объектом угроз и издевательств, не сможет учиться дальше и работать, и, как результат, вновь попадет на улицу. А некоторые дети наверняка в процессе «возвращения в семью» пройдут обучение по таким предметам, как пьянство, употребление наркотиков, нарушение законов и т.д., — обучение, которое закончится колонией. Не случайно в России около 20% воспитанников и выпускников ДСУ (детских сиротских учреждений) становятся преступниками.

Какими же критериями руководствуется государство, возвращая социальных сирот в ту среду, откуда их решением суда «именем Российской Федерации» забирали в казенные сиротские учреждения?

Критерий единственный: за детьми были закреплены «метры» по конкретным адресам, и на эти метры, если они не переданы чужим людям, выпускники и обязаны, согласно закону, вернуться для дальнейшей жизни. О том, что жилье у сирот мифическое, что в «отчих домах» нет условий для нормальной жизни, создания семьи, получения специальности и т.д., у государства, как уже сказано, голова не болит. А уж если этих метров оказалось, по несчастью, больше целых пяти на душу, то бывшие детдомовцы обречены на пожизненное лишение своего угла, так как по существующим ныне правилам на бесплатное государственное жилье сироте-возвращенцу рассчитывать не приходится.

Конечно, сироте-выпускнику в большом городе может повезти. Если, например, дом, где он жил раньше, снесли, или родители умерли в местах лишения свободы и квартира досталась очередникам, или директор детдома оказался настырным. В этом случае «счастливца» приравнивают к другим бесквартирным сиротам, отказным и подброшенным, и включают в список ожидающих жилья. И тогда — как царский подарок, детдомовец получит комнатенку, где и одному-то тесно, в самых худших домах самых худших коммуналок. И обставится это благодеяние торжественным решением общественной жилищной комиссии, куда входят и педагоги, и юристы, и врачи — в общем все, кто по должности и по профессии просто обязан защищать права обездоленных. Но таков закон.

Ну а те, кто не может быть вселен на старое место жительства, но родился в селе или закончил школу-интернат в маленьком городе или поселке, — те становятся скитальцами, так как ожидание жилья в сиротской очереди растягивается на десятилетия. В лучшем случае предложат место в неблагоустроенном общежитии совхоза, но и то при условии, что сирота «отработает» крышу над головой на ферме или в поле.

Это не вымысел и не преувеличение. Подмосковный детский дом с гордым названием «Молодая гвардия» обеспечивает бесквартирных сирот «отдельным благоустроенным жильем вне очереди» (так требует закон) самым простым способом: поселяет в общежитие близлежащего совхоза на койко-место, решая тем самым и проблему кадров в совхозе. Если

выпускник пытается настоять на праве жить не в казенном доме среди чужих людей, а иметь свой угол, его просто изгоняют и направляют искать счастье по месту рождения. И действующие нормы это позволяют,так как с декабря 1996 года бывшие детдомовцы могут податься за жилой площадью и туда, где они родились, и туда, где впервые стали «государственными детьми». И площадь эта должна быть не местом в общежитии, а квартирой или в крайнем случае комнатой со всеми удобствами, размером не ниже «установленных социальных норм». Однако нет сегодня в России такой обители, где бы мои подопечные могли вне очереди и бесплатно обрести, наконец, собственное жилье. Что же касается нынешних сиротских законов,то от них больше вреда, чем пользы. Но об этом скажу позднее.

Несколько раз у меня на приемах побывала Янина Воронько, выпускница этого детдома. Ей 18 лет, из них три девушка скитается «по друзьям»,так как собственного жилья у нее нет. Янина учится на портниху, и ей совсем не по душе работа в поле или на ферме. Кроме того, у Янины большие музыкальные способности. Сейчас, конечно, не до музыки, но от мечты трудно отказаться. Так что соглашаться на вечное койко-место в общежитии совхоза вместо получения нормального жилья «по месту выпуска из детдома» Янина не хочет. Не может она уехать и в другой подмосковный город, где родилась и где живет ее мать-наркоманка, о которой дочь до сих пор вспоминает с ужасом. К тому же в ее случае жилье матери и не было за девочкой закреплено. Ну приедет Янина, как предписано законом, «по месту регистрации рождения», включат ее в длинный список детдомовцев, годами ожидающих «внеочередных» метров. А жить-то где? И как быть с учебой, с несбывшейся мечтой? В последний свой приход Янина напугала меня своей бледностью и худобой. Сказала, что голодает, так как всё, что удается заработать, уходит на оплату комнаты, которую выпускники «Молодой гвардии» снимают на четверых. Точно в таком же положении оказываются и полные сироты, и дети, которые до детского дома просто не имели никакого жилья, и те, кто после возвращения в отчий дом остаются фактически на улице. Государство не думает не только о будущем самих воспитанников, но и о том, что бесправные сироты заведомо обрекают на еще большее бесправие и новое сиротство *и своих детей*. В жизнь вступает поколение людей второго сорта. Причем дети бывших детдомовцев оказываются даже в гораздо более тяжелом положении, чем их родители. Бездомные, без детских пособий, без медицинской помощи, без самого необходимого, что в России производно от жилья и прописки, они кочуют вместе с мамами и папами, голодают, болеют и нередко погибают, так и не узнав, что бывает другая жизнь. Чтобы спасти, их приходится снова отдавать в приюты. СИРОТСТВО СТАНОВИТСЯ ПЕРМАНЕНТНЫМ.

Вот пример. Ирина Орехова попала в детский дом в годовалом возрасте. Сразу из роддома ее взяла к себе бабушка, так как пьющая мать, уже отказавшаяся от двоих детей, дочку знать не хотела. Если видела на

улице — проходила мимо, а если ребенок все-таки оказывался в материнском доме, то постоянно пьяная мать избивала девочку всем, что попадалась под руку. Это не просто Ирины воспоминания — это факты из документов, составленных инспекторами РОНО в раннем Ирином детстве.

К несчастью малышки, она была вписана, как полагается, в домовую книгу по месту прописки т.н. матери, которую уже через несколько месяцев после родов лишили родительских прав по суду. Грудная девочка и ведать не ведала, что стала «крепостной» при двух смежных комнатах в многонаселенной коммунальной квартире, где жили еще два незнакомых ей человека: брат и сестра матери. Оказавшись в младенческом возрасте в Доме ребенка, так как бабушка тоже любила выпить и не справлялась с Ириной, девочка так и не успела до выпуска из приюта познакомиться со своими формальными родственниками. Дядю с тетей тоже не интересовала судьба чужого ребенка, 15 лет назад приобретшего право на их жилплощадь. К тому же бывшая мать Ирины давно находилась в местах лишения свободы. Там и родила еще двоих детей, ожидавших освобождения матери в приюте при колонии.

В детском доме Ирине разъяснили, что раз за ней закреплены две смежные комнаты (где живут незнакомые люди), значит другого жилья у нее нет и быть не может. Могла ли Ирина в 15 лет доказать в России свои права, тем более что по окончании детского дома попечителя ей почему-то забыли назначить?.. О том, что по закону запрещено выпускников сиротских учреждений вселять в жилье, если там не проживают члены их семьи, Ирине тоже забыли разъяснить. Не знала она и о том,что имеет право на получение отдельного благоустроенного жилья,если вселение ее в закрепленное жилое помещение невозможно **по иным причинам**. Причины эти в законе не перечислены, но известны случаи, когда директора детских домов приносили в жилищные органы справки о том, что бывшее жилье так и осталось притоном для алкоголиков и наркоманов, перенаселено или там находятся тяжелые душевнобольные, — словом, что жить по своему адресу выпускник детского дома всё равно не сможет. Получив такие документы, прежние исполкомы и нынешние администрации иногда шли навстречу сиротам и предоставляли им отдельное жилье. Закон работал плохо, но все-таки иногда работал. Ирине же не повезло: дальнейшая судьба девочки ее государственных опекунов не интересовала. Естественно, что занимавшие обе комнаты дядя с тетей Ирину в дом не впустили (да и где ей там было расположиться?), а уже через год вернулась с двумя сыновьями и бывшая мама. Она сумела прописаться и поселиться с детьми в эти же две комнаты. После чего квартира стала притоном для алкоголиков и бомжей. Новых детей забрали в интернат (что, впрочем, нисколько не огорчило мать Ирины), а Ира Орехова окончательно стала скиталицей.

И длилось это д е с я т ь лет, пока сирота после многочисленных хождений «по инстанциям» не обратилась в Благотворительный центр «Соучастие в судьбе». Казалось бы, государство должно было немедленно исправить допущенную несправедливость и предоставить Ирине хотя бы

комнату — тем более, что на руках у нее новорожденный и очень больной сын, с которым она не может скитаться. Но не тут-то было. Чиновники, представляющие государство, стеной встали против женщины и ее малыша. Аргументы были самые «веские»: во всем виноват детский дом, жилья надо было добиваться десять лет назад. «Ответчики» чувствовали себя уверенно, так как жилищные права Ореховой были прописаны в Жилищном Кодексе так туманно,что допускали любое произвольное толкование со стороны законодателя и исполнителей. Мещанский суд не стал даже вникать в суть спора Ирины с Префектом Северо-восточного административного округа г. Москвы, а просто записал в решении, что незнакомые дядя с тетей — это почти члены семьи, поэтому закон ни в чем не нарушен, а то, что она 10 лет скитается, — это ее трудности. В порядке особой милости Ирине было предложено встать на очередь на общих основаниях, что означало бы получение жилья через 16 лет (сейчас только-только получают очередники 1981 года). Фактически же нищая Ирина вряд ли вообще дождется какого-либо социального жилья, а ее больной малыш тем более. Может, было бы лучше отдать его в Дом ребенка? Но это значит — сирота при живой и отнюдь не падшей матери. Да и без материнского ухода мальчик вряд ли выживет в приюте — ведь он родился с тяжелейшей травмой головного мозга. Но для него приют — это смерть. Но и скитания без жилья — тоже гибель.

Однако никому до этого нет дела. Ребенок по документам имеет жилье. На него, согласно финансово-лицевому счету, полагается аж 5 кв.м и 40 кв.см жилой площади. Все его права соблюдены. За исключением права на достойную жизнь, а точнее, на жизнь вообще...

2. ВНЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА

Согласно нормам наших же законов, выпускники детских сиротских учреждений лишаются, как мы могли в этом уже убедиться, права на нормальную жизнь.

История такова. В 1993 году была принята президентская программа «Дети России», где особо выделены «Дети-сироты». Программа гарантировала сиротам реализацию всех их прав во всех социальных сферах.

Через два года Верховный суд РФ принял специальное постановление по конкретному делу, разъясняющее судам, что сироты имеют право обращаться за получением жилья там, где они живут постоянно, где нашли работу и т.д. Отказы в предоставлении жилья на том основании, что сирота родился, был определен или закончил ДСУ в другом городе, были признаны незаконными и неконституционными. В том же 1995-м впервые за всё время существования Верховного суда было принято постановление, непосредственно направленное на усиление судебной защиты конституционных прав граждан.

Казалось бы, справедливость начала торжествовать. Появилась надежда, что произволу и правовой безграмотности исполнительной власти

можно будет противопоставить судебные решения в защиту выпускников ДСУ, основанные на нормах жилищного права и Конституции РФ — законе прямого действия.

Однако Госдума РФ в декабре 1996 года принимает федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», после вступления в силу которого стало очевидно, что сироты не только не получили дополнительных гарантий, но и лишились имевшихся ранее. И вот этот-то закон во многом и определяет сегодня, к сожалению, правовое положение выпускников детских сиротских учреждений.

Скажем без обиняков, закон этот по ряду своих статей является *откровенно неконституционным*, фактически он лишает сирот права на жилище, на свободу передвижения и выбор места жительства, на качественное образование, получение квалифицированной медицинской помощи. Ни о каких конституционных правах на труд, частную собственность, личную безопасность, охрану материнства и детства, участие в выборах и др. бездомные государственные дети и мечтать не могут. Не желая идти в скотники, как выпускники «Молодой гвардии», сироты нередко вынуждены бродяжничать в поисках лучшей доли или просить крыши над головой у биологических родителей, если удается узнать их адреса. Принятый в 1996 году правовой акт не только противоречит статьям Конституции России, но и действующим нормам жилищного и семейного законодательства, защищающим права выпускников детских домов, а также международным нормам в области прав человека.

Как мы уже видели, Закон от 10 декабря 1996 года принуждает детей-сирот, оставивших ради получения образования или работы по специальности те населенные пункты, где находился их детский дом, вы- бирать между правом на обращение за бесплатным государственным жильем и своей работой, семьей, устоявшимися социальными связями. Всем тем, что они обрели, сумев поселиться где-то постоянно (как правило, в общежитии по месту работы). Государство определило так: если сирота хочет иметь бесплатное жилье, он должен его получать там, где родился и где органы загса это зафиксировали. Или где малыша впервые определил в приют. А по фактическому месту жительства сирота может получить жилье только при условии, что ему повезло родиться за пределами России (то есть когда за границу за жильем его уже не отправишь). Таким образом, бросай всё и иди туда, не знаю куда и за тем, не знаю за чем.

Но кто же ждет этих «детдомовских» в городах и селах, к которым их приписало государство? Там и своих нуждающихся в жилье и работе пруд-пруди. Детей России гонят отовсюду, им отказывают в жилье и работе, так как «нет средств даже на участников войны», хотя разве сироты — это не участники гражданской войны, которая уже не один год идет в России?.. Нет в России детей России. Есть дети Владимирские, Коломненские, Нижне-Чигловские, Собиновские и всякие другие. И каждый город, каждое село борется за то, чтобы «спихнуть» бывшего

детдомовца в другой населенный пункт. Дескать, он здесь родился, но он «не наш», «он утратил с нами связь» (?!), пусть попытает счастья в другом месте.

А разве не издевательством над правами человека,над Конституцией и просто здравым смыслом является то, что возраст детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, которые могут получать социальную защиту государства, ограничен 23 годами? Неужели составители закона наивно полагали, что у сирот в России (как, впрочем, и у других граждан) по достижении этого возраста есть не только шанс,но и реальная возможность встать на ноги,получить образование,специальность, обзавестись жильем и осуществить другие свои основные права? В нашем государстве можно прожить всю жизнь, но так и не успеть воспользоваться своими гражданскими правами и даже не успеть узнать о том, что таковые существуют!

А **трехмесячный** срок, в течение которого органы исполнительной власти должны обеспечить детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, благоустроенным жильем?.. В реальной действительности такое даже представить себе можно с трудом. К сожалению, сегодня в России принимается всё больше и больше чисто **декларативных** законов. Достаточно назвать Закон «О ветеранах», «О статусе военнослужащих» и др.

Как это ни парадоксально, но законы, защищавшие права сирот и принятые при социализме совместно с ЦК КПСС и без оного, были реальными и в большинстве случаев могли быть действительно исполнены при добросовестном отношении органов опеки и попечительства к своим обязанностям. Многие сироты получали жилье по месту работы, причем вне очереди, что тоже было предусмотрено законодательством. Хотя, конечно, случалось и обратное, но все же детдомовцы конца девяностых куда меньше нужны России, чем дети, вышедшие из стен детских домов в догорбачевский период. Нашим сиротам с каждым годом выжить все труднее и труднее.

Впрочем, и сама нынешняя Конституция в чем-то ухудшила положение бывших детдомовцев. До ее принятия родителей, калечивших морально и физически своих детей, сразу же выселяли без предоставления другого жилья, лишая возможности использовать детские метры для пьянок и разгульной жизни. А сейчас именно им реально гарантировано конституционное право на жилище. Бывшая мать Ирины Ореховой прекрасно себя чувствует в комнатах, куда ей помогли прописаться после выхода из тюрьмы сердобольные чиновники. Новые дети ей уже не мешают, и вот-вот суд снова освободит ее от родительских тягот. И это только один из примеров политики «двойных стандартов» в исполнении Основного закона сегодняшней России.

Жилищный кодекс РСФСР 1984 года предусматривал обязанность исполнительных органов обеспечивать жильем выпускников ДСУ вне очереди, независимо от того, какой ЗАГС выдавал свидетельство о рождении сироты и где находился его первый приют. Этот же Кодекс, как мы

уже говорили, давал возможность администрации детских домов и жилищным органам прежде, чем вселять сироту обратно на закрепленную площадь, выяснять, живет ли там его семья, сможет ли подросток находиться в данном жилом помещении, станет ли это жилье его домом...

Закон от 10 декабря 1996 года не только не предоставил дополнительных гарантий соблюдения жилищных прав выпускников детских домов при их вселении на закрепленную жилую площадь, но и стал причиной изменений и дополнений, внесенных в 1998 году в действующий Жилищный Кодекс: отныне сироты **безоговорочно** возвращаются по окончании учебы из приюта в «отчий дом», если там **остались проживать другие члены семьи** выбывшего в приют ребенка. Кого имел в виду законодатель, остается только гадать, так как в Кодексе об этом ничего не сказано. Итак, снова принята правовая норма, которую можно толковать, как хочется. Кроме того, у государства появилась возможность на законных основаниях вселять сирот к психически больным родителям, к формальным родственникам — абсолютно чужим людям, в криминально-асоциальную среду и т.п. Закон также умалчивает и о том, как быть с бывшими родителями, которые по-прежнему живут в тех же квартирах. У выпускников детских сиротских учреждений отняли хоть слабый, неопределенно обозначенный, но всё же заложенный в предыдущей правовой норме единственный шанс («другие причины») доказать нецелесообразность, бессмысленность и жестокость возвращения их в те же условия, от которых детей когда-то спасали. А значит, и шанс жить по-человечески.

Нужно ли объяснять, что такая «законодательная база» могла привести только к еще большему беспределу в отношении сирот, чем раньше?..

3. БЕСПРЕДЕЛ

Конкретных примеров по всей России можно привести множество.

Из письма депутату Совета Федерации Федерального собрания РФ Подопригоре В.Н. от 26 января 1996 года:

«...предоставить жилую площадь Мурашову Р.Н. в соответствии со ст. 37 ЖК РФ жилищный комитет ЮВАО не может, так как мальчик был направлен в детское сиротское учреждение в 1980 г. не из г. Москвы, а из г. Озеры Московской области... Жилая площадь должна быть предоставлена Мурашову местными органами по месту его прежнего жительства или нахождения детского сиротского учреждения».

Для справки: Мурашов — полный сирота, в Москву попал после окончания СГПТУ г. Куровское Московской области. Это училище готовит строительных рабочих для московского акционерного общества, выполняющего престижные заказы Московского правительства (к примеру, реконструкция Манежной площади). В училище попадают в основном сироты, причем, как правило, из детских домов для детей с отставанием в умственном развитии. Их никто не спрашивает, хотят ли они стать малярами или каменщиками. Детей привозят после окончания училища

в Москву, поселяют в общежитие акционерного общества. Некоторым, наиболее настырным, удается получить положенную по закону постоянную прописку, но только в общежитии. На этом забота государства о сиротах заканчивается: хочешь иметь жилье, бросай работу, уезжай из Москвы в г. Озеры, где ничего, кроме дурной славы о непутевой матери, у сироты не осталось. И живи — где хочешь, как хочешь и на что хочешь.

Роман Мурашов никак из Москвы уехать не может: он инвалид, от неустроенности, тяжелой работы и плохого питания получил язву, постоянно лежит в больницах. Маляром или штукатуром работать не может, а больше ничего не умеет, с трудом закончил училище. Для него переселиться в г. Озеры — значит погибнуть. Не нужен московским властям бывший детдомовец, который день и ночь трудился на Манежной площади, чтобы успеть к юбилею. Он, по мнению чиновников, может жить в Москве только на койке в общежитии, а свою жизнь должен обустраивать в городишке Озеры, к которому навечно приписан графой в паспорте «место рождения». А почему?

А потому, что на гражданина России Мурашова конституционное право на свободу передвижения и выбор места жительства,как видим, тоже не распространяется, а по новому закону для сирот — тем более. И чиновники делают то, что хотят.

Такого же мнения о правах сирот и администрация Балашихинского р-на Московской области. Она определила сироте Нефедкину А.Г., проживающему в общежитии Балашихи, изменить место жительства на г. Электросталь, откуда его направляли в детский дом и где у него нет ни родных, ни жилья. Балашиха отрекается от своего жителя и работника,направляя его за жильем туда, где выпускник никогда и не жил, а только имел несчастье родиться у пьющей матери, там же его и оставившей. Для того, чтобы получить свой угол, гарантированный ему государством при выходе из детского дома, остается 23-летнему Нефедкину бросить работу, место в общежитии, жену.

Ну а что ждет бывшего сироту, обратившегося за жильем по месту рождения или первичного устройства в детский дом или по месту окончания школы-интерната?

По закону — в трехмесячный срок отдельное благоустроенное жилье с учетом состояния здоровья и других «заслуживающих внимание обстоятельств».

В реальной жизни — долгие годы бесперспективного ожидания жилья. Из ответа депутату Госдумы РФ Лысенко В.Н. главы администрации г. Сыктывкара: «Администрация не имеет возможности обеспечить отдельным благоустроенным жильем сирот в сроки, установленные законом, так как из-за отсутствия средств практически прекращено строительство для очередников города, состоящих на учете по улучшению жил.условий. Сироты, обратившиеся в администрацию, заселяются в общежитие...». В льготной очереди сирот при администрации Сыктывкара состоит 178 человек с датой подачи заявления — 1987 год (!). Ответ

датирован июлем 1997 года. Словом, из общежития в общежитие. А как же своя семья, дети, свой уголок, где будет всё не так, как в детском доме...

По информации Прокуратуры РФ, за 1997 год нарушение жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, стало повсеместным явлением, следствием которого является «значительное снижение жизненных стартовых возможностей выпускников». Вот только несколько фактов, установленных в порядке прокурорского надзора:

«...В г. Искитиме Новосибирской области из 254 сирот-выпускников, закончивших ПТУ, получил жилье только один несовершеннолетний.

...Выпускнику детского дома № 5 Новосибирска предоставили жилье в аварийном доме, из которого выселили жильцов. В ряде мест интернаты для детей стали превращать в дома для престарелых, где возраст «воспитанников» доходит до 50-ти лет».

И так по всей России.

Сегодня реальные деньги на жилье для выпускников детских государственных учреждений не предусмотрены ни федеральным бюджетом, ни задыхающимися от расходов бюджетами регионов. Бюджет страны за 1997 год в части сирот исполнен только на 40,1% (сравним: Администрация Президента РФ и Правительство РФ получили 115,2% от обещанных при формировании бюджета сумм). И в этих условиях чем, как не издевательством над сиротами, является декларированная в новом Законе от 10 декабря 1996 года «дополнительная гарантия» их прав в виде возможности заменить предоставление жилья при отсутствии такового денежной ссудой?

Во-первых, откуда появятся деньги на ссуду, если строить-то не на что? И кто возьмется определить критерии размера такой ссуды: сам сирота, местная администрация, считающая, что для детдомовцев годится все самое худшее, в том числе и жилье?

Но даже если бы этот закон стал работать — представляете себе, сколько могло бы появиться сразу вынужденных собственников недвижимости (ведь, получив ссуду, выпускник детского дома автоматически должен становиться покупателем жилой площади)? Сколько выпускников, никогда не имевших ничего своего, вдруг сообразили бы, что комната или квартира — это не только жилище, но и средство расчетов за долги, за нормальную жизнь, за здоровье ребенка, родившегося в нищете, и т.д.? И сколько мошенников смогло бы нагреть руки на таких сделках?!

Это не просто предположение. Об этом говорит и реальная практика.

Дело в том, что для сирот-выпускников, долгие годы ожидающих своего жилья, характерно то, что они буквально в считанные дни его теряют: продают за гроши, меняют на худшее, дарят чужим людям, оставляют фиктивным мужьям и женам. И они идут на это, как правило, лишь потому, что не имеют средств к существованию.

Но как ребятам, едва достигшим совершеннолетия и не умеющим решать самые элементарные бытовые проблемы, разобраться в сложных вопросах отчуждения жилья?

Очень просто. Во многих случаях само государство помогает сиротам лишиться комнат и квартир еще задолго до их получения. Практика показала, что движение жилой площади от муниципального фонда к бывшему детдомовцу «отслеживается» целой системой органов и должностных лиц: в жилищных комитетах и отделах, в РЭУ и ДЕЗах, в паспортных столах отделений милиций и отделах опеки и попечительства, и даже в самих детских домах. Нетрудно предположить, какой простор эта ситуация открывает для мошенников.

Примеры? Сколько угодно.

Верится с трудом, но Володя Гордеев лишился трехкомнатной квартиры своих покойных родителей в г. Вязники Владимирской области по милости... самой директрисы местного детского дома, сначала вселившейся, а затем незаконно оформившей договор о приватизации чужого жилья. Родственники воспитанников московских детских домов Маши Егоровой и Сергея Матреничева сумели без согласия органов опеки и попечительства не только приватизировать, но и продать квартиры сирот, выкинув их на улицу. Мишу Чистозвонова, получившего в столице прекрасную светлую комнату в двухкомнатной квартире, сначала переселили в меньшую, а затем вообще вывезли из Москвы в глухое село под Тарусу в неблагоустроенный полуразрушенный дом. В постановлении обменной службы, призванной следить за законностью сделок, записано, что это делается для улучшения жилищных условий сироты (дом — это ведь больше, чем одна комната в коммуналке).

Кто помог квартирным аферистам заставить этого и других выпускников школ-интернатов отдать свое жилье?

Жилищные органы, выдающие необходимые документы и благословляющие сделки.

Милиция, с легкостью выписывающая сирот «в никуда» и не желающая разбираться с их корявыми жалобами на угрозы и давление со стороны покупателей жилья.

Всё это «посредники», нагревающие руки. Но не только в них дело. Не на стороне сирот и законы, не включающие выпускников школ-интернатов (и особенно для умственно отсталых детей) в группы риска для проверки причин совершения той или иной сделки и ее последствий для детдомовца.

Прокуратура, не возбуждающая уголовные дела в отношении жилищных мошенников и теневых маклеров по заявлениям сирот и не желающая защищать в гражданском суде их интересы по делам о возврате отнятых комнат и квартир (напомним, что согласно ст. 27 Закона о прокуратуре РФ, это прямая обязанность прокурорских органов, то есть государства).

Против сирот выступают и нотариусы, не бескорыстно и совершенно безнаказанно заверяющие самые противозаконные сделки, и суды, годами рассматривающие дела о признании этих сделок недействительными, в результате чего даже при благоприятном судебном решении вернуть жилье невозможно.

Из заявления выпускницы детского дома Парфеновой Натальи в Благотворительный центр «Соучастие в судьбе»:

«...Нас в квартире прописано 4 человека: моя мать, дядя и брат, воспитанник интерната. К нам стали приходить люди, местная шпана, выбивали дверь, телефон оборвали, угрожали всех убить, выкрали все документы на жилье, издевались надо мной. Я ходила к инспектору 20 отделения милиции, хотела подать заявление, но он меня отговорил, так как, якобы, будет еще хуже. Это длится уже пять лет. Я живу у подруги, брат в 67 больнице, где он подрабатывает санитаром. Мать пьет и не работает, глухонемого дядю сократили с работы. У нас задолженность больше 3-х миллионов без пени. Свет уже отключили. Участковый нашел каких-то людей из фирмы, чтобы заняться нашим обменом, забрал у всех паспорта. Я боюсь, что участковый сам с ними связан, чтобы нажиться на нашей трехкомнатной квартире. Паспорта он нам отдавать не хочет, пугает, что если мы не воспользуемся помощью его фирмы, то суд нас выселит. Они предлагают нам жилье в Подмосковье, говорят, что мы их должники. Я так запугана, что боюсь на квартире появляться. Мы не хотим уезжать из Москвы, но участковый сказал, что наша квартира уже засвечена, так как на ней уже два трупа, пока я росла в детском доме. Может, и не имели права нас туда вселять. Мать лишена родительских прав. Состоит на учете в наркологическом диспансере. Брат тоже учился во вспомогательном интернате, и в армию его не взяли. Я не знаю, что мне делать, и куда обратиться, может быть, в суд. Помогите».

5 лет издевательств. 5 лет милиция и жилищные органы пытаются завладеть трехкомнатной квартирой выпускников детского дома и их родственников. Вся семья относится к социально-незащищенным группам населения, по закону милиция обязана охранять с особой тщательностью права Парфеновых от квартирных преступников. На самом же деле делается всё, чтобы эти несчастные, больные люди подписали необходимые бумаги по передаче своей квартиры. Действующие лица этой драмы: участковый, маклер из фирмы, инспектор уголовного розыска, сотрудники РЭУ, покупатели, готовые на всё, ради жилья, бандиты, ими нанятые. Бездействующие лица: органы социальной защиты, муниципалитет, врачи наркологического диспансера, криминальная полиция, прокурор и т.д. Фамилии исполнителей, как правило, не афишируются.

И это не единичный факт, это — система. Она не щадит даже грудных детей.

Лена Горячая, которую сотрудник 74-го отделения милиции г. Москвы обманным путем заставил продать полученную от государства комнату, осталась на улице с месячным ребенком. В милиции ее выписали «в Тамбовскую область», где никакого жилья не было и в помине. Ни прокуратура, ни суд заниматься ее бедой не желали. Адвокат для Лены, как и для других сирот, не по карману. Вот уже четыре года сирота с дочкой скитается по Москве.

Председатель Коптевского суда г. Москвы г-н Князев, которому, по несчастью, пришлось разбираться в жилищных проблемах Лены и ее дочери, не нашел в действиях покупателей жилья и посредников никаких нарушений закона, встав на сторону последних. Измученной от голода, скитаний и унижений Лене было предложено отдать дочку бывшему мужу-алкоголику, а ее судьбу суд определил так: «Пусть побомжует...». В Московском городском суде Лене посочувствовали, но объяснили, что помочь ничем не могут.

Так государство, которое отказало своим детям в защите их прав на законодательном уровне, теперь на каждом шагу оставляет их один на один с беззаконием.

Еще пример. В Тульской области был оформлен брак сорокалетней местной жительницы с выпускником московского детского дома Славой Богоутдиновым 18 лет. Цель: узаконить изъятие у сироты отдельной квартиры в Москве, которую он якобы добровольно продает ради счастливой семейной жизни в глубинке с незнакомой женщиной, годящейся ему в матери.

Столичные милиционеры, заприметившие Славину квартиру еще при появлении паренька на их территории, продумали всё до мелочей: нашли невесту, заплатили ей гонорар (цветной телевизор), привезли в Москву, про- диктовали заявление о том, что молодая жена согласна прописать московского мужа у себя в двух смежных комнатах, которые они будут делить со взрослым сыном новобрачной, и т.д. Как Слава ни упирался, но его просто заставили подписать бумагу о том, что он только и мечтает о переезде в село под Тулой. Какие подарки получили работники Загса, в течение часа ре- шившие все брачные формальности, остается только догадываться...

Теперь Слава на улице, без работы, без семьи, без каких-либо перспектив на изменение жизни. А ведь он, как и его «друзья по несчастью», не просто сирота. Он плод пьяной любви, а в результате — олигофрения, специальный интернат, полное неумение адаптироваться к реальной и очень жестокой жизни, полная беззащитность. Сейчас сироте угрожают убийством. И подобные угрозы вполне реальны.

В Центр «Соучастие в судьбе» пришла горькая весть: убили сироту, двадцатилетнюю Машу Козлову, для которой с огромным трудом удалось получить ее законные метры. Директор Центра Алексей Головань более полугода убеждал местные власти в том, что Маша после детского дома, как никто другой, нуждается в крыше над головой.

Но пожила в своей квартире Маша недолго. Сначала убили ее сестру с ребенком, тоже детдомовку, а затем и с Машей расправились. И всё из-за жилья.

Боится за свою жизнь и Света Журавлева. Родители отказались от нее еще в роддоме, а несколько месяцев назад погиб и единственный брат. Причем погиб именно тогда, когда уже был предъявлен иск о признании недействительной купли-продажи его квартиры. У

Светы есть все права продолжить борьбу за незаконно отнятое жилье, но...

Слушаю рассказ вновь осиротевшей девушки и думаю: «А какой ценой заплатит она за это горькое наследство — квартиру брата? Не закончится ли ее попытка найти защиту в суде трагически? Вправе ли адвокат в условиях криминального и правового беспредела посоветовать рядовому гражданину отстаивать свою позицию до конца, полагаясь на закон и судебную власть?».

Эта проблема не дает мне покоя уже несколько лет, и всё меньше и меньше я доверяю правосудию. Особенно для тех, у кого пусто в кармане.

Но, может быть, в России есть какие-либо сугубо специализированные социальные службы, которые должны помогать сиротам не погибнуть после выхода из детского дома?

Нет, и пока их создание в обозримом будущем не предвидится. Так называемые органы опеки и попечительства, занимаются в основном устройством детей в детские дома. Судьбы подопечных после окончания школ-интернатов, особенно если выпускник уже совершеннолетний, находятся вне поля зрения и интересов этих чиновников.

Нищим и бездомным, одиноким и беззащитным выпускникам ничего не предлагается при нарушении их прав, кроме как «самостоятельно обращаться в суд с иском». Но что может сделать сирота против благополучных, обеспеченных, окруженных адвокатами обидчиков, которые не только годами не являются в суд, но и успевают уничтожить все «улики», договориться с участниками незаконных махинаций о их показаниях в суде, многократно продать и перепродать спорное жилье и т.д.?..

Хорошо еще, если поможет благотворительная организация, но и ее сотрудники так же бедны, как и те, кому они помогают. Их мало, их голосам трудно пробиться. К тому же у нас в стране участие правозащитников по делам сирот вызывает почему-то не неловкость и стыд за бездействие чиновников, а раздражение и недоверие к тем, кто занимается этим не по казенной должности. Мне неоднократно приходилось слышать в судах обвинения в корыстной заинтересованности благотворительной организации в возвращении жилья их подопечным. Нередко нам предлагают не нарушать покой добропорядочных ответчиков по искам, а просто купить жилье обиженным за свой счет....

«Вы своими просьбами третируете суд», — заявили мне в Зюзинском суде г. Москвы. В этом же суде в моем присутствии прокурор отчитывал представительницу отдела по защите прав несовершеннолетних за то, что та прислала оставшуюся без жилья сироту на консультацию в прокуратуру...

Государству не хочется, чтобы его «третировали», беспокоили по поводу той или иной искалеченной им же судьбы. Сироты России Россию не волнуют. Пусть побомжуют... Время теперь такое.

4. ПРОКЛЯТЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Но, может быть, сегодняшнее положение сирот в России после выхода из детского дома — это не наша собственная национальная трагедия, а естественный результат капиталистического пути, на который встала наша страна?

Обратимся, однако, к практике работы с детьми из приютов в других странах, где капитализм определяет условия жизни всех слоев общества.

В США нет государственных детских домов. Содержанием приютов занимается местное самоуправление — «комьюнити», которое на конкурсной основе находит энтузиастов для управления приютами. Желающим вложить свои силы и средства в работу с сиротами дается небольшая сумма денег для начала деятельности. Затем они должны сами изыскивать спонсоров, персонал, помещение. Дети в таких приютах не только учатся, но и обязательно получают какую-либо специальность (по интересам). Ребята прежде всего работают, а потом учатся. У них не формируются иждивенческие настроения, страх перед будущей самостоятельной жизнью.

Умственно-отсталые ребята живут и развиваются совместно с нормальными, их не выделяют в людей последнего сорта.

После выхода из приютов у воспитанников нет проблем ни с жильем, ни с работой. Они, как и остальные молодые люди, снимают жилье за свой счет или за счет фирм, получают материальную помощь на благотворительной или кредитной основе от государства. На биржах труда сиротам оказывают всяческое содействие в трудоустройстве по полученной специальности, в возможности работать и учиться, получить работу с жильем и т.д. Детей улицы не выбрасывают вновь на улицу. Никто не станет затрачивать деньги на содержание ребенка в приюте впустую.

В 1994 году, находясь на учебе в США, я непосредственно знакомилась с работой различных неправительственных организаций, в том числе и сиротских. Как любого человека, приехавшего из России, меня поразило, насколько ответственно и власть, и сами американцы относятся к проблеме воспитания детей, оставшихся без родителей, насколько скрупулезно законы регламентируют все вопросы, связанные с правами ребенка. И насколько развит контроль — судебный, административный, парламентский, общественный — за соблюдением прав и свобод детей Америки. Как, впрочем, и всех других граждан этой страны.

В последние десятилетия и в Соединенных Штатах, и в Европе в системе социальной защиты сирот прочное место занял институт приемных родителей.

Так, в Норвегии самой распространенной формой заботы о сиротах является помещение их в благополучные семьи на воспитание. В зависимости от того, насколько ребенок лишен родительского попечения, определяется и роль вторых родителей в его жизни. Некоторых детей, чьи папы и мамы склонны к употреблению спиртного, но пытаются вылечиться, отправляют к попечителям в выходные дни. Приемная семья также может

просить социальные службы разрешить ей взять такого ребенка на каникулы, на праздничные дни, проводить с ним занятия спортом, музыкой,художественно развивать подопечного.

Когда сирота вырастает, он становится участником различных молодежных программ, направленных на обеспечение юношей и девушек рабочими местами и жильем на льготных условиях. Детей, изолированных от родителей в детстве, по их просьбе поселяют в других городах или сельских районах, предоставляя им государственную поддержку для получения образования, работы и квартиры на новом месте. Приемные родители также заботятся о своих бывших подопечных по мере своих возможностей.

И вот что еще характерно. Где бы ни находились дети — в приютах местных органов самоуправления или в приемных семьях, — они остаются государственными детьми. Государственными в том смысле, что им гарантирована поддержка государства и защита закона, глубокое уважение к их человеческим правам. Всё это и не может быть иначе, потому что всё это является, в сущности, неотъемлемым элементом правовой системы демократически развитых стран. Поэтому там, где государство и общество заинтересованы, чтобы сделать власть более легитимной, где граждане осведомлены об ошибках и злоупотреблениях чиновников, где осуждается даже незначительный урон, нанесенный личности, — там и сироты, и инвалиды, и одинокие старики вправе рассчитывать на достойную жизнь. Так что дело отнюдь не только в экономическом процветании тех или иных стран. Дело в вековых традициях уважения Закона и прежде всего — Конституции. В том, защищает ли закон права человека и гражданина или только государственные устои и насколько разработан правовой механизм ограничения злоупотреблений со стороны властей.

В Швеции, например, можно привлечь судей или должностных лиц к уголовной ответственности, если указанные лица вследствие «неосторожности, неблагоразумия или недостаточной квалификации» пренебрегают своими обязанностями. Общественности доступны любые документы, на основании которых вынесено то или иное административное постановление. Во многих капиталистических странах уже не одно десятилетие действуют и специальные уполномоченные по защите прав граждан — в том числе и прав несовершеннолетних. Это конкретные должностные лица высокого ранга, которые не только разрешают жалобы граждан, но и информируют парламент и общественность о нарушении гражданских прав и свобод, а также о мерах по устранению этих нарушений.

В обществе с такой политической и правовой культурой невозможно себе представить ни принятия заведомо неконституционных законов, ни безразличного отношения к униженным и оскорбленным, ни превращения государственных детей в изгоев.

Так что не будем списывать нашу национальную трагедию на пришествие капитализама. Капитализм капитализму рознь. В какой стране, при каком государстве, на основании каких законов и в обществе с какими традициями — вот что главное.

5. МИФ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

Так в какой же стране мы живем? И зеркалом каких ее особенностей может служить описанное выше? Обратимся снова к Конституции России. Вспомните преамбулу:

«Мы... соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека... стремясь обеспечить благополучие и процветание России... исходя из ответственности за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями...»

И далее, уже в конкретной 55-й статье: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Не должны. Но ведь издаются и применяются, калеча судьбы тысяч и тысяч и так обделенных с рождения сирот. В дополнение ко всему, что уже сказано на этот счет, добавим, что выпускники государственных детских учреждений, чье будущее с 1996 г. регулируется законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,по этому закону не только теряют крышу над головой, возможность работать и учиться, жить рядом с любимым человеком, но и право дать жизнь ребенку.

Какая связь между «дополнительными гарантиями» и продолжением рода? Самая непосредственная.

Демократическое правительство России в 1997 году приняло постановление, где в ряду других «социальных показаний» для абортов названы: «отсутствие жилья, проживание в общежитии или на частной квартире, доход на 1 члена семьи менее прожиточного минимума, установленного для данного региона». Так государство заботится о здоровье нации, в том числе и о выпускницах детских домов. Сколько их мыкается по общежитиям или вовсе выброшены на улицу! Но для того, чтобы предоставить жилье или работу, нужны средства, а вот помочь избавиться от ребенка можно бесплатно и без всяких очередей! Один закон против лишних людей породил другой, не менее кощунственный. Но есть ли будущее у государства, которое лишает будущего своих детей?

«Соучастию в судьбе» пришлось начать борьбу против принятия пресловутого закона от 10 декабря 1996 года еще в стадии его обсуждения весной 1996 года. Тогда Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи устроил «круглый стол», пригласив директоров детских домов, сотрудников отделов опеки, педагогов, представителей различных научных и общественных организаций, журналистов — в общем, по-настоящему заинтересованных лиц. Обсуждение было бурным. От Благотворительного центра выступали один из его директоров, бывший детдомовец Наиль Шамсутдинов и я. Наиль говорил о пагубных последствиях данного закона для выпускников детских домов и особенно для девочек-сирот. Мне предстояла задача убедить Комитет и участников собрания в его неконституционности.

Казалось, что наши доводы «дошли» до авторов проекта и до аудитории. Председатель Комитета г-жа Апарина выглядела растерянной и в заключительном слове обещала «доработать» неконституционный закон. А мне даже предложили поучаствовать, сославшись на отсутствие юристов, знатоков данной проблемы, среди разработчиков закона. Однако дальше предложения дело не пошло, и скоро стало очевидным, что «дорабатывать» очередной престижный закон никто не собирается. Расчет был простой: депутаты, как обычно, не станут вникать в юридические тонкости. Им объяснят, что прав у сирот станет еще больше, и законопроект пройдет «на ура». Законотворческий год закончится на волне гуманизма.

И всё же мы не оставляли попыток предотвратить дальнейшее ухудшение условий жизни своих подопечных. Еще летом 1996 года по нашей инициативе депутаты обратились в ряд государственных органов с просьбой дать правовую оценку тем проблемам, которые вызывали наибольшее опасение. В основном это касалось жилищных прав выпускников детских домов, а также их права свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах своей страны.

4 ноября 1996 года из Управления по делам несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры РФ пришло обнадеживающее письмо. «Органами прокуратуры, — сообщал его автор, — осуществляется постоянный надзор за исполнением законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом особое внимание обращается на обеспечение их жильем и выполнение правовых норм, призванных облегчить социальную адаптацию таких детей». Мы также узнали, что в Государственную Думу были направлены предложения по проекту закона, касающегося детей-сирот.

Остается гадать, то ли прокурорские предложения тоже грешили неконституционностью, то ли депутаты сочли их несущественными, но после вступления Закона от 10 декабря 1996 года в силу и по сию пору наша самая главная надзирающая за исполнением законов инстанция хранит по вопросу защиты конституционных прав сирот гордое молчание или делает вид, что это вне пределов ее компетенции.

Из ответа Заместителя Генерального прокурора В.И. Давыдова: «В связи с Вашим письмом по поводу порядка применения Закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщаю, что в соответствии с Федеральным Законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура не наделена полномочиями давать какие-либо толкования Федеральному закону, делать суждения о его соответствии или несоответствии Конституции РФ. Если у Вас имеются конкретные факты нарушений, прошу сообщить о них для проведения соответствующей проверки». Словом, как у Грибоедова: «не должно сметь свое суждение иметь».

Не исключено, что российскую прокуратуру устраивает такая ситуация, когда обиженные сироты предпочитают бежать со своими бе-

дами не к тем, кто призван защищать их по должности, а к тем, кто плохие законы принимает, а потом с ними же и борется с помощью общественности.

Мне довелось побеседовать с одним из руководителей прокуратуры страны г-ном Тараненко, отвечающим за проверку законности судебных решений. Как он негодовал по поводу сирот, которые просят прокуратуру разобраться в той или иной «кричащей» ситуации по жилью и защитить их в суде! Выпускники детских домов, по мнению прокурора, «достаточно образованы» и могут сами отстаивать свои права: «Мы защищаем только маленьких детей и одиноких бабушек». Видимо, у остальных граждан России, по мнению г-на Тараненко, с защитой их прав всё обстоит благополучно.

Обратись руководство Генеральной прокуратуры в законодательные органы или в правительство, к депутатам Государственной Думы или даже к Президенту с предложением об изменении, дополнении или отмене принятого закона — глядишь, и прислушались бы парламентарии, разобрались бы в том, за что голосовали. Но почему-то жалобы выпускников детских домов и их представителей, обращения прозревших депутатов, многочисленные выступления прессы в 1997 году по поводу несоответствия сиротского законодательства Конституции РФ не трогают прокуроров ни в Москве, ни за ее пределами.

Если вдуматься, в сегодняшней России словосочетание «правовое государство» звучит как насмешка. Государство и право прочно отделены друг от друга, а вот сила и право, напротив, тесно связаны.В стране утвердилось право силы и, кажется, надолго.

Но вернемся к известному Закону о дополнительных гарантиях. Как ни прискорбно, но и Верховный суд России не счел возможным и необходимым вмешиваться в процесс его совершенствования или реализации, хотя еще 31 октября 1995 года им было принято постановление, специально посвященное применению судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия.

Конституция, записано в постановлении, имеет высшую юридическую силу. Она гарантирует гражданам право на жилище одновременно с правом выбирать место жительства в любом уголке России. «Отсутствие прописки либо регистрации, заменившей институт прописки, само по себе не может служить основанием для ограничения прав и свобод человека, включая право на жилище». Замечательно сказано, не правда ли?

Но тогда хочется спросить, почему же вы молчите, господа члены Верховного Суда, когда уже больше года бывшие воспитанники детских домов живут по закону, прямо нарушающему их конституционное право свободно передвигаться по территории любимой Родины и иметь крышу над головой там, где есть условия для выживания (рука не поднимается написать «для жизни»)? Или вы так же бесправны по части «толкования и разъяснения действующего законодательства», как и российское Министерство юстиции, куда мы обращались за поддержкой? Нет, такое

право вам дано, и ваши разъяснения правоприменительной практики, по существу, являются для органов правосудия обязательными. В октябре 1995 года вы напомнили всем судам страны о том, что «соблюдение Конституции и обеспечение ее прямого действия является одной из главных задач судов». Следовательно, и вашей тоже. Тем более, что сама же Конституция наделила Верховный суд России правом непосредственно вносить законопроекты в Государственную Думу.

Но, как выясняется, проявить инициативу и добиться приведения законодательства для российских сирот в соответствие с Конституцией и правами человека на практике — это вовсе никакая не обязанность Верховного суда, не дело чести и профессионального достоинства его высокочтимых членов...

Вообще, впечатление такое, что в нашем государстве с гражданскими правами уже всё в порядке. Недаром же, наверное, член Верховного суда РФ г-жа Евдокимова и Зам. Председателя того же суда г-н Жуйков ответили нам, что сейчас главное — защитить добропорядочного собственника, обеспечить ему стабильность совершенных сделок. А сироты — пусть расплачиваются за то, что не умеют жить, получать от государства всё, что положено, поддаются на обманы, а потом тревожат добросовестных приобретателей и суды своими просьбами о жилье и справедливости.

Не поверила бы, если бы сама не побывала на приемах у представителей высшей судебной власти.

Я помню еще выступление г-на Жуйкова перед московскими адвокатами в начале девяностых и его безапелляционное: все равны перед законом, в том числе и собственники. Законность — вот что на первом месте. Раз нарушена правовая норма, суд обязан аннулировать сделку, тем более, если затронуты интересы ребенка.

А как пламенно говорила г-жа Евдокимова на открытых парламентских слушаниях, посвященных правам детей весной 1997 года, как отстаивала их интересы!.. Из стенограммы: «В системе защиты мер охраны детей особое место занимает правовое регулирование и правовая охрана прав детей. Прежде всего в отношении прав несовершеннолетних на жилье».

А вот отрывок из интервью Председателя Верховного Суда г-на Лебедева журналистам «Общей газеты»: «Еще раз подчеркну, что суд — это не правоохранительное учреждение. Суд — это орган власти. Что значит власть? Это обладание полномочиями по неограниченному спектру проблем, связанных с защитой прав человека.Мы этого добились»

Но когда защитники сирот пришли в Верховный Суд РФ с конкретной бедой (читатель, надеюсь, помнит рассказ о судьбе многолетней скитальцы Лены Горячей и ее маленькой дочери), то услышали: пусть обманутая сирота остается на улице, а девочку следует определить в детский дом.

Так что некогда главному суду России заниматься совершенствованием сиротских законов, ведь у бывших детдомовцев, как правило, не бывает

собственности, а если и появляется, то ее тут же отбирают. И никакая власть не поможет, в том числе и судебная: сами виноваты, сами и расхлебывайте...

Впрочем, было бы несправедливо утверждать, что все вокруг глухи к проблемам российских сирот. К примеру, московские власти на своей территории пытаются приспособить несовершенное законодательство к нуждам выпускников столичных детских домов. Но любые предложения готовятся не в рамках выполнения Закона от 10 декабря 1996 года, а вопреки его абсурдным положениям, нарушающим Конституцию.

Однако Москва — это не Россия, захлебывающаяся от нищеты и отчаяния. Да и вряд ли только что избранная Московская городская Дума возьмется защищать конституционные права детдомовцев всей страны, используя свои возможности представлять Государственной Думе проекты Федеральных законов или делать запросы в Конституционный суд Российской Федерации. Не те времена, не те приоритеты.

Но, может быть, попытать счастья нашему Центру в Конституционном суде, обратившись туда по поручению обездоленных? Только дождутся ли отверженные, когда у Конституционного суда руки дойдут до их проблем? Есть ведь еще вопросы и поглобальнее, например — разрешать Президенту третьи выборы или нет.

К тому же для обращения в Конституционный суд России государственным детям необходимо поискать правды в судах обычных и предъявить доказательства бесполезности этой затеи. На это уйдут месяцы, а может быть, и годы.

Вот почему когда я слышу о том, что те же парламентарии, которые в 1996-м превратили многих выпускников детских домов в лиц без определенного места жительства, сейчас пытаются сделать фактически невозможным международное усыновление, мне хочется предложить каждому такому депутату: если вы не в состоянии их накормить и обогреть, своих государственных детей, вырастить их здоровыми и образованными, построить им жилье и придумать такие законы, которые бы действительно защищали сирот, а не превращали их в изгоев и граждан второго сорта, не мешайте им хотя бы попасть в те семьи, на ту землю, где одинокие дети почувствуют себя счастливыми. Там и будет их Родина.

Что — слишком резко?

Но, простите, какая же у них может быть Родина здесь, если, как оказывается, даже ее Основной Закон, якобы гарантирующий им гражданские права, — простой мираж? Или, как любят сейчас выражаться, — чисто виртуальная реальность.

Объяснюсь. В апреле этого года я была на приеме в Прокуратуре России по поводу нарушения конституционных прав сирот. Чиновник в ранге руководителя отдела, посокрушавшись о тяжелой сиротской доле, показал мне документ, пришедший в прокуратуру из Администрации Президента РФ для дачи заключения. Назывался он так: «Проект федеральной программы обеспечения и защиты прав и свобод человека».

Оказывается, в части прав и свобод человека, по мнению авторов этого документа, Конституция страны носит **концептуальный характер.** Через 5 лет после всенародного обсуждения и принятия Основного Закона нам, наивным гражданам, наконец, разъяснят, что в России права и свободы человека и гражданина — это не то, что принадлежит всем от рождения, действует непосредственно, определяет смысл и содержание деятельности исполнительной и законодательной власти и обеспечивается правосудием, а лишь **тенденция, направление**, к которому общество и государство должны **стремиться (!?)**. Впрочем, остальных глав Конституции — в частности, о правах Президента или правительства — это вовсе не касается.

Итак, ныне действующая Конституция из закона прямого действия может превратиться в закон полного бездействия. Без сомнения, это выгодно тем, кто, **взявшись «обустроить Россию», безнаказанно превращает наши гражданские права и свободы в миф, в чисто «виртуальную реальность». Зато нашу жизнь — во всё более страшную действительность.**

Эжен СЕНТ-ЭВ

ЗАКРУТИЛА НАС ВОЙНА

От редакции

В № 91 нашего журнала была опубликована повесть-воспоминание Зои Масленниковой «Маленький французский оазис», посвященная «светлой памяти Эжена Сент-Эва, живого или мертвого». В ней рассказывалось о романтической встрече русской девушки-сержанта и французского военнопленного в печально знаменитом тамбовском лагере № 188.

Они ничего не знали друг о друге 52 года! Но вот литература и жизнь соединились и тесно переплелись. Эжен Сент-Эв оказался жив и приехал в Москву в ноябре 1997 года. Редакция обратилась к нему с просьбой написать свои воспоминания о войне и плене. Публикуем их в переводе Зои Масленниковой.

Выражаем глубокую благодарность доктору Эжену Сент-Эву за быстрый отклик на нашу просьбу.

Эжен Сент-Эв

Доктор Эжен Сент-Эв родился в г. Мецe, Лотарингия, Франция. Окончил духовную школу. Учился на классическом отделении филологического университета в г. Нанси. В 1940 году, в день вторжения немцев во Францию, был мобилизован во французскую армию. После аннексии фашистской Германией Эльзаса и Лотарингии все эльзасцы и лотарингцы были демобилизованы. Вернулся в Мец, откуда по подозрению в подрывной деятельности был депортирован в Восточную Германию.

В 1943 году насильственно мобилизован в немецкую армию и вскоре направлен на русский фронт. В 1944 году сдался в плен советским войскам. Летом того же года прошел в колонне военнопленных по Москве. Был отправлен в лагерь для военнопленных — сначала на Урал, потом под Тамбов. Репатриирован в ноябре 1945 года.

Получил медицинское образование. Закончил профессиональную деятельность в должности президента Национального совета Ордена дантистов Франции и заморских территорий.

Доктор медицины, автор многочисленных научных трудов. Вдов, двое его сыновей — тоже врачи. Живет в Мецe.

Вот я сижу за столом перед чистым листом бумаги, готовясь писать воспоминания о том времени, которое считал навсегда вычеркнутым из памяти, о поре, когда жизнь и смерть играли в прятки и никто не ведал, что будет с ним завтра.

Беззаботная молодость... Не знаю, как у других, а в моей молодости преобладали тяжелые события. Отрочество мое прошло на редкость безоблачно, из возрастных испытаний я вышел без всяких потерь.

Настала пора созревания. Юноша превратился в мужчину.

Рассказ мой пойдет о трудных годах, начавшихся с университета после «странной войны», о недолгом возвращении на родину, высылке в Восточную Германию, неожиданной насильственной мобилизации, о двух годах кровопролитной войны, о перемещениях из одного лагеря военнопленных в другой, наконец о том лагере, откуда мы надеялись попасть во Францию, но который на многие месяцы стал для нас сущим адом.

Судьба послала мне луч солнца в лице студентки Военного института иностранных языков, она приехала в лагерь из Москвы для совершенствования во французском языке. Короткая встреча военнопленного и девушки была недолгим счастьем в нескончаемой череде беспросветных дней.

Начало «странной войны» 1940

Учебу на классическом отделении университета г. Нанси пришлось прервать. Мой год призвали в армию в самый день вторжения немцев во Францию. Из-за бомбежек полк молодых новобранцев беспорядочно отступал до департамента Ланды. Уже дойдя до юга Франции, мы узнали о заключенном перемирии. Из этого бегства мы вышли целыми и невредимыми, невооруженные, кое-как обмундированные в некомплектную форму. Командование почти не занималось нами, приходилось самим заботиться о пропитании. Чтобы спасти нашу часть от немцев, ее всё время перебрасывали с места на место. Скитания закончились в горном массиве в центре Франции, где, согласно одному из первых постановлений правительства Виши, были организованы молодежные стройки*. Новобранцев надо было занять делом. Да, но каким?

Решили, что мы будем строить дорогу... не нужную никому. С утра до ночи мы орудовали лопатами, кирками, мотыгами, перетаскивали камни и целые скалы. Полотно дороги прокладывалось кое-как.

Три студента образовали подпольную ячейку. Одного только что приняли в политехническую школу и тут же, в последний момент, призвали в армию, второй учился в педагогическом институте, третьим был я, студент университета. Это была уже маленькая группа сопротивления, которая собиралась любыми средствами бороться с новым режимом Виши.

---

* Молодежные стройки — полувоенные организации, куда мобилизовывали молодых людей призывного возраста. — *Прим. перев.*

Тайком мы строили планы бегства. Куда? Один предлагал Алжир, другой — Лондон через Испанию, третий, самый здравомыслящий, — центр сопротивления в оккупированной зоне, что было самым простым и реально выполнимым решением.

И тут пришел приказ о демобилизации всех эльзасцев-лотарингцев из войск перемирия. Мне пришлось расстаться с нашими планами, покинуть друзей; я их больше так никогда и не видел.

Итак, я вернулся в Мец — и не узнал его! Над дворцом губернатора развевался флаг со свастикой; улицы кишели военными в серо-зеленой форме; с памятника павшим исчезли имена прославленных французских солдат. Откуда ни возьмись, появилось множество казарм. Они были переполнены солдатами, воодушевленными победой над армией, считавшейся лучшей в мире. Нигде ни одного французского слова, улицы переименованы, на трамваях готические надписи. Люди в кепи с кожаными козырьками следили за порядком на улицах и площадях, за почти прекратившимся движением транспорта и пешеходов. Ставни на многих домах были заперты, их обитатели предпочли бежать из Меца, превращенного в немецкий город.

Я хотел уехать, но граница уже была закрыта. Оккупанты не желали, чтобы город совсем опустел.

Надо было чем-то заполнить время, страшно медленно тянувшееся в ожидании победы, которую мы с присущим молодежи нетерпением ожидали в скором будущем. Я решил покамест заняться преподаванием. Но эта работа, связанная с постоянным общением с молодежью, а значит дававшая возможность внушать учащимся подрывные идеи, навлекла на нас преследование со стороны властей. После краткой ускоренной обработки, впрочем совершенно безуспешной, нас, около полусотни преподавателей, собранных с бору по сосенке, депортировали в места не столь отдаленные, которые сочли невосприимчивыми к нашей идеологической заразе. Ими оказалась Восточная Германия. В бедном, обездоленном крае, среди враждебно настроенного населения, мы создали подпольную молодежную ячейку, в которой участвовало несколько человек. Устраивая регулярно встречи то у одного, то у другого, мы старались поддерживать в сердцах священный огонь.

Одного из нас, недостаточно осторожного и несдержанного на язык, посадили на десять месяцев в тюрьму. Это заставило нас вести себя осмотрительней.

Долгое время мы считали, что наше положение эльзасцев-лотарингцев избавляет нас от мобилизации. Немецкий губернатор Мозеля даже хвалился, что ни за что не призовет в армию молодых французов, недостойных носить германскую форму.

Огромные потери, которые Вермахт понес в советской России и на многих других фронтах, быстро изменили ситуацию. Как и все эльзасцы-лотарингцы от 18 до 25 лет, я получил приказ о мобилизации. Рухнула надежда избежать участия в войне.

Призыв в немецкую армию
1943

На этот раз судьба наша была решена. Никакой возможности скрыться или увернуться. Нас заставили надеть ненавистную форму и сражаться за чуждое нам дело. Наши товарищи по оружию были для нас чужеземцами. За нами установили строжайший надзор и принудили участвовать в братоубийственной бойне.

Участь эльзасцев-лотарингцев стала трагедией, история перебрасывала их из одного лагеря в другой с полной безответственностью.

Перед призывом я побывал в родном Меце. Мой зять и я, призывники одного года рождения, попытались бежать во Францию. Знакомая моих родителей дала нам адрес надежного проводника. Мы отправились к нему со всеми предосторожностями, избегая всяких встреч. Но, как оказалось, проводника накануне арестовали. Граница была закрыта и тщательно охранялась. От наших планов пришлось отказаться.

Много позже, уже в июне, когда мы жили во львовских казармах, нас вызвали в комендатуру, и двое гестаповцев потребовали объяснений по поводу этой попытки бежать. Все-таки нас выследили, несмотря на все меры предосторожности. За нами по пятам шло наше дело. Хотя нас и не наказали, эпизод этот ускорил нашу отправку на русский фронт.

А пока что мы проходили военную подготовку в Польше. Нам приходилось нелегко. Мы подвергались постоянной травле. Этих молодых французиков следовало хорошенько проучить! Наряды сыпались без продыха, нас постоянно лишали увольнений, не разрешали выходить из казармы. Категорически запрещалось всякое общение с обитателями львовского гетто, с которым граничила наша казарма, находившаяся в черте города. За ограждением, охраняемым вооруженными солдатами, бродили боязливые люди. Это и было гетто. Мужчины покрепче таскали тележки, груженые буханками хлеба, досками, мешками с одеждой. Старики, женщины, дети со звездой Давида на груди прятались за окнами, бросая оттуда пугливые взгляды. Седобородые старцы читали Библию. Гетто населяли люди, выдворенные из родных местечек, выселенные из своих домов, оторванные от привычных занятий. Полицаи-евреи, которым полагалось следить за порядком, ходили с дубинками по двое. Лица у них были несчастные, щеки впалые.

Кажется, в гетто работала мастерская по пошиву формы для немецких солдат, куда набрали опытных еврейских портных.

По диагонали гетто пересекал центральный проезд. Нам разрешалось пользоваться им, когда нужно было попасть в центр города. Из предосторожности мы ходили только по середине широкой мостовой.

Видел я тогда гетто в первый и последний раз в жизни.

Военная подготовка длилась не больше трех месяцев.

На русском фронте

Состав уходит в ночь, он идет груженый пушечным мясом: солдатами, только что призванными в армию, подлеченными ранеными, полсотней покорившихся судьбе, задумчивых эльзасцев-лотарингцев. Куда нас везут? Нам это неведомо. Из-за снегопада видимость плохая, это укрывает нас от наблюдения противника. Едва различимы валяющиеся вдоль путей разбитые, перевернутые вагоны. Поезд идет без огней.

Высаживаемся в полной тьме, на ощупь... Иногда вдали небо озаряют вспышки. Свистят пули. Снаряды падают совсем рядом. В черном небе летает одномоторный самолет, ищет, куда сбросить свои две бомбы.

Новоприбывших распределяют наобум, как попало. Ни в чем никакого порядка. В поредевших ротах не хватает солдат. Многие офицеры убиты. Ротой командует сержант. Считаным бойцам приходится держать огромный участок фронта.

На рассвете, невидимые в наших белых маскхалатах, ружье на плече, каска подвешена к поясу, тощий вещевой мешок за спиной, мы долго молча бредем по глубокому снегу к нашим траншеям. Русские окопались, как и мы, они в нескольких сотнях метров от нас...

Шла позиционная война, перемежавшаяся кровопролитными боями; многие мои товарищи пали убитыми или были ранены. Воюющие стороны то оставляли, то снова захватывали позиции. В целом линия фронта удерживалась на месте, но чтобы заткнуть дыры, нас без конца перебрасывали с одного участка на другой.

В Польше, где нас застало начало зимы, мы немного привыкли к холоду, к снегу, к гололеду на дорогах. Но тогда высокие здания Львова худо-бедно укрывали нас от непогоды. Теперь, в глубине огромной России, мы встретились со снежными бурями, они вздымали в воздух вихри снега, хлестали в лицо, заваливали дороги сугробами. При этих бесконечных ночных переходах войска растягивались, солдаты от усталости еле держались на ногах, брели, не будучи в силах вымолвить ни слова, многие были обморожены.

На обочинах дорог валялись трупы убитых, их не хоронили, потому что земля слишком глубоко промерзла.

Блиндажи, наспех сооруженные в лесах в тылу передовой, служили для короткого отдыха бойцов. Мы молча валились на нары.

Передышка длилась всегда недолго. В лесах скрывались партизаны. Их было не так уж много, однако враг это был невидимый, неуловимый, вездесущий.

Трудно поверить, но возвращались мы на передовую с облегчением.

А потом внезапно морозы отпустили. Снег размяк, пропитавшиеся водой валенки отяжелели. Окопы превратились в рвы, полные жидкой грязи. Под не сошедшим до конца снегом уже цвели подснежники. Бурные ручьи несли талую воду, затрудняя передвижение. Приходилось то и дело чистить винтовки и пулеметы.

Русские подождали, пока земля подсохнет, и перешли в решительное наступление. Артбатареи открыли шквальный огонь, катюши громили наши позиции. В небе, покинутом немецкой авиацией, на бреющем полете носились русские самолеты. Мы отступали, оставляя один участок фронта за другим. Под мощным обстрелом это больше походило на бегство.

Русские окружили Витебск. Немцы уже подожгли склады с продовольствием и цеха, где ремонтировались грузовики и танки, взорвали театр, едва закончился последний спектакль армейской труппы.

Город превратился в западню. По нему метались солдаты всех родов войск: измученные пехотинцы, с лицами, заросшими всклокоченными бородами, десантники Люфтвера, артиллеристы без пушек, танкисты без танков, брошенных или уничтоженных. Кое-где офицеры пытались навести порядок, но их команды заглушал грохот взрывов. Единственным укрытием, впрочем призрачным, служили развалины домов. Те, кто уцелел в жестоком сражении, в конце концов побросали оружие. Мое отделение пыталось бежать от русских. Уже давно десяток солдат, потеряв всякую ориентацию, блуждал по каким-то зарослям, пробираясь берегами вниз по течению реки.

Со всех сторон свистели пули. И мы решили сдаться. Поскольку я был из числа эльзасцев-лотарингцев, наше отделение поручило мне возглавить эту операцию. Задача была опасная, но я взялся ее выполнить. Побросав оружие, построились в затылок друг к другу, я встал впереди, и мы зашагали к русским. Момент был критический. Солдат обыскал нас. Офицер грубо толкнул к группе других пленных. На мне не было никаких знаков отличия. Спас меня, наверное, мой несчастный вид побежденного солдата, которого силой заставили воевать наперекор его воле.

Плен

Длинная колонна военнопленных медленно двинулась между двумя рядами бородатых гогочущих советских солдат. Самые молодые давали волю ненависти. Возбужденные победой, они выпустили несколько очередей из автоматов Калашникова по ногам пленных. Особенно опасным оказалось для нас продвижение по зоне, непосредственно примыкающей к передовой. Поведение бойцов, с трудом удерживающихся от желания мстить, было непредсказуемо. Следовало как можно скорее убраться из этих мест.

Путь оказался долгим. Колонна продвигалась между вооруженными пехотинцами, между грозными танками и полевыми орудиями, гордостью советских войск. Она всё росла по мере поступления пленных с других участков фронта. Земля была усеяна трупами, ожидавшими довольно проблематичного захоронения.

Гражданское население, освобожденное наступлением русских, пыталось, при нашем прохождении, распознать полевых жандармов, чтобы

расправиться с ними за совершенные злодеяния. Если их узнавали, то убивали тут же на месте.

На третий вечер, очутившись далеко от боевых действий, мы наконец почувствовали себя в безопасности. Колонна, насчитывавшая уже несколько тысяч человек, шла к Москве, но на этот раз как армия побежденных.

Ночевали, где придется: в брошенных избах, в опустевших хлевах, в блиндажах, сооруженных немцами на пути в Москву, иногда под открытым небом, благо было лето. Как прокормить и напоить такую огромную толпу? С грехом пополам все-таки это как-то удавалось.

Шло время. Карманы наши были выпотрошены, наручные часы конфискованы, обручальные кольца отобраны победителями...

Установить личность солдата стало практически невозможным, мы превратились в безымянную массу. Наша колонна слилась с другими. Тысячи пленных загнали на столичный ипподром, набив его до отказа.

Было организовано огромное шествие военнопленных по Москве, по образцу римских триумфов, когда из прохождения пленных устраивалось зрелище на радость победителям и их семействам.

Затерянный в бесконечных рядах пленных, многие из которых болели дизентерией и не могли удерживать испражнений, я не имел ни времени, ни возможности рассматривать лица людей, стоявших на тротуарах.

Всё же мне показалось, что некоторые испытывали жалость и сострадание. Побежденная армия в рваных мундирах, замаранных землей и кровью, шла с опущенными головами, потеряв всякое величие.

Наконец, чтобы смыть все следы этого шествия, поливальные машины очистили улицы мощными струями воды.

Шествие побежденных закончилось. Нас распределили по разным московским вокзалам. В числе прочих меня направили в большой лагерь где-то на Урале. Прилежные писцы нас тщательно занесли в большие списки. Начали с дезинфекции одежды. Брадобреи, вооружившись какими попало бритвами, обрили нас с головы до ног. Пришлось расстаться с волосами, со всей нашей растительностью. Мы даже получили право на прививки. От укола у меня долго оставалась на спине гематома величиной с кулак, но в результате какое-то время я не заражался никакими инфекционными болезнями.

При первой возможности я зачислился добровольцем в рабочую команду. Это давало возможность заняться делом, выходить из лагеря, получать более питательную пищу.

Не помню уж, в каком порядке шли работы, да это и неважно. Мы строили домишки из горбыля, сами удивляясь, как споро это у нас получается. Одних отправляли в колхоз копать участки, другие, стоя по колено в воде, вытаскивали на берег плоты сплавляемого по реке леса, третьи ремонтировали выбоины на лесных дорогах.

Вскоре пришел приказ переправить нас в другой лагерь, и я впервые услышал слово «Тамбов». Когда нас всех собрали, я удивился, увидев так

много эльзасцев-лотарингцев. Путешествие по железной дороге длилось долго. Высадившись на перроне вокзала, я прочел название станции: **Тамбов.**

Прошел слух, что нас поместят во французский лагерь. Ждать придется недолго, очень скоро нас отправят через Иран и Малую Азию в Алжир, где мы сможем снова воевать. Русские — наши друзья, друзья Франции. Путь будет очень долгим, но в конце концов приведет нас домой.

Тамбов

На больших воротах значился номер лагеря: 188.

У входа русские офицеры не без тени улыбки поздравили нас с прибытием. За их спинами стояли французы в форме цвета хаки. Нас направили в столовую и в честь приезда накормили довольно сытным супом.

Все перезнакомились. Кое-кто нашел друзей, земляков. Встречи вызывали бурную радость.

Жизнь в лагере началась с карантина, неизбежной санитарной меры. Нас разместили по баракам, устроенным довольно необычно. Соломенные или тростниковые крыши доходили до земли. С двух торцов они были открыты. Чтобы войти, приходилось спускаться по ступенькам под землю. Воздух там был довольно прохладный, но нездоровый, зимой и летом помещение обогревалось теплом человеческих тел.

По обеим сторонам центрального прохода располагались дощатые нары. Одеял не было, вместо подушек мы подкладывали под голову консервные банки, они же служили нам манерками. Там царил сумрак, свет проникал лишь из входов по обоим торцам барака.

Мы быстро научились, как тут спать. Все лежащие на одних нарах прижимались грудью к спине соседа, чтобы было чуть теплее. Когда кому-нибудь хотелось повернуться, приходилось переворачиваться всему ряду.

Единственным событием в этом карантине, куда посторонних не пускали, была раздача хлеба. Двое умельцев соорудили весы на манер монетных, чтобы как можно точнее взвешивать наш скудный хлебный паек. Мы все помнили размеры нашего армейского рациона, тогда триста граммов были довольно большим куском. Пленным выдавали хлеб с примесью картофеля и древесных опилок, очень тяжелый на вес. Триста граммов превращались в маленький плотный ломтик, пожиравшийся мгновенно.

Дважды в день давали суп, неописуемую жидкость, которую разливали из котла, где плавало несколько капустных листьев.

Лагерные старожилы бродили вокруг проволочной сетки карантина. Они предлагали обмен: махорку (курева у нас совсем не было) за обувь, за нижние рубахи, у кого они уцелели. В германской армии мне выдали совсем новую пару ботинок, я их очень берег, тщательно за ними ухаживал. Какой-то венгр, а может быть румын, предложил мне горсть табаку. Я не устоял и расстался с моими прекрасными ботинками. В

придачу к махорке он дал мне два разрозненных башмака. В них я и проходил до самого отъезда из лагеря.

Чтобы курить этот едкий грубый табак, кое-кто мастерил себе примитивную трубку: выдолбленный изнутри кусочек дерева насаживался на полый стержень. Те, кто неведомо как сохранил семейные фотографии, снимали с изнанки слои картона и пользовались ими как курительной бумагой.

Наконец карантин закончился. На деле там не было особых проблем. Никто из нас еще не знал, что такое настоящий голод. Двух-трех наших товарищей положили в больницу. Всё более или менее обошлось. Прошедших карантин разместили по лагерным баракам. Пленные только и говорили, что об отправке полутора тысяч. Они первыми попали в тамбовский лагерь. Советские власти решили репатриировать эльзасцев-лотарингцев партиями по полторы тысяч человек. Когда их набралось достаточно, наших товарищей с ног до головы переодели в советское обмундирование. Они в последний раз промаршировали по лагерю строем и ушли через ворота навсегда. Чем кончились их долгие скитания, мы не ведали. Но разговоры об их отъезде поддерживали в нас надежду, что и мы вскоре последуем за ними.

Проходили дни. Кончилась осень. Ударили первые морозы. Установилась зима. Мечты о скором возвращении на родину угасли. Надежда на репатриацию через Алжир сменилась ожиданием конца войны. Жизнь в лагере шла своим чередом, безрадостным и тоскливым, бесконечно тянулись серые однообразные будни.

Появились первые симптомы болезни пленных. Лодыжки отекали, тела таяли. От людей оставались кожа да кости. Всё больше времени проводили они лежа на нарах. Всё труднее было выходить на ежедневную поверку. Тяжелее становилась походка. В отхожие места тянулись непрерывные вереницы пленных. Дизентерия распространялась повсеместно. Каждый день пропадали друзья, которых отправляли в больничные бараки, где и речи не было ни о каких нравственных нормах. Потом они исчезали навсегда. Таких было тысячи.

Как-то, еще в карантине, перед оградой появился мой бывший однокашник. Мы учились в одном коллеже. Он попал в лагерь задолго до меня. Отправка полутора тысяч оставила пустые вакансии. Пришлось восстанавливать лагерный штаб. Он входил в состав руководства и предложил мне работать в штабе. Когда кончился карантин, я пришел в клуб.

Это был один из самых обширных бараков в лагере, приспособленный для встреч и отдыха. В столбы, поддерживающие крышу, упирались столы, по стенам стояли скамьи, несколько стульев дополняли обстановку. Три комнаты, находившиеся в конце барака, занимали пленные. Первая предназначалась для французов и бельгийцев, вторая для венгров, третья для румын.

Так я узнал о существовании в лагере людей разных национальностей: румын, венгров, итальянцев, бельгийцев, люксембуржцев, немцев. Боль-

шинство их заставили воевать насильно. Все они были в лагере давно и занимали руководящие посты, ведали больничными бараками, снабжением, кухнями, столовой, отвечали за дисциплину, за барак № 22, куда складывали трупы, перед тем как похоронить их в общей могиле.

Сначала начальник лагеря доверил мне довольно неопределенную политическую работу: поручил читать в нескольких бараках одну книжонку, по сути дела, политический памфлет, которому советское начальство придавало большое значение. Сочинение это было написано неким Морисом Торезом, генеральным секретарем Французской коммунистической партии, автором книжки «Сын народа». Я не знал ни автора, ни его труда. Правда и то, что прежде я никогда не интересовался политикой, главными друзьями моей студенческой юности были книги: стихи и художественная литература. А тут я узнал о существовании во Франции «двухсот семейств», виноватых в нищете французского народа, о настоятельной необходимости классовой борьбы, восстания рабочих и т.п.

Однажды на моем выступлении присутствовал политрук, ответственный за наше политическое просвещение. До войны он прожил несколько лет во Франции, работал на заводах Рено (впоследствии я узнал, что это была вотчина ВКТ — Всеобщей конфедерации трудящихся — приводного ремня Французской компартии). Моя речь оказалась настолько неортодоксальной, что он пришел в неописуемую ярость и грозил отправить меня в Сибирь. К счастью, друзья сжалились надо мной и поручили вести в лагере культурную работу. Это подошло мне как нельзя лучше. Тут я мог развернуться в полную силу.

Я всегда верил в свою счастливую звезду. Меня не брали ни пули, ни снаряды. Теперь требовалось выжить в лагере, где условия жизни были ужасны. Те, кто поддавался отчаянию и переставал бороться, неизбежно погибали. Любое занятие давало основание жить. Барак № 22 (морг) всегда был полон. Приходилось регулярно освобождать его от окоченевших на морозе нагих трупов с фамилией, написанной на ягодице в качестве единственного опознавательного знака.

Было нелегко рыть общие могилы в твердом, как камень, грунте. Замерзшие пальцы, ноги, обмотанные вместо обуви рваным тряпьем, лютые морозы, пробиравшие до мозга костей сквозь легонькие мундиры, — всё это требовало при такой работе нечеловеческого напряжения.

Всеми силами я пытался поддерживать моих друзей, вернуть им желание жить. Это была борьба за выживание.

Я занялся подготовкой спектаклей, концертов, спортивных состязаний. Моих товарищей нужно было отвлечь, дать им на время забыть о страшной действительности, создать, хоть ненадолго, иллюзию, будто они дышат воздухом родины...

Желающих принять в этом участие было предостаточно. Удалось найти несколько человек с актерскими способностями и сколотить труппу.

Мы проявляли чудеса изобретательности. Приходилось восстанавливать по памяти театральные пьесы, оперетки, чаще всего обходились коротенькими скетчами. Я напрягал память, что-то придумывал сам, сочинял пьески, представлявшие собой чудовищный плагиат. Благодаря энтузиазму все вместе мы совершали невозможное. Случалось, ставили даже большие спектакли.

Один учитель музыки организовал хор, исполнявший народные песни — эльзасские, лотарингские, песни других французских провинций.

Создали маленький оркестрик. Как мы доставали музыкальные инструменты? Теперь уже не вспомнить. Иногда в концертах участвовала труба, по сигналам которой шел лагерный распорядок дня. Для молодого талантливого люксембуржца где-то раздобыли кларнет. Венгерский еврей исполнял на балалайке джазовые композиции. Гитара дополняла наш ансамбль. Это было не бог весть что, но мы радовались нашим успехам, особенно я, «дирижер оркестра».

Летом устраивали состязания по тем видам спорта, которые с грехом пополам подходили к нашему плачевному физическому состоянию: бег, метание гирь, прыжки в высоту, в длину, встречи баскетбольных и футбольных команд. Что и говорить, часто соревнования не доводились до конца, некоторые участники были слишком слабы физически. Но цель достигалась: ненадолго мы снова становились мужчинами.

Зоя

Однажды начальник лагеря известил меня, что к нам приезжают студенты Военного института иностранных языков. Им предстояло совершенствоваться кому во французском, кому в итальянском, кому в других языках. Поскольку я был когда-то студентом-филологом, начальство поручило мне организовать встречу.

Я набрал студентов и преподавателей, способных исполнить роль «профессоров».

И вот прибыли военные студенты. Я распределил учителей между учениками. Сам я решил оказать прием девушке в ладно сидевшей на ней форме сержанта. Ее звали Зоя Власова.

Уже полтора года мне ни разу не доводилось разговаривать с женщиной. Одна мысль, что я окажусь лицом к лицу с незнакомой девушкой, повергала меня в смущение.

С первого мгновения наша встреча показалась мне чем-то невероятным: пленный — и унтер-офицер победоносной Советской армии, красивая невысокая девушка с чуть выступающими скулами, от которой веяло духом свободы, но свободы недоступной...

Потом все-таки набрался смелости. Я воспринял эту встречу как подарок судьбы, луч солнца в беспросветных лагерных буднях, дни нежданного счастья. Каким образом могло всё это случиться?

У нашей встречи был повод: совершенствование во французском. Зоя уже очень хорошо говорила на моем родном языке.

Мы начали с французской литературы. Я особенно любил Бодлера, Верлена, Рембо, в студенческие годы упивался их музыкой. Нежность Верлена покорила Зою, одержала в ней верх над жестокой, изощренной иронией Бодлера.

Зоя очень любила поэзию. Поначалу ей было нелегко постигать тонкости чужого языка, схватывать истинное значение слов из изысканного словаря поэтов, улавливать музыкальность незнакомого текста.

Мало-помалу мы с головой погрузились в изучение французской литературы, составлявшей главный предмет моих университетских занятий, с каждым днем она открывала для себя всё новые ее богатства. Мы начали с первых поэтов, которыми обычно начинают курс литературы: с мятежного Франсуа Вийона, а также Ронсара, я читал ей наизусть сонет: «Пойдем, посмотрим, милая, на розу...».

Классиков я тогда не слишком чтил. Но мне казалось преступлением пропустить этот период французской письменности, когда фактически все литературные тексты издавались в стихах, а часть их принадлежит к лучшему, что создано на нашем языке. Мы занялись ими, но без особого энтузиазма.

Пришел черед Андре Шенье, поэта, гильотинированного в ходе Французской революции. Это был конек моего университетского преподавателя литературы, он читал нам лекции о Шенье целых полгода без передышки.

Романтиков Зоя знала неплохо: Гюго, увлеченного социальными проблемами, поэта-депутата Ламартина, Мюссе с его исповедями и пьесами, отшельника Виньи. Я не смел говорить ей, что писал Гюго о русской кампании: «Шел снег, всегда шел снег...».

Мы перешли к символистам и парнасцам...

Я уже говорил о предпочтении, которое Зоя отдавала Верлену. Но, Боже, как прекрасны стихи Бодлера! Бодлер всегда оказывал на молодежь гипнотическое воздействие. Он был предтеча, поэт, внесший в искусство струю новой жизни. Он опубликовал только один сборник, «Цветы Зла», от некоторых его стихов исходил серный адский дух, появившись впервые, они становились предметом пересудов, но какой же редкостной красоты была эта поэзия!

Без учебника я вспоминал стихи, выученные еще на школьной скамье. Этого хватало, чтобы читать отдельные строфы из «Сатанинских литаний» или великолепное «Приглашение к путешествию».

Среди поэтов Бодлер всегда стоял у меня на первом месте. Но и Верлена я любил не меньше. Тем более, что он родился в Меце, моем родном городе, там прошло его раннее детство. Жизнь у Верлена складывалась трудно, он без конца искал свой собственный путь, то буйствовал без всякой меры, то поднимался до самых возвышенных мистических состояний. Он много

писал, подчиняя ритм и форму стихов биению собственного сердца. Никакого сомнения, именно эта подлинность его вдохновения так увлекла и покорила Зою. Мы упивались «Долгим плачем скрипок осени...», знаменитым «Мне часто снится вещий сон...», стихами о поэзии: «Музыка, музыка прежде всего...» или же «В пустынном парке ледяном...».

Порой не удавалось восстановить по памяти весь текст. Но достаточно было вспомнить строчку, и уже строфа за строфой качали нас на волнах музыки.

Третьим моим любимцем был Рембо. Странная судьба, рано развившееся дарование, владение красочным, живописным словом — делали его личность исключительной. «Мои скитания» входили в мой репертуар. Поэт этот был неисправимым бродягой, в двадцать лет замолчал, решительно повернувшись спиной к поэзии. Всё это не могло нас не волновать.

В те времена многие увлекались поэзией. Я постарался нарисовать как можно более полную ее картину. Властителем дум всей довоенной молодежи был Поль Валери. Не с первого разу, не при беглом поверхностном чтении открывался глубинный смысл «Матросского кладбища» или «Юной парки». Я знал, что Зою навсегда заворожил этот поэт, тончайшие откровения его бессознательного и подсознательного. И столько еще было других...

Мы назвали «Маленьким французским оазисом» эти наши встречи, когда целыми днями усердно занимались и всё больше открывали общую глубокую любовь к литературе и искусству вообще.

Мы беседовали и о многом другом: о войне (чертили планы и схемы наступления Красной Армии и вешали их на клубной доске), о солдатах, освободивших нас от германского ига, о политике, в тайнах которой стали понемногу разбираться. Пришел Зоин черед рассказывать мне о русских поэтах, особенно о Пастернаке. К тому времени он уже опубликовал много стихов, но «Доктор Живаго» еще не был написан.

Мы оба любили музыку и изобразительное искусство, особенно живопись. Мне очень недоставало музыки. Чтобы пальцы не потеряли гибкости, когда удавалось остаться одному, я «играл» упражнения. Я ведь учился по классу фортепьяно, но больше всего занимался на органе.

Очень любил оперу, последним спектаклем, который я видел во Львове, стала опера «Проданная невеста» Сметаны. Это было накануне отъезда на фронт. Мы рассказывали друг другу о самых современных композиторах. Я о Равеле, Дебюсси, Форе, Зоя — о Прокофьеве и Шостаковиче. Но также, конечно, о Бородине, Мусоргском, Глинке, Чайковском. А я, в свою очередь, о Берлиозе, Гуно, Бизе.

Утро за утром шли долгие беседы о музыке. Это позволяло нам, как хотелось обоим, говорить о России, о которой я был наслышан еще с детства, о той России, которая являлась частью общей прародины и еще не знала сталинизма, давившего на нас, людей Запада, как свинцовая гиря. Хотя мы по-настоящему чувствовали себя единомышленниками, случалось, я прерывал себя на полуслове, не зная, не ранят ли ее мои слова. В понимающем взгляде Зои я читал согласие и успокаивался.

В разговорах о живописи тоже выяснилось полное совпадение взглядов и вкусов. Беседовать о живописи было, с одной стороны, трудно, поскольку искусство это универсальное и шедевры бесчисленны, а с другой стороны, легко было подробно говорить об импрессионистах, ведь в Эрмитаже находились сокровища, вывезенные главным образом из Франции. Были ли они тогда выставлены? Или их укрыли в безопасном месте, как это сделали во Франции? Мне казалось, что Зоя испытывала влечение к скульптуре.

Так проходили дни... То при резком холодном свете зимнего солнца, то при тусклом электрическом освещении, но неизменно наполненные, обогащающие обоих.

Нам приходилось бороться со взаимным влечением. Слишком много опасностей подстерегало нас.

Случалось, мы восставали против неумолимого рока, против невозможности что-либо изменить. В этом безвестном бараке, в забытой Богом дыре, без малейшего проблеска надежды, мы были окружены пленными, которые уже почти перестали быть людьми, потеряли человеческий облик. Они представляли разительный контраст с веселыми беспечными студентами, сохранявшими свою жизнерадостность даже среди окружающей их беды.

Мы старались забыться в разговорах, искали повода для надежды. Отбрасывали мрачные мысли, наше воодушевление побеждало, юность брала верх, мы опять улыбались. Говорили о мире, который наступит же когда-нибудь, о предстоящей мне учебе в университете, о моих туманных планах, о том, что ждет Зою, мечтали об общем будущем, которое создадим, когда кончится война.

Иногда мне разрешалось провожать Зою по лагерю. Студенты возвращались к себе. Всякий раз мы будто пробуждались ото сна.

Счастье длилось один месяц. И вот настал последний вечер. Мы сидели в клубном бараке, чуть поодаль от остальных, укрывшись в тени столба. Мы прощались. Политрука в клубе не было. Зоя решилась и быстро поцеловала меня в щеку. На мгновение двое молодых людей позволили себе отдаться взаимному увлечению.

Это был поцелуй чистый, прощальный.

Студенты уехали в Москву. «Маленький французский оазис» прекратил свое существование.

Я переслал Зое сборник самых ранних стихов, записанных по памяти, с нарисованным мною видом Меца. Это была последняя весточка от пленного, погрузившегося в свое одиночество.

Жизнь в лагере

Время шло, и пленные слабели. Они больше не сопротивлялись болезням и инфекциям. Их постоянно мучил голод, да еще и жажда, калорий, содержавшихся в четырехстах граммах хлеба и жидком супе, явно не хватало.

Если прививки, которые нам сделали в армии, защитили нас от эпидемии тифа, то одна за другой распространялись другие болезни, вызванные недоеданием и авитаминозом: дистрофия с общим отеком, глубокие нарывы, насквозь продырявливавшие руки и ноги, кровавая дизентерия, пневмония из-за переохлаждения. Наконец, в этих антисанитарных условиях распространилась чесотка в тяжелой форме. Бараки кишели вшами и клопами, которые способствовали распространению болезней, возникавших вследствие скученности.

Пока пленный сопротивлялся, он прозябал в бараке. Стоило ему не выйти на поверку, его отправляли в лазарет, где санитарные условия были едва ли лучше, а ухода практически не существовало никакого. Мало кто оттуда возвращался живым. Сколько их было? Две тысячи? Три тысячи?

У каждого из нас имелся друг, знакомый, земляк, канувший в Лету...

Я сам за несколько недель до репатриации заболел тяжелейшей дизентерией. Слизистая оболочка моего кишечника постепенно отторгалась, выходя вместе с кровавыми, гнойными испражнениями... и никаких лекарств!

Один мой друг, начальник больничного барака, дал мне огурцов и незрелых помидоров и тем спас мне жизнь. Репатриацию я ожидал уже в сносном состоянии.

У моей должности ответственного за культурную работу в лагере было по крайней мере одно преимущество: она освобождала от трудовой повинности. Что такое трудовая повинность, я знал по Уралу. Распорядок дня был суровым: подъем, проглоченный суп, переброска грузовиками в направлениях, известных только вооруженному конвою, изнурительная работа дотемна с коротким обеденным перерывом в полдень, возвращение поздно вечером.

После ужина — если можно назвать ужином манерку горячей воды с кусочком хлеба — у пленного было одно желание: добраться до нар, где не было ни одеяла, ни подушки, и заснуть мертвым сном.

У трудовой повинности имелись и некоторые преимущества: в полдень давали кашу и была возможность поесть тайком, разумеется, ворованных огурцов, сырой картошки, зеленых помидоров, выпросить у тех крестьян, что нам сочувствовали, чуточку хлеба. Тогда наше физическое состояние было еще сносным. Но продолжалось это недолго.

В Тамбове, после объявленного карантина и зачисления в клуб, я мало-помалу стал узнавать о тех «легких работах», которые требовались от пленных и неизбежно должны были подорвать их здоровье, и так ухудшавшееся с каждым днем. Даже действительно нетрудные работы, вроде поддержания порядка, уборки столовой, территории, помещений комендатуры, из-за мелочных придирок охраны, приказывавшей переделывать всё заново, требовали от ослабленных, истощенных, больных людей непосильного напряжения. Хотя тамбовский лагерь и не был, собственно говоря, трудовым, рабочие отряды создавались с вполне конкретными целями. Для лагеря, для города Тамбова и других мест они

заготавливали дрова, в колхозе вели сельскохозяйственные работы. В зависимости от времени года это мог быть сев или жатва, посадка картофеля и капусты или уборка осеннего урожая. Пленных посылали на торфоразработки, на ремонт железнодорожных путей и т.д. В зависимости от нужд населения они работали близко или далеко от лагеря. Люди возвращались после трудового дня, становившегося всё короче и короче, измученные, обессиленные, истощенные, некоторые — один скелет... Недостаточное питание, изнурительная работа, недосыпание — в конце концов делали свое дело. Многие пленные, трудившиеся в рабочих отрядах, пополняли собой барак № 22.

Возвращение

Кончилась война. Те, кто выжил в этих ужасных условиях, ждали репатриацию. Время шло и шло. Наступила осень. С деревьев уже опадали листья. Нас охватило отчаянье. Мы знали, что не переживем еще одну зиму. Наконец настал ноябрь. Мы двинулись в Тамбов, ни разу не оглянувшись на лагерь, но скорбя о товарищах, навеки оставшихся в чужой земле.

Перед отъездом я написал письмо Зое. Она его так и не получила. Она ничего не знала обо мне.

В наспех сформированный состав погрузили армию призраков. Лица исхудали, щеки ввалились, головы были обриты, лопатки торчали из-под ветхих мундиров, которые мы не снимали с острых плеч два долгих года. Но глубоко запавшие глаза светились счастьем. Сразу прошла усталость. Последняя перекличка, и вот локомотив дал гудок, колеса застучали по рельсам, заскрипели рассохшиеся доски вагона... Звуки эти казались неправдоподобными.

Куда шел поезд?

Мы не знали.

Безбрежные, нескончаемые степи исчезали ночью и снова появлялись на рассвете. Состав часто останавливался, случалось, в чистом поле. Больные спешили снять штаны... эта вечная дезинтерия... Иногда поезд трогался, оставляя тех, кто был слишком слаб, чтобы успеть влезть в вагон.

Состав наш сопровождали несколько солдат и докторша. Она давно уже потеряла надежду быть полезной, у нее не было самых необходимых медикаментов.

Наш путь пролегал по территориям, обезображенным войной. Тамбов находился далеко от фронта, там не было разрушений, причиненных боевыми действиями. Но, приближаясь к Германии, поезд шел уже по местности, сплошь изрытой снарядами и бомбами. земля была разворочена, ее раны едва прикрывала скудная трава.

Состав ненадолго останавливался на сортировочных станциях. Нас удивляло, как быстро русские отремонтировали разгромленные железнодорожные пути.

Мы прибыли во Франкфурт-на-Одере. Зрелище было ужасное. Насколько хватало взгляда, одни развалины, рухнувшие стены, остовы домов без крыш, без окон и дверей. На улицах население, состоявшее из женщин и стариков, пыталось выискать в грудах мусора какую-нибудь жалкую поживу. Где могли они найти приют в этом лунном пейзаже?

Перед морем человеческого горя мы не решались говорить о заслуженном воздаянии, о справедливом возмездии.

Путь, пролегавший через Германию, казался каким-то немыслимым кошмаром.

Союзники, англичане и американцы, брали на себя в своих зонах заботу о нашем пропитании.

Мы прибыли в Париж. Пятилетняя одиссея закончилась. Предстояла борьба за налаживание нормальной жизни.

Пятьдесят лет спустя

Вокруг отца Александра Меня, знаменательной фигуры русского православия, собралась община верующих, многие из них принадлежали к русской интеллигенции. Здесь было немало литераторов, художников, музыкантов, преподавателей, ученых. Бывший атташе по культуре при французском посольстве в Москве Ив Аман, ныне заведующий кафедрой славистики Парижского университета X, познакомился со многими из них, в том числе с писательницей Зоей Масленниковой...

Казалось, пришло время пересмотреть кое-какие события советского прошлого, в том числе историю известного тамбовского лагеря № 188, где было заключено немало эльзасцев-лотарингцев, многие из которых там погибли.

Нашлись люди, пожелавшие разобраться в этой трагической истории, но не было свидетелей. Тогда Масленникова рассказала, как побывала в лагере № 188 в качестве студентки Военного института иностранных языков. Она приезжала туда с группой молодых военных совершенствоваться во французском языке.

Ее попросили написать воспоминания. Она так и поступила. Особенно вспоминался ей молодой военнопленный из Лотарингии, который стал с ней заниматься и с которым ее соединили узы глубокой дружбы.

Она передала текст Иву Аману. Заинтересовавшись этой повестью и романтической историей времен войны, он решил произвести розыски во Франции. Благодаря системе «Минитель»* сделать это было нетрудно.

Он разыскал Эжена Сент-Эва. Однажды вечером у меня зазвонил телефон. Незнакомый голос спрашивал меня, не был ли я в тамбовском лагере, не помню ли некую Зою...

Я потерял дар речи.

---

* Электронный справочник телефонов во Франции. — *Прим. перев.*

Внезапно нахлынули воспоминания о всех тех военных годах, о моем долгом плену в СССР, об ужасных днях, пережитых в Тамбове, но также и о том драгоценном периоде, который мы окрестили «Маленьким французским оазисом» и который озарил ярким светом один-единственный месяц того времени, канувшего постепенно в забвение.

Ив Аман приехал ко мне в Мец. Мы долго говорили о воспоминаниях Масленниковой. Мы позвонили Зое. Впервые за пятьдесят лет я услышал ее голос... Я узнал ее интонации. Заметил, что она нисколько не потеряла навыков во французском языке...

Начался частый обмен письмами. Нам столько надо было рассказать друг другу, о стольком вспомнить!

После нашей разлуки жизнь у нас шла разными путями. Проработав несколько лет в министерствах, Зоя вернулась к языкам, литературе, искусству. А я пошел по стопам Гиппократа, посвятил себя зубной медицине и занял в этой области самый высокий пост во Франции. Но ни с поэзией, ни с музыкой не расставался.

Поначалу нам хотелось вернуться в юность, совершить прыжок в прошлое. Одно время это нас увлекало. Но то была иллюзия. Как будто можно одним движением руки вычеркнуть пятьдесят лет!

Зоя первой спустилась с облаков на землю. Нам пришлось считаться с действительностью. Мы постарели, волосы поседели. Но оставались воспоминания. День ото дня они становились всё ярче, всё живее.

Я решил поехать в Москву, увидеться с Зоей. Меня сопровождали сын, невестка и моя подруга.

Остановились в гостинице Интурист, известили Зою о нашем приезде. Встречу назначили на следующий день.

С раннего утра я ждал, сидя в холле и следя за входом. В мыслях проносились бесконечные образы: какое лицо я увижу, побелели ли русые волосы? Какая у нее теперь походка? Какая осанка? Узнаю ли я ее?

Я узнал ее сразу. Мы бросились в объятия друг другу. Сели в кресло и никак не могли наглядеться.

Черты лица обострились, но облик сохранился тот же, какой был в молодости, глаза за стеклами очков не изменились, были такими же живыми. От пленного и девушки пятьдесят лет спустя осталось всё самое главное. Мы не разнимали рук долго-долго...

К нам подошли мои дети, и мы отправились на православное богослужение.

Там, в большой общине, мы встретили друзей: кроме Зои — Дашу, Людмилу, Елену, Николая, парижанина Ива Амана, ненадолго приехавшего в Москву, нового отца Александра.

Нас сразу приняла большая семья.

Русские стали нашими близкими друзьями.

Прошлое перешло в волшебную сказку.

Мец, декабрь 1997 года

Ольга СЕДАКОВА

«Я И СТАРАЛСЯ ОТКРЫТЬ ЭТОТ «ДРУГОЙ СВЕТ»

Русская православная традиция на Западе: отец Фома Шпидлик

В одной из наших газет — в качестве заведомого абсурда и небылицы, за подписью Ш. Утка — было опубликовано сообщение о том, что на радио Ватикана открылся православный канал, по которому систематически пропагандируется православное учение. Подробности «сообщения из Ватикана» не оставляли сомнений, в чей адрес направлена эта незамысловатая сатира: естественно, это московский канал «София».

Эта в общем-то безобидная — в сравнении с другими нападками на «Софию» и ее участников — шутка заставила меня вспомнить еще недавние времена, когда здешний человек не мог поверить, что в Париже люди живут без прописки. Печальное следствие глубокой изоляции, не позволяющей сообразить, что за рубежами нашей страны иные вещи происходят по-другому. В частности, что отношение к православию со стороны западных христиан не имеет в себе ничего от «священной войны», что православная традиция там не замалчивается, не опровергается, не представляется объектом каких-то коварных стратегических планов. Что невероятное для автора предположение об изучении, издании и, можно сказать, своего рода пропаганде православных духовных сокровищ, уже много лет представляет собой простую реальность. Не кто иной, как Папа Римский Иоанн Павел II в своем апостольском послании Orientale Lumen, обращенном к католической пастве,

Ольга СЕДАКОВА — родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой культуры при МГУ. Автор поэтических сборников «Ворота, окна, арки» (Париж, 1986), «Китайское путешествие» (Москва, 1990), «Шелк времени» (Лондон, 1994, на рус. и англ.), «Стихи» (Москва, 1994), «Дикий шиповник» (Лондон, 1997, на рус. и англ.), «Старые песни» (Иерусалим, 1997, на рус. и иврите). Лауреат «Премии Андрея Белого» (Ленинград, 1980), «Парижской премии русскому поэту» (Париж, 1994), «Европейской премии по поэзии» (Рим, 1996). Живет в Москве.

призывает «познать и вкусить во всей полноте это наследие, божественно открытое и неделимое достояние вселенской Церкви, которое сохраняется и возрастает в жизни Церквей Востока так же, как Церквей Запада»[1].

Мне довелось встречаться с людьми, которые практически осуществляют этот замысел, изучая, переводя, комментируя, исследуя и преподавая православную традицию в Европе. Их труды по большей части не переведены на русский и неизвестны у нас. Это огромное богатство, плод труда и любви к православному миру — а также учености, которой можно изумляться.

Один из них — отец Фома Шпидлик.

Отец Томаш (Фома) Шпидлик родился в Босковице в Моравии в 1919 году; получил философское и богословское образование в различных университетах Европы. С 1954-го преподает патристику и восточное богословие в Папском Восточном Институте, в Папском Григорианском Университете и в других университетах. Более тридцати лет он духовный отец Панской Коллегии Непомука в Риме. «Если о. Ириней Хаусхерр был тем, кто заложил научное основание изучению духовной традиции христианского Востока, то без сомнения, о. Шпидлик воплотил и развил его в жизненном направлении, так что в наши дни труды Шпидлика — не просто история духовной традиции; они представляют собой органическое богословское видение», как пишут о нем его ученики (Tomas Spidlik. Lezioni sulla Divinoumanita. Lipa, 1995).

Библиография трудов о. Шпидлика на 13 языках занимает более 30 страниц.

Среди них фундаментальные тома:

«Иосиф Волоколамский. Глава из истории русской духовности». 1956;

«Софиология св. Василия». 1961;

«Духовное учение Феофана Затворника. Сердце и дух». 1965;

«Григорий Назианзин. Введение и изучение духовного учения». 1971;

«Духовная традиция христианского Востока. Систематический курс». 1978;

«Великие русские мистики». 1979;

«Духовная традиция христианского Востока. II. Молитва». 1988;

«Русская идея. Другое видение человека». 1994;

«Святоотеческий бревиарий. Возвращение к истокам. Знание вчерашнего для сегодняшнего мира». 1992;

«Игнатий Лойола и восточная духовность. Введение к чтению «Духовных упражнений». 1994.

Взяв на себя незнакомую мне роль интервьюера, я обратилась с несколькими вопросами к отцу Фоме.

---

[1] Orientale Lumen, 1.

Дорогой отец Фома,

я обращаюсь к Вам и как читатель Ваших трудов, и как человек, которому выпало счастье личного общения с Вами. Многие годы христианский Восток — во всем его географическом, этническом, лингвистическом размахе, в его огромной истории, от отцов пустынников до православных мыслителей нашего века — предмет Вашего внимания, Вашего труда, Вашей любви.

Вероятно, — согласитесь ли Вы? — России, русскому православию принадлежит центральное, сердцевинное место в Ваших занятиях, как можно заключить по Вашей последней книге «Русская идея».

Если Вы позволите, мне хотелось бы задать Вам несколько вопросов: я надеюсь, что Ваши ответы помогут рассеять некоторые устойчивые недоразумения относительно католического отношения к православию, бытующие сейчас в России. Страх и недоверие к Риму, мне кажется, скорее всего вызваны простой неосведомленностью о положении дел. У нас слишком мало известно о таких трудах, как Ваши, о Ваших учениках, об исследовательских центрах, посвященных православию, об изданиях святоотеческих трудов на Западе... Еще меньше известно о той сердечной любви и почтении к нашей традиции, с которыми мне приходилось встречаться не только среди таких высокоученых людей, как Ваши сподвижники, но среди обычных прихожан, в церковном народе. О триумфе православных икон, которые можно теперь встретить на самых почетных местах в римских базиликах (например, прекрасные образы Спаса и Божией Матери русского письма перед алтарем Санта Мария в Трастевере) и в домах верующих (чаще всего, кажется, образ Владимирской Божией Матери). О восхищенном отношении к нашему богослужению, о том, что некоторые византийские литургические гимны включаются в католические богослужения. Об огромном внимании к молитвенной практике Востока, к православной школе молитвы... Конечно, я не могу назвать всех примет православного присутствия в христианской Европе. Вы легко дополните мой список.Мы знаем, что такому отношению к православию в самом деле не так много лет. В прошлом веке достаточно типичным было мнение о православии, которое я встречала в записках европейских путешественников в Россию (цитирую по памяти): «Православие не имеет отношения к христианству, это что-то вроде смеси ислама и буддизма». Конечно, существовали не только такие анекдотические представления о «русской вере», но, тем не менее, вряд ли мы найдем там что-то похожее на то глубокое — и восхищенное — понимание христианского Востока, которое выражено в апостольских посланиях и энцикликах папы Иоанна Павла II (Slavorum apostoli, Orientale lumen, Ut unum sint).

И вот первый вопрос Вам: как и когда и в связи с какими обстоятельствами христианский Запад начал открывать для себя Восток? Ведь,

насколько я представляю, Вам в этом открытии принадлежит особая роль[2].

2. Вы — автор основного курса по восточной духовной традиции, по Вашей книге ее изучают в Восточном Папском Институте. Огромный систематический очерк, созданный на необозримом материале — и крайне сложном для любой систематизации! Ведь это часто не какие-то трактаты, а отрывочные слова на случай, поучения по конкретным поводам. Увидеть все это как целое, как своего рода духовное мироздание, образ мира, человека, истории — великий труд, и, вероятно, не просто исследовательский, но духовный. Эта книга выходила на многих языках; в настоящее время готовится ее русский перевод, в котором и я принимала участие. О том, как нужна такая книга в нынешней России, излишне говорить.

И мой второй вопрос Вам: что, собственно, больше всего привлекает Вас в восточной христианской традиции? Что она открывает человеку, прошедшему другую духовную школу? Вы много писали о представлении *«сердца»* в православной аскетике. Что бы Вы назвали сердцем своей книги — и вообще своего труда в общении с православием?

3. Вы живете среди своих учеников и единомышленников в молодом исследовательском «Центре Алетти», основанном как место встречи Востока и Запада. С террассы этого римского особняка, на которой проходили наши чудесные общие трапезы, открывается вид на древнюю базилику Санта Мария Маджоре, совсем рядом летают ласточки, за столами слышатся разные языки, и апостольская слава Рима ощутима непосредственно, как солнце над городом (а красивее римского неба я не видела) или колокольный звон. Постоянные жители Алетти — сестры и священники иезуиты — преподают в Григорианском Папском Университете и работают над многими темами православной традиции. Их исследования публикуются в издательстве «Липа», расположенном здесь же, в нижнем этаже особняка.

---

[2] Об этом свидетельствует биограф о. Шпидлика: «Если сегодня мы видим огромную надежду, которую внушает Восток, и очарование его духовной традицией, распространившееся в широких кругах Запада, мы не можем забывать о тех унижениях, которые пришлось перенести ей, переходя запечатанные идеологические границы. Теперь экуменический пафос представляется вещью достойной уважения, но не всегда было так. Было время, когда православные могли называться так (т.е. православными) только в кавычках. Шпидлик развернул свою деятельность именно в эти трудные годы. Ему пришлось начинать ab ovo, защищая не только допустимость понимания православия «без кавычек», но больше того — реальность автономной духовной традиции славянства». *Edward G. Farrugia.* Un cuore per lo spirito. Tomas Spidlik compie 75 anni (17.12.1919 — 17.12.1994). — Tomas Spidlik. Lezioni sulla Divinoumanita. Lipa, 1995. P. 20.

Третий мой вопрос Вам: как Вы представляете продолжение начатых Вами работ? Какие темы и какие области православной традиции кажутся Вам самыми актуальными в нынешней европейской ситуации? Саму новизну этой ситуации, в которой Церковь оказывается островом в океане секулярного и секуляристского общества, в России, мне кажется, еще мало представляют. Из Ваших бесед я знаю, что Вы в этих огромных эпохальных сдвигах видите вовсе не конец христианской цивилизации, а поворотный момент. В чем, Вы думаете, актуальность восточной традиции для так называемого «современного человека», для постиндустриального, либерального общества?

4. И последний вопрос. Десятилетиями изучая православие в его глубине, в его молитвенном и аскетическом опыте, Вы, быть может, можете поглядеть на христианский Запад уже «с той стороны». Как Вы знаете, православные мыслители редко говорили о католической традиции иначе чем в критических тонах. Так вот: какие богатства западного христианства, на Ваш взгляд, могут привлечь православного человека? В чем он узнает то другое, новое для себя, над чем хочется размышлять, чему учиться?

Вскоре пришел ответ; отец Фома отвечал по-русски. Привожу его письмо целиком.

Рим, Воскресение Пасхи,
30.3.97

Дорогая Ольга,

большое спасибо за Ваше письмо, что Вы еще помните старого Фому! Вы мне предложили также несколько вопросов. Само собой разумеется, что о таких вещах лучше говорить, чем писать. Все-таки попробую что-нибудь сказать.

1. Когда Вы открыли Восток? Трудно сказать! Быть может, это Восток открыл меня. Еще мальчиком я читал Толстого, Достоевского; молодым монахом-послушником я был в Велеграде, городе Свв. Кирилла и Мефодия Апостолов Славянских...

2. Восточный Институт в Риме был основан уже восемьдесят лет назад, чтобы мы знали целую традицию целой Церкви. Но первые Отцы там занимались прежде всего греческими, сирийскими авторами. О славянской духовности тогда не имели высокого мнения. Говорили, что славяне пришли поздно, что там уже ничего оригинального нет.

Ну, я начал протестовать. Оригинальность есть, но не такая, как ее понимает западный человек, не формальная. Иконы русские имеют те же «формы», что греческие, но есть другой «свет» на них.

Ну, я и старался открыть этот «другой свет» — и я думаю, что уже много тех, которые мне поверили!

3. Почему надо знать восточную и западную традицию Церкви теперь? Мир очень меняется. Европа должна передать новым народам свое сокровище, свое христианское предание. Но если она сама его не знает? Это грех против нашего призвания нести свидетельство о целом Христе.

В ад идет каждый один, в небо только со всеми другими.

4. Что получит Запад от Востока и Восток от Запада? Это может понять каждый по-своему. Но остается истинным то, что сказал Вячеслав Иванов: «Я есмь, потому что Ты еси». Человек узнаёт себя лучше в других.

Индивидуальность есть самость, но лицо, персональность рождается из отношения любви.

Нынешний мир объединяется экономически, политически и т.д. Мы, христиане, не имеем что к этому прибавить? Это было бы несчастье!

Так видите, дорогая Ольга, я что-то высыпал на бумагу, более из сердца, чем из головы. Читайте, если хотите!

Но все-таки поверьте, что я Вам желаю много благодати Божией и надеюсь на встречу.

Христос Воскресе!

О. Фома Шпидлик

Яков КРОТОВ

ИСТОРИЯ О ЦЕРКВИ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Публикуя в предыдущем номере «Континента» «Записки прихожанки» Р.А. Гальцевой, редакция имела в виду непременно продолжить на страницах журнала обсуждение тех острых проблем современной жизни Русской Православной Церкви, которых касается в своих «Записках» Р.А. Гальцева и к которым «Континент» не раз обращался и раньше. Мы приглашаем к участию в таком обсуждении всех, кто ценит споры и дискуссии не за возможность лишний раз досадить оппоненту, если уж не просто обругать его, но за возможность в диалоге с ним пусть на шаг, пусть на полшага, но попытаться-таки продвинуться и к самой Истине. При соблюдении этих условий редакция готова предоставить слово авторам любых убеждений — в том числе как тем, кого Р.А. Гальцева называет «реформаторами», так и тем, кого она именует «ревнителями» и «обличителями».

В рамках такого рода дискуссии мы печатаем в этом номере «Континента» статью Якова Кротова, в последней части которой автор полемизирует, в частности, и с Р.А. Гальцевой.

Интеллигенция — орден гуманистов

Существование интеллигенции — не особенность России. Особенность России — внимание к интеллигенции. Интеллигентам помогают, как убогим, и гоняют, как голубей. Понятие «интеллигент» вновь и вновь пытаются уничтожить, положив часть в понятие «вежливый человек», а часть в слово «интеллектуал». Тем самым интеллигенция оказалась в отличном обществе — как бы рядом с Богом, существование Которого «секуляризованные» даже не отвергают, заявляя, что нелепо отвергать абсурд, белиберду, бред.

Впрочем, невозможно отрицать существование веры в интеллигенцию и ее миссию (как и яростное неверие в них). Но не только вера в существование интеллигенции является историческим фактом. Споры о том, что такое интеллигенция, могут создать впечатление, что интеллигенция есть публицистическая фантазия. Однако они могут указывать и на то, что интеллигенция есть постоянно меняющееся явление, в этом

Яков КРОТОВ — родился в 1957 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Автор статей по истории Церкви и актуальным проблемам религиозной жизни, публиковавшихся в журналах «Новый мир», «Новая Европа», «Истина и жизнь», «Континент» и в зарубежных изданиях. Живет в Москве.

смысле более историчное, динамичное, чем большинство известных истории социальных групп.

Интеллигенция отличается от «образованного сословия», «интеллектуала», «книжника» — обычных социальных слоев, существующих спокон веку наряду с крестьянами и жрецами. Интеллигенция обнаруживается в обществе, как обнаруживается гвоздь в ботинке. Интеллигент не желает, подобно интеллектуалу, просто обслуживать умственные запросы общества. Он обличает и призывает, стараясь при этом вести жизнь бессребреническую. Он вроде бы и похож на интеллектуала, но все же отличается от него совершенно так же, как монахи — первые христианские монахи III века — отличались от священников. Интеллектуал и священник — внутри общества, рядом с властью, интеллигент и монах — на расстоянии.

Интеллигенция, как и монашество, не просто несет какой-то идеал. Монашество не случайно оформилось как особая группа только после принятия христианства императором Константином. Христиане, избравшие монашеский образ жизни, существеннейшей чертой которого является физический уход от общества, существовали уже в III веке. Но монашества не было, потому что еще одной существенной чертой монашества, о которой оно само не подозревало и о которой историки Церкви начали писать лишь в нашем столетии (когда монашество исчезло и остались лишь монахи), является его парность христианскому государству. Монахи несут идеал, который является идеалом государства, но который не может быть показан государством и в государстве, который может сколько-нибудь реализовываться лишь в отдалении от него.

Интеллигенция выросла из сословия интеллектуалов. Но интеллектуалы лишь обслуживают государственную и социальную идеологию, интеллигенция начинается тогда, когда интеллектуал начинает идеологию создавать и предлагать. Гуманисты — вот первые интеллигенты, явственно и качество отличающиеся (и сознающие свое отличие, подчеркивающие его) от интеллектуалов предыдущей эпохи. «Интеллигент» лишь кажется уникальным российским явлением. Уникально же только запоздание, с которым в России гуманисты оформились в социальную группу и получили свое наименование. «Интеллигент» есть гуманист в России. Знаменитая проблема различия интеллигента от интеллектуала есть и проблема отличия гуманиста от интеллектуала.

Интеллигенция есть явление вторичное по отношению к вере в утопию, в прогресс, которая формировалась одновременно с Возрождением. Идеология прогресса формировалась постепенно, и постепенно формировалась и группа, считавшая своим долгом защищать идею прогресса. Разумеется, все гуманисты (и интеллигенты) генетически были интеллектуалами, больше им не от кого было происходить. Они и оставались в социальном отношении интеллектуалами (чиновниками, как Томас Мор, богословами, как Кампанелла, артистической богемой). Но в духовном отношении очень четко различались интеллектуалы, пусть самые гениальные, но идущие вслед за обществом и не напрягающиеся

при слове «Прогресс», и интеллектуалы-гуманисты-интеллигенты, забегающие вперед общества, чувствующие себя не подмастерьями, а пастырями. Талантливость профессиональная при этом оказывается не так важна (да бездарей хватало в обоих категориях), как талант призывать вперед, «пасти народы». Разумеется, интеллектуалы презирали этот талант (хотя кормились от общества, которое как раз хотело, чтобы его пасли к заветной цели), но так или иначе все были причастны к Прогрессу.

Средневековое общество часто ворчало на монашество, как современное — на интеллигенцию. Цари преследовали монахов, как Советы — интеллигентов. Монашество и интеллигенция, впрочем, не исчезают, значит, давят их не всей мощью, да и не только их давят. Они выражают какие-то идеалы, к которым общество стремится, только не так стремительно и последовательно, как хотелось бы монахам и интеллигентам (священники же или интеллектуалы символизируют идеалы, из которых общество *исходит*).

Вера в Прогресс, как она реально сложилась в XVI веке и какой она дожила до своей фактической кончины в середине XX века, внутренне противоречива. Это вера в злое добро, в Царство Божие, которое строится в царстве Кесаря и под руководством какого-то кесаря, будь то король, ученый, национальный вождь или даже целый класс (пролетариат). И это почти всегда была вера в то, что людей можно и нужно загонять в счастье железной рукой, даже если понадобится для процветания миллиардов воображаемых жителей будущего истребить миллионы реальных людей. Ведь каждому хочется быть пастырем, а у каждого свое представление и о светлом будущем, и о путях его достижения — и вот начинается борьба идей, нередко более жестокая, чем любые схоластические споры. Тем более, что вера в Прогресс в Новое время часто разделяется и обычной властью — той властью, в чьих руках оружие. В основном эта власть кровь-то и проливает, а не гуманисты (хотя задним числом власть любит списывать все на тех, кто ее якобы «вдохновил»).

На протяжении по крайней мере первых пяти веков — с раннего Возрождения считая, когда вера в Прогресс зарождалась, формировала свой язык (сам термин возник лишь через два века после возникновения веры в Прогресс), — этот парадокс совершенно не сознавался. Сожжение Сервета побудило гуманистов задуматься над тем, можно ли жечь коллег. Но понадобилось до конца — до Освенцима и Гулага — пройти путь борьбы за Прогресс, чтобы гуманисты ужаснулись цене, которую следует платить за светлое будущее. Более того, гуманисты ужаснулись не столько цене, сколько тому, что даже такой ценой светлое будущее все равно не построить. Стоит заметить, что гуманисты кажутся жестокими тугодумами, но ведь большинство населения и Освенциму с Гулагом, не говоря уже о сожжении Сервета, не слишком-то ужаснулось. Гуманисты (и интеллигенты) в этом отношении, увы, — лучшие, а не худшие.

В момент ужаса гуманист несколько меняется. Парадокс цели и средств (рабского пути в царство свободы) постепенно — очень постепен-

но! — заменяется парадоксом терпимой веры. Этот парадокс тоже мучителен, но это мучение одного человека, а не многих, и это все-таки мучение послабее, чем в Освенциме или на Колыме. Если для светлого будущего надо терпеть терпимость — гуманист (интеллигент) становится терпимым человеком. Приходит осознание того, что светлое будущее и не может быть иным, как сосуществованием людей с разными идеями, а не господством одной идеи над всеми. Всякий другой вариант есть тьма и смерть. И если парадокс цели и средств искупался (психологически, не реально) готовностью к самоограничению и самопожертвованию, то теперь от интеллигента требуется не столько самопожертвование и бессребреничество, сколько отказ жертвовать другим и бездиктаторность.

Гуманист и интеллигент меняется тем легче, что и общество меняется. Вера в Прогресс постепенно уходит из сознания общества, и ныне кончился спрос на услуги идеологов, которые предлагают глобальные проекты. Однако сохраняется возможность хранить идею Прогресса — в любых ее разновидностях, религиозных и секулярных, — на личном уровне. Гуманист (и интеллигент) принимает эти условия жизни. Сохраняются, конечно, и интеллектуалы — люди вообще без идеи, «обслуживающий персонал». Эти люди могут быть и терпимы, но у них терпимость не сочетается с верностью идее или вере, это один полюс без второго — феномен прискорбный и даже не совсем заслуживающий названия «феномен». Число таких интеллектуалов даже растет, потому что информация становится одним из главнейших и прибыльнейших промышленных продуктов, основой постиндустриального общества. Но сохраняются, конечно, и гуманисты старого типа, фанатики насильственного и коллективного движения вперед. Их можно было бы считать единственными продолжателями гуманистической и интеллигентной традиции, но ведь та традиция все-таки содержала в себе и зародыши терпимости, а у многих новых гуманистов она отсутствует начисто и считается пороком (у *религиозных* «гуманистов-интеллигентов» — в буквальном смысле).

Интеллигенция в обществе апофатического язычества

Сегодня большинство интеллигенции воплощает идеал общества, сменившего идеал Прогресса. Этот идеал принципиально и последовательно апофатичен — можно сказать «нигилистичен», но тогда упускается из виду религиозное или, по крайней мере, положительное содержание этого идеала. Ведь «апофатика» противопоставляется «катафатике» как два различных способа *богословствования*: «апофатик» определяет Бога через отрицание (Бог — не солнце, не абстракция, не зверь), катафатическое же богословие — через положительное утверждение (Бог — Отец). Современный мир (та часть мира, которая живет в культуре, сформированной любовью к Евангелию) есть именно *мир апофатического язычест-*

ва. Этот термин точнее отражает современность, чем термин, рожденный в XVIII столетии — «секулярное общество», потому что современное общество не исчерпывается «секулярностью», противостоянием Церкви, не является оно — к счастью или к сожалению — и обществом беспринципным, безыдейным, каким его слишком любят изображать некоторые ревнители благочестия. Этот мир не есть мир любви и не хочет быть миром любви — в этом его отличие от мира средневекового или от мира Нового времени, из которых первый пытался утвердить любовь символом, а второй – разумом. Этот мир предпочитает как раз быть как бы ничем, а не как бы всем. Он только очень не любит нелюбви. Противостояние нелюбви, может быть, не порождает таких шедевров искусства, как вера в Христа или вера в Прогресс, но она не порождает и таких страданий, жестокости, изуверства. Это не мир серости, как утверждали многие декаденты. Только военные и политики в мире апофатического язычества одеваются в хаки и костюмы стального цвета, а обычный человек одевается — если захочет – куда ярче, свободнее и оригинальнее, чем в любую другую эпоху, не боясь стать изгоем в зависимости от одежды. Этот мир вообще не творит изгоев — в нем изгои лишь фанатики насилия, какому бы Богу и какой бы идее эти фанатики ни служили.

Современный мир может показаться равнодушным к Истине, но он не таков. Мир этот прежде всего неравнодушен к насилию над человеком, против насилия (хотя на практике этот мир часто не исполняет собственных идеалов). Ставя терпимость прежде Истины, этот мир поступает необычно. До XX века такого общества вообще не было, да и в наши дни большинство народов живет по другим законам — терпимость остается отличительной чертой «Первого мира», «Запада».

Это не означает, что терпимость не существовала до XX века. Всякая группа людей, всякое общество, сколь бы людоедским, агрессивным и фанатичным оно ни было, знакомо с терпимостью. Однако в обычном обществе терпимость является не самоценной добродетелью, а инструментом власти. Когда видят инаковерующего или инакомыслящего, призывают не к терпению, а к суду. Но когда пытаются судить судящих, призывают к терпению. Нетерпимость есть свойство иерархического общества, в котором лишь меньшинство определяет, когда, что и кто должен терпеть, а когда терпение неуместно.

Обычно в таких обществах за критерий выдают заботу о благе общества, его сохранении, но на самом деле избирают терпение или нетерпение — в зависимости от животного эгоизма властвующего. Крестьян призывают терпеть крепостное право, но не господство мусульман над Константинополем. Впрочем, и нахождение Святой Софии в руках мусульман призывают то терпеть, то не терпеть, в зависимости от сиюминутного политического расчета. Если хочется избить человека, говорят о том, что нельзя быть равнодушным к Истине. А если избивающего схватят и самого решат побить, он будет проповедовать Истину о необходимости любви к врагу. Защищают от насилия не всех, а только тех, с кем согласны.

Это своеобразная готтентотская мораль, призывающая к терпению во имя своих идеалов и призывающая к мечу во имя истребления чужих идеалов. Призывают к терпению как обязанности человека перед обществом — то есть перед теми, кто распоряжается в обществе. И при этом ругают тех, кто восстает против избирательности терпения, кто проповедует абсолютное терпение — то есть терпимость.

В обществе, где терпимость стала частью «общественного договора», гуманисты (и интеллигенция) *как бы* исчезают. Во всяком случае, громкие разговоры об интеллигенции — черта «Второго» и «Третьего мира», принадлежность обществ «отсталых» — отсталых в совершенно конкретном смысле, не экономическом или культурном, а отставших на пути к терпимости. В этих обществах — в том числе в России — многие образованные люди высмеивают «политическую корректность» Запада, говорят о «бездуховности» Запада, видят в западных образованных людях — знаковой, карикатурной тут стала фигура американца — «образованщину», думающую лишь о карьере, неспособную к настоящему творчеству.

Однако есть великая наивность в том, как на Востоке — а такого Востока достаточно и в России — говорят об интеллигентности и удивляются равнодушию к таким разговорам на Западе. С таким же успехом можно удивляться тому, что в южных странах не обсуждают страстно, пойдет завтра снег или нет, не радуются солнечному деньку. Особенность России (и других нетерпимых в целом стран) не в существовании прослойки терпимых людей, не в существовании интеллигенции, а в том, что этой интеллигенции мало и отношение к ней неровное. В Америке — взятой как самая «западная» из всех стран Запада — нет не интеллигенции, а *разговоров* об интеллигенции — просто потому, что там господствует интеллигентность во всем обществе. Когда в России ругают американцев за узколобость — как раз выдают свою неинтеллигентность.

России не следует оправдывать свою отсталость своей повышенной по сравнению с Западом интеллигентностью. Прямо наоборот: Запад интеллигентнее России, настолько интеллигентен, что уже и не сознает этого. Именно в России интеллигенция составляет меньшинство не только в обществе, но и среди людей с высшим образованием. Большинство же состоит из интеллектуалов (жаждущих служить конкретной идее, политической линии, религии, истребляя ради нее все прочие) либо из «образованщины» — отвратительного порождения коммунистического строя, беспринципных «специалистов», не умеющих даже служить, но лишь прислуживать, подавляя того, на кого укажет начальство. То, что после падения коммунизма тысячи (хотя далеко не все) интеллектуалов и «образованцев» стали беспризорными, сделало их не безобиднее, а еще опаснее, ибо добавило к жестокости — голодную озлобленность.

Интеллигент никогда никого не гонит, но это не означает, что интеллигент — «тряпка», существо без воли и без идеалов. Интеллигент, сохраняя свой личный идеал (это может быть идеал религиозный, идеал политический, любой, не просто идеал личной жизни), стремится, есте-

ственно, к его утверждению в жизни общества — как Истины, в которую он верит и которую считает необходимым сделать общим достоянием. Но при этом из своего (и социального, насколько он может влиять на социум) арсенала он исключает любое насилие и на освободившееся место включает диалог как искусство, не изменяя своим убеждениям, выходить за пределы интеллектуального эгоизма. Именно поэтому интеллигент всегда защищает терпимость от нетерпимости. И именно поэтому интеллигент не может быть антисемитом – а вот антифашистом может, поскольку и антисемитизм, и фашизм есть нетерпимость. Антисемиты, фашисты, гонители иноверия видят в этом лукавство интеллигенции: мол, если уж вы терпимы, то будьте терпимы и к тому, что есть интеллигенты-антисемиты, интеллигенты-коммунисты. Это же всего лишь софизм, апория хуже зеноновой. Интеллигентный человек как раз терпим к антисемитам, фашистам и к коммунистам как к людям, пусть и заблуждающимся, но не может признать их право совершать насилие над обществом, устраивая его жизнь по их усмотрению (вводить черту оседлости или процентную норму, учинять погромы или концлагеря). Нельзя даже признать право антисемита называться интеллигентом, не погрешая против логики, против содержания термина «интеллигент» — содержания почти неуловимого, но именно поэтому очень живого и активного.

Общество, возводящее терпимость в абсолют, кажется отрицающим абсолют. *Апофатический нигилист* кажется человеком, *ничего* («nihil») не признающим. Это было бы справедливо, если бы сам абсолют был агрессивен. Может быть, главным открытием интеллигенции и стало обнаружение отличия нетерпимости от агрессивности. Истина нетерпима, но не агрессивна. Верный Истине стоит, на чем стоит, но не сталкивает другого с его, другого, места. Психологически это чрезвычайно трудно и требует постоянного сдерживания инстинкта добра: ведь другой может стоять на месте опасном, его хочется схватить за руку и спасти. Нет — затаскивание в добро есть зло, по крайней мере, не меньшее, чем пребывание во зле.

Если Истина не терпит существования лжи, то из этого еще не следует, что верующий в Истину должен считать терпимость к заблуждающимся грехом. Каждый прекрасно знает, что реально существует не только Истина, и вообще нет воплощения Абсолютной Истины в пределах нашего мира, кроме как на Кресте. Отчего это так: потому что Истины в принципе нет, потому что Истина терпелива, потому что Истина терпима, — предмет веры, а не знания. Но во всяком случае, нельзя сказать, что Бог — Бог, каким Он открылся во Христе, — нетерпим агрессивно. Будь Он *нетерпим до насилия*, вопрос о том, как относиться к заблуждениям, не стоял бы, ибо таковые полностью бы отсутствовали, как отсутствуют сипульки и глокие куздры, которым, видимо, Господь не благоволит.

Апофатический нигилист так же не проповедует *ничто*, как отрицательное (негативное) богословие не проповедует отрицания Бога, тем более – не исповедует бога-негатива. Общество, в котором господствует апофатическое язычество как система взглядов и поведения, является,

конечно, языческим, поскольку оно не является христианским. Но это не антихристианское общество. Это общество скептически относится не к Христу или Вельзевулу, оно скептически относится к нетерпимости, прикрывающейся Христом или Вельзевулом.

Цивилизация апофатического язычества является не религиозной, но верующей, ибо принципиальная возможность терпимости открывается в конечном счете вере, а не знанию. На первый взгляд, цивилизация терпимости опирается на разум, она предпочитает язык логики языку эмоций, зная по опыту предшествующих миров, что сердечный жар имеет побочные свойства, может быть даже со смертельным исходом (не для говорящего, вот в чем беда, — для слушающего). Цивилизация терпимости ведет свой отсчет с эссе Локка о терпимости, и не случайно она росла одновременно с концепцией *общественного договора*, очень рационалистичной и конвенциональной. Но «контракт сосияль» из предмета изысканий мыслителей Просвещения смог превратиться в предмет почитания лавочников и рабочих только потому, что в нем есть кое-что помимо рационального и глубже рационального. В самой основе терпимости лежит иррационализм. Рациональна нетерпимость, когда она утверждает, что нельзя терпеть заблуждение, ересь, сектантство, ибо они подобны мине, тикающей бомбе. Действительно, для поимки преступника логичнее всего всех арестовать, а затем выпускать тех, кто докажет свою невиновность. Терпимость есть результат — и история складывания понятия о терпимости это хорошо доказывает — постепенного, очень медленного роста доверия (а не чистого разума) к человеческой свободе, очень трудного пути от опеки всех и вся к максимальной свободе, выражающейся прежде всего в диалоге.

Диалог мистичен (мистика, кстати, и есть по сути своей диалог — человека и Бога), и это мистика свободы. Человек, отказывающийся вступать в диалог, мнит себя лучшим и вернейшим рабом Божиим (если это человек верующий), но он есть раб не Бога, а своего собственного «я». Он боится изменить Богу, боится изменить догмат, но вместо этого он изменяет любви и жизни. Он боится диалога, ибо не знает диалога, а знает лишь завоевание (либо капитуляцию) и всю жизнь воспринимает как переплетение побед и поражений. Это означает, что, познав Бога, нетерпимость не познала человека — не поняла, что с человеком можно общаться, не изменяя Богу.

Интеллигенция и интеллигентность

Интеллигенция есть, таким образом, хранительница двух вер: веры в избранную святыню, религиозную или безрелигиозную, и веры в терпимость. Эта последняя есть вера отрицательная, но не отрицающая. Поэтому интеллигенцию трудно выловить для рассмотрения. Интеллигент может быть революционером — но тогда этот революционер терпим к контрреволюции и нетерпим только к насилию (почему рано или поздно и погибнет от насилия). Интеллигенту не заказано быть христианином,

буддистом или атеистом, неинтеллигентно только насиловать чужую совесть, понуждая не верить (или верить) в Христа, Будду или происхождение от обезьяны.

Современная интеллигенция в большинстве своем стремится быть воплощенной терпимостью и поэтому не стремится и к обособлению от других социальных групп. Крестьянин нервничает, когда «городской» пытается быть крестьянином, рабочий ревнует к профсоюзному чиновнику, прикидывающемуся пролетарием, ученый (и интеллектуал) насмешничает над тем, что претендует на ученость, не имея ее, а интеллигент безразличен (или даже рад), когда слово «интеллигентность» превращается в обозначение некоего общедоступного достоинства.

В этом интеллигент схож с джентльменом. Джентльмен довольно четко знает (знал, ибо это всё в прошлом), кто «свой», а кто «чужой», но он спокойно относится к притязаниям окружающих быть джентльменами. Ибо джентльменство в том и заключается, чтобы не цеплять окружающих, — и цеплять окружающих из-за их притязаний на джентльменство было бы не по-джентльменски. Джентльмен — прямой предшественник интеллигента, как и всякий «вежливый человек». Идеал такого «вежливого человека» существует в любой культуре, но в современной он приобрел особое значение. «Вежливый» человек — «вежественный» человек, он «ведает», какое место каждый занимает в обществе, «ведает», что не следует гордиться своим местом, следует просто соблюдать нормы, которые диктует социум. Интеллигент — это джентльмен общества после клерикализма и после прогрессизма, общества, в котором все (теоретически, в идее) уравнены; это «вежливый человек», который ведает, что нет вышестоящих и нижестоящих, что нет такой веры и такой идеи, из-за которой следовало бы бить другому физиономию. Но интеллигент ведает и то, что не возбраняется иметь идею или веру и даже решительно ее отстаивать. Весь вопрос лишь в том — как.

Интеллигент не гордится даже тем, что он интеллигентен — это было бы неинтеллигентно. Терпимый человек терпим даже к нетерпимым (но не к нетерпимости). Интеллигент знает и то, что жестко формулировать критерии интеллигентности — неинтеллигентно, тем более неинтеллигентно кого-то персонально клеймить как «неинтеллигента». Ведь если интеллигентность — добродетель (чем она отличается от «учености», «пролетарийности», «крестьянскости»), то добродетельный человек желает, чтобы эта добродетель была популярна, чтобы к ней стремились.

Пусть неинтеллигентный человек притязает быть интеллигентом. Интеллигент это потерпит, потерпит даже, когда ему самому хамски откажут называться интеллигентом, потерпит, ибо знает: имя способно преобразить человека, и называние себя «интеллигентом» способно смягчить хама, как называние себя (пусть формально) «членом компартии» испортило в оно время довольно многих интеллигентов.

Правда, интеллигентный человек, пожалуй, не станет и отрывать интеллигентность как добродетель от ее сущности — нравственности, скрещенной с образованностью и дающей плод в определенном проекте,

полезном для общества. Твердить, что и рабочий может быть интеллигентен (терпим, внутренне свободен и т.п.) — не слишком интеллигентно, потому что лишает рабочего стимула к настоящей, а не символической интеллигентности.

Впрочем, главная трудность не с рабочими, а все-таки с интеллигентами. На сегодняшний день в России есть две разные интеллигенции, от единого корня произросшие. Это разделение назревало с самого начала возникновения интеллигенции — будем считать, с Боборыкина. Но выпукло проявилось оно лишь в 1909 году, когда интеллигентнейшие авторы сборника «Вехи» позвали интеллигенцию в Церковь и когда от имени интеллигенции же был заявлен массовый протест. Авторов упрекали в том, что они изменили делу революции — которое было отождествлено с делом интеллигенции — и встали на сторону самодержавия, деспотизма как политического, так и идеологического. Вера в Царя Небесного воспринималась тогда исключительно как подстилка веры в царя земного. Никто не усомнился, что интеллигенция именно такова, какой ее рисуют авторы «Вех», и таковой обречена оставаться до скончания века — атеистической и «революционно-демократической». Только после революции, а точнее, только после падения коммунизма, стало ясно: «веховцы» критиковали не *вообще* интеллигенцию, они сами и были интеллигенцией, только интеллигенцией следующего поколения. Авторы «Вех» как раз меняли вехи (в отличие от сменовеховцев, которые были консервативны до возвращения к Карамзину). Они отстаивали свободу совести, боролись с претензией атеизма на исключительность. Специфически интеллигентным было то, что «веховцы» не утверждали Православия (христианства) как единственной альтернативы атеизму. Они утверждали именно принцип свободы и терпимости. Это стало особенно ясно, когда в 1913 году эти неслыханные ранее *православные интеллигенты* выступили с критикой Синода за насилие над русскими православными монахами-«имяславцами». В отличие от Западной Европы, где терпимость проповедовалась именно атеистами и скептиками, причем блистательно, в России лучшие атеисты и блистательнейшие скептики проповедовали коммунизм — и успешно, себе на голову. Терпимость же и свободу защищали православные.

Сегодня проблема двух интеллигенций жива. Но разделение пошло еще глубже: теперь уже терпимость стала предметом борьбы и внутри православной интеллигенции, а неверующая интеллигенция в огромной своей части кажется прямой наследницей веховцев и уж во всяком случае не защищает революционный фанатизм милюковского типа. Одна интеллигенция унаследовала от старой энтузиазм, унаследовала служение Истине, доходящие до фанатизма, исключающие терпимость. Другая интеллигенция унаследовала нечто более существенное — унаследовала ту Истину, что надо служить благу людей. Только это благо эта часть интеллигенции видит прежде всего в сохранении людей как свободных существ, а интеллигенция фанатическая выше всего ставит благо научения и руковождения.

Какая интеллигенция ценнее матери-истории, какая больше имеет права называться интеллигенцией? Интеллигенция учительная кажется более «дореволюционной», более «старой». Но всё же она есть новая интеллигенция, потому что изменился мир, и в этом мире фанатизм не может быть нейтральным, общим для всех сословий — а потому не специфически интеллигентским — свойством (каким он был в мире Чернышевского и Ленина). В этом мире не может нетерпимый человек занимать то спокойное место, которое он занимал в прошлом. Он постоянно вынужден будет большую часть своих сил тратить на противостояние окружающей среде. Так что перед нами *новая старая интеллигенция*, а интеллигенция с идеалами, но без нетерпимости, вполне заслуживает имени просто — ни новой, ни старой — интеллигенции. Такой терминологии мы и будем придерживаться в дальнейшем, терпимо относясь и к тем *новым старым* интеллигентам, которые пожелают именоваться просто интеллигентами. Бог в помощь!

Православие, самодержавие, интеллигентность

После революции всякой интеллигенции в России стало тем сложнее, что деспотизм власти сохранился и обострился. Проект построения социализма означал углубление всяческой нетерпимости. Был сформирован мощный слой интеллектуалов, который обслуживал этот проект. Социализм рухнул исключительно в силу внутренней слабости, в силу невозможности социализма, а не потому, что кто-то ему сознательно и целенаправленно сопротивлялся. Социализм рухнул, потому что Россия оказалась всё же не восточно-азиатской деспотией, а европейской страной, стремящейся к тому же апофатическому язычеству. Молчаливое большинство от революционного энтузиазма стало склоняться к апофатическому язычеству (которому придумали очаровательное русское имя «пофигизма»), в том числе — к интеллигентной терпимости. Уважение к интеллигентности нарастало одновременно с кризисом социализма. Правительственные интеллектуалы стали претендовать быть интеллигенцией — и в этом был ярчайший симптом смерти коммунистической религии. Интеллигенция не просто воскресла — она родилась заново в своем европейском качестве, как хранительница терпимости.

Воскресло и враждебное отношение Церкви к интеллигенции. Сто лет эта вражда была взаимной. Духовенство считало интеллигентов безнравственными нигилистами, безбожниками, революционерами. Интеллигенты считали священников безнравственными и невежественными мракобесами. Сегодня положение резко ухудшилось (с христианской точки зрения), ибо интеллигенция перестала быть антиклерикальной (антиклерикализм — верный признак, отличающий интеллектуала от интеллигента), а вот духовенство не перестало быть антиинтеллигентским.

Продолжающиеся упреки в безнравственности и забавны, и знаменательны. Реально интеллигенция не более и не менее безнравственна, чем

любое другое сословие (включая духовенство). Однако судят об интеллигенции и духовенстве жестче. Ведь обе группы – хранители общественного идеала, только духовенство хранит идеал умершего общества, а интеллигенция — живого.

К хранителю нравственного эталона всегда предъявляются повышенные требования. Это не рационально, но это так: от врача ждут, что он не курит и всегда здоров, хотя это все равно, что ждать золотого сердца у хранителей золотого запаса страны. В реальности, напротив, проповедники нравственности более подвержены гордыне уже в силу того, что им поручено великое дело. А гордыня — источник всякого другого греха, и на протяжении веков монахи и интеллигенты действительно служили символами пьянства и распутства. В монастырях и в артистической богеме постоянно видели рассадник гомосексуализма. На деле среди военных этот порок распространен по крайней мере не меньше, но у военных другая социальная функция, они не учат людей жизни, и поэтому их грязное белье никого не волнует. Грехи же основной социальной массы, среднего класса, не только не осуждаются, но и воспринимаются как «нормальная жизнь», пока не выйдет священник с объяснением того, что это вовсе не «нормальная жизнь», а худший вид греха: пошлость и иллюзорность бытия.

В интеллигенции подозревают склонность к разврату и оправдание разврата, которым якобы современное общество отличается от всех предыдущих. На самом деле современное общество не греховнее викторианского или средневекового, только лицемерия стало чуть меньше. Надо бы радоваться, что люди научились поддерживать определенный этический уровень самостоятельно, без учителей. Навязывать себя обществу в качестве сторожей нравственности так же абсурдно, как уговаривать человека летом купить зимнее пальто, уверяя его, что ему очень холодно.

Победа апофатического язычества не привела к нравственной деградации общества и, вопреки всем разговорам об этой деградации, и не приведет. Сокрушаться не нужно. Без работы духовенство и интеллигенция все равно не останутся, ведь кроме функции хранителей нравственности у них есть еще и другие задачи, более важные. О нравственности могут заботиться и парторги, и языческие жрецы. Церковь уникальна все-таки тем, что ей доверена проповедь Царства Божия, которое неизмеримо выше этики. Интеллигенция уникальна тем, что ей доверено показывать совместимость терпимости и свободы с выбором, с верностью идеалу или Богу, с творчеством. (Терпимость в чистом виде, без творчества, хранит и молчаливое большинство современного западного общества).

Конфликт духовенства и интеллигенции продолжается. Не вся интеллигенция примирилась с Церковью. Но даже к той же интеллигенции, которая в Церкви, духовенство относится подозрительно и враждебно. Речь идет не только о плохих священниках, вообще не понимающих интеллигенции и не сочувствующих ей, срывающих на ней комплекс неполноценности. К интеллигенции нервно относятся и хорошие священ-

ники, часто сами являющиеся интеллигентами (знаменательно, что о них точнее сказать — «вышедшие из интеллигенции»). В последние годы символической стала фраза, сказанная пожилым священником Николаем Голубцовым в 1950-е годы молодому тогда священнику Александру Меню: «С интеллигентами более всех намучаешься».

Приход Меня действительно был приходом интеллигенции. Дело было не в том, что Мень отдавал интеллигенции предпочтение перед «бабками» — не отдавал. Мень не отдавал и «бабкам» предпочтения перед интеллигентами — тогда бы те просто к нему не ездили. Но Мень «пас» интеллигентов не так, как «бабок» или рабочих, относился с уважением и пониманием к специфике интеллигентского труда. В его время, которое целиком пришлось на годы правления коммунистов, интеллигенты были еще и под особым давлением со стороны государства, у них было меньше свободы, чем у других социальных групп. Мень это учитывал, утешая и подбадривая интеллигентов, помогая им оставаться интеллигентами, удерживая их от бегства и маргинализации, будь то эмиграция или погружение в политику, переход на работу дворником или пономарем.

Положение интеллигенции при коммунистической власти было особенно трагичным, потому что интеллигенция была лишена права быть собой. Интеллигент, искренне верящий в идеалы коммунизма, тем не менее не смел проявлять терпимость к «чуждой идеологии», более того, был обязан проявлять нетерпимость, возвращаясь тем самым в чин интеллектуалов, «передовых автоматчиков». Добиться такого от интеллигенции было довольно сложно. Политика кнута – истребления – могла уничтожить интеллигенцию, но не могла вырастить новую интеллигенцию. Поэтому советская власть создала систему (которую обычно называют «антисистемой»), в которой интеллигент имел возможность заработать, и заработать больше рабочего или даже чиновника, но при условии отречения от интеллигентности, при условии проявления того уровня нетерпимости (не обязательно — верности идеалам!), которая в данный момент была угодно властям. От рабочих такого предательства человечности не требовалось. Многие, пошедшие на компромисс, оправдывали себя тем, что уровень постепенно становился все ниже и ниже, но это, конечно, оправдывает не их, а тех, кто опускал планку. Оправдывали себя и тем, что проявление нетерпимости носило часто совершенно формальный и лицемерный характер, но это, конечно, не столько оправдание, сколько саморазоблачение: ведь человек, который раз соврал, может лгать и в то мгновение, когда он кается в прошлой лжи. В результате от времен советской власти у лиц, формально принадлежащих к одной группе «советской интеллигенции», остались прямо противоположные впечатления: у одних — как о временах изобилия, когда были возможности заработать и дачу, и машину, у других — как о временах скудости. В данном случае аскетическая традиция русской интеллигенции была более чем уместна, ибо всякое подымание над нищетой означало спускание на несколько ступенек в безнравственность.

После гибели отца Александра Меня слова Голубцова о том, что с интеллигентами «намучаешься», стали вспоминать часто. Однако из воспоминаний о Мене вовсе не следует, что он так уж «мучился». Вряд ли бы интеллигенты любили того, кто не любил их или считал их хуже людей других сословий. Напротив, очевидно, что Меню нравилось общаться с интеллигентами, он писал для них, он дружил с ними, он жил, как они. Этим Мень резко отличался от многих других священников, которые обращаются к интеллигенции свысока, с укорами и поношениями. Мень просто был одновременно и священником, и интеллигентом.

Примечательно, что у священников, обличающих интеллигентов, всегда есть пасомые интеллигенты. Это отражение лучшего свойства интеллигенции: способности быть нравственным бичом не только для других, но и (прежде всего) для себя. Именно интеллигенты более всего говорят неприятного об интеллигенции, вспоминают слова Голубцова, называют себя «образованщиной», «диким племенем» (С. Аверинцев). Своеобразный рекорд установила духовная дочь о. Александра Меня Наталья Трауберг, знаменитая переводчица, сказав, что интеллигенты верят в то, «что возможна радость без борьбы против духовного врага», что есть опасность «превращения в культуроманов, когда, обращаясь к культуре, считают, что к ней евангельская история с зерном начисто не относится, когда поклоняются не только культуре (это еще ладно), а себе в культуре и своему творчеству». Обвинение тяжелейшее, особенно для христианина-интеллигента: якобы он не готов к самопожертвованию, в том числе к умиранию себя как творца культуры, якобы он лишен смирения.

Когда интеллигент поносит интеллигентов — это признак интеллигентности, это печать нашей доброкачественности. Крестьянин не поносит крестьян, рабочий — рабочих, священник — духовное сословие. Для них лояльность к группе важнее лояльности к Истине. Как раз они боятся исчезновения своей группы, готовы пожертвовать всем, лишь бы группа не исчезла, пускай даже она превратится в мумию.

Поношения интеллигенции, когда они исходят от интеллигентов, несколько теряют пошлость, привкус которой присущ даже самым вдохновенным обличениям со стороны. Самые страшные обвинения по адресу интеллигенции церковной: будто образованное сословие, с одной стороны, требует для себя каких-то особых привилегий в смысле послаблений в посте и морали и внимания к его мнению в богословских вопросах, а с другой — особенно склонна к гордыне. Как выразилась Наталья Трауберг, интеллигент любит не культуру, а себя в культуре. Впрочем, как раз с церковной точки зрения это довольно странные упреки. С точки зрения вечности, культура значит намного меньше человека, даже интеллигентного, и любить культуру так же глупо, как любить автомобиль или спорт. Человек, творец культуры, намного важнее самой культуры, он есть смысл культуры, и лучше уж любить себя в культуре, чем целовать ручки Венере Милосской. Что до разговора о привилегиях, так интеллигенция отличается от прочих сословий только тем, что *просит* себе привилегий и *обосновывает* свое право на

послабления. Священники и крестьяне, чиновники и рабочие без всяких слов, явочным порядком берут эти привилегии и послабления, пьют и курят, блудят и гордятся, не подводя под это идейной базы. А интеллигент всего-навсего смеет говорить. Но ведь этому надо скорее радоваться, чем возмущаться, ибо тут открывается возможность обсуждения, поучения, увещевания. Другие сословия часто так наглы в своем беззвучном разврате, что их и увещевать бесполезно. Что же до права интеллигента заниматься богословием, так ведь действительно у него есть такое право, лишь бы он это делал со знанием дела, то есть, собственно, интеллигентно.

Означает ли это, что интеллигенцию вовсе не нужно бичевать? Конечно, нет. Когда ее не бичуют интеллигенты (или чиновники, или рабочие), когда интеллигенцию оставляют в покое, дают ей свободу — тогда очень даже нужно ее бичевать, хотя бы и людям Церкви. В последние годы интеллигенция действительно не слишком страдала от нападок, и пора бы уже нам самим себе поставить банки. Только кажется, что тучи сгущаются. Пока еще острие гнева направлено на «сектантов», на инаковерующих, пока еще духовенство ворчит на интеллигентов тихонечко. Но если расправятся с инаковерующими, то наступит черед инакомыслящих, вообще мыслящих, а не просто исполняющих и воплощающих в жизнь предписания и заповеди. Уже бывало: за благородными обличениями интеллигентов в недостаточной интеллигентности следовало обличение интеллигентности за недостаточную набожность, или революционность, или интеллектуальность. Так что, бичуя себя, надо крепко держать плетку, чтобы кто-то другой не разложил сословие лоханкиных и не стал учить интеллигентов экономить электричество.

Новая старая интеллигенция: Рената Гальцева

Конечно, негде и некому дать справку, что именно терпимость – одна из двух существенных составляющих интеллигентского служения. Тем не менее, эта гипотеза, раз принятая, позволяет многое понять в запутанной истории не только российской интеллигенции, но и России в целом. Особенно это объясняет причудливую судьбу «образованного сословия» после падения коммунизма. В очерке о Владимире Соловьеве («Континент», №93) я уже писал о том, что понять что-либо в противостоянии двух лагерей, состоящих из православной интеллигенции (Кочетков, Борисов, Чистяков, Якунин, Бычков — с одной стороны, Кураев, Дворкин, Шаргунов, Дейч, Вигилянский — с другой), можно именно по отношению этих двух лагерей к терпимости вообще и к веротерпимости в особенности. По другим вопросам (русификация богослужения, степень самодеятельности мирян, отношение к католикам) позиции людей могут комбинироваться самым причудливым образом.

Очень наглядно эта причудливость проявилась в статьях (и позициях) двух известных православных публицистов современности — Ренаты Галь-

цевой и Дмитрия Шушарина. По многим позициям эти два человека относятся к лагерю свободолюбивому, осуждают фанатизм, терпимо относятся к инославным и инаковерующим. Оба неоднократно выступали в защиту памяти отца Александра Меня, в защиту отца Александра Борисова и его прихода. Не случайно «Записки прихожанки» Гальцевой, опубликованные в предыдущем номере «Континента», лишь недолго продержались на страницах религиозного отдела «Независимой газеты»: в них не было озлобленности маргинала, не было выискивания нечистых, не было лебезенья перед сильными. Почти со всем в этих «Записках» соглашаешься с радостью, многое открываешь для себя впервые и с удовольствием, но тем настоятельнее потребность вступить в диалог по вопросам, которые вызывают несогласие (с другими авторами «Независимой» вступать в диалог немыслимо, так как они не соблюдают элементарных правил журналистской — а в сущности, интеллигентной — этики общения). Разделение проходит именно по вопросу о веротерпимости. Дмитрий Шушарин неоднократно выступал за сильную государственную власть и предлагал молебном отмечать расстрел здания парламента в 1993 году — в то время как другие «либеральные» православные не высказывались и в защиту «хасбулатовцев», но нимало не одобряли расстрела, видя во всем сугубо внутриноменклатурную склоку. Шушарин критиковал закон об органах безопасности за то, что тот запрещает вербовать осведомителей в среде духовенства, — это, мол, помешает контролировать деятельность «сект» и может привести к повторению трагедии в токийском метро. Но позиция Ренаты Гальцевой намного парадоксальнее хотя бы потому, что проговорена подробнее и внятней. Она против «консерваторов»: критикует (в алфавитном порядке) (1) антисемитизм, (2) католикофобию, (3) обрядоверие, (4) клерикализм и (5) неуважительное отношение к прихожанам (не открывают в храмах форточек, не ставят скамеек), она защищает от нападок о.о. (6) Т. Батозского, (7) А. Борисова, (9) Г. Кочеткова, (10) А. Меня. Одновременно Гальцева нападает на «плюралистов», публикации которых в основном сосредоточены в газете «Русская мысль»: А. Красикова, А. Кырлежева, Д. Лекторского, критикует «тоталитарные секты», хвалит А. Дворкина, воюющего с иноверием.

Специально для «Континента» Рената Гальцева дописала к своим «Запискам» «Ответ всем униженным и оскорбленным», построенный на противопоставлении отзывов о себе со стороны «либералов» и со стороны «консерваторов». Одни упрекают ее в том, что она выступает за возврат к тоталитаризму, другие — в том, что она прыгает в царство свободы. Поскольку не могут быть справедливы оба обвинения, следовательно, ни одно не справедливо: «Из двух этих отражений одного и того же ничего целого не складывается». Из этого Гальцева делает вывод: «Межеумочное положение только убеждает этого автора (т.е. её самоё. — *Я.К.*), что он на правильном пути» (с. 293).

Как ни остроумно сопоставление Гальцевой обвинений по своему адресу, его нельзя признать чем-то большим, нежели риторической фигу-

рой. К ее аргументации вполне приложимы слова о. Сергия Булгакова, сказанное по другому поводу: «Вместо прямого опровержения здесь применяется косвенное, притом всецело основанное на ignorantio elenchi, на уклонении от существа вопроса»[1]. Можно подвергаться нападкам противоположного толка, но это не гарантирует несправедливости и тех, и других. Кто-то может быть прав в одном, кто-то — в другом. По существу же дела ключевым является вопрос Гальцевой: «Вы утверждаете, что Гальцева призывала «подавлять чужое», запрещать свободу исповедания, настаивала на том, что надо дать привилегии Православной Церкви и преследовать всех остальных. Предъявите документ. Сверим с текстом» (с. 291).

Текст — вот он: «Удивительная история. Посланец прот. Мейендорфа (ныне покойного) Александр Дворкин, кандидат богословия, состоящий при Московской Патриархии, написал руководство в помощь неискушенному нашему соотечественнику, как не попасться на удочку сектантских, а то и антихристианских вербовщиков. Благое дело. И актуальное, подобно актуальной в свое время инструкции Альбрехта, как вести себя в ГБ. Однако вместо благодарности за предостережения возможным жертвам этих душевредителей на Дворкина подает в суд Общественный комитет защиты свободы совести за оскорбление чести и достоинства этих сомнительных организаций. А некто М. Успенский (в «Курантах», 9 апреля 1997 г.) уже спешит обозначить этого смелого и пока еще ничем не нашумевшего человека почему-то *«печально известным* борцом с сектантством» (с. 273).

Кто же такой Александр Дворкин, которого Гальцева объявила «смелым человеком»? Не посланец Мейендорфа, а лишь один из дипломников покойного богослова. То, что он сам к месту и не к месту заслоняется знаменитым именем, уже рекомендует Дворкина не лучшим образом. Сказать о Дворкине, что он «ничем не нашумел», можно только, если совершенно не читать газет, не слушать радио и не смотреть телевидения. Весной 1993 года многие газеты — в том числе «Московские новости» и «Литературная газета» — подробно описывали, как «смелый» Дворкин выгнал автора этих строк с конференции, посвященной борьбе с иноверием. Выгнал он человека не знаменитого, не претендовавшего быть чьим-либо «посланцем», не состоявшего ни при какой церковной организации, не работавшего ни в какой газете, — но факт был настолько нетривиален, что вызвал не слишком вежливые реплики прессы по адресу Дворкина. Потом Дворкин оправдывался: изгнанный назвал-де его неинтеллигентным человеком, допустил антисемитские высказывания по его адресу. Посмотрели тексты — всё с точностью до наоборот: критикуя Дворкина за неумную полемику с иноверием, я назвал его одним из

[1] *Дворкин А.Л.* Десять вопросов навязчивому незнакомцу. М., Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, 1995. С. 4—5.

немногих *интеллигентных* противников свободы совести (в чем раскаиваюсь, ибо противник свободы совести интеллигентом называться права не имеет), а в частном письме к нему однажды написал, что мы оба с ним можем считаться крещеными евреями и уже потому должны бы чувствовать друг к другу приязнь, а не вражду. Истолковать эти слова так, как сделал это Дворкин, можно было только при не очень объективном восприятии реальности.

Не только в полемике со мной Дворкин зарекомендовал себя человеком со странностями. Та брошюра, которую Гальцева называет «руководством», является плохим руководством, ибо говорит об иноверцах неправду. Есть за что критиковать мунистов и саентологов, кришнаитов и мормонов. Дворкин же выдвигает против них ложные обвинения: будто они убивают вероотступников, зомбируют людей, любят деньги больше собственного божества. Этим пособие Дворкина отличается от пособия Альбрехта: Альбрехт писал о КГБ правду, а Дворкин об иноверцах — неправду. В одном предложении он пишет, что «тоталитарные секты» стремятся лишить человека права «сознательно выбирать свои религиозные убеждения», а в следующем: «Например, Общество Сознания Кришны стермится к установлению самого жесткого контроля над средствами массовой информации и ратует за введение кастовой системы». Через три абзаца Дворкин продолжал: «Человек, попавший в тоталитарную секту, постоянно подвергается насилию; от избиений и изнасилований до изматывающей, истощающей работы».

Так что никакого «агрессивного уравнительства» не было в иске, который предъявил Дворкину священник Глеб Якунин и возглавляемый им Комитет в защиту свободу совести. Была защита от клеветы, защита слабой стороны от сильной. В ходе суда Дворкин прибегал постоянно к увертке: подчеркивал, что он критиковал не конкретно кришнаитов, а «вообще» тоталитарные секты. Формально он ушел от ответственности, а по сути признал слабость своих доводов. Насколько сильной оказалась православная сторона, видно из абсурдного решения суда, который в качестве доказательств принимал от Дворкина тексты, почерпнутые из Интернета, лишь бы на них стояла печать Московской Патриархии. Это были разные тексты: газетные статьи, решения судов, богословские трактаты. Объединяло их одно: все они в той или иной степени лгали об иноверцах. Пакость заключалась в том, что из двух решений суда — одного против иноверцев, другого, после апелляции, за иноверцев — приводилось только первое. Преступления, совершенные отдельными кришнаитами двадцать лет назад на другой стороне земного шара, выдавались за проявление «сущности» движения. Хорошо знакомая гебистская методика, когда развод одного диссидента объявлялся проявлением развратности, характерной для всех «отщепенцев». Так что «агрессия» со стороны Якунина была лишь ответом на подлинную и настоящую агрессию со стороны Московской Патриархии, уполномочившую Дворкина выступать от своего имени и приславшего ему в помощь епископа Тихона Бронницкого.

Конечно, агрессия Патриархии — не агрессия Ренаты Гальцевой. Не Гальцева защищала новый закон о религии, запрещающий проповедническую деятельность *всех* иностранцев в России. Но Гальцева написала возмущенно о «табу на табу», имея в виду деятельность «плюралистов». Так в один ряд поставлено явление, которое может быть названо «запретом», «табу» только в переносном смысле, совершенно преувеличенном, — призыв к терпимости, защита иноверцев, и табу абсолютно буквальное — законодательный запрет. Критикуя «табу на **табу**», Гальцева и защищает табуирование иноверцев — которых она называет «сектантами», — вот он, текст, предъявления которого она просила. Она с одобрением (**«как и следует»**) пишет о Германии, где религиозные меньшинства якобы «занесены в **проскрипционный список**» (с. 275). Только совершенно напрасно она при этом называет Германию «образцово-правовой страной». Отношение к религиозным меньшинствам в Германии носит антиправовой характер, необычный для других западноевропейских стран. Оно подвергалось острой критике со стороны английских парламентариев и американских конгрессменов. Вообще нельзя ни одну страну в мире назвать «образцовой» в смысле отношения к свободе слова, — эта свобода есть слишком сложное явление, чтобы можно было реально явить ее в мире сем. Но даже и в Германии никаких «проскрипционных списков» нет, тут Гальцева проецирует на немцев свои мечты. В Германии есть инструкции о том, чтобы саентологов не принимали на государственную службу, — но от этих инструкций так же далеко до проскрипций, как от плевка в лицо до гильотины. Неужели Гальцевой действительно захотелось проскрипций — или она просто забыла значение этого слова?

В связи с показом фильма Скорсезе Гальцева процитировала слова Вл. Соловьева о необходимости «**принудительного ограничения** дикого произвола» (с. 286). Но эти слова были произнесены в полемике с анархизмом как конкретным политическим учением, и придавать им беспредельное значение, делая Соловьева защитником цензуры, означает вкладывать в слова мыслителя чуждый им смысл. Соловьев, конечно, не был классическим либералом, но все же он отличался от Победоносцева. Взгляды его на пределы свободы совести менялись, причем в сторону большей, а не меньшей веротерпимости. Другое дело, что Соловьев был достаточно непоследователен, но все же ему далеко до непоследовательности Гальцевой, которая в одном и том же тексте сперва требует дать ей право на табу, право на составление проскрипционных списков, а затем — выступает против запретов.

Соловьев объяснял анархистам, что без ограничения «дикого произвола» человечество не стало бы культурным — но некультурно именно требовать запрещения фильма Скорсезе, рассматривая его не с точки зрения культуры, а с точки зрения догматики и своих религиозных чувств. Культура начинается именно там, где находят в себе силу терпеть разнобой, вплоть до кощунства. Терпят же культурные люди показы фильма

Дзефирелли о Христе, хотя этот фильм невероятно пошлый и слащавый (при всей своей догматической «правильности»).

Комическая сторона дела заключается в том, что считать «диким произволом» с равным успехом можно и показ фильма Скорсезе и запрет показа фильма Скорсезе. Здесь опять проявляется недостаточность рациональных критериев, которые вторичны по отношению к духовной жизни. Большинство выступавших против запрета фильма отнюдь фильму не симпатизировали, но еще больше не симпатизировали логике, которая решает за другого, логике инквизиционно-коммунистической («я Пастернака не читал, но...»; «требуем оградить советских людей...»). Можно указать на прямую параллель настоящего и прошлого: Скорсезе в своей трактовке Евангелия намного менее «кощунственен», нежели Ренан и Толстой, которые всерьез нападали на церковное учение. Но Соловьев не требовал запретить издавать в России книги Ренана и Толстого, не говорил, что публикация этих книг — «дикий произвол», одурманивание людей. Прямо наоборот глупым произволом Соловьев считал запрет на публикацию толстовских сочинений о Евангелии.

В текстах Гальцевой есть много передержек, приписывающих защитникам веротерпимости идеи, которые те разделяют. Никто и никогда не призывал запретить «представителям РПЦ» распространять свои убеждения, хотя она приписывает этот тезис журналистам «Русской мысли» (с. 274), которые на самом деле критиковали этих «представителей» не за проповедь каких-то убеждений, а за клевету на иноверцев. Вовсе не исповедуют «плюралисты» из «Русской мысли» принцип «равно хороши все», как то им приписывает Гальцева (с. 275). Они исповедуют абсолютность Христовой Истины, но не исповедуют абсолютной лживости иных религий. И в этом смысле их позиция ближе к позиции отца Александра Меня, который остается, слава Богу, авторитетом и для Гальцевой (в отличие от многих других авторов, о которых пойдет речь ниже). Скорее даже, в отличие от Меня, в своей защите веротерпимости именно сотрудники этой газеты довольно непоследовательны. Вовсе не перестают они проповедовать Истину, не запрещают это делать другим — только, повторим, выражают несогласие с клеветой на иноверцев. Так что сбывается старый святоотеческий принцип: каждый видит в другом тот порок, которым страдает сам.

Приписывая своим противникам искажение собственных взглядов, Гальцева искажает их тезисы. Но больше всех главная, психологическая передержка — якобы даже стены монастыря не защитят от «культурной среды», которую создает телевидение. Это страшная недооценка воли одних людей (тех, кто смотрит телевизор, да и тех, кто не смотрит) и не менее страшная переоценка воли других людей (тех, кто составляет программу телевидения и снимает антихристианские фильмы). Это пессимизм победоносцевского типа, не верящий в свободу, зато верящий в то, что все плохое сильнее всего хорошего и только силой *табу, проскрипционного списка* или *принудительного ограничения* (всё — из статьи Гальце-

вой, она эти слова написала с одобрением содержащихся в них идеи нетерпимости и силового решения вероисповедных споров). Этот пессимизм имеет полное право на существование, но права искажать взгляды своих противников — нет даже у пессимистов.

Борьба вокруг свободы совести после падения коммунизма разделила многих людей, которые по видимости были едины в эпоху гонений на веру со стороны коммунизма. Началось искушение властью, ибо только после падения коммунизма у Церкви стали спрашивать, накладывать ли *табу* на кришнаитов и саентологов, регистрировать ли мунистов или вносить их в *проскрипционные списки*, показывать тот или иной фильм о Христе или наложить на телевидение *принудительное ограничение*. Не все проходят это искушение, не обращая на него внимания, многие с удовольствием реализуют стремление регулировать и повелевать, мучившее их в годы гонений. Эти люди оказываются в одной лодке с коммунистами и черносотенцами, но не замечают этого или призывают терпимо отнестись к подобной ситуации. Что ж, часто это — весьма достойные люди, истинно православные интеллектуалы, всей силой логики служащие укреплению Православия. Другое дело, что Православие укрепляется не логикой табуирования и проскрипционных списков, не попыткой сидеть сразу на двух стульях — и победносцевском, и соловьевском.

Православие укрепляется терпимостью, хотя Гальцева почему-то пишет, что «терпимость» — добродетель из секулярного словаря, христианская же истина не предполагает терпимости, только — свободу и милосердие» (с. 292). Как будто в Евангелии или у Святых Отцов терпимость объявлена грехом! Как будто «секулярный словарь» — одна сплошная белиберда, а «христианский словарь», включая инквизицию, — сплошная истина! Как будто терпимость противоположна свободе и милосердию! Терпимость противоположна нетерпимости, которой еще очень много в России, и отстаивание терпимости, а не составление проскрипционных списков, есть одно из тех занятий, которые являются сутью служения христианской интеллигенции.

Новая старая интеллигенция: от Вл. Лосского и Лосева до Лурье

Рената Гальцева представляет наиболее умеренное крыло «новой старой интеллигенции» — той интеллигенции, которая ради достижения поставленной цели готова к насилию. За эту умеренность ей здорово досталось от молодого поколения, которое отличается тем, что сделало из православия идеологическую базу для крайней нетерпимости — тем более ужасной, что эта нетерпимость говорит бесстрастным профессорским тоном. Представители этой группы православной интеллигенции считают себя мучениками, и некоторые основания для этого у них есть. У современной науки явная аллергия на религию. В среде современных ученых неприлично писать научные книги, демонстрируя свою веру, тем более

вступая в вероисповедный спор. Такое табу становится особенно заметно, когда книга – об истории Церкви. О религии «положено» писать, тщательно избегая упоминать о собственном отношении к предмету, делая вид, что такого отношения вовсе нет. А ведь сексологу не обязательно писать о своем предмете, делая вид, что он не имеет в нем никакого опыта.

Налицо двойной стандарт. Неписаные правила научного позитивизма особенно строги к верующим, а поскольку позитивистская наука — феномен постхристианской цивилизации, то эта особенная строгость распространяется прежде всего на христиан. Двойной стандарт проявляется и в том, что скорее атеисту позволено демонстрировать свой скептицизм, в научном исследовании исходить, к примеру, из того, что все Евангелия — подложны, а Воскресение — чушь собачья. Рационально ли это? Конечно, нет. Откуда же взялся этот иррационализм в такой рациональной сфере, как наука, и оправдан ли он?

Иррациональная подозрительность к верующим оправдана рациональной агрессивностью верующих. В сущности, именно здесь проходит рубеж между интеллигенцией «церковной» и интеллигенцией «светской». Когда в начале XX столетия началось религиозное возрождение в среде светской интеллигенции, сразу обнаружилась, что недостаточно стать православным христианином, чтобы стать «своим» для многочисленной и сплоченной среды интеллектуалов духовных академий. Недостаточно и окончить духовную академию. Даже преподавать в духовной академии – не означает стать «церковным интеллигентом». Бердяев или Соловьев никогда и не претендовали на такое звание, но Флоренский и Булгаков (кстати, можно вспомнить и Ключевского) преподавали в духовных академиях, однако оставались безусловно чужими, «сюртучными богословами». А вот Владимир Лосский или Алексей Лосев оказались безусловно «своими», были признаны, особенно первый, великими «свидетелями Православия»[2].

Основанием для различения служит наличие агрессивности или, точнее, ее уровень (поскольку вовсе не агрессивных людей и текстов не существует, видимо). Соловьев, Бердяев, Булгаков могли яростно критиковать своих православных собратьев, но им и в голову не могло прийти отлучать людей от Православия, начинать клеймить кого-то за отступление от Православия. Они бы скорее сказали, что Православная Церковь согрешила, чем сказали бы, что кто-то из священников или богословов изменил Православию и подлежит анафеме. Они часто критиковали католиков и протестантов, но не могли и подумать о том, чтобы отлучить инославных от христианства. И эта традиция, надо сказать, не умерла, она продолжилась в трудах таких православных следующего поколения, как Флоровский, Мейендорф, Шмеман, Клеман, Мень.

---

[2] *Сидоров А.И.* Святые отцы и учителя Церкви в исследованиях православных ученых. В кн.: *Киприан Керн.* Антропология св. Григория Паламы. М., Паломник, 1996. С. XLIX.

Иное дело В. Лосский или А. Лосев. Эти авторы с первых своих шагов в богословствовании занимались выяснением того, кто является православным христианином, а кто должен быть отлучен от этого вышнего звания. Примечательно, что в этом они оказывались подозрительно близки большевизму. Лосский, живший в Париже, за помощью в разоблачении о. С. Булгакова как еретика обратился к Московской Патриархии — и это в середине 1930-х годов! Толстые тома Лосева издавались в тоталитарном коммунистическом государстве, думается, не вопреки тому, что в них затрагивались богословские вопросы, а именно потому, что затрагивались в духе инквизиции – то есть в духе тоталитаризма. Большевикам усладительно было читать, что католичество есть «язычество в христианстве»[3], что культурно-религиозные типы «как типы устроения жизни, как социальные единицы ... могут только анафематствовать и расстреливать друг друга»[4]. И тут слово «могут» приобретает опаснейшую двусмысленность, оно не сопровождается оговоркой: могут, но не должны, если хотят следовать Христу, если хотят оставаться человеческими типами, а не скотскими.

После смерти Лосева наступило затишье. После падения коммунизма появилось множество «православных» инквизиторов, бесплатно или за деньги церковных учреждений выискивающих еретиков и сектантов. Наибольшую популярность из них обрели москвичи Андрей Кураев и Александр Дворкин. Однако есть в их сочинениях некоторая легковесность, популяризаторство, журнализм в худшем смысле слова, главное же — слишком видно, что они состоят на службе. Но появилась новая звезда. Вышло в свет «академическое» (по внешнему виду и по источнику средств — из Российского гуманитарного научного фонда) переиздание книги И.Мейендорфа о Григории Паламе [5]. Из пятисот страниц полтораста занимают комментарии В. Лурье.

Лурье совершил поистине титанический труд, обновив библиографический аппарат исследования Мейендорфа. Это эрудиция первоклассная, не верхоглядная. Но у него есть что сказать миру кроме библиографических справок — и Лурье сказал. Он обругал всех и вся, начиная с древних еретиков и кончая автором книги, которую откомментировал. У раскольников якобы, по их же признанию, монашество бесплодное, святых миру не дало (с. 334). Митрополит Петр Могила (XVII век, основатель знаменитой Киевской духовной академии) — «нужно прямо назвать его еретиком и ересеначальником» (с. 337). Крупнейший церковный историк В. Болотов — «экуменист протестантской закваски» (с. 363). Владимир Соловьев — писал «безграмотно» и «крайне недоброжелательно» (с. 332)

---

[3] *Лосев А.Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 882.

[4] Там же. С. 893—894.

[5] *Мейендорф И.* Жизнь и труды святителя Григория Паламы. М., Византинороссика, 1997. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

по отношению к истинному Православию (никаких цитат в доказательство). Павел Флоренский — оккультист, облекший в «христианский костюм» «теорию колдовства» (с. 341). Закавычено словосочетание «русская религиозная философия» (с. 332) — мол, нет такой, всё это был один безграмотный антихристианский треп. Воззрения митр. Антония Храповицкого — «неправославные» (с. 341). Свящ. Г. Флоровский — «непостоянство» в «выводах из веры», так и не дошел до истинной Церкви (с. 345). Мейендорф – прямой преемник колдуна Флоренского и «шатуна» Флоровского (с. 343). Патриарх Афинагор патриархом не называется, просто по фамилии — Афинагор Спиру (с. 349). В. Бибихин — перевел труды Паламы «почти без всякого понимания содержания» (с. 355). Сборник статей «Синергия» — «в богословском отношении это литература на любителя, а на научную содержательность она почти и не претендует» (с. 355) (между прочим, в сборнике есть и статья Мейендорфа). Современный греческий богослов (и епископ) Х. Яннарас – «православный», но именно в кавычках (с. 363). Патриарх Афинагор (который посмел снять анафемы против папства) — «человек, возглавивший самую главную ересь XX столетия» (с. 369). Наконец, Мейендорф — «разделял атмосферу» (с. 369) модернизма, создал «неправославное учение», вывернув наизнанку «августинианский эссенциализм» (с. 433). Разумеется, такая озлобленность не может не отразиться на научности текста. Лурье утверждает, что некие «сторонники неправославных тенденций» спровоцировали русский раскол (329). Как будто протопоп Аввакум нуждался в провокациях!

Свои любимцы у Лурье есть: столп православия для него — «святой» (с. 342) Юстин Попович, автор злобных антикатолических памфлетов, которые почему-то Лурье считает «содержательными учебниками православной догматики». Он любит какое-то «парижское православное Братство св. Григория Паламы, находящееся в юрисдикции Свящ. Синода Истинно-православных христиан Греции» (с. 365). Понятно, ведь Лурье ненавидит «папский календарь» (с. 368) и считает, что с переходом на григорианский стиль Константинопольский Патриархат отпал от христианства, сам же Лурье принадлежит, видимо, к «гонимой Церкви Истинно-православных христиан Греции» (с. 369) или по крайней мере к тем христианам, «которые не приняли еретическую иерархию вместе с ее папским календарем (вводившимся специально как печать принадлежности к новой экуменической церкви)» (с. 369—370). Католики вообще для Лурье — за гранью христианства, молитвы их — сплошные эмоции и сатанинский обман. Они почитают «Иисуса как отдельного от ипостаси Сына субъекта, тело которого есть особая сущность для освящения христиан» (с. 457). Такое, кажется, до сих пор в антикатолической полемике не появлялось. Лурье своего рода Колумб, только он открыл не Америку, а новое бранное выражение.

Конечно, к какой конфессии принадлежать — личное дело В. Лурье. Ему можно даже соболезновать: его имя мелькало в печати как имя старосты

общины «карловчан», настоятеля которого убили в Петербурге 14 сентября 1997 года. Сострадание вызывает и то, что человек, считающий католиков нехристями, вынужден печататься в католических журналах, опираться на издания католиков в сфере православного богословия — в общем, жить за счет кровных врагов и в общении с теми, с кем, по его строгим меркам, общаться не следовало бы (если нельзя мыться с еретиком в бане или есть вместе, то тем более нельзя *такому* православному обсуждать с католиками истины веры). Но, сострадая Лурье, не следует его печатать за казенный счет. Все же его мнение о «еретичности» митрополитов и философов — это именно *личное* дело, и совершенно неуместно в научном издании, изданном на средства правительства, пускаться в непристойную «духовную брань». В конце концов, выходило же переиздание другой книги о Паламе с предисловием другого патролога, москвича Ю. Сидорова (которого Лурье, кстати, заклеймил за то, что он «не верит истинности святоотеческих видений, касающихся пребывания Евагрия в аду», — с. 406). Но то было открыто конфессиональное издание, да и бранил «еретиков» Сидоров значительно мягче. Здесь же текст Мейендорфа превращен в стартовую площадку для выражения личных публицистических взглядов автора, словно один из фанатиков XIV века переселился в Лурье и водит его пером. Знание языков и начитанность, вопреки распространенному среди интеллектуалов мнению, нимало не помогают от фанатизма, — эрудиция подобна программе компьютера, а уж что там при помощи этой программы сочинят, зависит не от компьютера, а от его владельца.

Комментарии Лурье сами по себе есть памятник церковной истории — того крохотного ее раздела, который трактует о сектантах от консерватизма. Чего стоит восхваление Османской империи, которая «уберегала находившиеся в ее пределах христианские народы от влияния европейских религиозных и мировоззренческих идей, чем поневоле содействовала охранению чистоты Православия» (с. 397)!.. Свою конфессиональную позицию (отвержение Московской Патриархии, видимо, за слишком кроткое отношение к католикам) Лурье обосновывает ссылкой на святых отцов, которые «перестают поминать патриарха, как только он примкнул к ереси». Человеку нужно доказать миру (и себе), что вполне допустимо, «канонично», называть Патриарха еретиком и «прежде соборного осуждения» (с. 390).

С одной стороны, замечательно, что пока еще у нас могут выходить книги, критикующие позиции Московской Патриархии (позиции, которые лично мне, однако, кажутся несравненно более разумными и каноничными, чем позиции В. Лурье и вообще «старостильников»). Плохо то, что они выходят под маской научного издания и за казенный счет. Сие есть обман налогоплательщиков и нарушение заповеди «Не укради». Но хуже всего, что, за чей бы счет ни издавались подобные тексты, они страшно дискредитируют не отдельного Лурье, а Церковь в целом, они могут быть предъявлены секулярным миром как доказательство того, что от христианства надо держаться подальше, не давая религии превращаться

из предмета исследования в убеждения исследователя. Подобная «защита Православия» наносит бесконечный ущерб Православию и заставляет страдать Христа, как заставляет Его страдать всякое слово ненависти.

Новая старая интеллигенция: Кураев и Соколов

Если Гальцева и Лурье известны в узких кругах (первая — московской, второй — питерской) интеллигенции, то Андрей Кураев по чисто количественным показателям (число книг и их тиражи) является явным властителем дум новой старой интеллигенции. Он удовлетворяетт главную ее потребность: сделать Православие прокрустовым ложем. Поскольку Православие, однако, вовсе не является само по себе прокрустовым ложем, то тексты Кураева с каждым годом — по мере нарастания в нем сосредоточенности на борьбе и обличении — превращаются все более в вереницу подмен. На подменах его неоднократно «ловили» последователи Штейнера и Рериха, иудеи и буддисты. Но, конечно, наиболее существенны подмены, которые Кураев производит при борьбе с единоверцами. Например, в книге «Вызов экуменизма» он выделяет десять типов экуменизма. Первые два — действительно экуменизм, но именно с настоящим экуменизмом Кураев не хочет бороться, он его приветствует. Он борется с псевдоэкуменизмом, с религиозной эклектикой. Но зачем тогда называть книгу «Вызов экуменизма», подменяя экуменизм эклектикой? Зачем обличать идиотские идеологии, называя их экуменизмом, когда сам начал с того, что отделил настоящий экуменизм от этих идиотских идеологий? Причем это сделано сознательно, Кураев знает правильное определение экуменизма как сотрудничества и диалога христиан.

Кураев прекрасно знает, что «плюралисты» очень разные. Однако он их всех сливает в один карикатурный образ людей, помешанных на терпимости, сводящих человека к одной терпимости[6]. Это все равно как если Кураева свести к софистике — он ведь не из нее одной состоит, в нем есть и вера, и сомнения в вере, и агрессивность, и жажда любви, и склочность. Карикатурен образ демократии: «Да разве демократия не состоит в том, чтобы «идти на поводу у общественного мнения»? (180). Конечно, нет, Кураев подменяет демократию охлократией — властью толпы. Карикатурен образ «русских филокатоликов», которые якобы ценят в католичестве модернизм (195), хотя большинство филокатоликов ценят в католичество то, что оно хранит традицию вселенскости, универсализма.

Софистическое «искусство» выделяет Кураева из общей черной массы обскурантов, хотя он вполне разделяет ее главное убеждение: «В культуре, которая стремительно уходит от однажды ею принятого Евангелия в

---

[6] См.: *Андрей Кураев.* Вызов экуменизма. М., 1997. С. 79. Далее ссылки на эту брошюру даются в тексте.

сторону язычества и даже прямого сатанизма, вряд ли стоит вдогонку уходящим лепетать о нашем уважении к их «нравственным исканиям» (22). В этой фразе отлилось всё: и коллективистский взгляд на мир, где Евангелие принимает не человек, а «культура», и самонадеянная отвага определять, кто уходит от Евангелия к язычеству, а кто идёт от язычества к Евангелию, и поминание нечистой силы, старообрядческая боязнь антихриста. От обычных обскурантов он выделяется тем, что знает: может быть спасен и человек за пределами Церкви. Но, зная это, он делает всё, чтобы убедить человека за пределами Церкви, что тот спасен быть не может, проклинает его как сатаниста.

Кураев горделиво называет себя богословом, который-де лучше знает правду, чем журналисты (160), — верный признак того, что Кураев не богослов, а журналист. Богослов согласится называться и журналистом. Насколько Кураев безграмотен богословски, видно из его фразы: «В церковной традиции принято возглашать новые догматические формулировки под видом канонов» (173).

Примечательно, что в творчестве Кураева проявляется такое важное отличие «православной интеллигенции» от просто «старой», как склонность к антисемитизму. Для дореволюционной интеллигенции при всех ее недостатках любой расизм был неприемлем. Кураев, заявив, как и всякий антисемит, о своем почтении к некоему абстрактному еврейскому народу, упорно атакует евреев именно как евреев (записывая в евреи и русских с еврейскими предками — «дьявольская разница», как сказал бы Пушкин). В памфлете в защиту строительства храма Христа Спасителя он издевался над «шагалами», тут он уже защищает погромщиков: якобы тех евреи довели своей жадностью и вольнодумством. На языке Кураева это звучит так: «Слишком много оскорблений своему национальному и религиозному чувству услышали православные из уст местечковых митинговщиков» (96). Ни одного случая поругания евреями христианских святынь Кураев, конечно, не приводит, поскольку таковых случаев не было. Максимум, что он наскреб: в Киеве революционеры пытались свергнуть памятник императору. Как будто среди революционеров были только евреи и как будто евреи-революционеры были правоверными иудеями! Кураев обвинил евреев в том, что они заставили русский народ праздновать 8 марта — «на самом деле» праздник Пурим, воспоминание об Эсфири. То, что речь идет о событии библейском, он как бы игнорирует — подчеркивает, что Пурим есть якобы праздник победы евреев над окружающим миром (слава Богу, Кураев не посмел истолковать так Исход, хотя логически обязан был это сделать). Классическим образчиком расизма стала статья Кураева, приписывающая показ фильма Скорсезе инициативе еврейства — под предлогом, что владелец телекомпании, которая фильм показала, является и председателем Еврейского конгресса[7]. И в этой статье произведена классическая подмена: показ фильма сравнива-

[7] «Радонеж», № 1—2 (67), январь 1998 г. С. 8.

ется с ударом дубинкой по голове. Одновременно заявлено, что «телеканал, претендующий на элитарность и интеллигентность, оказался поставщиком банальнейшей нетовщины» — характерное обвинение от нетерпимой интеллигенции новой в нигилизме, когда к нигилизму приравнивается терпимость и свобода слова.

Кураев обещает, что «выплесков оскорбленных эмоций со стороны православных не будет» (99) при условии, что телевидение не будет показывать фильма Скорсезе «Последнее искушение Христа», а «еврейские публицисты» (это о христианине Льве Левинсоне, принадлежащем к отличной от Московской Патриархии православной конфессии) «прекратят словесные погромы православия». Что имеет в виду Кураев под «выплеском оскорбленных эмоций»? Если он оправдывал погромы как реакцию на «оскорбления», то можно предположить, что и в данном случае речь идет не просто о митингах и фельетонах. Да на «словесный погром» уже и отвечено словесным погромом — именно Кураевым и именно в этом тексте. Оправдав «выплески», Кураев тут же заявляет: «Слухи о нетерпимости православных, мягко говоря, преувеличены» (99). Сам он является лучшим образцом такой нетерпимости. Он долго обличает католическую молитву за «экзальтированность», «медитативность», «эмоционализм». Кроме евреев и католиков, досталось особенно Польше: «Она-то какой вклад внесла в мировую религиозно-философскую мысль?» (164). Со времен Достоевского повелось так, что достаточно обругать поляков, евреев и католиков, чтобы почувствовать себя ровней автору «Преступления и наказания». О Копернике, конечно, Кураев в своем экстазе забыл.

Софизм в том, что книга на три четверти посвящена обсуждению того, прокляты католики или нет, хотя уж католики-то к ненавидимому Кураевым Всемирному Совету Церквей отношения не имеют. Они там лишь в качестве наблюдателей, Кураев же в ВСЦ представлял Московскую Патриархию, участвовал в экуменическом движении (вопреки своим убеждениям?). Карикатурно изображая «плюралистов», Кураев карикатурно изображает и «филокатоликов»: якобы они «слишком уж настойчиво... требуют объединения православных и католиков» (160). Кто определил, где «слишком», а где «в меру»? Что, с револьвером пристали к Кураеву? Нет, конечно.

Не касаясь других трудов Кураева, следует отметить, что они были удостоены похвалы Максима Соколова («Русский телеграф», 26.2.98), лауреата премии Академии свободной прессы за уникальный журналистский стиль. Называя книги Кураева «новым опытом христианской апологетики», Соколов не исповедует себя, впрочем, христианином, присоединяется не к Православию Кураева, а к его антиинтеллигентским филиппикам. Интеллигенция, оказывается, обладает «сильно утраченным умом», она ударилась в оккультизм, она требует апологетики, а получив требуемое — не замечает; она хочет сделать из Церкви «светское филантропически-правозащитное заведение, устроенное на началах широчайшего плюрализма и всетерпимости и, как положено всякому интеллигентскому кружку, увлеченно и безоглядно оппонирующее власти».

Всякое слово, сказанное об интеллигенции как целом, само себя, однако, убивает, ибо кем говорится-то? Соколов — интеллигент? Да. Кураев — интеллигент? Да. Правда, следовательно, заключается в том, что не надо мыслить оптом, а хотя бы мелкой розницей. Да, многие интеллигенты просили от Церкви апологетики. Многие интеллигенты с энтузиазмом читают апологетические книги Меня, Шмемана, Блума и других авторов. Это — апологетика в самом прямом смысле слова, это защита Христа от клеветы. Книги же Кураева принадлежат к апологетике другой, не столько несущей свет, сколько обличающей тьму. Они наполнены бранью в адрес рериховцев, оккультистов, штейнерианцев, а кстати и в адрес интеллигенции. Зачем бранить тех, кого хочешь обратить ко Христу?... Так что интеллигенция вовсе не такая дура, как изображает ее интеллигент Соколов («в упор не заметила труда о. диакона, вроде бы полностью соответствующего ее же представлениям об истинной пастырской миссии»). Интеллигенция хочет пастырей, но умеет отличить боксера от пастыря, даже если боксер надевает подрясник. И если Соколов высоко оценивает эрудицию Кураева («взял на себя труд ознакомиться с весьма большим количеством авторитетных оккультных сочинений»), то интеллигенция (в большинстве своем, надо надеяться) после первоначального интереса к кураевским книгам выяснила, что они являются результатом именно «ознакомления», а не изучения, полны ошибок фактических, а главное — логических. Интеллигенция показала себя очень интеллигентной, потому что отвергла софиста.

Соколов представляет Кураева непонятым пророком. Напрасно. Интеллигенция разная, и не так мало интеллигентов, которые очень любят кураевские книжки, с наслаждением подставляют себя и свое сословие под брань, льющуюся с пера Кураева. Московские церкви переполнены молодыми людьми рахметовско-флоренского вида, которые ищут в Церкви не Христа, а прежде всего щит от всевозможных сатанинских учений. Им очень нравится возможность обращаться к миру не от своего имени, а от имени Церкви, они, вслед за Кураевым, претендуют определять, что — Православие, а что — нет. «Вы не можете выдавать коктейль своих мыслей за Православие», — цитирует (с восхищением) Соколов Кураева. Только почему Соколов дозволяет Кураеву выдать *его* коктейль за Православие?

Кураев сам является образчиком тех качеств интеллигенции, которые бичует Соколов. Именно Кураев в своих многочисленных газетных статьях «увлеченно и безоглядно» оппонирует власти, критикует законы и президентскую политику, митрополитов, журналистов, думцев. В Русской Православной Церкви Кураев после недолгого взлета на место референта Патриарха и преподавателя официального университета Патриархии был низвергнут, остается простым диаконом (не по собственной воле), книги его издаются черносотенцами от Православия.

Новая старая интеллигенция и православизация страны

Общее в позиции Кураева, Соколова и Гальцевой то, что они с разных сторон поддерживают восстановление «симфонии» между государством и Церковью (не замечая, что в современных условиях это просто сплотка бывшей партийной и клерикальной номенклатур), но одновременно демонстрируют мягчайшее фрондерство, критикуя церковное и светское начальство как не обеспечившее должный уровень руководства (Лурье просто демонстрирует свою принадлежность к «карловчанам» и враждебность к Московской Патриархии). Фрондерство позволяет им не принимать на себя ответственность за травлю иноверцев – а ведь дошло уже в России и до убийств, не говоря уже об избиении полицейскими дубинками или казачьими нагайками. Именно перья этих людей создавали идеологическую поддержку для драконовского закона о свободе совести, но они считают себя вправе от этого закона дистанцироваться. Исходя из достаточно разных посылок, эти люди приходят к одному: интеллигенция недостаточно интеллигентна, демократы недостаточно демократичны, руководители недостаточно видят, куда нас водить, и только мы — настоящая интеллигенция, демократия, и подчиняться надо нашим руководящим указаниям, а не каких-то там патриархов и президентов. Эта интеллигенция, которую удачно окрестили «синтетической», может восхвалять расстрел хасбулатовцев, может оплакивать расстрел хасбулатовцев, может целовать Патриарха, может плевать в Патриарха — в любом случае она желает считаться единственно подлинной интеллигенцией, а интеллигенцию терпимую ненавидит.

Несколько менее расколото мировосприятие у православно-черносотенных интеллектуалов, облаченных в ризы кожиновские и питаемых «Завтра» и «Радонежем». Они так же ворчат на то, что церковное и светское начальство недостаточно беспощадно исполняет свой долг, но при этом не хотят слыть ни интеллигентами, ни либералами, а хотят, чтобы все было как до без царя. Если бы эта мечта осуществилась, первым делом раздавили бы как раз мечтателей, но об этом они как-то не задумываются. Уж при царе-батюшке Говорухину бы не дали выпустить на экран даже «Россию, которую мы потеряли» как чрезмерно вольнодумную и недостаточно верноподданническую.

Большая часть интеллигенции, разумеется, не мудрствуя лукаво, просто всячески сопротивляется православизации. Именно благодаря этому, достаточно пассивному, сопротивлению школа остается светской. Даже обаятельный митрополит Кирилл Гундяев в своем Смоленске не выбил своему духовенству желаемого статуса в школах, хотя пользуется всяческой поддержкой властей в борьбе с инославными. Там готовы не пускать в Смоленск «патеров», но еще более готовы не пускать в смоленские же школы «попов».

Та же самая номенклатура, которая поддерживает православизацию армии и тюрем, открыто заявляет, что школа останется светской. Без особых

заявлений Церковь оттесняют и от медицины. Опыт передачи в ведение Патриархии Пятой градской больницы в Москве оказался настолько выразительным (главврач был уволен — потом восстановлен по суду, духовенство стало требовать привилегий для себя и давать ценные указания врачам), что вряд ли упоминавшийся закон о биоэтике будет принят.

Отпор православизации вдохновляется, к сожалению, не только животным инстинктом самосохранения, желанием оградить себя и свою кровиночку от нравоучений духовенства в школе или в больнице (тюрьма и казарма не воспринимаются как реальный вариант жизни, и не без оснований). В Церкви видят конкурента. Здесь принципиальное отличие отечественного восточного антиклерикализма от западного. В России и до революции почти не было людей свободных профессий, и сейчас их ничтожно мало. Интеллектуалы в основном так или иначе кормятся от казны и обслуживают правительство (теперь еще и его неслиянные и нераздельные ипостаси в виде банков и корпораций), а не частника. Они не хотят конкурентов и обижаются, когда барин пускает «попа» дальше кухни.

Это противостояние ярче всего выразилось в борьбе за иконы. Убеленные сединами академики горячо протестуют против передачи Церкви уникальных музейных собраний, подчеркивая, что Церковь не умеет и не желает сохранять иконы как исторические памятники. Академики абсолютно правы, но они умалчивают о том, что и музейщики не слишком-то сохраняли иконы, и сохраняли их по приказанию начальства, а не по велению сердца. Лекции атеистические — читали, карьеру на атеизме — делали, а когда сносили церкви — помалкивали, как помалкивают и сейчас, когда сносят остатки московской старины. Те, кто по долгу службы должен был костьми лечь, но остановить варварство, исходящее от нынешних церковных и светских властей, кости свои берегут и в лучшем случае робко вякают задним числом. Протестуют те, кому терять нечего.

Все претензии, которые можно и нужно адресовать нашим клерикалам, относятся и к нашим интеллектуалам. Создана специальная воинская часть в Арсаках под Москвой, где служат семинаристы и вообще те, кто дорог Церкви (например, внучатый племянник Патриарха). Несправедливо создавать отдельную часть, свободную от общеармейских «порядков»? Но разве не было таких же частей для детей интеллектуальной элиты — например, «мосфильмовский» полк под Москвой? Церковным иерархам отплескивают нефть из правительственной трубы (через корпорацию «Международное экономическое сотрудничество»)? А сколько интеллектуалы выкачали из казны — не на культуру, на себя, любимых? Церковь пускает к себе вчерашних коммунистов, не умеющих толком держать свечу? А интеллектуалы разве не заманивают в театры и музеи высокое начальство, не дрожат от радости при его появлении, не лебезят перед ним? Церковники пытаются контролировать духовную жизнь общества? Но разве советские интеллектуалы не выполняли рабски ту же самую работу?

В конце концов, наши «церковники» — во многом те же самые «интеллигенты», окончившие коммунистические вузы, обладающие

всеми рефлексами тоталитарного общества. Особенно ярко это проявилось в полемике вокруг показа фильма Скорсезе, когда Патриарха поддержали десятки интеллектуалов, в том числе неверующих. Простительное Патриарху, который просто выполняет свой долг (как он его понимает), непростительно, однако, людям, которые по определению должны защищать свободу творчества.

Нетерпимость у «классических» интеллигентов и гуманистов служила идее (или вере). В наши дни нетерпимость уже окончательно из тени превратилась в господина, теперь уже вера или неверие не могут использовать нетерпимость, но только используются ею. Теперь лишь одна нетерпимость осталась порядочным людям — нетерпимость к нетерпимости. Эта нетерпимость может быть горячной, более терпкой, чем статьи новейших инквизиторов. Такая нетерпимость тоже грех (в котором и автор этих строк виновен), но у нее есть одно существенное оправдание: нетерпимость к нетерпимости не прибегает к властям мира сего, не прибегает к закону, не прибегает к силе иной, нежели сила слова.

К счастью, мир апофатического язычества достаточно терпим, чтобы не истреблять фанатиков, достаточно терпим, чтобы не давать им бразды правления и ту власть над людьми, к которой они рвутся, и, наконец, достаточно терпим, чтобы терпеть проповедь Христа от той части гуманистической интеллигенции, которая нашла Христа и в нем — источник терпимости.

«Монофизитство» новой старой интеллигенции

Интеллигенция, продолжающая считать нетерпимость частью своего служения, отличается одной странной особенностью. Эта интеллигенция постоянно жалуется на притеснения: показ фильма Скорсезе называется «пощечиной» (Кураев), статья оппонента — «словесным погромом» (он же), публикация редакционных комментариев к статье — «конвоем» и «цензурой» (Гальцева). Кураев боится состояния «прелести», самообмана, а сам в нем находится. Это проявляется в постоянном плаче: его-де «дух времени» бьет «по рукам и устам», как и всех, кто дерзнул «избрать православие и встать на его публичную защиту» (49).

Если ограничиваться фактической стороной дела, такие заявления — признак спутанного сознания, принятия метафоры за реальность. На самом деле никто Кураева не бил и не гонит, у него просто мания преследования. Кришнаитов в Ростове-на-Дону били, карловчан в Обояни били, католиков в Москве били (у храма Непорочного Зачатия), а вот Кураева — нет, не били. В заграничные командировки посылали, лекции читать приглашают, на телевидении он выступает, книжек счет пошел на второй десяток, статей печатает сотни. Видимо, у него другой критерий: он жаждет чего-то эдакого невиданного, чего никто ему не предоставляет, и вот это непредоставление

считает страшным гонением. Кураев завершает свою книгу просьбой: позвольте колосу расти, быть верным, тогда он принесет плоды. Что же такого надо сделать, чтобы Кураев перестал жаловаться на гонения от плюралистов? А опытный и искусный публицист Гальцева — неужели она настолько неуверена в своем тексте, что полагает, будто какой-либо комментарий к этому тексту со стороны редакции способен пересилить читателя?

Если бы перед нами была обычная мания преследования, дело было бы достаточно безобидно. Но ведь утверждение «показ фильма так же опасен, как пощечина» может иметь парное утверждение: «пощечина так же безобидна, как показ фильма». Кто считает статью «словесным погромом», тот может погром счесть всего навсего «статьей в деле». Мания преследования себя легко оборачивается манией преследования других. И вот уже Кураев заседает в государственном «экспертно-консультативном комитете», который, как и все «консультативные» комитеты в России, обладает огромной, хотя и беззаконной, властью и использует ее для подавления неугодных. Гальцева сотрудничает с Думой в законодательном обуздании порнографии и полового воспитания. Конечно, обуздывать порнографию — святое дело, но ведь при свете дня ясно, что коммунистическая Дума и порнографии не обуздает, и под разговоры о вреде полового воспитания навяжет опять стране воспитание коммунистическое.

Неразличение плоти и духа, плоти и слова, «погрома» словесного и погрома кровавого свидетельствует о пренебрежении к плоти, о нечувствии к материи, о бесконечном унижении ее рядом с духом. В русской православной традиции принято называть такую позицию монофизитством, хотя, конечно, это не богословская квалификация, а публицистическое сравнение. Сравнение такого «монофизитства» с историческим — в пользу последнего, ведь монофизит принижал земную природу по сравнению с божественной, а наши «монофизиты» принижают материю по сравнению с миром интеллекта, идей, страстей тем более опасных, что они от земли уже оторвались, а до неба не долетели.

Большинство и меньшинство, победа и поражение

Новая старая интеллигенция чрезвычайно внимательна к проблеме большинства и меньшинства. Внимание это, однако, не ведет к каким-либо трезвым наблюдениям и рациональным выводам. Видение мира и здесь спутано. Новая старая интеллигенция предпочитает видеть себя меньшинством (это связано и с манией преследования), постоянно жалуется на то, что большинство газет не дает ей слова, что большинство журналистов плохие, что большинство народа с легкостью может быть подкуплено и обмануто. Одновременно эта интеллигенция говорит от имени большинства — от имени всего русского народа, всей интеллиген-

ции, всей Истины. С этим же связана ее озабоченность победой: нетерпимая интеллигенция одновременно рыдает о своем поражении (одна из брошюр Кураева так и называется «О нашем поражении») и при этом уверена в победоносности своей позиции. Во всем этом сказывается, конечно, то же «монофизитство», отсутствие интереса к цифрам, безразличие к фактам, пребывание в зыбком мире метафор и пафоса. (Есть тут, конечно, и вульгарный двойной стандарт, когда свою словесную брань считают ласковым замечанием, а чужую — погромом, когда до принятия нового Закона о религии твердили, что плохой закон нужно подправлять действиями на местах, а после принятия угодного им драконовского закона напирают на то, что закон, даже плохой, есть закон.)

Если же оставаться на почве фактов, то следует отметить, что именно новая старая интеллигенция занимала и занимает господствующее положение в коридорах власти, за исключением короткого мига смуты в начале 1990-х годов, когда, впрочем, ни одна из сторон не доминировала, а была именно смута. В России издаются десятки православных газет охранительного направления, в которых печатают и нетерпимых интеллигентов (в лидерах, конечно, «Радонеж»), в борьбе с религиозной свободой участвовало абсолютное большинство всей прессы, даже так называемой демократической. У православных «либералов» нет ни одной газеты, что и неудивительно: в типографиях прежде всего осведомляются о том, каковы отношения издателей с властями Патриархии. Сложилась — пока еще неформальная, но тем более крепкая — система подавления либералов, причем это именно система, действующая на уровне властных структур. Особенно это заметно в церковной сфере, где на десяток «либеральных» приходов приходится несколько десятков ярко «консервативных» (большинство приходов, к счастью, ограничиваются постом, молитвой и торговлей черносотенной литературой, что спасает их от более яркого проявления несомненно консервативных потенций).

Почему же новая старая интеллигенция страдает комплексом меньшинства? Во-первых, потому что ее аппетит всегда больше еды. Ей мало того, что ее печатают в многочисленных консервативных газетах — ей хочется, чтобы ее печатали и в немногочисленных демократических. Она кричит о необходимости выслушивать обе стороны, но при этом действует двойной стандарт: новая старая интеллигенция недовольна тем, что ее редко печатают «Московские новости», но никогда не пустит своих противников на страницы «Радонежа».

Между фанатичной и обычной интеллигенцией нет симметрии. Это не два лагеря, расположенных друг против друга. Это не две позиции. Лагеря и позиции есть внутри обычной интеллигенции, где царит разнобой и пестрота взглядов, свобода дискуссии. Но нет и не может симметрии и дискуссии между духом свободы и духом порабощения. Кто выступает за запрет, тот уже выходит за пространство, в котором жизнь, оказывается в пустоте рабства и должен принимать на себя все убытки — нравственные и духовные — с этим связанные, равно как и некоторые (ничтожные, по

сравнению с этими убытками) привилегии, которыми дух рабства награждает своих проводников.

Во-вторых и в главных, в определенном смысле нетерпимая интеллигенция действительно составляет меньшинство, пусть и властвующее. В обществе апофатическом, рассыпчатом, не так важна допущенность к столу власти, как позиция отдельных людей. И вот отдельные люди составляют «молчаливое большинство». Речь идет даже не о православных либералах, которые были загнаны в молчание принудительно в течение пары лет (1997—1998). Молчит по доброй воле большинство гуманистической интеллигенции как верующей, так и неверующей. Это молчание брезгливое, выражающее гадливость и омерзение. Именно это молчание выводит из себя новую старую интеллигенцию — ей хочется громкого и внятного признания своей правоты. Это молчание мстит за многовековое молчание власти — в том числе церковных властей — по отношению к ропоту и мольбам своих подданных, в которых видели лишь блеющих овец. Теперь Патриарх (а за ним и Кураев, и Гальцева) вещают, а бывшие «овцы» вежливо молчат. Ропщущие есть и сейчас (чему свидетельство сам этот текст), но они действительно составляют ничтожное меньшинство. Мнение большинства, конечно, легко выясняется, оно проскакивает в замечаниях и репликах тем более увесистых, что они бросаются походя. С тем, что обронено мимоходом, бесполезно спорить трактатом. Более же всего производят слов именно насилующие совесть и защищающие насилие — те, кто раньше, в Средние века, высокоторжественно молчал. Они заговорили от бессилия.

Дело в том, что молчание большинства оказывается сильнее всяких законов. Именно здесь открывается специфика апофатического общества: оно очень рационально, потому что обнаружило, что против изюма меч бессилен. Меч может отрубить голову, но не может разрубить горошину, — и презирающие власть рассыпались, как горох, превратились в поручика Киже, не имеющего фигуры. Так свершилось пророчество фантаста Станислава Лема, который из книги в книгу подчеркивал, что идеальное оружие — не огромный танк, вооруженный атомными бомбами, а туча мыслящих песчинок, которые можно истреблять миллиардами, но туча останется и в конце концов задавит танк.

Победа этого молчаливого большинства очень похожа на Царство Небесное. Она одновременно вне пределов этого мира, ибо молчаливое свободолюбивое большинство никогда не станет истреблять своих противников, предпочитает сосуществовать с изуверами и насильниками, терпя их громогласие. Одновременно эта победа уже совершается — на территории отдельной личности, насколько эта личность отказалась применять силу даже к тем, кого надо бы обуздать.

Григорий ПОМЕРАНЦ

ИЗ ЦИКЛА ЭССЕ «РАБОТА ЛЮБВИ»

Работа любви

«Работа любви» кажется странным сочетанием слов. Естественнее сказать свобода любви, поэзия любви, наконец — музыка любви. Естественнее потому, что мы воспринимаем любовь, прежде всего, как встречу мужчины и женщины. Этому научили нас трубадуры, миннезингеры и поэты, пошедшие по их следам. Но в ранней средневековой культуре естественнее было говорить об умилении любви (Богоматери к младенцу); а в китайской культуре — о долге любви (детей к своим родителям). Невидимый акцент на эротическую любовь — черта совсем не природная. Акцент принадлежит культуре. Порывы любви-страсти бывали всегда, но без поддержки песни, сказки, сказания, без своего рода культа любви страсть вспыхивала, прогорала и гасла, не передавая свой огонь потомкам.

Фукидид отмечает как странность, как индивидуальную черту Перикла — то, что он каждое утро, уходя из дома, целовал Аспазию. Греческий эрос совсем не предполагал нежности. По крайней мере, у мужчин. Потребность женщины в нежности оставалась не насыщенной, как муки Федры, опьяненной любовным дурманом. С этим, может быть, связано изобретение лесбийской любви (предание приписывает это Сафо, жившей на острове Лесбос; впрочем, по другой легенде Сафо бросилась со скалы от безнадежной любви к юноше Фаону).

Долгую, глубокую нежность мы находим скорее в Библии, в посмертной любви Руфи к своему мужу, в благочестивом желании продолжить род своего мужа, хотя бы не от него лично. Формы, в которых библейское благочестие связано с полом, для нас непривычны, но сама возможность начать брачную ночь с молитвы (как в книге Товия) — целое открытие, и современный писатель Башевис-Зингер возвращается к нему в романе

Григорий ПОМЕРАНЦ — родился в 1918 году в Вильне (ныне Вильнюс). Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Сны Земли» (Париж, 1985), «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990), «Собирание себя» (М., 1993), «Выход из транса» (М., 1995), «Записки гадкого утенка» (М., 1998). Живет в Москве.

* Начало публикации цикла эссе в № 94.

«Раб». Наконец, в «Песне песней» мы находим замечательные слова, вдохновившие Мейстера Экхарта на проповедь: «Ибо сильна, как смерть, любовь, свирепа, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень всесильный». От «Песни песней» идет средневековая метафорика любви, — мистической любви с отпечатком земной страсти и земной — с отсветом неба.

Я говорю прежде всего о западной традиции. Но известные аналогии можно найти в мусульманском суфизме и в индийской традиции бхакти. В Индии развитие было доведено до предела, до реализации метафоры, до полного тождества между соединением влюбленных и мистическим союзом души с Богом. Только в России и в Китае Средние века не были веками, открывшими поэзию любви. У нас это открытие сделал Пушкин; и в «Сценах из рыцарских времен» он создал своего рыцаря бедного, смешавшего поклонение даме сердца с почитанием Богоматери. В первом варианте стихотворения это граничит с кощунством, но —

Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

Средневековый культ любви и средневековая аскеза связаны «неслиянно и нераздельно», как две природы Христа, божеская и человеческая. Церковь хранила образ Мадонны, бесконечно любившей Бога и своего Сына, но никогда не знавшей страсти. Церковь поддерживала патриархальную семью, мешавшую соединиться влюбленным — потому что он Монтекки, а она Капулетти, или потому что он беден, как Перголезе. Церковь унижала земное и плотское перед лицом неба и духа. Но для романтической любви противостояние земного и небесного было чем-то вроде разъединения электродов, между которыми вспыхивает вольтова дуга. Без разъединения нет и вспышки. Вольтовы дуги любви, сильной, как смерть, и возвышенной, как молитва, светят нам в восхождении Беатриче на небо. В стихах суфиев образ возлюбленной становится ипостасью Бога и любовная страсть — исполнением первой заповеди (полюбить Бога всем сердцем). «Когда боги были человечней» (Шиллер), в древней Элладе, небо любви еще не распростерлось над землей.

В судьбе Перголезе земное, казалось бы, полностью перегорает. Невеста, не получив родительского благословения на брак, ушла в монастырь и через год умерла. Перголезе тоже постригся и вскоре умер. Но в «Stabat mater», сочиненном незадолго до смерти, страдания Богоматери сливаются со страданиями возлюбленной и собственными мучениями. То, что разделено на уровне слов, сливается в музыке.

В новое время любовь, шаг за шагом, обретала внешнюю свободу — и теряла поэтичность. Атеист Стендаль, всю жизнь думавший о любви, делает героинями своих романов верующих женщин. Только глубоко веровавшая мадам де Реналь могла сказать любовнику: «я чувствую к тебе

то, что должна была бы испытывать к Богу: благоговение, страх, любовь». Рационалистка Матильда де ла Моль этого чувства не знала. И в любви Фабрицио дель Донго очень много значит его вера. На первый взгляд, религиозное служение препятствует чувству и делает невозможным соединение с Клелией Конти. Но любовь вырастает от препятствий, и Фабрицио умирает, как Перголезе, сплетая небесное с земным в своем последнем вздохе.

В течение всего Нового времени падали, один за другим, запреты; но одновременно вырастала другая сила, враждебная любви: пошлость. Только в конце XIX в. к этой опасной теме стали прикасаться: Мопассан в «Жизни», Толстой в «Крейцеровой сонате». Наконец, Рильке (уже в наш век) произнес странные слова о *работе любви*.

Первая часть этой непривычной работы — освобождение места для любви, утверждение веры в реальность любви. Иногда эта работа проходит в семье, где умные сердцем родители незаметно передают свой опыт ребенку и подростку. Главное здесь — пример. Мне рассказывала женщина о незабываемом следе любви, оставленном в ней отцом с матерью. Каждый день, проведенный без жены, отец считал вычеркнутым из жизни. У меня такого примера не было. Наоборот, папа и мама постоянно ссорились друг с другом, потом фактически разъехались и наконец формально разошлись. По отдельности они очень любили меня, но жить вместе не сумели, и опасность неудачного союза врезалась в мое сознание. А потом я остался без всякого примера и поддержки. Мне было двенадцать лет, когда мама уехала в другой город. Отец с утра до вечера был занят своей работой. В одиночестве стремительно развивался мой ум, и радости ума, радости яркой мысли, пробудившейся во мне довольно рано, вытеснили во мне воспоминания о нежности матери. Я хорошо помню, что чувство полноты жизни я испытывал какой-то точкой посередине лба. И меня выбирали в товарищи умные мальчики, искавшие собеседника; а девушки головастиков не любят. Я отвечал им тем же.

Лет с пятнадцати на меня наваливалась острые приступы полового голода. Но именно голода, а не любви. Было стыдно выказать свое желание девушке. Что-то во мне осталось от детской нежности к матери, я не мог прикоснуться к женщине без нежности, попробовал раз — ничего у меня не получилось, обжегся, почти буквально обжегся от собственного грубого прикосновения и больше никогда не повторял, не участвовал в подростковых играх. А душевного порыва, захваченности женской душой я не испытывал. Может быть, просто не встречались в школьные годы такие, которые вызвали бы во мне потребность быть всегда вместе.

В институте были два случая, затронувшие меня. Первый длился один миг, но я его помню: острая жалость к девушке, неудержимо рыдавшей наутро после ночного ареста отца. Захотелось подойти, сказать какие-то слова... И тут же почувствовал, что не умею утешать, не знаю нужных слов, нет чего-то в моем сердце, жалость была, а слов не было. Постоял нерешительно минуту и отошел.

Другой раз восторг вызвала во мне Агнеса Кун — внутренней силой, с которой она царила при надоевшей тогда скучной процедуре исключения из комсомола «за потерю политической бдительности» (в отношениях с отцом, матерью и мужем). Меня залил восторг, и казалось бы — чего еще нужно для любви? Но был еще муж, и я не видел никакой достойной роли, кроме роли друга; усилием воли я повернул себя к дружбе.

Но вот вопрос: почему мне нужен был именно чрезвычайный случай? Почему не вышла тихая любовь к какой-нибудь обыкновенной девушке в обыкновенной, не чрезвычайной обстановке? Отчетливо помню одно: я боялся быть связанным и пропустить что-то... Что именно? Вызревавшее во мне самом? Готовое встретиться? *Обычная* семейная жизнь, без заложенной в ней духовной пружины, казалась мне ловушкой и, может быть, действительно была ловушкой... Особенно если ребенок связал бы нас вопреки чему-то главному, как я когда-то связал отца с матерью еще лет на десять после того, как мама внутренне ушла из семьи. Призрак неудачного союза, в котором я родился, стоял передо мной как запретительный знак и мешал накручиванию симпатии, а попросту говоря самообману, без которого не обходится средняя любовная история. Может быть, и даже наверняка, я слишком высоко себя ценил, но я *не хотел* обыденного семейного счастья. Там, где обычно разгорается воображение, у меня оно гасло. Я возвращался к бесплотным идеям, кружившимся в моей одинокой голове.

И вдруг — война. Ей нет дела до моих мыслей. Ей нужны солдаты. Мои аналитические способности как-то сразу поблекли, и великая иллюзия завладела мною. Я перестал быть одиноким мыслителем, я стал рядовым необученным, ждавшим вызова, и почувствовал нужду, в которой не стыдно признаться женщине: нужду в существе, которое будет ждать меня, нужду в матери, которая родит сына, когда меня самого убьют. Для этого не требовалась подруга с необыкновенной силой и душевным богатством, довольно было мало-мальского понимания друг друга. И два раза за время войны дружеские отношения с девушкой перерастали в роман (разгоравшийся в письмах). Одна из этих историй завершилась опытом совместной жизни, длившимся три года.

Я пишу о любви, но все время приходится вспоминать аресты. Такая была жизнь. Арест оборвал мою связь с Миррой: она послушалась матери, предостерегавшей ее от поездок на свидание. Мое чувство собственного достоинства было оскорблено, и после нескольких месяцев тягостных сомнений я решил всё оборвать. Не имеет смысла восстанавливать семью, где я буду на третьем месте, после папы и мамы. При этом я понимал, что Мирра дождется меня, но не из-за глубокого личного чувства, а по примеру папы и мамы. Мне это было не нужно. Если я не способен вызвать настоящей любви, то не надо мне никакой. Останусь один. Я, по-видимому, просто создан не для любви, а для дружбы. И не надо садиться не в свои сани.

Между тем, судьба незаметно проделывала со мной работу, необходимую именно для любви. Сперва на войне, захватывая страхом и победой

над страхом, втягивая в сердце душу, слишком переместившуюся в голову. Мне открылся мир простых радостей: солнца в синем небе, в перерывах между боями, печурки в блиндаже, письма от девушки... Но я всё еще был слишком полон собой. Освободил меня от этого груза лагерь. Началось, кажется, в один из первых дней, когда мне было велено собирать самодельные ножи, выброшенные в запретную зону. Скорючившись на этой работе, я очень отчетливо почувствовал себя рядовым рабом, ничем не отличающимся от других рабов, начиная со времен фараонов Древнего Царства. Но решающим был один смешной случай. Я уже рассказывал о нем в «Записках гадкого утенка». Мы бродили от вахты к столовой и от столовой к вахте и беседовали. В «Пережитых абстракциях» я дал трем персонажам имена: Виктор, Николай и Евгений. Евгений — действительно имя Евгения Борисовича Федорова, будущего писателя. Николай — это я. Виктора так и оставил Виктором. Он очень мягко, вежливо и поэтому долго объяснял, что его ум обладает и способностью философствовать, как я, и одаренностью в позитивной науке. Женя (моложе нас на 11 лет — тогда это значило: на треть жизни) молча слушал, а потом коротко сказал: «А я думаю, что я всех умнее». И вдруг я с ужасом почувствовал нелепость положения: я ведь тоже считал себя умнее всех. Но ведь это похоже на Поприщина, уверенного, что он — испанский король. Сошлись три Поприщина и спорят, кто из них настоящий король. И все трое — сумасшедшие.

Разговор оборвался. Мы вошли в сортир по малой нужде. Через очко было видно, как в жиже копошатся черви. Почему-то на этом фоне высокомерие трех интеллектуалов выглядело особенно жалким. Я почувствовал себя обязанным сказать и сказал: ну что ж, оставляю вас двоих спорить за первое место, а себе беру второе. Сказал — и почувствовал такую боль, словно ножом вырезал из себя тщеславие. И я его вырезал. Впоследствии мне пришлось читать у Достоевского, что самое важное в жизни — найти в ней второе место после Бога. После любимого. Пока я не пережил этого, я читал об этом — и не замечал, не вчитывался, не вдумывался. Только пережив — понял. Задним числом.

Это понимание очистило место для любви. Она вспыхнула, когда первая встречная захватила меня сочувствием и жалостью. Здесь не было узнавания, не было догадки, что рядом с этой душой, вместе с ней моя душа будет расти. Только готовность всю себя отдать ей. Которой это было не нужно. Во время недолгих встреч я был сдержан и не возникало никаких проблем. Мы просто разговаривали друг с другом. Вспышка произошла, когда девушку списали с предприятия (она собственно заменяла заболевшую уборщицу). Взрыв чувства захватил меня ночью. Я плакал и в слезах написал первое письмо.

Выздоровевшая уборщица сидела по статье 58-12, недоносительство. Я доверил ей свое послание; на другой день получил ответ. Полетели письма-голубки. Роман тянулся года два. Вскоре я вышел на волю — и приехал к *ней* на свидание. Потом и она оказалась дома. Я съездил на

Кавказ — тогда совсем мирный — и вдруг понял, что она права, объясняя мне, что мы не созданы друг для друга. Осталось только сознание, что во мне есть способность к большой любви, такой, о которой поэты пишут, а в жизни почти не бывает.

Эта способность дремала во мне года два, до случайно сложившихся, почти ежедневных, встреч с Ирой Муравьевой. Она болела, я ее навещал. Чтобы не скучать, мы стали читать стихи; и меня захватило, как она их читала. Я почувствовал ее по интонациям в стихах Ахматовой, Гумилева, Цветаевой. Она не просто читала. Чужие стихи становились ее стихами, слово становилось плотью. Выглядела Ира плохо, губы посинели, одета была небрежно, но всё это не имело значения. Захватывала личность, захватывала судьба, жившая в этом смертельно больном теле.

Всё это подробно описано в моей книге «Сны земли». Я написал странички «В сторону Иры» лет пятнадцать спустя после ее смерти и почти столько же лет после счастливой встречи с Зинаидой Миркиной, но все эти годы во мне жила задача — написать об Ире, и думая об этом, я становился писателем. Мне говорили, что на страничках об Ире я косвенно описал самого себя, но впрямую писать о себе мне было неинтересно. Прошло еще десять лет, пока, по просьбе читателей, я взялся за «Записки гадкого утенка».

За три года жизни с Ирой я понял вторую работу любви: борьбу с «самым большим препятствием», с отсутствием всяких препятствий. Ира несколько раз повторяла французскую поговорку: самое большое препятствие любви, когда не остается никаких препятствий. У нее был опыт угасания любовной вспышки. Я столкнулся с задачей впервые и долго бился, пока решил ее; порою доходил до отчаяния: ускользала, угасала любовь, оставалось только чувство связи с больной женщиной, которую нельзя было просто бросить и начать другую историю.

Шаг за шагом я изучал работу любви. Перво-наперво — сдержанность. Усталость превращает близость в сладкую каторгу. Прикасаешься к женщине с мыслью, как завтра будет болеть голова. Но никакого чуда сдержанность не дает. Только здоровье. А как же чудо, которое обещали стихи, обещали глаза, встретившиеся с моими глазами? Я верил, что глаза не лгали, и искал, как подтвердить правду, которую знала моя душа и не знало тело. Разгадка была в музыке осязания. Но здесь нужно долгое отступление — о музыке.

Однажды сидел я в кино. На экране «Чапаев». Еще не заигранный, еще не ставший анекдотом: психическая атака каппелевцев, Анка-пулеметчица, артист Бабочкин выразительно тонет в реке... Я был захвачен. И вдруг, на волне захваченности, меня перехватила «Лунная соната». Играл белогвардейский полковник. Он был несколько тучен (так полагалось эксплуататору в 1934 году; генералов рисовали с брюхом Тараса Бульбы). И, конечно, интеллигентская внешность прикрывала зверя: доиграв, он приказал пороть пленного шомполами. Но Бетховен выдержал; он перешагнул через сюжет.

Я не был приучен к серьезной музыке. Читал в книгах, как она заполняла и переполняла душу, но понимал это — одним умом. Попытки слушать кончались одним и тем же: звуки рассыпались, я не улавливал музыкальной мысли. И вдруг — сложилось! Этот кусок «Лунной» я понял. Разумеется, слово «понял» здесь имеет другой смысл, чем при понимании математической задачи. Когда говорят о понимании музыки или живописи, речь идет скорее о передаче чувства, об углублении жизни до того уровня, на котором жил художник. Понять, чувствовать, любить здесь синонимы. Адам познал Еву: тут сразу и любовь, и знание души...

Я попросил знакомую девочку, немного бренчавшую, сыграть «Лунную». Увы! Под ее пальцами волна рассыпалась на отдельные неуверенные всплески. Всё же я иногда просил поиграть, напомнить *то* впечатление. Больше того: я нашел учительницу и стал брать уроки музыки (дома стояло заброшенное фортепьяно). Мои пальцы не слушались, поздно начинать в 16—17 лет. Пробовал ходить на концерты — и скучал. Наконец — повезло. Мне было уже 18. В Москву заехал дирижер Вилли Ферреро. Исполнялось (помнится, в Доме ученых) «Болеро» Равеля. И оно взяло сразу за шиворот. Колдовство не прерывалось и нарастало, нарастало... Повторялась одна и та же музыкальная фраза, мне не в чем было запутаться, ритм не отпускал, и я отдался этому ритму, как в море — покачиванью мертвой зыби. Всё было прекрасно.

Однако на другие симфонические концерты этот контакт не перешел. Музыка опять была сама по себе, и я сам по себе. Пришлось ограничиться оперой и старинными романсами. Пантофель-Нечецкая, Доливо (кажется, Анатолий), почти хрипевший вместо пения, но я прощал ему хрип за верную интонацию: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать...». И в опере меня захватывал трагический текст *вместе* с музыкой: «Пускай погибну я!..», «Что наша жизнь? Игра! Добро и зло — одни мечты...». Без слова, в стихии чистой музыки, я по-прежнему шел ко дну. И встретившись со стихами Мандельштама, не понял их. Понимал Блока, в ритмах которого скрыт романс. А «Моцарт на воде и Шуберт в птичьем гаме» не доходили до меня.

Война здесь ничего не изменила. Только снизила уровень запросов — до «Землянки» Суркова, до «Темной ночи» (не помню чьей). Хотя — кто знает! Очень может быть, что привычное обострение чувств под огнем, острое восприятие красоты земли и неба, особенно в дни затишья, но иногда и в бою — сказались на восприятии природы много лет спустя.

Неожиданно помог моему музыкальному образованию лагерь. Я попал туда в июне и сразу окунулся в белые ночи. Входить в игру света и цвета меня научили импрессионисты (в студенческие годы я каждую неделю, как в церковь, ходил в Музей нового западного искусства). А здесь платье «Обнаженной» Ренуара, небрежно брошенное на кресло, развернулось в целое небо и зажило, меняя и меняя свои переливы. С вечера до полуночи я не мог оторваться от симфонии, которую импровизировал свет, и, прячась от надзора, продолжал бродить после отбоя. Жалкие человеческие

затеи — бараки, вышки, колючая проволока — тонули в северном небе, «как урна с окурками в океане» (метафора, которую я впоследствии подобрал у Кришнамурти).

Потом фестиваль света кончился. Началась тоска черных зимних ночей. Только музыка, лившаяся из репродукторов, доносила переливы духа. Тогда народ приучали к русской музыке XIX века. Передавали по радио симфонии Чайковского, одну за другой. Народ жался поближе к печке и забивал козла. Даже моих друзей, интеллектуалов, тридцатипятиградусный мороз загонял в бараки. Нашелся только один меломан, молча бродивший взад и вперед, от вахты к столовой и от столовой к вахте. Вторым был я. Качество звука на морозе было сносным, но, конечно, хуже, чем в консерватории. Что же помогало моему восприятию? Тоска по Москве. Симфонии были приветом оттуда, они так же перешагивали через колючую проволоку, как белые ночи. И привычка созерцать абстрактное искусство света помогло войти в абстрактное искусство звука, войти в прямой разговор с Богом и судьбой, мимо всех человеческих уродств.

Вернувшись в Москву, я в одном из первых домов, куда зашел, увидел на столе томик Мандельштама, сборник 1930 года. Стал читать — и всё понимал. Понимал так, как белые ночи, как музыку зимой. Мандельштам уходит корнями в ту самую серьезную музыку, где я раньше терялся. Мне открылось целое измерение действительности, как бы наряду с тремя измерениями физического пространства, исчерпывающими школьное представление о бытии. Я думаю теперь, что европейская музыкальная классика была ответом на вызов бесконечного пространства и времени, испугавший Паскаля. Раскрытие внутренней бесконечности уравновешивало внешнюю, дурную бесконечность, тьму внешнюю. «Прекрасное, — писал Рильке, — это та часть ужасного, которую мы способны вместить»; страх «всепоглощающей и миротворной бездны» (не могу не вспомнить Тютчева) музыка вместила внутрь, и он стал трепетом вечной жизни.

С этих пор я стал чувствовать музыкальное измерение во всем, в том числе в любви. Музыка взглядов не требует никакого мастерства, она возникает, как птичье пение; сохранить музыку, когда встретились не только глаза, действительно трудно. То есть трудно на первых порах. Трудно *учиться* музыке, потом складывается что-то вроде искусства флейтиста. Меня учила любовь, бережность к любви, желание сохранить любовь. Какой-то минимум мастерства сложился. Он очень невелик: чтобы сдержанная чувственность слушалась сердца, а сердце слушалось музыки. Шопен писал Жорж Занд, что в только что сочиненном ноктюрне он записал пережитую с ней ночь. Я его понимаю.

К сожалению, эти простые истины совершенно не стали общим фактом культуры. А между тем, они просто снимают ряд надоевших моральных проблем. Пара, связанная музыкой, так же устойчива, как содружество Казальса (виолончель) и Хорошевского (фортепьяно), десятки лет концертировавших вместе, безо всякого желания сменить партнера. Хотя

в таком музыкальном складе нет ни брачных уз, на заботы о детях: достаточно общего чувства музыки. Сколько несчастий можно было бы избежать, скольких надрывов, разрывов, самоубийств!

Почти что стали поговоркой стихи Надсона:

Только утро любви хорошо: хороши
Только первые, робкие речи...

Хотя это опыт рано умершего юноши, так и не успевшего втиснуть свою страсть в строгую музыкальную форму. Или опыт человека, до старости не сумевшего сладить со своими страстями, — как герой «Крейцеровой сонаты». Всё, что я здесь пишу, — спор со Львом Толстым, опыт, противопоставленный опыту. Опыт целой жизни — от юности до старости.

Вопреки общему мнению, близость мужчины и женщины может быть не только музыкой, но и молитвой. Вся жизнь может стать музыкой и молитвой — прогулка в лесу, закат на берегу моря — все измерения твоего бытия. До конца это удается немногим, я не волшебник, я только учусь. В шорохе ветвей, в кружении осенних листьев и в пении птиц весной я учусь слышать музыку, дыхание Целого, где хаос фактов связан «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Костер в лесу может дать мне радость, сравнимую с любовной встречей, и в тишине я слышу «хоры ангелов» (Миркина). Я гляжу на Троицу Рублева и вижу в ней не только образы ангелов, а волны музыки, переливающихся от правого ангела к среднему и от него к левому, — музыки, замыкающейся в кружении вокруг незримого центра. В этом кругу бесконечность страдания и сострадания тонет в бесконечной радости творчества, в творческом огне. Я собираю себя под образом этой внутренней бесконечности и не чувствую хворей, не чувствую убывания сил; есть только волны божественных энергий, разлитых вокруг и переливающихся во мне. Я думаю о бедных людях, не слышащих этой музыки, и молюсь за души, не сумевшие затихнуть.

Работа любви не прекращается ни в праздники, ни в будни. Без этого праздник кончится похмельем, а будни всё поглотят. Работа любви — это соблюдение первой заповеди (всегда помнить). Это собирание себя под образом любви, чтобы не оставалось никакой почвы для столкновения самолюбий, для раздражения, срывов, ссор. А если нечаянно случится ссора — спохватиться, и собраться, и помириться еще до вечера, со всеми поводами ссоры, потонувшими в любви, на той глубине, где есть только любовь.

Только пережив всё это, я смог понять странные слова Рильке о работе любви. И слова Сент-Экзюпери — о том же (французский писатель не расставался с томиком «Заметок Мальте Лауридса Бригге»).

В этих «Заметках», неожиданно переходящих с одной темы на другую, Рильке несколько раз возвращается к одному клубку идей, сплетающихся в его понимании любви. Первая — превосходство женщин, взявших всю работу любви на себя, оставив мужчинам самую легкую долю (наслаждение). «Разве мы не могли бы сделать попытки хоть немного

развиться и мало-помалу, постепенно, взять на себя свою долю работы в деле любви?»[1]

Почти никогда этого еще не было. И в переписке Гёте с Беттиной фон Арним величие любви — не на его стороне: «Все читают его ответы и верят им больше, нежели тебе самой, потому что поэт для них понятнее... Но, может быть, когда-нибудь окажется, что в этих ответах сказалась граница его величия. Ему была ниспослана воплощенная любовь, а он не смог вместить ее... При всем своем величии, он должен был бы смириться перед нею и, как Иоанн на Патмосе, стоя на коленях, писать то, что она диктовала ему» (с. 94).

Вторая идея — то, что «такая любовь не нуждается во взаимности, в ней самой заключается и призыв, и ответ на него» (там же). «Возлюбленная всегда выше возлюбленного, потому что жизнь выше судьбы. Ее самопожертвование жаждет быть безграничным — в этом ее счастье» (с. 95).

Третья идея — что любящий всегда выше любимого: «Плохо живется тем, которых любят, и всегда им грозит опасность. Ах, если бы они побороли себя и стали любящими! Любящие находятся вне опасности... В них тайна приобретает единство, в них она не распадается на части, и они, подобно соловьям, всю ее целиком разглашают вокруг. Оплакивают они одного, но вся природа присоединяется к ним: в них говорит тоска по вечному. Они бросаются во след исчезающему, но с первых же шагов обгоняют его и оказываются перед лицом Бога» (с. 130).

Эта идея — что в любящих говорит тоска по вечному, по Богу — развита в «Цитадели» Сент-Экзюпери:

«Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь «она» и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведешь разговор о смысле вещей, и «она» для тебя — Божественный узел, благодаря которому всё вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей»[2]

«Теперь я знаю: полюбить — значит разглядеть сквозь дробность мира картину. Любовь — это обретение божества.

Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, — я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменилось» (с. 294).

«И я подумал: «Даже те, кто умеет видеть за вещами Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину — немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты

---

[1] *Рильке Р.-М.* Заметки Мальте Лауридса Бригге. Перев. Горбуновой. М., 1913. Ч.2. С. 6. — Далее страницы указываются в тексте.

[2] *Сент-Экзюпери А. де.* Сочинения. Т.2. М., 1994. С. 269. — Далее страницы указываются в тексте.

готов увидеть, если вызрело в тебе еще не знаемое тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Поэтому я и приготовляю их к любви долгой молитвой. Этот приготовился, и робкая улыбка сразит его, будто меч» (с. 293).

Любовь углубляет жизнь, и углубление жизни открывает дорогу любви.

Углубление жизни

Есть что-то общее, соединяющее музыку, молитву, прислушиванье к лесу, волну любви, вдохновение поэта. Это общее — углубление жизни. Иногда глубина раскрывается внезапно и полностью, в один миг. Так Рамакришна увидел стаю диких гусей, выхваченную лучом света на фоне черной тучи, и сразу на всю жизнь понял что-то главное, только не знал, как назвать. Но он жил в Индии, и традиция подсказала ему слова. Серафим Саровский жил в России и осознал свой опыт в других словах. А иногда никакие термины не приходят в голову. Кришнамурти говорит о безымянном переживании....

У меня был свой опыт, который я долго не мог понять, опыт внутреннего света. Просто света, вспыхнувшего в груди и погасившего все предметы, ослепившего меня на несколько часов для дробного мира. Потом я читал разные книги и сравнивал это состояние с тем, что прочел у мистиков разных традиций и у писателей (Достоевского, Набокова). Мне кажется, что я увидел реальность целостного и вечного, как его ни называй. И в понимании разных учений я опираюсь прямо на свой опыт, пусть очень скромный и не идущий ни в какое сравнение с великим опытом пророков, святых и поэтов, потрясенных красотой. У меня в руках был пятачок — но он дал мне понять, что такое монета.

Очень легко переоценить свою монетку и считать ее Монетой Монет. Мелкие монеты экстаза рассыпаны довольно часто, — то есть сравнительно часто, сравнительно с великими событиями в духовной истории. Мышкин, Ставрогин и Кириллов — проекции одного человека, Достоевского. К чему толкнет экстаз, зависит от нравственного склада личности. Я просто называю пятачок пятачком. А другие монеты оцениваю на глазок. Я думаю, что единой шкалы оценок нет, и мне не хочется оскорблять никакую веру.

Так же по-разному можно понимать опыт тьмы, опыт бездны. Ибо чаще всего глубина раскрывается как бездна, в которую рухнуло всё дробное, а целое еще не засветилось. И мужество вглядывается и вглядывается, пока не доглядит до зарниц света; а трусость прячется от страшного, как страус, засовывая голову в песок. Толстой не мог забыть чувства бездны. Тютчев постоянно к нему возвращался, и духовный взлет моей юности прошел под знаком его опыта ночи:

Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатного покрова

Сорвав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами...

Бездна смерти, бездна пространства и времени, бездна абсурда леденит и воспламеняет сердце. Арджуна не выдержал и одного мига целостного созерцания. Гаутаму этот миг заворожил и не отпускал от себя, пока царевич не стал Буддой. И первая благородная истина, которую Будда возвестил, была истина о страдании: все сущее болезненно и несовершенно... Мир во зле лежит, в переводе на язык христиан. Но то и другое — только *первая* истина, первый шаг от пестрой очевидности к целостной глубине. В мужественном созерцании ужас бездны вдруг исчезает, уступает место свету, смыслу, голосу Бога, голосу, к которому взывает Иов и которого требует теология после Освенцима.

Мы живем в век, когда все вечные вопросы поставлены заново и каждый ищет ответа по-своему. У Гумилева, в «Звездном ужасе», ответ — простая песня. И Рильке отвечает песней Орфея. Но Орфей — бог, и его песня — Божья Песня. Разница не только в словах.

Ответ Рильке — песня, ставшая молитвой, и молитва, ставшая песней. Ответ — в той глубине, где сходятся параллели, где этика, религия, искусство, истина не разделились или, может быть, сходятся заново.

Тиллих называет всю эту глубину религией. «Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, ибо предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть сама религия»[3]. Собственно религия, с его точки зрения, — только напоминание об этой глубине, понукание — не забывать глубины. Вероисповедание — только частица непостижимой бездны религии, где есть и благочестие, и вызов на суд, и бунт. Поэтому Бог заговорил с Иовом и поэтому древние книжники включили Книгу Иова в Библию: ибо Иов отвергал благочестие во имя религии, отвергал *представления* о Боге во имя живого Бога. Отвергал постигнутое во имя непостижимого.

Можно понять как нового Иова и бунт Ивана Карамазова. Так его понял Сергей Иосифович Фудель (в своей книге «Наследие Достоевского»). Он не согласен с Сергеем Булгаковым, считавшим бунт Ивана Карамазова чем-то вне души самого Достоевского.

«Бунт Достоевского существует, — пишет Фудель, — но он, так же как всё его неверие Фомино, только углубляет веру его и нашу. Это «бунт» Иова.

Не совсем только личные невинные страдания давят своей тайной Иова... «Почему... бедных сталкивают с дороги... *[и]* в городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того». Разве это место Библии нельзя было бы продолжить рассказом о ребенке, затравленном генеральскими собаками?..

---

[3] *Тиллих П.* Теология культуры. М., 1995. С. 240—241. См. также с. 264.

Не вера в Бога колеблется в Иове, а вера в божественный *миропорядок*.

«Не Бога я не принимаю, — говорит Иван, — я только билет ему почтительнейше возвращаю». В черновиках романа после изложения бунта есть такой диалог:

— Алеша, веруешь ли ты в Бога?

— Верую всем сердцем моим и более, чем когда-нибудь.

— А можешь принять? — Алеша молчит.

— Можешь понять, как мать обнимет генерала?

— Нет. Еще не могу. Еще не могу.

и Иов не может, а вслед за ним и Достоевский» (я воспользовался машинописью, воспроизводящей текст автора без редакторской правки).

Нельзя благодарить Бога в газовой камере. Но можно понять, что Бог не извне страдальцев, что он вездесущ и страдает вместе со всей твердью, как Христос на кресте. На какой-то глубине мы вдруг выдерживаем взгляд на мир глазами Бога — одновременно внутри страдания и вне страдания. Взгляд, который Бог подарил Иову.

Мне некому вернуть билет,
Мне некого проклясть.
И у души отдушин нет,
Куда б излиться всласть.
И никого на стороне.
Никто не виноват,
А я во всём и всё во мне,
Весь рай и целый ад.
И смерть не выход. Нет как нет
Во мне небытия.
Перед собой держать ответ
Всю вечность буду я.

Зинаида Миркина

Бог откликается на вызов. Чем интенсивнее вызов, тем вероятнее ответ. Вызов на суд может быть ближе Богу, чем формулы благочестия. Когда вся душа вкладывает себя в вызов — Бог отвечает (не на формулы, созданные умом, а на порыв сердца). И явление Бога в сердце преображает его. И тогда приходит чувство собственной ответственности за весь мир. До этого Иван Карамазов не доходит. Он остается на пороге. Он колеблется в самой вере. Он мыслит «Если Бога нет...». Тогда нигилизм. Тогда смердяковщина. Отсюда двойственное отношение Достоевского к Ивану Карамазову. И все же бунт Ивана Карамазова — это бунт Достоевского, и в Иване Карамазове он борется с самим собой. И эта борьба — плоть и кровь религии.

Благочестие, обряды, таинства ее не исчерпывают. «Чин» религии — только напоминание о глубине, только противовес дробности мира, в которой слишком легко затеряться. Религия позволяет понять затерянность в мире как потерю Бога, как богооставленность, и толкает к молитве, к

открытию Бога как собеседника. Для атеиста затерянность — это только затерянность, абсурд, потеря смысла, трагический тупик.

Ребенок играет, не думая о смысле. То, что его увлекает, еще не оторвано от смысла, от целостности бытия. Жизнь связана для него «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Каждая игрушка — узел. Вопрос о смысле жизни — признак потери смысла. Взрослые осознают эту потерю, ставят вопрос о Смысле и находят ответы. Но все ответы, остающиеся на словах, — выцветшие синие птицы. Они сверкают небесной синевой в миг открытия и блекнут, когда что-то, стоящее за словом, исчезает. На уровне слов всегда можно сказать человеку, нашедшему смысл: «А зачем?».

Арджуна не хотел выполнять свой кастовый долг воина, он не видел смысла в битве. Кришна отвечает примером: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы все миры. И потому сражайся, Бхарата!». Но может быть, они не многого стоят, эти миры, полные страдания, и лучше небытие, угасание мук? Внутренняя сила ответа Кришны не в логике, а в чувстве. Кришна захватывает Арджуну своим творческим огнем. Его ответ так же нелогичен, как ответ Бога Иову, и так же захватывает.

Этот захват — едва ли не главное в искусстве. Художник нарисовал кувшин. Что нас остановило? Почему я простоял минут десять около натюрморта с селедкой (Сутина, если я не ошибаюсь). Всамделишная селедка интересна только одним: своим вкусом. Нарисованная — она становится символом. Символом Целого, присутствующего в любой дроби. Символом творческого состояния художника, увидевшего Целое сквозь дробь. Творческое состояние художника само по себе Божественный узел, и в искусстве мир становится сетью Божественных узлов, Божественной сетью, второй Божественной сетью. Первая Божественная сеть — сама действительность: «Бог — поэт наивысший», — сказал Тагор. Но только поэт видит мир как создание Поэта. Откликаясь на красоту природы и доводя до красоты мир торопливо сделанных человеком, несовершенных вещей. Связывая заново мир, разорванный, рассеченный хлеба ради насущного.

Зачем мы идем в театр? «Что нам Гекуба», — спрашивает Гамлет. Что нам Гамлет? Почему мы выходим из театра обновленными? В чем суть катарсиса (не только в трагедии; во всяком искусстве)? В творческом состоянии художника, которое искусство передает. В углублении жизни до уровня, на котором законы дробного мира слабеют и сквозь дробный мир проступает великое Целое. Все равно — через спектакль из пяти актов или через тихую жизнь вещей, схваченную на полотне.

Зачем мы подымаемся в гору и застываем на ее вершине? Чтобы увидеть картину кисти Иеговы. Почему это созерцание — важнейшее дело (или, как говорят аскеты, — делание)? Потому что без созерцательного делания дело становится рядом дел, потерявших связь, и теряется смысл. Герой чеховской «Скучной истории» занимался хорошими и полезными делами, но потонул в своих делах, потонул в дробности, потерял Целое, потерял смысл. Потому итог его жизни и стал «скучной историей».

Выход не в безделье и не в пренебрежении грубой работой ради особой, одухотворенной. Думаю, что у чеховского профессора были часы одухотворенного труда. Но он не пропитал каждый свой день чувством Целого. А средневековый китайский поэт Пан Юнь нашел Божественный узел в самом простом: «Как это сверхъестественно! Как чудесно! Я таскаю воду, я подношу дрова!».

Об этом же самом говорит суфийская притча. Учителю рассказали о человеке, которого дух возносит над землей. «Птицы летают еще выше», — ответил шейх. «А такого-то видели сразу в двух местах», — не унимались ученики. «Дьявол может быть сразу в тысяче мест». — «Что же есть высочайшее?» — «Пойти на базар, купить провизию, приготовить обед — и не забывать Бога».

Сегодня эта задача стала гораздо труднее, чем прежде. Очень уж далека от природы современная работа, очень уж разделилась на множество работ и требует полной отдачи всех сил частным, дробным задачам. Время для созерцания — только в паузах, и не во всякую паузу под руками природа, или картина художника, или великая музыка.

Молитва возможна всегда. Молитва возможна и для верующего, и безо всякого символа веры. Я понимаю символы и догмы как словесные иконы, за которыми скрывается непостижимый лик Бога, так же как за хорошей иконой, писанной красками. Мне достаточно понимать, что целостная вечность не менее реальна, чем мир пространства и времени. И что Целое есть полнота бытия, максимум бытия, полнота всех качеств в простом единстве, ближайшее подобие которого — «сильно развитая личность» (выражение Достоевского, под которым он понимал подобие Христа). Целое может быть воспринято как личность, как божественное Ты, реальность которого раскрывается в диалоге с Я. Это Ты грозит исчезнуть, когда мы начинаем рассуждать о Боге в третьем лице[4]. Но в молитве оно реально. И в молитве всплывают образы искусства, рожденные в молитве и медитации.

Молитва и медитация веками сплетались с искусством. Каждая литургия — такое сплетение. Каждый культ обрастает художеством, и без художества трудно себе его представить. Этот опыт истории стоит перед моими глазами, когда я вплетаю молитву или медитацию в созерцание природы и искусства. Возвращение к молитве не стало для меня разрывом с поисками катарсиса. Я думаю, что и в Греции катарсис нес на себе отпечаток религии, и в Новое время театр называли храмом. Меняются формы переплетения. Сегодня они могут быть и каноническими, и свободными от рамок канона; важен всегда только канон творческого состояния, внутренняя верность глубине, внутренний настрой на глубину.

Христианская молитва возникла в языческое время, когда искусство было языческим, а природа казалась полной демонов. И мир молитвы подвижников противостоял всему мирскому. Так же обстоит дело с

---

[4] См.: *Бубер М.* Два образа веры. Предисловие Г.Померанца. М., 1995.

медитацией в раннем буддизме. Потом ревнивая исключительность стала слабеть. До конца ее преодолел буддизм дзэн. В его живописи каждая травинка может стать иконой, каждый цветок единосущ Будде и связан с ним «неслиянно и нераздельно». В христианстве эстетическое и религиозное до сих пор не совсем слились. Достоевский подходит к этой задаче трижды: в словах «мир красота спасет», в статейке Ивана Карамазова о церкви, которая должна стать всем, и в Сне о планете смешного человека, где вовсе не было храмов. И лучи заходящего солнца становились для него, как для св. Василия Великого, «благодатью вечернего света».

Как-то ко мне подошел человек и спросил, что ему делать. У него совсем нет интуиции, о которой я говорю. Я посоветовал принять любое вероисповедание и держаться его рамок. Канонические формы тем больше нужны, чем меньше непосредственное чувство глубины. Великие мистики почти всегда нарушают каноны. Поэту, в минуты вдохновения, они совсем не нужны.

Православие, право славить,
Славить правильно Творца...
Только кто промолвить вправе,
Что навек и до конца
Прав? Что правду Божью зная,
В самом деле служит ей?
Разве иволга лесная,
Разве только соловей?

Зинаида Миркина

Когда я глубоко живу, я вижу общую почву, из которой растут все высокие религии, все религии, обращенные к целостной вечности. Образом этой целостности света, еще не распавшегося на цвета спектра, может быть икона Христа или Троицы (как у Рублева), или незримый Бог Ветхого Завета, Бог Корана, аватары Вишну, буддийская Трикайя (три тела Будды — буддийский предшественник христианской Троицы). Можно создавать и новые образы. Достоевский создал новый символ веры в известном письме Фонвизиной, и я отношусь к этому символу совершенно серьезно. Бубер создал новый символ в своем учении о Я и Ты — о реальности, проступающей в молитве и исчезающей в размышлениях. Новые символы веры рождаются из сомнения в старых символах, как Афродита из пены. Все символы веры рождаются из чувства бездны, ставшего чувством света. Это слова, от которых раскрылись крылья и вознесли над бездной одного единственного затерянного человека, а потом уже традиция.

Есть люди, для которых религия — это ломбард, в котором хранятся семейные сокровища. Для Достоевского это вечный кризис веры и вечный поиск выхода из кризиса. Вера как кризис объединяет подвижников разных вер, вплоть до буддизма дзэн с его великим сомнением накануне

великого сатори (просветления). Целое, раскрывшееся в муках, может стать собеседником, как лицо, и окутать, как туман, стать светом и тьмой, чреватой вспышками огня. Образ Целого — и человек, подобный Богу, и дерево. «Старая сосна проповедует мудрость, и дикая птица выкрикивает истину», — написал японский поэт. И Мышкин говорит: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?».

«Измерение молитвы», о котором я прочел у Антония Блума, так за реально, как долгота и широта. Но *одно* измерение, наряду с другими, а не единственный подступ к глубине. Благословенны все пути к ней. Молитва — помощница человеку во всем добром. В том числе — в созерцании красоты.

Мне запомнились слова Антония Блума: «помоги мне молиться». На первый взгляд — странно: просить Бога, чтобы он помог молиться Богу. Но чем дальше, тем больше меня это захватывало: «помоги». Антоний почувствовал Бога-Личность как помощника, и это вошло в меня. Я прошу *помочь* мне затихнуть в созерцании, помочь мне собраться под образом любви, помочь мне принять мир таким, каким Бог его создал, не умножая зла своим нетерпением. В юности я не имел этой помощи и очень долго созерцал бездну тьмы, пока в ней не забрезжил свет. Можно было свихнуться. Сейчас я вспоминаю чувство бездны, чтобы сразу же попросить поддержки, попросить помочь мне расправить крылья.

Я пытаюсь взять в предании то, что не обветшало, что и сейчас живет. И не боюсь брать из нескольких традиций сразу. Я принимаю помощь отовсюду, где нахожу ее. Я не становлюсь рабом традиции и не участвую в споре: какая традиция лучше. Или что выше: религия в рамках догмы, свободное от догм искусство, созерцание природы, любовь... Всё может быть Путем, и все пути в глубину сходятся. Мой покойный друг Владимир Казьмин писал: всякая картина стремится стать иконой, всякое здание — храмом, всякое стихотворение — молитвой.

Граница между поверхностью и глубиной, тьмой внешней и царствием внутри нас не совпадает с границами церкви, уммы, сангхи. В каждой церкви есть свой темный двойник, свой Ферапонт. Штейнер говорил об аде для любителей природы (для которых созерцание становится наслаждением, гастрономией). Так же можно сказать об аде для ревнителей буквы традиции, в ущерб духу, веющему всюду. Символы — наши помощники, а не господа. И каждый куст может стать символом, — если наши глаза достаточно зорки.

Путь в глубину — постоянно открытый, постоянно вновь начинающийся процесс. Каждый истинный путь — такой процесс: молитва, медитация, созерцание Божьего творчества в природе, любовь к ближнему... У художника таким путем может быть одержимость его искусством. И лучше всего, если несколько путей сплетаются вместе.

Юрий ОКЛЯНСКИЙ

КАКТУС

*Записки очевидца**

I. Был — и нет?..

Леонид Максимович Леонов всегда казался мне фигурой загадочной и странной. На советском литературном ландшафте его личность вздымалась высоко, но одни его чтили, а другие при всех режимах подозрительно на него косились.

Уже на излете своего правления, когда отмечался юбилей литературного патриарха, его почтил на дому тогдашний генсек и глава государства М. Горбачев. За всю историю страны такой чести удостаивались только два писателя. В сталинские времена — Горький, в хрущевские — Шолохов.

О Леонове за советское семидесятилетие нагромождены монбланы критической литературы, ученых трудов и диссертаций, вокруг которых беззвучно плещутся необозримые воды устных славословий (впрочем, иногда и хулы). Вступительная статья к последнему десятитомнику Л. Леонова (М., 1981) открывается заявлением: «Настоящее собрание сочинений знакомит читателя с творчеством одного из крупнейших писателей XX столетия...».

Статьи, носящие заголовки с ключевыми словами «Мировое значение...» или «Роман Леонида Леонова... и мировая литература», не иссякли и в наши дни. Правда, это по преимуществу издания так называемого «патриотического» и «почвеннического» толка, стремящиеся извлечь собственные дивиденды из мало-мальски располагающих к тому фигур и ситуаций. В журнале «Наш современник», вслед за публикацией в 1994 году последнего романа «Пирамида», был начат и ведется по сей день постоянный раздел «Мир Леонова».

Юрий ОКЛЯНСКИЙ — родился в 1929 году в Воронеже. Окончил филологический факультет МГУ. Прозаик, литературовед. Работает по преимуществу в жанре писательских биографий. Основные книги: «Оставшиеся в тени» (М., 1987), «Счастливые неудачники» (М., 1990), «Роман с тираном» (М., 1994), «Гарем Бертольта Брехта» (М., 1997) двухтомник «Шумное захолустье» (М., 1997). Живет в Москве.

* Журнальный вариант.

Впрочем, апологетические тона и прежняя инерция песнопений преобладают иногда даже в серьезных трудах новейшей поры. Таков, например, объемистый, в пять сотен страниц, сборник «Из творческого наследия русских писателей XX века. М. Шолохов. Л. Платонов. Л. Леонов» (Санкт-Петербург, 1995).

Это — с одной стороны. А с другой, как положено в расколотом обществе, звукам фанфар противостоит нечто совсем иное. И — достаточно мощное. Убедиться в этом мне привелось на собственном опыте.

Эти «Записки» возникли полтора года назад. И вскоре выяснилось, что напечатать их в периодике не так просто. Журналы, оборонявшие традиционные предания о советской классике, как полковое знамя, заведомо исключались. Не попытать ли счастья в таком случае у их антагонистов? После некоторых раздумий я и отнес очерк в один из ведущих столичных «толстых» ежемесячников.

Записки прочитал лично главный редактор. В назначенный день он принял меня в своем светлом просторном кабинете, излучавшем дух уверенности и благополучия. Автора он обласкал. Но о предмете описаний с принужденной скорбью в голосе, полагающейся разве что на заброшенном кладбище, вальяжно и раздумчиво произнес:

— Зачем — Леонов?! Почему — Леонов?! Я, человек еще более старшего поколения, чем многие наши читатели, еще кое-что помню о нем. Когда-то читал, изучал. Вашу документальную повесть прочел с интересом и даже с некоторой пользой для себя. Но для основной массы наших читателей это — гладкое место. Ровное ничто. Был писатель Малашкин, и нет писателя Малашкина...

— Но Леонов все-таки не Малашкин, — попробовал слабо обороняться я. — Да и Малашкин, если он жил в литературе, тоже, наверное, представляет какой-то интерес. Наш долг, так сказать, хранить историческую память...

— Нет, нет! — увлеченный своей мыслью, продолжал редактор. — А «Пирамида»?! Это последнее его сочинение?! Не то философский трактат, не то роман! Надо брать себя за шкирку, чтобы усадить под зеленый абажур. Кто вытерпит! Я эту «Пирамиду» не читал и теперь понял из ваших описаний, что и читать не нужно. Какая гора бесполезного труда! Сопоставимая разве что с этой многотомной эпопеей — «Красным колесом» Солженицина...

Я понимающе улыбнулся, заодно оценивая про себя как известную точность редакторского сравнения, так и мгновенно пронесшуюся в голове картинку из недавнего «перестроечного» прошлого. Тогда все демократические журналы чуть ли не насмерть бились друг с другом за честь первыми запечатлеть на своих страницах хотя бы последнюю спицу, если не винтик, из громоздкого солженицинского «Колеса»...

Теперь, конечно, другие времена. Первейшей важности общественными событиями стали всякого рода постмодернистские литературные тусовки. А фокусничания и кривляния Пригова или Курицына на жур-

нальных площадках, очевидно, куда ценней и важнее, чем какой-нибудь Леонов. Все ясно. С редактором мы расстались почти друзьями.

Словом, что касается нынешней репутации Леонова, как она отражена в текущей журнальной прессе, то фанфарам и словословию в «патриотическом» и «почвенном» стане противополагается полная немота и глухая яма беспамятства на другой стороне. А между тем талант, особенно выдающийся, со всеми своими взлетами, падениями и хворостями, — всегда загадка, сюрприз, неожиданность, всегда тайна.

Об этом — и предлагаемые «Записки».

II. Некролог Марка Щеглова

Первый непредсказуемый «выбрык» Леонова поразил меня в тот момент, когда пришла весть о смерти критика Марка Щеглова. Случилось это в начале сентября 1956 года. Марк Щеглов внезапно умер в Новороссийске во время бархатного черноморского сезона от туберкулезного менингита. Ему было тридцать лет. А печатался он всего три года. Но к назначенному ему взлету будто готовился всю жизнь. И потому успел сделать очень много. Он написал смелые, как-то легко и свободно отметавшие прежнюю окостенелость работы по истории литературы — о Льве Толстом, А. Блоке, С. Есенине и А. Грине; острые проблемно-теоретические статьи — о драматургии, жанре очерка, художественной детали. И, конечно, прежде всего — цикл блистательных статей и рецензий о писателях-современниках — Вс. Иванове, В. Некрасове, С. Антонове, В. Бианки, И. Лаврове...

Была написана им и эта, не знаю уж, как ловчее назвать, — судьбоносная или роковая, — статья «Русский лес» Леонида Леонова». Безусловно, одна из лучших его статей. Однако же больше других навлекшая на себя и газетной брани, проработок и последующих утеснений для автора. Ее напечатал А. Твардовский в журнале «Новый мир» (1954, №5).

Статья М. Щеглова попала затем в постановление ЦК КПСС в обойме еще с тремя громкими литературно-критическими выступлениями журнала. Это были статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе», Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» и М. Лифшица — о дневниках Мариэтты Шагинян. Наряду с «линией» литературно-критического раздела, другой крамолой редакции сочтено было намерение А. Твардовского опубликовать в очередном, июльском, номере за 1954 год свою, как было сказано в партийном постановлении, «идейно-порочную и политически вредную» поэму «Теркин на том свете». Вскоре за тем последовало смещение с должности А. Твардовского — так называемый «первый разгром» журнала «Новый мир».

Однако начну по порядку.

Марк Щеглов в университетские годы учился на нашем курсе филологического факультета МГУ. Помню первое упоминание о нем, попавшееся на глаза в нашей составленной из кусков ватмана долгой, во весь простенок, курсовой стенгазете — младшей сестре факультетской «Ком-

сомолии». Это была напечатанная на машинке чья-то призывная статья. Дескать, в клинике с диагнозом «туберкулез позвоночника» вот уже не первый год лежит нынешний студент-заочник Марк Щеглов. Он прикован к постели, не может посещать лекции, нуждается в конспектах, учебниках и дружеском внимании. А человек, мол, яркий, интересный. Так что кто желает помочь и пообщаться — приезжайте, приходите по адресу... Дружно поможем Марку Щеглову!

Мне в то время было не до Щеглова. Незадолго перед тем, осенью 1949 года, вторично арестовали отца, заводскую квартиру у «врага народа» отобрали. Мать с двухлетней сестренкой на руках вынуждена была впопыхах бежать из Москвы к сердобольной провинциальной родне. Я с большим трудом, полулегально втиснулся в студенческое общежитие, кое-как существовал на стипендию. Был я рьяный, дремучий комсомолец, бригадир на стройке нового здания МГУ, комсорг, староста и т.п. Одним словом, ходячая пропагандистская схема — мог только таращить глаза, но не взять в толк, что происходит вокруг, в моей семье и со мной лично. Хотя сердце болело.

На нашем, в целом благополучном, привилегированном филфаке я изо дня в день носил в себе мучительную тайную хворь, истинный смысл которой сам плохо понимал, но о которой некому было сказать, не с кем поделиться. Двадцатилетний молодец, кровь с молоком, не сознавая того, я ощущал себя в глубине души немощным калекой, вроде того, из стенгазетовской статьи. Однако моих увечий и ран никто не хотел замечать. В бодром хороводе беспечальной студенческой юности они были стыдные, лишние, ровным счетом никому не нужные, так что известие об очередном «Павке Корчагине», в каковых, судя по газетам, радио и книгам, в нашей стране и прежде не было недостатка, могло вызвать у меня лишь очередной укол томящего сиротливого недуга.

Самого Марка Щеглова я увидел в университетской аудитории лишь через год или полтора. Наши университетские жалельщики выходили-таки парня. Он сидел на скамье, отложив по обе стороны свои костыли, полный, грузный, в коричневом пиджаке, над которым вздымалась большая светловолосая лохматая голова без шеи. Он казался горбуном, настолько сильно болезнь искривила его.

Я не люблю физических уродств. Все виды разрушения плоти напоминают мне о будущей гнили, о смерти. В жаркий июльский день я не мог принудить себя коснуться губами лба лежащей в гробу матери, которую любил больше всего на свете. Это объясняет ту внутреннюю отстраненность, которая долго сохранялась в моих отношениях с Марком Щегловым. А человек он был чудесный. Даже в пору обострения болезни это был жизнелюб, озорной философ, человек внутренне свободный, распахнутый навстречу всем впечатлениям бытия и, несмотря на свои костыли, даже физически подвижный, хотя капли пота в момент таких прыгающих бросков-передвижений сочились с его крупного лба. И был он музыкален, и как-то многокрасочно талантлив; хочется сказать — как сочинитель светомузыки, недаром любимым его композитором был Скрябин.

Помню, как на глухой площадке последнего этажа университетской лестницы, где в кружок были составлены стулья, в группе энтузиастов Марк сочинял репризы для курсового капустника. Самые острые и необидные шутки выходили у него. Помню Марка, задумчиво устроившегося на парапете возле памятника Ломоносову, поодаль и наискосок от входа в главный корпус старого здания. Марк нежился на весеннем солнышке, щурился, попыхивая папироской. Умное, доброе, приветливое ко всем лицо. Помню Марка прямо на полу, обмякло привалившимся спиной к стене (мебели в комнате еще не было) на новоселье у молодоженов Виктора Балашова и Тамары Смородинской во время дружеской вечеринки недавних сокурсников. Он наигрывал на гитаре, пел. Все мы, как разбойничий или цыганский табор, тоже сидели вдоль стен на полу. Ели и пили с покрытых газетами табуреток, а говорили о возвышенном — о литературе, искусстве. Осталась в памяти и чья-то острота того вечера, кажется, неизменного нашего физорга Леши Масягина: «Восходящая звезда подернулась легким облачком!».

Это было как раз в тот момент, когда печать громила статью о романе Л. Леонова «Русский лес».

Марк Щеглов был скромным и естественным человеком. Никакой натуги и выспренности он не любил, а меня так и тянет пришпилить к нему историко-литературную этикетку или дефиницию: чем он стал для восходящей и обнадеживающей поры общественного пробуждения — первых лет хрущевской «оттепели»?

Но без этого уж, видно, не обойтись.

Показательные слова написал о М. Щеглове в своих воспоминаниях Владимир Лакшин, тоже наш университетский однокашник. Лакшин был моложе Щеглова, и в 1954 году, когда впервые пересеклись их дороги, будущий «новомировец» и идеолог литературного шестидесятничества, а тогда двадцатилетний студент, не без оснований смотрел на Щеглова снизу вверх, как на корифея. Два талантливых человека быстро поняли друг друга, сдружились.

«Он с охотой помогал мне в первых моих литературных опытах, — вспоминает В. Лакшин, — терпеливо выслушивал то, что я написал, поправлял, советовал, как сделать лучше. Помню, в университетском садике я читал ему по блокноту свою первую рецензию. Наверное, она была из рук вон плоха, но Марк по обычной своей благожелательности не стал меня бранить, заметив только: «Знаешь, никогда не надо перемигиваться с читателем, вести себя с ним запанибрата» (у меня были обороты вроде: «Читатель имел случай убедиться...», «Как читатель уже догадался» — я вычеркнул их и испытал облегчение). С другой моей статейкой он сам ходил в газету «Советское искусство», свернув ее трубочкой и прикрепив к костылю...»[1].

---

[1] *Лакшин В.* Открытая дверь. Воспоминания, портреты. М., 1989. С. 21.

С рукописных свитков, прикрепленных к костылям Марка Щеглова, входили в литературу и другие наши университетские однокашники — Владимир Турбин, Виталий Сквозников, Юрий Суровцев...

У меня хранится третье издание сборника М. Щеглова «Литературная критика», выпущенного «Худлитом» в 1971 году. На форзаце дарственная надпись: «...от матери автора — Неонилы Васильевны Щегловой-Кашменской. 12.III.1971 г.».

Значит, 12 марта и проходил тот памятный вечер на дому, а точнее, в маленькой комнатушке коммунальной квартиры в Электрическом переулке, в былой — переоборудованной — ванной (были же квартиры у богатеев!), где ютился с матерью покойный Марк. Мы, что называется, обмывали выход книги.

Даже и полтора десятка лет спустя после смерти автора две статьи в этом сборнике — «Русский лес...» и «Реализм современной драмы» в издательстве «Худлит» протискивались с трудом. Ведь постановление ЦК КПСС, которое блюла цензура, никто не отменял, а Александр Корнейчук, одна из пьес которого во второй статье была убедительно разделана за пошлость и безмыслие, благополучно здравствовал и оставался членом ЦК партии, семикратным призером по обладанию Сталинской и Ленинской премиями. Между тем эпоха «оттепели» давно отчалила в прошлое, и в общественную жизнь тихой сапой вползал неосталинизм.

Моя лепта в поддержку книги была сугубо вспомогательной. Я в то время работал в Союзе писателей СССР, консультантом по критике. Издательство искало «подпорок». И я тут кое в чем сумел подсобить. Организовал нужный звонок сверху, доставил в редакцию текст внутреннего отзыва К. А. Федина, в котором он еще раньше одобрил обе статьи. Соединенными усилиями книгу удалось выпустить без урона. Всему этому мы и радовались тогда дружеской компанией.

В тот вечер на месте Марка сидел и играл на его гитаре Володя Лакшин. Были и другие однокашники. Мы много пели, пили и веселились. Его товарищи, каждый из которых что-то духовно воспринял от Марка.

Безусловно, М. Щеглов стал критиком номер один начальных лет послесталинской «оттепели» (вот она, если угодно, — искомая дефиниция!). Но по масштабам таланта и по тому, что успел сказать, он был, возможно, и одним из самых выдающихся критиков литературы советского периода в целом.

В хрущевскую «оттепель» у наиболее значительных и самобытных писателей впервые за много лет появился собеседник. И он вступил с ними в диалог естественно и свободно, равновеликий, без реверансов и приседаний, без набившего оскомину за предшествующие десятилетия галантерейного холопства — самые неприкасаемые и забронзовевшие классики совлекались с их прижизненных постаментов. Это был знак нового, послесталинского времени, его примета.

Одну из своих крамольных статей — «Реализм современной драмы» — М. Щеглов передал в сборник «Литературная Москва», редактором кото-

рого был Эммануил Казакевич. Уже летом 1956 года, перед последним отъездом на юг, Щеглов вместо отзыва на статью получил от него письмо, которое позже было извлечено из бумаг его архива. «Дорогой Марк Александрович!... — писал среди прочего Э. Казакевич. — При чтении я испытывал восхищение, давно уже не сопутствовавшее чтению критических статей. Что говорить! Думаю, что в Вашем лице советская литература — может быть, впервые — приобретает критика выдающегося. Я не боюсь сказать Вам это: глубокий ум, который Вы так блестяще обнаруживаете, легко оградит Вас от самодовольства перед лицом чьих бы то ни было похвал — моих или людей более значительных, чем я».

Вот почему неожиданную утрату так горько оплакивали все. Необычайно большой некролог Марка Щеглова, напечатанный в «Литературной газете» и воспроизведенный затем в сборнике «Литературная Москва», местами звучал как творческий манифест на примере реальной биографии ушедшего: «Щеглов принес с собой на журнальные страницы запас молодой очистительной злости. Он ненавидел в литературе фарисейство, высокопарную мнимо-идейность, воинствующий примитив, полуправду...» — и т.д. Красноречиво было уже само число подписавших некролог литераторов — более пятидесяти. Среди них — первые писательские имена: А. Твардовский, К. Федин, И. Эренбург, К. Чуковский, К. Паустовский, В. Катаев, Б. Пастернак, И. Сельвинский, В. Каверин...

Не было там только Леонова. Это выглядело намеренной публичной демонстрацией, всеми было замечено, и об этом некоторое время гудела московская литературная среда.

А внешним образом произошло вот что.

О постановлении ЦК КПСС по поводу журнала «Новый мир» я в то время понятия не имел. О нем достоверно знали лишь лица из узкого круга высокопоставленной литературной номенклатуры. Знали и, блюдя железную немоту сталинских времен, держали рот на замке. Не ведали толком об этом секретном партийном документе даже сотрудники «Литературной газеты», собиравшие подписи под готовым некрологом.

Одним из них был мой давний друг и приятель Артем Анфиногенов, в прошлом военный летчик, начинавший пробовать свои силы в научно-популярном жанре. Его очерки о станциях по исследованию космических лучей на Северном полюсе и в других местах страны одобрил в письме сам Леонов. Он-то с легким сердцем и вызвался позвонить именитому писателю. А тот вдруг заклекотал в телефонную трубку: «Нет! Нет и нет! Никогда! И не буду! И обойдетесь без меня!».

Кажется, позже он объяснил тому же Анфиногенову: «Этот мальчик попортил мне слишком много крови!».

Надо ли говорить, на чьей стороне были мы, все, как один, тогдашние вольнолюбцы, упоенные озоном забрезживших в обществе перемен? Близорукие дон-кихоты! Мы ненавидели начальство, возмущались тупой разнузданной бранью против «Нового мира». И мы, естественно, считали, что М. Щеглов во всем прав, а Леонов не прав. Ну, разве там в каких-то пустяках,

мелочах, в какой-то блохе ущемленной дал промашку! Но стоит ли это принимать в расчет?! Мы содрогнулись, узнав об отказе Леонова подписать некролог. Мы гневались на него, мы его осуждали. Все, как один.

А Леонов? В чем все-таки было дело? В том ли, что в нем взыграла гордыня, и потому-то лауреат Сталинской премии первой степени (за пьесу «Нашествие», 1943 г.) и оскорбился так на единственную за послевоенные годы нелицеприятную статью о себе? В 20-е да и в 30-е годы его книги, по собственным его словам, действительно, «прошли через строй шпицрутенов», но ведь с дипломом сталинского лауреата мастер обрел вроде бы, наконец, твердую почву под ногами, получил охранную грамоту от критики. И вот — на тебе!..

Или может быть автор «Русского леса» знал о чем-то больше нас и спустя два года после появления статьи М. Щеглова действовал вполне обдуманно и хладнокровно? Может быть, на своем месте он иначе почему-либо и поступить не мог?

А может быть, помимо оскорбленного самолюбия и привходящих тактических соображений, причина была еще и в каких-то непременных и дорогих для него идейно-творческих принципах?

Словом, вполне могло быть разное — и то, и другое, и пятое, даже все вместе, достаточно темный и запутанный клубок, но все же — почему более чем осторожный и даже пугливый Леонов решился на публичную демонстрацию? Не проще ли ему было у свежего гроба присоединиться к печальной церемонии и поставить свою подпись под некрологом?

III. Тогдашнее закулисье

Раздражение, притом немалое, конечно, было. Его отзвуки слышатся даже в журнальной беседе много лет спустя, где Леонов касается злободневно-публицистических мотивов романа «Русский лес». В сталинские времена писатель старался пассивно оборонять лесоводов, которые, подобно одному из главных героев романа Вихрову, отстаивали идею «постоянного пользования лесом путем его воспроизводства». В услужении у хищных монополистов лесозаготовок находилась целая свора лжеученых, которых в романе среди прочих воплощает крупно выписанный «вертодокс от науки» Грацианский. На наиболее упорных и неуступчивых ревнителей истины начались гонения. Вплоть до того, что защитников разумного лесопользования, рассказывает писатель, «...стали сажать, обвиняя в стремлении лимитировать социалистическое строительство. Борясь за лес и лесников еще во времена Сталина, я имел единственный способ спасти их, а именно очернив Грацианского, привязав его к охранке, хотя ничего не понимавший Щеглов в чем-то обвинил меня...» («Наш современник», 1994, № 8, с. 192).

Беседа, опубликованная журналом, происходила в ноябре 1981 года. Почти уже три десятилетия минуло с появления статьи М. Щеглова. А Леонов всё еще не остыл!

Существовали и некие практические резоны к тому, чтобы Леонову осенью 1956 года было невыгодно даже и косвенно объявлять в печати о какой-либо солидарности со статьей М. Щеглова о своем недавнем романе. Ведь вольно или невольно именно так могла быть истолкована кем-то его подпись под некрологом покойного критика, который, кроме громкой и всем известной статьи о «Русском лесе», чутко нащупавшей художественно уязвимые места романа, ничего другого о Леонове не писал.

Несколько лет назад были впервые переданы гласности многие факты тогдашнего руководящего партийно-литературного закулисья. Опубликована прежде всего целая папка документов из архивов ЦК КПСС, связанных с «первым разгромом» журнала «Новый мир» («Едва раскрылись первые цветы...» «Новый мир» и общественные умонастроения в 1954 году. Публикация документов Ан. Петрова. Изложение и комментарии Ю. Буртина. — «Дружба народов», 1993, № 11, с. 208—239). Авторы проблемного обзора убедительно показывают, что высшими партийными функционерами первоначально замышлялась сверхкрутая акция, полностью воскрешающая ждановщину — дух послевоенных идеологических постановлений типа «О журналах «Звезда» и «Ленинград».

Начальный план из-за личного вмешательства непоследовательного реформатора Н. С. Хрущева не вполне удался. Накалить идеологическую атмосферу в стране до желаемого сталинско-ждановского градуса — не получилось. Но и без того сделано было немало.

«ЦК КПСС отмечает, что редколлегия журнала «Новый мир» допустила в своей работе серьезные политические ошибки, выражающиеся в опубликовании статей В. Померанцева, М. Лифшица, Ф. Абрамова, М. Щеглова, огульно охаявших советскую литературу и направленных против принципов социалистического реализма». Такие формулировки одного из промежуточных проектов постановления перешли затем с небольшой редактурой в основной текст.

Однако — в отличие от нарочито широковещательных ждановских идеологических погромов — постановление ЦК от 28 июля 1954 года оставалось закрытым. Неопубликованную поэму «Теркин на том свете» упоминать в печати было не разрешено. И оттого еще с полгода или больше в прессе и с высоких трибун продолжали с непонятной яростью полоскать лишь статьи четырех критиков. При этом тогдашний глава Союза писателей СССР А. Сурков и другие первейшие проводники партийной линии неизменно выруливали на тему, как злокозненным журналом был «ошельмован» замечательный русский художник Леонов и его патриотический роман «Русский лес».

Если и не всё, то многое из этого, в отличие от нас, зеленых литературных юнцов, конечно, прекрасно знал Л.М. Леонов. С декабря 1954 года он сам был членом сурковского «писательского Политбюро» (секретарем руководящего Секретариата правления СП СССР и председателем Литфонда СССР).

К скорбной для нас осени 1956 года, когда умер Марк Щеглов, знал он и еще кое-что.

В ноябре 1956 года в ЦК КПСС и Совете Министров СССР затвердили, наконец, давно ожидавшееся решение о восстановлении ленинских премий в области науки, техники, литературы и искусства. 19 декабря того же года (то есть почти мгновенно!) Секретариат правления СП СССР, проходивший под председательством А. А. Суркова, единодушно выдвинул на соискание ленинской премии роман Леонида Леонова «Русский лес». Кандитатура, как видно, давно витала в руководящих кулуарах. И 22 апреля 1957 года автор романа стал лауреатом Ленинской премии номер один по литературе.

Таковы привходящие обстоятельства, которые тоже могут как-то объяснить, вероятно, решительный отказ Леонова склонить голову перед памятью выдающегося критика.

Но оставим их в стороне. Оставим в стороне все — и разобиженное самолюбие, и малодушную оглядку на верхи, и славолюбие — желание непременно получить высшую литературную награду, и т.п. — всю эту ползучую эквилибристику и рассыпающуюся в прах злобу дня. Те знания, которые дарит нам дистанция лет, все яснее высвечивают сегодня более важное — те существенные расхождения принципиального порядка, которые стояли, оказывается, за конфликтом между романистом и автором блестящей статьи. Эти-то расхождения и есть самое интересное в этой истории.

На кого же в действительности посягнул и на что поднял руку молодой критик?

IV. «Пружина жизни»

Недоброжелатели, издавна знавшие Леонова, всегда не прочь были козырнуть летучей фразой — дескать, он постоянно думает и говорит только о смерти. В какой-то мере так оно и было. Хотя Леонов думал не столько о личном исчезновении, неизбежно предстоящем каждому, сколько о братской могиле, которую собственными руками роет себе человечество.

Этих тревог и самых черных прогнозов не чужд и оптимистический в целом роман «Русский лес». Хищнические вырубки, безоглядная «стрижка планеты», изничтожение «легких Земли», лесов, — от этого неизбежно зачахнет людское сообщество, если еще раньше не сгинет от легкомысленной игры с «атомными джинами». Так это представлено в романе.

Но во всей полноте своего творческого содержания провидческая мысль Леонова выплеснулась в «подпольном» романе «Пирамида», который Леонов начал еще в годы войны, писал параллельно с «Русским лесом», а затем работал над ним еще несколько десятилетий. Можно сказать, до самого смертного часа, до последнего вздоха на больничной койке.

Только человек загадочной натуры и необычной судьбы мог почти пять десятилетий подряд писать карандашом на бумажных рулонах (тако-

ва была обычная техника его работы) это свое последнее сочинение об Апокалипсисе, этот «роман-наваждение», как он назван в подзаголовке, эту грандиозную «Пирамиду» (в публикации 1994 года около 700 страниц убористого журнального шрифта).

Пирамида, как известно, — гигантское надгробие. И такое надгробие с обреченной механической покорностью, как, видимо, делали это некогда тучи египетских рабов, день изо дня таскавших наверх камни, строит для себя, по убеждению Л. Леонова, человечество. Так может быть прочитано название романа.

Устранение Бога от человечества и человечества от Бога — источник всех бед. Торжествующий эгоизм изначально ущербной человеческой натуры, неуправляемое развитие науки и техники, бездумное уничтожение окружающей среды, безнравственность социальных доктрин и политических режимов, формующих и ваяющих по своему усмотрению податливую людскую биоплазму, — все это вдет к тому, что, как сказано в романе, земные боги будут раздавлены собственным могуществом.

Таков, без преувеличений, грандиозный религиозно-философский и космологический замысел «Пирамиды». Разные жанры и стили — космологическая антиутопия, социальная сатира, религиозно-философский трактат и даже элементы обычного семейно-бытового романа — уживаются и противоборствуют в этом сочинении. Оно сводит вместе и пытается совместить в одно целое многие мотивы, которые волновали художника на протяжении всего его жизненного и творческого пути. В этом смысле «Пирамида» — не только последнее, но и итоговое произведение Леонова. Хотя не все «итоговые» писательские книги, понятно, с автоматической непременностью вырастают в художественные вершины и шедевры. Тем более это касается романа «Пирамида», так всё же и не оконченного, композиционно и стилистически окончательно не отделанного, местами оставшегося лишь в черновых вариантах. Однако в главной и решающей своей основе произведение это все-таки, несомненно, существует.

Один из героев романа — «лазутчик из других галактик» инопланетянин и ангелоид Дымков, которого многие земляне принимают за ангела. Различные вариации вырождения и гибели, к которым подступает человечество, во время прогулок по будущему с ангелоидом Дымковым наблюдает ясновидящая дочь бывшего священника Дуня Лоскутова. Так, например, однажды она видит, как «из пооткрывшихся люков стали появляться забавные фигурки сплошь Дуне по колено», которым («скорее всего по щемящему зову сердца, нежели по внешним признакам») она не смогла отказать в родстве с собою...»

Свифтовская желчь в изображении будущего человека разлита и в такой картинке. Оказывается, другой персонаж романа, «прогуливаясь в дремучих саянских предгорьях, обнаружил под навесом скалы небольшую, полтора на полтора, колонию розоватых, с просинью, на шаткой ножке высотой с палец и, как оказалось, мыслящих грибов. Неизвестно, что именно происходило у них в тот час — месса, митинг или коллективная

медитация, — но в бормотании их, если зажмуриться, ясно прослушивались характерные стридулирующие фонемы раннего санскрита». Впрочем, не так важно даже, кем были эти «дрожащие у ног его в ожидании неминуемой расправы скромные создания» — возникшими в результате атомной катастрофы предшественниками какой-то новой популяции человечества или, наоборот, (в случае такой же атомной катастрофы) далекими его потомками. Важно, по мысли Леонова, что само существование человеческой цивилизации на Земле эфемерно. В бесконечных масштабах космоса все человечество не больше, чем грибная слизь, с которой, как с мыслящими поганками, может быть покончено ударом ноги...

Из многих Дуниных прогулок по грядущему, быть может, самая страшная та, где перед нами возникают картины «самовозгорания человечины». В духе классических антиутопий Леонов со знанием дела описывает, как с помощью виртуозных технических изобретений правители будущего получат возможность осуществлять подспудную духовную обработку людей — «стрижку умов», «машинное внушение» и т.п. Доведенные такими обработками до состояния «раскаленной бушующей плазмы», людские массы способны уничтожать всех, обладающих другой «полярностью остервенелого мозгового вещества», даже в рукопашном «братском слиянии», не говоря уж о смертоносных кнопках. И это-то и приводит к «концу» света. Людские потоки, в остервенении ненависти, двигаются друг на друга — и мир погибает.

«Возвращавшиеся из глубинных шахт, космических рейсов, экспедиций со дна морского, — читаем в романе, — заставали непривычной формы могильники, размещавшиеся преимущественно на веками натоптанных, некогда караванных тропах планеты. В силу не по сезону задержавшейся теплыни, даже при наличии мужества и в надежном противогазе, немыслимо было взглянуть поближе на терриконы падали людской, масштабно сходные, несмотря на происшедшую усадку, с пирамидами древности при округленных углах и с неприличной завитушкой наверху... Возвращаться уцелевшим стало незачем и некуда, тем более что на поверку для продолжения бытия на земле остались лишь показавшие рекорд живучести мухи, крысы да те из сомнительных счастливцев, что с поверженным рассудком проходят сквозь огненную бурю».

Этот зримый итог, достигнутый чудесами научно-технической мысли, автор «Пирамиды» саркастически именует «истинным *апофеозом разума*».

Или вот — страницы, рассказывающие о том, как в «великом самоубоище» принимает участие, кроме людей, и все живое: «Не только человекообразные пленники зоопарков, под воздействием все той же магнитной тяги повисшие на решетках, даже собаки и куры, суматошно путаясь в ногах у хозяев, спешили с ними в разгорающийся прометеев костер. Всякая насекомая тварь, крохотные чудовища и безобидные мотыльки, гигантскими роями уплотняясь на лету для нанесения инерциональной массой наибольшего урона противнику, уходила ввысь в призывающую неизбежность, откуда, из моросящей океанской мглы и тоже

вслепую, навстречу ей летела родня с обратным знаком. Слипались, кружились и в конвульсиях завихрения падали, как говорится, в набежавшую волну...».

Картинка, что и говорить, вписывается в тот же ряд, что и гора из человеческих черепов с сидящим на ней вороньем на известном живописном полотне Верещагина «Апофеоз войны». Леоновский апофеоз хрупкости цивилизации!

Чтобы не создалось впечатления, что космические идеи «литературного завещания» Леонова — некий старческий каприз, возникший более или менее произвольно, добавлю, что, напротив, похожие представления и чувствования одолевали его всегда. Даже поразительно, насколько рано картины и видения о пожирающей беспредельности космоса и хрупкости живого на Земле вселились в эту душу. Как рано откуда-то взялись, накатились такие «наваждения», как рано распахнулись ему грозные и испепеляющие бездны космоса, начав тревожить его фантазию.

Уже в 1918 году, 19-летним юношей, Леонов в числе начальных своих литературных опусов публикует такое стихотворение под названием «Орхидеи»:

Но по-прежнему жестоко, безотчетно бился разум,
Но опять тянулись к солнцу орхидейные цветки,
На экваторе, где солнце, издеваясь красным глазом,
Превращает океаны в перекатные пески...

А печатает это стихотворение юноша в газете «Северное утро» чуть ли не приполярного Архангельска...

Уважаемый мною литературовед, приведя в своей ученой книге эти строки, назидательно сокрушается: «Странно читать, например, в газете за 23 апреля 1918 года среди сообщений о войне с полчищами Вильгельма, о безработице, о подавлении восстания анархистов, о создании Коммунистической академии стихотворение Л. Леонова под традиционно-эстетским заголовком «Орхидеи».

А по-моему, такая тайна личности удивительна.

Солнце — источник жизни для всего живущего на Земле, и оно же первейшее орудие казни и расправы в распоряжении высших сил. Этой, прямо скажем, несколько языческой веры держался уже молодой Леонов. И в 23 года он достаточно ясно написал об этом в рассказе «Уход Хама», в сюжете которого разрабатывается библейское предание о всемирном потопе — первом дохристианском «конце света». Главный герой рассказа — младший сын Ноя Хам — под удары тимпана поет такую песню о сотворении мира и о грядущих судьбах Бытия: «Была пустота, и всё было одинаково... Отец сказал, чтоб земля и солнце стали быть. Солнце и земля, села! Она зачала от солнца и родила яблоню, человека и пчелу... Ярость солнца пожжет грех земли...».

Художественный нерв рассказа — попытка осмыслить воздействие высших земных сил на видоизменение человеческой природы и на мета-

морфозы самой жизни на Земле. Кстати, именно Хам — едва ли не единственный положительный герой среди обитателей ковчега. Два других сына Ноя — Сим и Иафет — и сам библейский патриарх, говоря современным языком, не выдерживают испытания высшей метой избранничества. Счастливый жребий, нечаянно вырвавший их из тьмы людей, населявших землю до потопа (большинство их было ничуть не хуже, чем они), и собственная их мессианская гордыня развязывают в них самые темные, низменные инстинкты. На глазах совершается «порча» людской природы. Только Хам остается тем же естественным человеком, какими были допотопные земледельцы и пастухи, когда «цвела земля» и «пело все, обладающее жизнью». Он — любопытствующий созерцатель, наделенный отзывчивым сердцем, поэт, певец и мыслитель. И это именно он высказывает смелую догадку, что не Бог Отец, а Его отражение «водами мрака», обретшее власть на земле, то есть князь мира, при равнодушии и попустительстве Отца устроил с помощью «пламенной дуги» солнца жуткое водяное извержение, сгубившее все живое.

Леонов рисует страшную, фантасмагорическую картину: огромное, всепожирающее солнце, встающее во время потопа из бескрайней стеклянной толщи воды, по которой вокруг одинокого ковчега плывут разбухшие трупы людей и животных, а обожравшиеся зеленые рыбы тяжко тонут в недрах глубин...

Ранний рассказ «Уход Хама» потому и можно считать «программным» в творчестве Леонова, что в нем так или иначе заявлено и наперед обозначено многое из того, что будет мучить Леонова всю жизнь. Именно тут, в частности, впервые звучит мысль о некой совокупной ответственности Бога и Дьявола за «порчу» человеческой природы. Ведь именно эта идея изначальных «конструктивных» пороков человеческой натуры, возникающих из-за «ошибочки» Творца, на чем постоянно играют сатанинские силы и что в конце концов приводит к Апокалипсису — «самовозгоранию человечины», настойчиво и многократно акцентируется в романе «Пирамида».

Вообще у Леонова нет, вероятно, ни одного сколь-нибудь значительного сочинения, где хотя бы промельком не была затронута эта не дававшая ему покоя мысль. Это то же настроение, что и на картинах Иеронима Босха, — когда над пирующим в застолье пестрым и многообразным людским скопищем обжор, смельчаков, удальцов, распутников, кривляк и шутов призрачной костлявой рукой уже занесена коса, готовая разом срезать их всех. Мысль о неотступной для всякой жизни и таящейся рядом смерти. Об изначальной незащищенности человеческого существования, о неминуемой расплате, которая ждет людские поколения за тупое бездумие в использовании своих мимолетных жизненных сроков и варварское хозяйничание на планете.

Любопытно, что исключения не составляют здесь у Леонова даже самые, казалось бы, мажорные и жизнерадостные сочинения, насколько таковые возможны, разумеется, у этого склонного к трагизму художника.

Вот, скажем, «Evgenia Ivanovna» (1938; 1963) — повесть, внешнюю сюжетную основу которой составляет свадебное путешествие молодоженов. Да и протекает оно к тому же по благословенным местам Ближнего Востока и винодельческой Алазанской долины Грузии.

Но неспроста выбрана и назначена писателем профессия мужу Евгении Ивановны — английскому ученому профессору Пикерингу. Он — археолог, обладающий «даром *допрашивать* тысячелетние камни». И о чем же легко и походя, почти на профессиональном жаргоне, не сопровождая такие слова особым ударением, рассуждает во время частных туристических вылазок мистер Пикеринг?

В сирийской пустыне, на ладони разглядывая здешние песчинки, в бесстрастном своем тоне он невзначай роняет: не исключено, что эта бурая зола была когда-то «локоном красавицы, горлом певчей птицы, лепестком шафрана»...

Так на заднем плане, ненавязчивым обертоном, опять возникает эта непременная леоновская тема.

А коммунистическая футурология «Дорога на океан»? По основному своему содержанию, по главной своей тональности этот роман, законченный в 1935 году (когда Леонов поверил в созидательный пафос индустриализации и чудо первой пятилетки), — «марш энтузиастов», гимн неисчерпаемым возможностям человека. А между тем и в нем мы находим картины и образы совсем иного плана, — ярчайшие страницы галлюцинаций неизбежного апокалипсиса — предстоящего падения Луны на Землю. Правда, видения эти, основанные на знакомстве с математическим пророчеством одного из отцов небесной механики Эйлера, принадлежат неуравновешенному и даже полукомическому персонажу. Но изображение грядущего бедствия (когда «конопатый диск будет всходить над горизонтом» по восемь раз на дню, а «люди испытают то же самое, что и всякий, к кому убийца заглядывает в окно») таково, что самой яркостью своих картин заставляет задуматься об относительности спасительных панацей всех будущих пятилеток и днепрогэсов...

Опускаю следующие звенья — от каркающих пророчеств Грацианского в «Русском лесе» о грядущей гибели земли до атомного психоза кануна Судного дня, изображенного в киноповести «Бегство мистера Мак-Кинли» (1960). Перейдем к выводам. После публикации «Пирамиды» они стали, пожалуй, более чем очевидны.

Леонов начинал с темы хрупкости живого, с трагических раздумий о космических судьбах человечества и земной цивилизации. Он нес эту тему в себе, всюду, где мог, заявлял ёе, потому что она сама его преследовала и не давала покоя. В ней он видел, говоря его собственными словами, «заболевание некоей идеей», «задание неба», «пружину жизни».

Странно, что до появления «Пирамиды» этого в подобающей степени не замечали. Хотя Леонов иной раз, казалось бы, впрямую призывал обнаружить и назвать его «заболевание». Даже к исследователям своего

творчества обращался. Таково, например, его письмо литературоведу В. А. Ковалеву.

«... Мне всегда казалось, — писал Леонов, — что у настоящего писателя его книги есть его духовная биография, и не хулить ее надо либо в рамки своей схемы вгонять, а вот так и рассматривать — ее всю, как историю заболевания некоей мечтой или идеей. Дело критика, поскольку ему видней со стороны, помочь нашему брату увидеть себя во весь (возможный также) рост, найти свой голос, структуру творческого кристалла. Иногда нам труднее это дается — изнутри, из этой душной тьмы, откуда мы рвемся с нашими живыми куклами, двойниками, фантомами на голубой свет Господний...

Разумеется, — в случае, если у него, литератора, есть своя, эта биография, задание неба, которое он и выполняет горбом и кровью души...»

V. Клуб единоверцев

В последние десятилетия жизни Леонид Максимович Леонов был аккуратным прихожанином церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, той самой, где венчался Пушкин. По поводу многих деталей своего романа «Пирамида» консультировался у высоких иерархов Православной церкви. А вот в основу художественных построений произведения об изначальной ущербности человеческой природы и причинах неминуемого краха земной цивилизации, которая будет уничтожена собственными руками ее создавших, положил апокриф и собственные толкования, весьма далекие от образов Апокалипсиса.

Это и вызвало, пожалуй, главную сшибку мнений у истолкователей леоновского романа — прежде всего на страницах журнала «Наш современник». Известный страж «православия» литератор А. Казинцев заявил даже, что «книга Л. Леонова безрелигиозна» и что героя «Пирамиды», священника Матвея Лоскуткова, который развивает часть близких автору «еретических» воззрений, «Бог оставляет» («Наш современник», 1994, № 6). Да и Ольга Овчаренко, чья статья отмечена все же лучшим знанием фактов, а иногда и удачными аналитическими попаданиями, не упускает случая зафиксировать различные элементы «ереси» в воззрениях Л. Леонова. Но все же она занимает более мягкую позицию. По ее убеждению, «обращение Леонова к Богу, в конечном счете, и определило своеобразие его творчества» («Наш современник», 1994, № 7).

Мне кажется, однако, что даже для уяснения тех или иных особенностей собственно религиозных верований романиста продуктивней вести обсуждение на более широком духовном пространстве, обращаясь прежде всего к общему миропониманию художника. И здесь важно все: психология Леонова, его воспитание, «уроки жизненного пути», собственно богословские и научно-философские его взгляды; наконец, даже выводы из собственных естественнонаучных его занятий (ведь для Леонова-нату-

ралиста и ботаника они всегда были чуть ли не второй побочной профессией) и т.д.

Художественно-философское содержание романа «Пирамида» можно трактовать как своеобразное ответвление идей русского космизма, для которого жизнь на Земле, человек и история цивилизации всегда были лишь частью и производным процессов, происходящих не только на планете, но и за ее пределами, во всей бескрайней Вселенной. Именно весьма разнообразные приверженцы этих идей и составляют — в широком смысле слова — «клуб единоверцев» писателя.

«В русском космизме, — отмечает современный исследователь, — выделяются три течения: естественнонаучное, религиозно-философское и поэтически-художественное. В естественнонаучной форме идеи космизма развивались Н. А. Умовым, В. И. Вернадским, К. Э. Циолковским, Н. Г. Холодным, А. Л. Чижевским. В трудах этих ученых осознается потребность разработки новой картины мира»[2].

Религиозно-философское направление русского космизма восходит прежде всего к учению Н. Ф. Федорова. Автор «Философии общего дела», основываясь, как известно, на синтезе христианства и науки, выдвинул грандиозную задачу — воскресить все жившие прежде поколения и победить смерть, добившись «бесконечного прогресса истории».

Наконец, «поэтически-художественное направление» в русском космизме представлено утопией В. Ф. Одоевского «...4338-й год. Петербургские письма», возникшей в конце 30-х годов XIX века, многолетними философско-литературными изысканиями драматурга А. В. Сухово-Кобылина, создавшего учение о Всемире — «о трех (в том числе космической) стадиях в развитии человечества»; творчеством Ф. Тютчева, произведениями Андрея Платонова, включая его фантазию «Потомки солнца», стихами Н. Заболоцкого, полотнами замечательного живописца Павла Филонова...

Достаточно еще раз оглядеть названные выше имена и труды, чтобы стало ясно, что за семьдесят лет господства в стране «самого передового учения» у русского космизма и его приверженцев (даже и не только в религиозно-философской и литературно-художественной сферах, а отчасти и в естественных науках) не было да и не могло быть простора для свободного распространения и развития своих идей. Если многие из этих авторов и работ и не находились под прямым запретом, то пребывали в загоне или полуподполье.

Сплав и синтез различных форм религиозности — от православия до пантеизма — с естественнонаучным знанием — характерная черта литературных ответвлений русского космизма. Из писателей советской эпохи такой синтез был свойственен не одному Леонову — на свой лад, например, и Андрею Платонову (об этом не раз писала известный знаток и

---

[2] *Гиренок Ф. И.* Ускользающее бытие. Изд-во Института философии РАН. М., 1994. С. 168—175.

биограф Н. Ф. Федорова Светлана Семенова). Но у Леонова широта и разнообразие второй «составляющей» — его естественнонаучных интересов и знаний — особенно впечатляет. Тут и астрономия, и палеонтология, и ботаника, и физика, и энтомология, и медицина, и лесоводство, и различные области технических знаний — от бумажного дела до военной инженерии.

Впрочем, повторю, соединение естественнонаучных знаний с разными формами религиозности составляет общую отличительную черту весьма разношерстного «клуба единоверцев». Это прежде всего и позволяет говорить о русском космизме как об «идеологии нового язычества»[3].

VI. «Два романа в одном романе»

Очень рано обрел Леонов и прочную профессиональную опору. Любимым учителем стал для него Достоевский. Он звал в глубь человеческой души, отвергая плоско-оптимистический рационализм в разрешении «проклятых вопросов бытия».

Следовать такой традиции при господстве казенного оптимизма и предписанной сверху уравниловки коммунистической идеологии было не просто. Подражания «архискверному Достоевскому», как известно, осудил и заклеймил сам вождь мирового пролетариата В. И. Ленин. «Карамазовщиной» постоянно шпынял правых и виноватых А. М. Горький, с гордостью провозглашавший себя антиподом Достоевского. В то же время Горький рано обласкал, выделил Леонова, поддерживал и пестовал его. Возлагал на него особые надежды, именовал самым перспективным из молодых советских писателей. При всякой возможности старался навязать ему ранжиры собственных представлений. «Перевоспитать».

Что и говорить, положение молодого художника было — не позавидуешь.

Решающий поворот настал на рубеже 30-х годов. Некоторые даже крупные литературные коллеги (например, К. Федин, к тому времени автор романов «Города и годы», «Братья», повести «Трансвааль» и др.), работавшие ранее в традициях Достоевского, перестроились и совершили поворот к «традициям Льва Толстого» как более «общенародным» и «эпическим». В те годы «великого перелома» Леонов сжался в комок, тоже совершил не один перестроечный галс. Но от родства с Достоевским не отрекся и посильно старался не потерять путеводной тропы.

Нынешним литературным судиям, не боящимся выносить приговоры типа: «Был писатель Малашкин, и нет писателя Малашкина», — все-таки стоило бы вспомнить, что значил Леонов в истории отечественной сло-

[3] «В философском отношении русский космизм, — пишет Ф. Гиренок, — распадается на два течения: на проективистов и органицистов. В терминах проективного сознания создавали свой космизм Н. Федоров, А. Платонов, К. Циолковский. В терминах органического сознания — В. Вернадский. Но в том и другом случае мы имеем дело с идеологией нового язычества». См.: *Гиренок Ф. И.* Указ. соч. С. 170—171.

весности. Можно, конечно, не верить панегирическим воплям советской критики и оценкам А. М. Горького. Но вот свидетельства «с того берега», — автора, которого по праву считали «лучшим критиком русской эмиграции».

В 1996 году, впервые за послеоктябрьские десятилетия, у нас был издан томик критических статей Георгия Адамовича (Издательство Московского Литературного института представило их в качестве «учебного пособия»). Что же пишет этот приверженец иных пристрастий?

В течение почти двадцати лет Г. Адамович следил за литературными событиями, происходившими на оставленной родине. Критические разборы регулярно помещал в еженедельнике «Зерно», газете «Последние новости» и других парижских эмигрантских изданиях. Леонова из общего потока он выделил уже по первому его роману «Барсуки». И хотя многие несовершенства дебюта даже заставляют критика назвать роман «черновиком», в оценках сразу же взята высокая нота.

«Роман Леонида Леонова «Барсуки», — писал Г. Адамович в 1925 году, — обнаруживает в авторе незаурядные способности и редкую в наше время склонность к большим полетам, большим масштабам... Наиболее убедительным признаком одаренности Леонова кажется мне его способность вести «полифоническое» повествование, по образу Достоевского или Толстого».

В дальнейшем Г. Адамович уже не выпускает молодого писателя из поля зрения. Подлинным достижением Леонова, «главной» и «настоящей» его книгой, написанной до войны, Г. Адамович считал роман «Вор». Эту «огромную» и «трудную» книгу критик, по собственным словам, каждый раз направлялся читать домой, чуть не приплясывая от предстоящего «наслаждения». «На мой взгляд, — писал он в 1928 году, — это — лучшее, что дала нам до сих пор «советская» литература, и, признаюсь, мне даже неловко здесь, в этом случае, писать «советская»: нет ничего в романе Леонова, что мешало бы его назвать просто русской книгой. Некоторые страницы этой книги не то что хороши — они поразительны по глубине, прелести, силе. Никто из молодых русских авторов не был бы способен написать их. Бабель? Булгаков? Всеволод Иванов?.. Нет, всё это гораздо слабее».

Это восторженное отношение не остыло у критика и через восемь лет. В особую заслугу автору романа (в сравнении с другими подцензурными русскими писателями) Г. Адамович ставит продолжение им традиций Достоевского. «В «Воре», как в очень немногих русских книгах двадцатого века, — писал Г. Адамович в 1936 году, — было продолжение и развитие тем Достоевского. Подчеркиваю: тем. Достоевского большей частью развивают и продолжают, не замечая их, — и тогда остаются только нервы. Леонов уловил вечный у Достоевского мотив суда (преступления и воздаяния), глубоко христианский мотив ада и рая — и не исказил его. Другие отстали на сотни верст».

Однако с ходом времени возрастает «привязка» сочинений писателя к конкретике «социалистического строительства». Таковы очередные рома-

ны — «Соть» (1929) и «Скутаревский» (1932). Стремление «встроиться», втиснуть свой творческий дух, заставить его ужиться в дозированных искусственных литературных кубатурах критик связывает с душевными качествами «богато одаренного, но растерянного и, кажется, довольно малодушного Леонова».

«Разумеется, литература сопротивляется, даже в теперешних ужасающих условиях оскуднению и смерти, — пишет Г. Адамович в 1932 году. — Но нельзя закрывать глаза: сопротивление уменьшается, соглашательство же с противотворческими казенными традициями растет. На примере даровитейшего Леонова и его «Соти» видишь это».

Пьеса Л. Леонова «Половчанские сады», — пишет Г. Адамович в 1938 году, — вещь, как все и всегда у Леонова, тяжеловесно-задумчивая, внутренне серьезная, нескладная и одушевленная стремлением сочетать несочитаемое: Ибсена и советскую действительность, вопрос о человеческом одиночестве и обязательный социалистический оптимизм».

Примерно в то же время критик делает для себя окончательный, отчеркивающий вывод: «Леонов... человек очень даровитый, увяз в разработке очередных литературных заданий и «не оправдал надежд».

Беглое, однако во многом сходное впечатление о Леонове середины 30-х годов во время пребывания в СССР вынес и другой проницательный зарубежный наблюдатель — Ромен Роллан. 29 июня 1935 года Роллан записывал в своем «Московском дневнике»: «Вечером в Малом театре — спектакль «Скутаревский» — современная пьеса Леонова... И пьеса, и актеры второразрядные. Игра искусственна и нарочита: какое-то неестественное исступление, идущее от Достоевского.

В ложе Леонов. Крепкий, веселый парень, выглядит моложе своих лет (ему тридцать шесть) и, кажется, не имеет ничего общего с собственным произведением. Показывает мне огромный роскошный том (коллекцию автографов) о «русских банях» и хочет, чтобы я тоже написал что-нибудь на страничку! Я отказался!».

Возможно, Леонов так бы и затвердился в литературе как писатель с блестящим прошлым, а теперь румяно-жовиальный пропагандист своих запутавшихся в личных терзаниях худосочно-мучительных персонажей. Возможно... Если бы не надвигающаяся катастрофа мировой войны, не народное одушевление перед лицом общей опасности, не подстегнутое этими событиями возвращение писателя к главному в самом себе. На этой волне создавалась публицистика и лучшие произведения Леонова поры Отечественной войны, задумывалась «Пирамида», возникал «Русский лес» и многое другое.

«Пружина жизни» у этого писателя, если вспомнить собственное его выражение, оказалась долгой.

...Марк Щеглов в 1954 году, конечно, не читал статей Г. Адамовича, рассыпанных в эмигрантской периодике, и не мог знать отзыва Ромена Роллана. Но сила интуиции талантливого критика, чувство текста и точность постижения писательской натуры часто были у него удивительны.

Вот отчего его суждения о романе «Русский лес» как бы вобрали в себя и то наиболее верное, что было произнесено о Леонове проницательными предшественниками.

В 1947 году Л. Леонов опубликовал свою ставшую знаменитой статью «В защиту друга». Писатель поднимал проблему сохранения лесных ресурсов страны и озеленения больших городов. Если ее появление и «утрясалось» где-то «наверху», сама статья не в пример тогдашней суетливой конъюнктуре была серьезна, выстрадана, глубоко личностна. Не только в редакцию «Известий», где она была напечатана, но и в другие газеты повалили читательские письма. В 1948 году вышел специальный сборник «В защиту друга», изданный Всероссийским обществом содействия строительству и защите зеленых насаждений. А во многих местах страны стали возникать общества «Друг леса» и т.п. Именно в это время всегдашние ботанические увлечения Леонова окончательно оформились в конкретный художественный замысел — роман «Русский лес».

С напоминаний об этих практических заслугах писателя и начинает статью Марк Щеглов. «Многие, вероятно, помнят, — пишет он, — первые выступления Л. Леонова в защиту леса, который он зовет «Зеленым Другом». Дорогая автору идея сохранения этого чудесного богатства России лежит в центре романа «Русский лес».

Вместе с тем с первых же абзацев статьи Марк Щеглов отдает себе отчет, насколько «Русский лес» Леонова особенное литературное произведение, сочинение художественно-философское. Об этом не раз заявлено прямо:

«...Лес в книге, — пишет критик, — это нечто большее, чем только то, из чего строят дома, что пишут на картинах, где собирают землянику и о чем спорят специалисты-лесоводы. Лес — это у Леонова сияющий и мощный «храм жизни», мечта о счастливых и чистых людях на прекрас-ной солнечной земле счастливых времен». Или так: «Лес — действующее лицо романа. Это и великолепные, добрые дебри с вечно пульсирующим сердцем-родничком в овражке...; это и лес как экономический фактор, всецело оцененный в своей важности для России; наконец, лес — это витязь и друг, провожающий разведчицу Полю в тыл фашистам... В произведении Л. Леонова лес вместе с тем есть основа, из которой развивается общефилософская и моральная идея вечной новизны, возобновляемости жизни...»

В «Русском лесе» есть персонажи, которые на долгое время стали нарицательными («депутат лесов» Иван Вихров, олицетворяющий собой положительный пафос романа, политиканствующий псевдоученый, доносчик и духовный спекулянт Грацианский и сопутствующая ему «грацианщина»). Немало и других ярких лиц, замечательных картин русской природы. И все это впервые подметил, выделил и тонко оценил (включая понятие «грацианщины») Марк Щеглов.

Ныне, когда перечитываешь «Русский лес», стиль авторского письма лично меня, например, нередко раздражает. Не говорю о явных провалах, но даже и в лучших местах романа мне чудится иногда какая-то натуга,

излишнее многодумие, всегдашняя готовность сорваться в патетику, — и это создает разрушающий дискомфорт ожидания, томит ухо. Будто патриотические марши казенного оркестра с раковины городского парка, где бодро дуют в сияющие медные трубы и стучат в литавры курсанты военного училища, того и гляди незванно ворвутся и оскорбят заповедную лесную глушь...

Конечно, нынешнему читателю верный помощник — Время. Тем более дивлюсь чуткому слуху критика, который уловил фальшь этой казенной примеси и противоестественного накала еще в далеком 1954 году...

М. Щеглов признает роман Леонова *в целом* произведением «незаурядным» и «оптимистическим» (ограничение для последнего слова сделано неслучайно: критик чутко подмечает многие черты мировоззренческого пессимизма в романе, обоснованного или не обоснованного, как ему кажется, — вопрос другой). При этом автор статьи различает две художественные струи, два начала в «Русском лесе» — истинное, жизнетворное, и худосочное, надуманное, между которыми проложена ткань полуправды. У романиста он отмечает вообще склонность — сложными путями возводить конструкции полуправды. Итог рассуждений: все это иногда и создает как бы эффект двух романов в одном.

«Мы указывали уже, — пишет М. Щеглов, — в чем мы видим неправду в «Русском лесе»: это надуманные положения в судьбе Поли и Сережи, а также многое, что относится в этом романе к изображению войны. Это художественно нереалистическая черта романа так резко отслаивается от ценной его части, что почти ей не вредит (при том, однако, вредя роману в целом). Более дурных последствий имеет, так сказать, полуправда — как в случае с началом и концом биографии Грацианского. но не только здесь...»

Критик обозначает и причины противоестественного симбиоза. Находит их в глубинных свойствах позиции, а можно сказать, и натуры признанного мастера, в самой двойственности утверждаемого им нравственно-этического идеала. По слову автора статьи, при вдумчивом чтении «выступают две стороны морально-эстетического идеала романа «Русский лес», где иной раз напряженнейшая выспренность соседствует с красотой, а задушевность — почти з бездушием». Так вот и написано — «почти с бездушием»!

VII. Где обретается нечистая сила?

Одному из примеров статьи, касающемуся «полуправды» в «Русском лесе», суждено было вскоре стать крылатым. Щеглов укорял Леонова за то, что главный противник и антипод лесовода Вихрова профессор Грацианский, красочно вылепленная фигура лжеученого, для чего-то еще превращен в невольного пособника и агента царской охранки. «Грацианский в романе не «укоренен» в нашей действительности, — писал критик, — Л. Леонов здесь явно ограничил свою задачу».

В терминологии тех дней Щеглов винил романиста за то, что тот, дескать, вольно или невольно проиллюстрировал набивший оскомину тезис: все хворости социалистического общества — непременно «пере-

житки» или «родимые пятна» капитализма. Тогда как критик был, разумеется, за трезвый анализ живой современности, собственных ее противоречий и недугов.

Эта смелая по тем временам мысль и вызвала особые нападки идеологических церберов. «В статье М. Щеглова, — подчеркивалось среди прочего в объединенной докладной записке «наверх» сразу двух отделов ЦК КПСС от 5 июня 1954 года, — ошибочно утверждается, что образ провокатора и двурушника Грацианского является порождением ряда социальных условий, присущих нашему обществу. «Не жандармы, — пишет М. Щеглов, — сделали Грацианского таким, какой он есть, а ряд общественных условий, создавших пореволюционную поросль старого мещанства»...» Ярлык, назначенный за это, тут как тут: «...советская литература призывается, по сути дела (!), к злорадному смакованию отрицательных явлений нашей жизни...».

Нет слов, цековские идеологические бойцы целились точно. Да вот ружье иногда давало осечку. Теперь, когда рядом лежат «Русский лес» и писавшийся одновременно и параллельно с ним «подпольный» роман «Пирамида», это особенно очевидно.

Антипод залетного ангелоида Дымкова, посильно намеревающийся открыть глаза человечеству, в «Пирамиде» — профессор со значащей фамилией Шатаницкий, он же Шатайницкий. В приватной жизни это директор Института прикладных, проблемных и прелимарных систематик, а по скрытым занятиям — резидент самых темных, потусторонних сил.

В романе присутствует как бы высший пласт, который читатель непосредственно почти не наблюдает, но где разыгрывается решающее действо. Это — план небесный, отношения между Богом и дьяволом. В основу религиозной концепции произведения положен по-своему толкуемый Леоновым апокриф Еноха — о первоначальном создании человека из огня и глины. При невмешательстве Создателя дьявол хочет предъявить Богу результаты изначальной «конструктивной ошибки». Например, пирамиды из трупов, которые в запале самоистребления только и оставит после себя на планете зашедшее в тупик человечество. Для содействия в исполнении этой грандиозной вселенской задачи и мобилизованы всякого рода «резиденты» — вроде Шатаницкого.

Несомненно, сатанинским родичем и отчасти литературным собратом Шатаницкого в «Русском лесе» и является «деятель неопределенного профиля» профессор Грацианский.

Некие мистические черты нечистой силы в многоликом образе внешне добропорядочного профессора и призрака, рожденного тленом и разложением культуры, тонко ощутил Щеглов. Анализируя сцену самоубийства Грацианского, когда «все существо Александра Яковлевича как бы раздвоилось и одна, уже покинувшая его половинка его души как бы спрашивала другую: скоро ты там?» — критик пишет: «вдруг чувствуешь Грацианского уже не как человека и деятеля, хотя бы и неопределенного профиля, но как наваждение, как «местную разновидность нечистой силы».

Вот она, проницательность! Никто, кроме самого автора, еще и понятия не имел о будущем «романе-наваждении» и о директоре Института прикладных, проблемных и прелимарных систематик Шатаницком, а Марк Щеглов уже написал о наваждениях нечистой силы — на четыре десятилетия вперед...

И вот теперь, прочитав «Пирамиду», видишь во всей последовательной преемственности, насколько Грацианский для Леонова не только в финальной сцене, но и в некоторых других местах «Русского леса» именно и реальный человек, и нечистая сила *одновременно.* Хотя и выражено это не столь четко и определенно, как в исполненной особого смысла сцене самоубийства.

Но тем самым в новом виде предстает теперь смысловой мотив, который просклоняли и перепели в свое время казенные перья чуть ли не во всех существовавших тогда органах печати. Об «укоренении Грацианского в советской действительности».

На этом примере ясней выступает теперь и многомерность истины — не только справедливость претензий критика, но и правота художника. Явственней обнаруживаются некоторые принципиальные разноречия в религиозно-философских вопросах, то бишь в мерилах и оценках, между Леоновым и Щегловым. Теперь это тоже очевидно — они были.

С одной стороны, оно, конечно, верно: Грацианский у Леонова недостаточно показан как продукт разложения именно советской системы. Тут М. Щеглов, безусловно, прав. Но, с другой стороны... как вписать нечистую силу в какую-то конкретную действительность, когда она пребывает в четвертом измерении?!

Щеглов упрекал Леонова: тот увлекся «авантюрной историей с жандармами» и в объяснении генезиса характера Грацианского частично встал на «уголовную точку зрения». Тогда как надо бы копать глубже, вскрывая пороки окружающей современной жизни.

Теперь, по прошествии лет, думаю, что такой сюжетный поворот для Леонова был лишь одним из способов «проиграть» все варианты психических метаморфоз и изведать до конца глубины греховности и низости, на которую способен данный характер. Кандидат в члены-корреспонденты Академии наук СССР Александр Яковлевич Грацианский с таким же успехом мог бы быть и осведомителем ОГПУ—НКВД (каковыми, как известно, состояли многие его достопочтенные коллеги).

Но ведь даже намеков на это не допускалось. Леонову важно было до конца проследить меру подлости и гнусной приспособляемости нечистой силы. А уж вопрос о конкретном ведомстве, то бишь об «омуте», в котором черти водятся, в данном случае был производным. Романист оттачивал свой сюжетный ход, придавая ему, как оказывается, различные грани, ракурсы и значения.

Да, религиозно-философские расхождения и противоречия у автора «Русского леса» существовали не только с официальной коммунистической доктриной. В. Лакшин назвал свои воспоминания о М. Щеглове

«Вечный юноша». И это верно. Не потому только, что Марк рано умер, но и потому, что критик с гениальными задатками навечно застыл в качестве благородного коммунистического романтика, который в первые «оттепельные» годы лишь обозначил свое движение в будущее.

По духовным ориентациям автор статьи — атеист. исповедующий либерально-гуманистические ценности. Религиозно-космологические воззрения романиста в принципе ему чужды. Лишь редкостная природная интуиция и высокая духовная культура пишущего предельно гасит тут амплитуду изначальных расхождений между литературными партнерами, о которой во всяком ином случае можно было бы сказать, что она такова, как между церковным «Молитвословом» и «Библией для неверующих» Ем. Ярославского.

Однако следы непонимания и отталкивания все-таки остаются, когда к неоспоримому общему диагнозу: «два романа в одном романе» — почти на тех же правах выявления скрытых пороков сочинения подверстывается утверждение: «два леса» в «Русском лесе». Согласно автору статьи, «храмовническая» символика в «Русском лесе» «беспричинна». Допустить, что лес для Леонова — понятие еще и религиозное, космологическое, критик не может. М. Щеглов порой с иронией пишет о том, в чем для романиста, собственно, никакой иронии не содержится. Например — когда не без остроумия именует профессора Вихрова «верховным жрецом в храме леса» и т.п. Словом, «второй лес» остался не до конца понятым критиком.

В немалой степени повинен в этом и сам Леонов. Ибо космологическо-религиозные воззрения автора «Русского леса» выражены с такими оглядками, перебивами, заметаниями следов и часто заячьими прыжками назад, под крыло официозного атеизма, что прочесть «тайнопись» и восстановить истинную картину этих религиозно-философских представлений по силам разве что нынешнему дотошному архивисту, но никак не критику-первочитателю, кем бы он ни был, располагавшему лишь корпусом печатной книги.

Раскрыть «шифрограмму» «Русского леса» с опорой на имеющийся теперь текст «Пирамиды» и другие материалы я и попытался среди прочего в полном объеме этой документально-биографической повести, даже и озаглавленной мною соответственно — «Частная жизнь и тайнопись Леонида Леонова». Повествование при этом невольно обретало подчас вид полудетектива. Но это уже — другое дело. Статья же Марка Щеглова, при частных недочетах с современной точки зрения, и поныне остается лучшим из того, что написано о «Русском лесе».

VIII. Встреча в саду

После истории с некрологом прошло девять лет. 24 июня 1965 года. Вдвоем со стенографисткой автор этих строк, тогда — вполне еще молодой, по советским меркам, литератор, несется на машине в Переделкино, на дачу Л. М. Леонова.

Тут я должен дополнительно кое-что сообщить об этом молодом литераторе, потому что со студенческой поры, к лету 1965 года, с ним произошли биографические изменения, которые будут иметь значение для дальнейшего рассказа.

По взглядам своим он либеральный коммуняга, хотя уже и со многими горчинками разочарований. По чувствованиям же — отчасти романтический провинциал. Как сына «врага народа», его на излете сталинского правления лишили московской прописки, а затем по распределительной путевке отправили подальше — вплоть до «глубины сибирских руд». Скитаясь по разным городам и весям, прожил он на периферии больше десяти лет. И за всё это он до сих пор благодарен судьбе и мудрому решению государственной распределительной комиссии. Она, что ни говори, дала возможность молодому литератору посмотреть Россию и узнать жизнь не только по книжкам.

Теперь, после поступления в аспирантуру, он снова вернулся в Москву, отчасти уже другим человеком.

Повод, который влечет пассажиров легковой машины на леоновскую дачу, — сугубо научный. Аспирант кропает кандитатскую диссертацию по проблемам художественного познания и психологии литературного труда. Согласно программе аспирантской работы, вполне в духе сумбурных «оттепельных» начинаний и затей, он должен взять серию интервью у современных мастеров литературы — об их «творческой лаборатории».

Диссертационное подспорье оказалось, что называется, «алмазной трубкой». Уже проведены большие интервью с К. А. Фединым, с И. Г. Эренбургом, и вот теперь — беседа с Л. М. Леоновым. Менее чем за полгода враз три классика! Для недавнего провинциала трепетно, радостно и немного жутко. Еще не состоявшееся леоновское интервью деловитый аспирант уже запродал журналу «Вопросы литературы», а благодарная редакция взамен зафрахтовала для него стенографистку и дала машину.

Спутница Фаина Владимировна, полнокровная пожилая дама, работает всю жизнь в «Литгазете» и потому профессиональный ас и знаток советской литературной кухни. Нет, кажется, таких заметных людей, чьи речевые модуляции она не превращала бы в нотные знаки своих закорючек. «Ну, вот увидите, — замечает она по дороге о Леонове, — он нам даже и чашки чая не предложит! Очень скуп, очень!» Будущий кандидат настроен более идеально и пропускает это замечание мимо ушей. Его совершенно не интересует, даст ли Леонов чашку чая или нет. Грудь вчерашнего провинциала теснит от смеси почтительного трепета и ожидания.

Калитку дачи приехавшим открыл самолично Леонов. И сразу же пригласил последовать за ним. Был ясный летний день. За просторным столом открытой высокой веранды, куда с боков заглядывала зеленая листва, тут же закипела работа. Счастливые часов не наблюдают, и бывший аспирант теперь уже не может сказать, сколько продолжалась беседа. Но после

расшифровки она заняла около сорока страниц плотной машинописи. Впоследствии она действительно была опубликована в «Вопросах литературы» (1966, №6) — под названием «По координатам жизни». Но от момента ее устного зарождения до печатного оформления прошел год. Срок небывало протяженный даже в сравнении с тоже отнюдь не простыми и примерно равнообъемными беседами с К. А. Фединым и И. Г. Эренбургом. Такая длительность утробного вынашивания текста объясняется не только последующими отвлечениями молодого аспиранта и некоторой оттяжкой из-за случившейся вскоре болезни писателя. Не последнюю роль сыграли тут и трудности творческой работы с Л. М. Леоновым.

Это особенно ясно видно теперь, когда сегодняшними глазами перечитываешь сохранившуюся стенограмму. Оригинальный притчевый язык Леонова, многослойность ассоциаций, возникающих вокруг движения главной мысли, философические отступления в сочетании с острыми и резкими злободневными суждениями, каскады фактов, научных терминов, имен, названий — с этим не всегда справлялась даже многоопытная литгазетовская стенографистка. «Эти... ассоциации! — жаловалась потом Фаина Владимировна. — У него конь без узды, пускает вскачь, а куда занесет его, и сам, наверное, не знает».

И напрасны были старания интервьюера вогнать беседу в заранее очерченное русло, локализировать разговор, сосредоточив его, к примеру, на незадолго перед тем вышедшей повести «Evgenia Ivanovna». Мощный напор леоновской импровизации, как щепки, разносил искусственные загородки. Однако основная канва беседы — о многообразии связей художника с действительностью и образных превращениях его эмпирического опыта — при этом сохранялась.

Уже по ходу беседы интервьюер, как никак поднаторевший журналист, не однажды принимался лихорадочно соображать: что же делать со всеми этими, иной раз явно не проходимыми через цензуру и к тому же разнонаправленными протуберанцами писательской мысли? Впоследствии иные из них общими усилиями все-таки удалось как-то приладить к печатному тексту. Другие так и остались в стенограмме. Во всяком случае над этим еще предстояло ломать голову.

Наконец, беседа была закончена, и совершенно ошарашенный интервьюер получил возможность осмотреться. Дача стояла в саду. С веранды были видны стеклянные переплеты парников, аккуратные ряды собственной оранжереи. Леонов был не только теоретиком любви к природе, но и практическим садовником, знатоком растительного мира. На гектаре приусадебного участка он выращивал многие собранные им на разных отечественных широтах и навезенные из-за рубежа семена, рассаду, саженцы — деревья, кусты, травы, цветы. Короткая прогулка по участку осталась одним из самых интересных впечатлений того дня.

В только что отзвучавшей беседе Леонов, жалуясь на неудобства холодной войны, вспоминал свою пятилетней давности поездку в США

(февраль-март 1960 г.): «Я обожаю ботанику. Когда я приезжаю — первым делом ботанический сад, во всех странах мира, где только был, — осматриваю ботанические сады. А меня не пустили в Бруклинский ботанический сад, потому что, видите ли, наше правительство не пускает американцев во Владивосток...

Я ехал в Америку, и я мечтал, я думал, что одна из вех цивилизации — это Поломарский пятиметровый телескоп. Я благоговейно хотел подойти к этому аппарату, я считал, что он принадлежит и мне также, потому что я тоже принадлежу к человечеству. Меня не пустили... Такие плоские штуки были там».

По зрелом размышлении, интервьюер решил не включать этот рассказ в печатный текст. Чтобы не подкрепить ненароком авторитетом Леонова тогдашний казенный хор голосов, изображавших Соединенные Штаты исчадьем ада и единственным виновником холодной войны. Как и некоторые другие куски текста, этот тоже остался в пределах стенограммы. Но как ни двусмысленны были эти сетования Леонова, в них пробивалась и живая, искренняя страсть Леонова — его неутолимая любознательность, заставлявшая его с равным увлечением погружаться и в тайны плодоносящей земли, и в бездны космоса.

На дачном участке Леонова, по рассказам судя, имелись заповедные уголки, где писатель проводил самые тонкие и диковинные эксперименты над живой природой. Ни в тот приезд, ни в последующие увидеть сокровенные места автору этих строк не удалось. Туда допускались лишь посвященные, если вообще кто-либо допускался.

Наталия Сац, известный режиссер и бывалый человек, приводит в своем мемуарном двухтомнике такой рассказ Корнея Ивановича Чуковского, дача которого находилась в нескольких стах метров на той же улице в Переделкине.

Однажды Чуковский по собственному почину, без предупреждения, решил зайти на дачу к Леонову. «Ворота сразу ему открыли. Сад большой... домики какие-то для разных редких растений на деревянных столбиках, как бы на втором этаже, расположены, как деревья в джунглях, а в доме ни души. Чуковский говорит: «Хожу, вроде Дюймовочки, в тропических зарослях затерянный — это с моим-то ростом. Вдруг около сарайчика деревянного за леоновским домом голос его слышу. Дверца приотворена, вхожу. Леонов сидит на чурбане ко мне спиной, перед ним что-то вроде террариума с водяными травами, с водяными жителями. Он слова какие-то непонятные говорит, вызывает на кормление питомцев своих по очереди. Пробормотал что-то — к нему жабы подскочили, уродливые рты свои раскрыли, приняли пищу из рук его, квакнули, ускакали, другое что-то он забормотал — неведомые мне существа к нему подплыли... несколько минут сказку я эту, затаив дыхание, смотрел, а потом как закричу от радости: «Леонид Максимович! Это же чудесно. Я завтра в ваш «болотный театр» всех переделкинских ребят приведу». А он от неожиданности с чурбана, на котором сидел, привскочил, глазами сверкнул и

нет чтобы поздороваться, а гнев свой заглатывая, в ответ: «Как вы меня нашли? Кто впустил? Прошу никому не говорить, это мое, понимаете, мое, и пока я еще ни с кем делиться не буду, а придет время... Пойдемте отсюда, Корней Иванович. Вдвоем нам здесь делать нечего»...

Так что многое за высоким забором этого дома было тайной даже для того, для кого, кажется, никаких тайн в Переделкине не существовало, — для всеми чтимого литературного патриарха Корнея Чуковского. Молодому же литератору оставалось лишь с любопытством озираться по сторонам. Стоящая в саду бревенчатая двухэтажная дача Леонова была похожа на небольшой купеческий дом в старорусском стиле. Дом имел высокое крыльцо, переднюю открытую веранду с деревянными резными точеными стойками, где мы сидели во время беседы, и скворешник ажурной башенки, возвышавшийся над красной крышей второго этажа. Весь этот терем был сделан и обустроен по проекту самого Леонова.

В машине на обратной дороге все та же неугомонная стенографистка, которая, как оказывается, за десятилетия не первый раз туда попадала, рассказывала, что башенка эта служила для чаепитий. Там выставлялся самовар, и Леонов пил чай, озирая сверху цветущий сад, грядки, теплицы и весь свой парк. «Но, — ядовито добавила она, — как видите, чашки чая он нам так и не предложил».

IX. Оса бембекс

В конце января 1966 года молодой литератор послал Леонову вышедшую между тем свою новую книжку историко-биографического жанра и через несколько дней получил от него письмо — пожалуй, самое лапидарное, какие адресовались ему в жизни:

«Уважаемый Юрий Михайлович, я получил посланную Вами книгу «Шумное захолустье». Большое спасибо за внимание.

Привет. Ваш Леонид Леонов.

7 февраля 1966.

По поводу статьи позвоните мне, пожалуйста, как-нибудь на днях.

Л. Л.»

В Москве Леонов жил в грандиозном — правительственных стандартов — здании на улице Горького, неподалеку от Белорусского вокзала. Литератора встретила милая, полная, очень любезная и респектабельная седая дама. От нее, кажется, так и веяло невозмутимым спокойствием. Это была Татьяна Михайловна — жена Леонида Максимовича, дочь известного московского издателя и книготорговца М. В. Сабашникова. Душевное здоровье и покой, от нее исходившие, были, несомненно, признаками волевой и сильной натуры. Всю долгую совместную их жизнь, как я узнал уже потом, эта женщина была ближайшим советчиком, помощником и даже защитником от многих внешних напастей для своего нервного и впечатлительного мужа. Поженились они в 1923 году. А в 1979

году Татьяны Михайловны не стало, и помню, как уже и несколько лет спустя в ответ на какой-нибудь очередной звонок Леонов все повторял и повторял свой ставший уже привычным рефрен: «Жена умерла. Теперь я выбитый человек. Понимаете? Ничего не могу. Не знаю, с какой стороны подступиться... Одно слово — в ы б и т ы й человек...».

...Татьяна Михайловна неслышно проводила посетителя в кабинет Л. М. Кабинет походил на средних размеров зал с несколько странным возвышением по левую руку от входа, напоминающим маленький просцениум. На нем стоял огромный письменный стол, и за ним восседал Леонов.

Ему было тогда 66 лет. Он был крепко сложен, коротко стриженные пряди волос были расчесаны на две стороны, с пробором посередине, как часто носили волосы купцы или мастеровые до революции, но как уже редко носят сейчас. Тяжелое овальное лицо, татарские усы. Взгляд зоркий — в нем что-то звериное, втягивающее, мерцающее. Говорю «звериное» в лишь том самом смысле, в каком Бунин пытался разглядеть что-то похожее и во взгляде Льва Толстого. Это была именно биологическая цепкость, сущая сила жизни, сквозившая в прищуре светло-серых глаз Леонова.

Только присмотревшись, можно было увидеть, что лицо его слегка искривлено и правый глаз, в легком заплыве, уменьшен в размере. Это сказались последствия заболевания, оттянувшего встречу. Впрочем, теперь Леонов выглядел по-прежнему здоровым, крепким и бодрым.

Легко было понять, почему для кабинета писателя понадобился зал. Вдоль больших светлых окон на маленьких столиках и стеллажах рядами выстроились горшки со всевозможными комнатными цветами, кактусами и другими диковинами ботаники. Могу предположить, что мир растений даже за работой позволял Леонову ощущать так, видимо, необходимые ему токи живой природы.

Рассказывают, что Леонов собственноручно вывел более пятисот различных сортов кактусов, его питомцев разбирали ботанические сады. Зато братья-писатели, за нередкие, как считалось, сухость и бездушие, и самому Леонову дали прозвище — Кактус. Кличку якобы первым сочинил злоязычный Борис Лавренев.

Посетитель застал Леонова за странным занятием. Он оттачивал, или, точнее, заострял о кухонный кремниевый брусок графитовый стержень толщиной в добрую авторучку. В лежащей на столе картонной желтой коробке, где находился брусок, рядом с ним уже высилась небольшая горка черных графитовых опилок.

Сделав два-три легких скользящих касания взад-вперед графитом по бруску, Леонов, сказав — «простите», принялся им что-то дописывать. Оторвавшись, пояснил:

— Вот люблю натуральное вещество — графит. Это лучше всякого карандаша. Мягче идет, и не надо постоянно строгать дерево. Карандаш в две минуты исписывается... — И уже в ответ на вопрос о чернилах добавил: — Карандаш — привычка молодости...

Позже Леонов рассказывал, что еще любит писать на склеенных листах бумаги. Графит и движущаяся бумажная лента обеспечивают непрерывность письма и легкость огляда готового текста. На таких бумажных лентах была написана часть «Пирамиды». Разбирать скоропись («почерк для муравьев»!) и вензеля леоновского почерка графитом на бумажных рулонах мастерски умела Татьяна Михайловна.

Потом Леонов извлек из бумаг изрядно исчерканную рукопись. Помолчал. Потом... потом началось такое, отчего, может быть, у молодого литератора и возникли дополнительные трудности с запоминанием.

Итог разговора есть, хранится до сих пор, он даже начертан жирным графитом на полях титульного листа рукописи. Вот он: *«Согласен. Прошу выправить всюду в 3-м лице*), удалить дерзость и самодовольство автора»*. И выше, в самом углу страницы, крупный вензель размашистой подписи: *Л. Леонов*. А звездочка ведет к сноске, сделанной ниже: « * *где можно*». То есть Леонов в ответ на выдвинутые возражения признает, что всюду сделать это нельзя.

Всё так. Но где же в памяти те крутые зигзаги и неожиданные повороты тогдашнего разговора, ввергавшего в недоумение и вышибавшего испарину на лбу у литератора? Где самобытная россыпь леоновской речи, ее живые интонации? И какие очередные загадки этой неожиданной натуры крылись за требованием к собственному тексту — «удалить дерзость и самодовольство автора»?

Тут в памяти почти сплошные провалы. Вертятся лишь обрывки разговора, разрозненные подробности. А из бездны лет на бывшего молодого литератора насмешливо глядит Леонов, всем видом предупреждая: не ври.

Врать, действительно, нельзя.

Логически я, конечно, помню, в чем дело. Но это сухие знаки и скрепы минувшего. А от плоти жизни, от того, что сохраняет ее краски и звуки, остались лишь разодранные лоскутья.

Воспользуемся, впрочем, сохранившимся подспорьем — все той же стенограммой и леоновской правкой текста.

Многое в тогдашних его опасениях, мне кажется, было продиктовано той повышенной осмотрительностью, которую можно назвать комплексом «пуганой вороны». Леонов этого и не скрывал, даже подчеркивал. Свою беседу в Переделкине он так прямо и начал: «...За тридцать лет, — сказал он, — включая даже «Русский лес», я пережил большое количество погромов, на мой взгляд, очень несправедливых, потому что я работаю очень много, очень добросовестно. Я никогда не халтурю, я никогда не гнался за легким хлебом, не опережал место у писателей в Гослитиздате или в театре, никогда не забегал вперед. Я живу на тот хлеб, который зарабатываю, оплачиваю налог и т.д. Мне устраивали страшные шахсей-вахсей, причем, когда я оглядываюсь назад, это шахсей-вахсей с безумно-схоластических позиций. Есть такая заведомая схоластика, и в нее, как в прокрустово ложе с вытяжными рычагами, укладывают мое творчество».

Это был крик души хотя и вполне, в сущности, законопослушной, но именно потому и оскорбленной, недоумевающей. И этот крик явно нарушал стандарты идеологической пристойности и благополучия тех лет. Он никак не сочетался с парадным обликом классика советской литературы, дважды лауреата и депутата, оберегаемого народом.

Признание это осталось погребенным в архивной стенограмме. Причем сделано это было если и как следствие надписи самого классика о «дерзости и самодовольстве», то все же и не без деятельного пособничества молодого литератора. Поступить так его заставила даже не столько идеологическая угодливость (ведь наверху всегда достаточно начальственных красных карандашей, которые и сами внесут необходимые коррективы), сколько обнаруженная в себе полная неспособность отделить, что в этих признаниях Леонова было правдой, а что — необузданной гиперболой.

Жалобы на бедствия и притеснения, постигавшие его в жизни, Леонов продолжал и на московской квартире. В голове засели фразы: «Работаю, как вол, а получаю меньше, чем Лев Кассиль». «Критика била меня, как конокрада». «Я стал подозрительным с некоторых пор».

Опасливая осторожность человека, немало претерпевшего в жизни, вычитывается и в правке готового текста беседы. В первую очередь переформулировалось или отсекалось то, в чем могли отыскать подкормку для своих происков его недоброжелатели всех мастей и профилей, будь то в политике или литературе. Жирным графитом был вычеркнут тезис, заявленный в стенограмме: «Мне недавно говорили, что я одним из первых среди писателей почувствовал противоречия времен культа личности Сталина». К зиме 1966 года подготовкой «открытого» судебного процесса по «делу» А. Синявского и Ю. Даниэля уже без обиняков обозначился в стране курс на утверждение неосталинизма. И Леонов осторожничал. Все те места, которые так или иначе касались мотивов антитоталитаризма, реально присутствовавших в повести «Evgenia Ivanovna» (1938; 1963), в пьесах «Метель» (1940) и «Нашествие» (1941), о которых шла речь в беседе, были густо испещрены приглаживающей правкой.

Но больше всего правки относилось к языку рукописи, в частности к тем «мостикам» и связкам, которые для целостности текста кое-где вынужденно добавил интервьюер. Чем дальше перелистывал рукопись Леонов, тем больше мрачнел.

— Текст рябой... чересполосый, — изрек он, наконец. — Очень приблизительный! Вы знаете, как надо писать?

И здесь Леонов произнес слова, которые не просто врезались в память интервьюера, а, можно сказать, вонзились в нее. До сих пор слышу сочный леоновский голос.

— Писать надо, — поучал Леонов, — как оса бембекс! — Он поднял над столом согнутую планером ладонь, повел ею в воздухе, даже вроде зазвенев тонким зудом. — Оса бембекс видит гусеницу... Видит! С налета спускается на нее. И вонзает жало между пятым и шестым кольцами,

прямо в спинной нерв. Вы понимаете?! Не куда-нибудь, а туда! Парализует, превращает гусеницу в живые консервы. Тотчас откладывает личинки. И личинки затем растут в теле гусеницы. Медленно ее обгладывают, не задевая спинной нерв, гусеница остается живой. И так они съедают ее до конца, пока не повисает ниточкой один спинной нерв. И всё — почему? Потому что мгновенный укол между пятым и шестым кольцами! Такая точность в природе! И вот так мы должны писать. А как пишете вы? И в таком разе вы, безусловно, умрете под забором! — протягивая рукопись и потряхивая ею в воздухе, Л. М. засмеялся известному литературному пророчеству. — Ну, пойдемте!

Писателя уже дожидался в коридоре сосед по дому одного с ним возраста. У них предстоял совместный вечерний моцион.

Хорошо, как бы со стороны, вижу себя в тот момент — недавнего провинциала в коридорном холле роскошной квартиры. Смущенный, почти уничтоженный, я стоял, прижимая к груди свою жалкую рукопись. И наблюдал, как Леонов медленно влезал в матерчатую шубу с меховой полостью, надевал мохнатую шапку и брал в руки коричневую витую палку. Вместе со знакомым они вышли за дверь впереди гостя.

На внутреннем дворе стариковская беседующая пара неторопливо удалилась куда-то вдоль забора.

X. Отец и сын

Во время встречи с ясновидящей Вангой в Болгарии (приездов Л.М. Леонова туда было по крайней мере два — в 1970-м и 1980-м годах) писателя поразило, что, еще не зная, кто перед ней, ссохшаяся старушка среди многого другого сказала:

— Как же ты забыл своего отца?!

Возвратившись домой, Леонов вскоре поехал в калужскую деревню Полухино и бродил, стоя среди холмиков, где был дом, в котором родился отец. Это были глубокие, запоздалые терзания.

Об этом Леонов рассказывал своему ученику по творческому семинару в Литинституте еще военной поры, известному прозаику Н. Евдокимову, с которым сохранились близкие отношения.

Один мыслящий художник как-то верно заметил, что каждый настоящий писатель — это новая «языковая реальность». Можно как угодно относиться к Леонову, но нельзя не ощутить неподдельной оригинальности его стилистических «вензелей». Его языка — неповторимого, как древнерусская книжная вязь, красочного, кустодиевского.

Вольное, широкое, самовитое леоновское слово, впервые было почерпнуто в московском купеческом Зарядье, в калужской деревне, на архангельском Севере. И то сказать: родное слово и дается ведь нам вместе с первым вздохом, с материнским молоком, вместе с молодецким гиком отцовского подбрасывания к потолку и шутливой лаской подпрыгивания

на отцовских коленках — «по мяконькой дорожке, по камешкам». Оно, это слово, рождается из слепящих красок и объемов внешнего мира и беспрестанно рвущегося снаружи потока представлений, что там есть благо и что зло. Вот отчего столь бесконечно важно, кого определила судьба в первые твои поводыри по бескрайним просторам родного слова, кто был твой отец.

Отцом Леонида Леонова тоже был писатель, Максим Леонов. Впервые воскресить это имя в литературе в 1943 году (уже после того, как сын получил Сталинскую премию первой степени за пьесу «Нашествие») попытался повидавший виды старейшина цеха Н. Д. Телешов. В своей книге «Записки писателя» Николай Дмитриевич осторожно написал, что М. Леонов был даровитым поэтом-самоучкой, первым основателем знаменитого Суриковского кружка «поэтов из народа», активным издателем и журналистом и т.д. Впрочем, все сведения о М. Леонове касались дореволюционных лет, а что сталось с ним в годы революции и позже, о том мемуары умалчивали.

В июньской переделкинской стенограмме 1965 года есть слова, не допущенные в печать: «Ведь все мои близкие друзья были расстреляны: Борис Пильняк, Бабель, В. Зазубрин, Артем Веселый — всё мое поколение».

Почти все погибшие жили в соседних домах в том же Переделкине. А однажды фонарик энкаведешника ослепил в лицо открывшего на ночной стук собственную дачную калитку Леонова: ошиблись номером. Что он пережил в эти мгновения? Ведь была особенная причина для ночных страхов: как-никак он был сыном приснопамятного «врага народа», а там — как посмотреть? — возможно, и его пособником...

М. Леонов (литературный псевдоним — Максим Горемыка), несмотря на малое свое образование, брал в жизни даровитостью и энергией. При многожанровой и плодовитой творческой работе (книги стихов, очерков, критические статьи, роман, текущая журналистика и пр.) одна из главных и несомненных заслуг Максима Леонова — объединение вокруг себя талантливых людей из народа.

В практичном и трезвом семейно-родственном окружении старожилов московского купеческого Зарядья М. Леонов считался человеком «никчемным» и «скособоченным». По своему простонародному мужицкому происхождению и обостренному чувству «вечной справедливости» он тяготел к эсерам. И оттого его почти одинаково гнали противоположные режимы.

В царские времена против М. Леонова было возбуждено в общей сложности около двадцати дел по различным политическим статьям, главным образом — за издание и распространение литературы «крайнего содержания». Несколько раз после арестов его выпускали под залог. Кончилось все почти двумя годами одиночки в Таганской тюрьме и последующей ссылкой в Архангельск в 1910 году, где неунывающий суриковец почти сразу создал ежедневную газету «Северное утро»...

После ссылки отца семья распалась, одиннадцатилетний сын остался с дедом и матерью. Но летние каникулярные вакансии гимназист часто проводил на Беломорье. В мае 1918 года, после окончания гимназии, юноша и вовсе перебирается из голодной Москвы в Архангельск.

Пиком и кульминацией совместной жизни и работы с отцом явились почти два года на Архангелогородчине, когда там установилось эсеровское правление. Именно там были обретены, оттуда вывезены многие главнейшие жизненные понятия, душевные предпочтения и догадки о высших смыслах земного бытия.

На Севере, всегдашнем приюте гонимых, как в заповеднике, соседствовали, а иногда и причудливо сплетались в первозданной чистоте традиции национальной старины, истовость религиозного раскола едва ли не всех мыслимых разновидностей и игровые начала русского скоморошества, нашедшего здесь последнее пристанище. Соблюдавшее себя в благочестивой нетронутости старообрядчество сочеталось со всевозможными сектантскими новациями и вывертами, включая и набиравшее силу «хлыстовство». Воздействие языческого крестьянского космизма и религиозных верований, отчасти подобных тем, которые исповедовал литературный «капитан хлыстовского корабля» Николай Клюев, бесспорно, испытал на себе и молодой Леонов.

На Архангелогородчине имелось особое словцо: *глумотворствовать*. Мастером стихийного лицедейства буслаевско-скоморошьего разворота и всяческого житейского маскарада был здешний сказочник и художник Степан Писахов, общением с которым был увлечен юноша Леонов. Тогда же он встречался и с писателем Борисом Шергиным, ведуном старинного слова, певцом былин и северных старин. Федор Абрамов, посещавший Б. Шергина уже в начале 70-х годов, оставил о нем дневниковую запись: «Впечатление. Побывал в XVI—XVII веках, а может быть, у истоков. Святой, и вещий Боян, и монах, и летописец... Вышел с ощущением святости».

Но, впитывая эту духовную энергию, молодой Леонов, судя по всему, вывел для себя и еще одну истину, уже сугубо XX века, — что эпоха не терпит «голеньких». Отсюда не в последнюю очередь также и его позднейшие «глумотворства», литературные петляния и «шифрограммы», которые он изощренно изобретал в своем творчестве для обхода цензуры и прорыва «умственных плотин», странности и неожиданные выбрыки поведения, которыми поражал окружающих, маски, которые легко надевал и менял, мифы, которые щедро о себе создавал, и многое тому подобное, без чего трудно представим этот мастер и «Человек-Кактус».

Словом, именно в те годы жизни с отцом на Российском Севере впервые и образовались, вероятно, нестираемые приметы психологического облика этой богато одаренной и крайне противоречивой личности. И именно в конце этой поры, как становится сейчас понятно, явственно обозначились и выступили в его личности наружу и первые духовные сломы, внутренние разлады и компромиссы.

XI. Папка из архива

Года через два после кончины Леонова понадобились материалы для этих «Записок». Так появилась передо мною папка с «Личным делом» Л. М. Леонова — вероятно, самая пухлая из всех, хранящихся в архиве кадров Союза писателей.

Большая часть толстых стоп исписанной бумаги, которые ее наполняют, — это наградные листы, приветственные «адреса» и телеграммы по случаю юбилеев, регулярные «объективки» для выездов за границу и тому подобная канцелярская рутина. Тем сильнее екнуло сердце, когда среди этих бумажных завалов обнаружилось, наконец, то, что давно меня занимало и что имело самое прямое отношение к той самой проблеме «отца и сына», которой по возможности избегал касаться Л. М. Недоставало мне каких-то свидетельств, пусть хотя бы и косвенных, по которым можно было бы более или менее достоверно судить об отношении писателя к литературно-издательской деятельности отца и своей собственной в архангельской газете «Северное утро» в пору, когда Беломорье находилось под правлением антибольшевистского режима.

Почерпнуть что-либо на этот счет из печатных источников было предприятием заведомо безнадежным. Самые добросовестные и скрупулезные исследователи уже поры «оттепельных» послаблений констатировали лишь, что всякие биографические сведения отсутствуют. «2 августа 1918 года. — пишет, например, Л. Финк, — Архангельск захватили английские войска, и город был отрезан от Советской России. О жизни Леонова в период англо-белогвардейского господства на Севере, — а продолжалось оно до 1920 года, — сейчас нет никаких документальных, эпистолярных или мемуарных свидетельств»[4]. Автор монографии основательно порылся в комплектах газеты «Северное утро» за период с 1915 по июль 1918 года. Перечисляются, воспроизводятся в отрывках и анализируются не один десяток стихов и театральных рецензий, напечатанных молодым Л. Леоновым за помянутое трехлетье. В отцовской газете он исполнял секретарские обязанности и вел театральный отдел. Так что общий вывод был для Л. Финка очевиден: здешняя редакционная работа была «годами его писательской учебы».

Однако что же происходило дальше?..

Как будто бы ничего особенного. 2 августа 1918 года в Архангельске был высажен английский десант. Главой антибольшевистских сил — Верховного управления Северной области — становится Н. В. Чайковский. Это известный революционный народник. В молодости — заводила легендарного кружка «чайковцев», в пору таганского заключения М. Горемыки — один из вождей эсеровской партии, позже — мирный демократ с крестьянским уклоном, трудовик. И у издателей народолюбивого «Северного утра» не было причин распалять в себе классовую ненависть к

[4] *Финк Л.* Драматургия Леонида Леонова. М., «Советский писатель», 1962. С. 18.

таким людям. Поэтому все оставалось на своих местах, газета продолжала выходить как ни в чем не бывало, при еще более активном участии сына.

Однако пресловутый анкетный вопрос сталинских времен: «что вы делали в период оккупации?» не случайно оставался для Леонова на протяжении всей его жизни сигналом возможного бедствия, и оттого-то он так откровенно и не любил печатать автобиографии. Недаром даже беспредельной объединенной энергии двух боевых литературных дам, известных своей пробивной силой, и даже ради престижного издания и супернеобходимой новации — «Советские писатели. Автобиографии в двух томах» (М., ГИХЛ, 1959), не удалось выжать из Леонова ничего, кроме многолетней давности двухстраничной автобиографической заметки. Составителями двухтомника были Б. Я. Брайнина и Е. Ф. Никитина.

И вот в папке «Личного дела» СП оказалась автобиография, куда более подробная, а главное — предназначавшаяся лишь для внутреннего пользования. Об этом свидетельствовали находившиеся тут же несколько ее вариантов. Они отличаются между собой дополнениями, изменениями и правкой, учитывающей проходившие между ними годы и десятилетия.

Первоначальный текст автобиографии, судя по многим признакам, был написан по просьбе отдела творческих кадров СП не позже сентября 1942 года. В это время (с мая по октябрь), после завершения пьесы «Нашествие», Леонов находился в Москве. Эта же автобиография, вероятно, предназначалась и для Комитета по Сталинским премиям, куда вскоре вместе с документацией на соискателя была представлена пьеса.

Что касается «архангельской проблемы», то тут автор жизнеописания изображает полное и абсолютное неведение. Он понятия не имеет не только о каком-то «оккупационном периоде» в собственной биографии, но и о сколько-нибудь длительных посещениях Архангельска. А главное — относительно своей активной журналистско-литературной деятельности там и множестве публикаций на протяжении четырех с половиной лет в стихах и прозе в газете «Северное утро».

В автобиографии 1942 года скромно обронено: «гимназию окончил в 1918 г. Уже тогда писал стихи, очень плохие, впрочем, и не печатавшиеся».

В обеих автобиографиях — «архивной» и печатной — не только ни слова не говорится о жизни под эсерами-англичанами, но не упоминается и о газете «Северное утро» в «анкетно-безобидные» дореволюционные времена. Даже тот, в общем-то неоднократно зафиксированный в подручных справочниках литературный факт, что его отец Максим Леонович Леонов с 1911 года был издателем этой ежедневной газеты, владельцем типографии, а с 1916 года также и официальным редактором «Северного утра», писавшему автобиографии как будто бы вовсе не известен.

В «архивной» автобиографии после «плохих и непечатавшихся стихов» следует туманная фраза о заработках репетиторством будто бы в Москве и сразу затем следует скоропалительное выныривание — в Красную Армию: «Во время гражданской войны вступил в Красную Армию и был

сперва литсотрудником 15-й Пензенской, потом — Сивашской Краснознаменной дивизии... Вместе с дивизией проделал путь...» и т.д.

В документе, именуемом «Личная карточка члена ССП», против пункта «Начало литературной работы» рукою писателя поставлено: «1920», то есть время, когда началось сотрудничество в красноармейской печати.

В папке «Личного дела», помимо прочего, собрано множество разнообразных анкет, где все вроде бы по графам и каждый год на учете. Там (например, уже и в анкете 1972 года) проблема разрешается так:

«1910—1918 — учащийся 3-й Московской гимназии, гор. Москва.

1919—1920 — литсотрудник, затем редактор газеты 15-й Сивашской дивизии».

Теперь пусть читатель представит мои чувства. Конечно, я догадывался, что будут какие-то анкетные выкрутасы. Но не в такой же степени! Ведь смысл этих петляний и умолчаний один: в наших с отцом литературных биографиях нет ничего общего...

А отец с самого начала считал по-другому. В 1899 году поэт-самоучка и журналист Максим Леонов на рождение своего первенца написал стихотворение «Завет сыну»:

Знай — ты крестьянином рожден, и этим век гордись,
Мой сын, ты будешь обречен трудиться — и трудись...
Мой сын, а если суждено тебе в столице жить
И, как отцу, судьбой дано певцом народным быть,
То в песнях пламенных твоих ты не криви душой.
Мой сын, пусть чист твой будет стих, как чист родник живой...

Когда же шестнадцатилетний юноша напечатал в газете отца первые стихи, Максим Леонов в порыве чувства продолжил напутствия, не убоявшись опубликовать их прямо на газетном листе «Северного утра» 11 сентября 1915 года:

На славный, честный путь народного поэта
Благословляю я тебя, мой сын родной.
Я жизнь свою прошел, а песня недопета, —
Так ты иди вперед, так ты ее допой.

Между тем судьбоносный час выбора не заставил себя ждать. Ведь уже и издание газеты при эсерах не могло, естественно, не рассматриваться большевиками как пособничество контрреволюционерам. После повторного занятия Архангельска Красной Армией в феврале 1920 года «Северное утро» было закрыто, а главный редактор отправлен в концлагерь. Правда, тогда еще наказание было относительно легким. Как сказано теперь об этом в статье о М. Л. Леонове, помещенной в т. 3 Биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917» (М., 1994): «После занятия Архангельска Красной Армией в 1920 г. Л. был арестован, год отбывал в лагере принудит. работ».

Однако клеймо «контрреволюционера» осталось. Вот отчего Леонову-сыну приходилось так изворачиваться в своих автобиографиях. В них непременно и повсюду выпячиваются революционные заслуги Максима

Горемыки в борьбе с царским режимом. В печатной заметке революционная героизация образа доходит до того, что мирный литератор вырастает чуть ли не в идейного вожака цареубийц. Зато в «архивной» автобиографии лишь по неприметному косвенному признаку — последней предсмертной профессии отца — можно угадать, как же обошелся с поэтом и журналистом новый режим.

Стоит перечитать немногие строки вновь найденной «архивной» автобиографии, в которых Леонов так живописует свое происхождение и судьбу отца (позднейшие добавления выделены курсивом):

«Я родился 19 мая (ст. ст.) 1899 г. в гор. Москве. *Происхожу из крестьян Калужской губ. Тарусского уезда, Белялинской волости, дер. Полухино.* Дед — мелкий бакалейный лавочник в Зарядье, впоследствии описанный мною в романе «Барсуки»; отец — сперва работал «молодцом» в лавке у деда, позже — поэт-самоучка и журналист московских периодических изданий; имел образование в размере двух классов сельской школы. Впоследствии был председателем «Суриковского литературно-музыкального кружка», состоявшего из «выходцев из народа», как называли себя самоучки-поэты. Туда входили и довольно известные крестьянские и рабочие поэты — Спиридон Дрожжин, Филипп Шкулев, Егор Нечаев и другие. В 1905—1906 гг. отец судился за издание брошюр В. Либкнехта и Розы Люксембург «Пауки и мухи» и «За что они борются», *а также сборника «Под красным знаменем»* — в Московской Судебной Палате и был выслан; умер в 1929 году продавцом игрушечного магазина, от туберкулеза»...

Когда думаешь о том, с чего же начинали учредители новой «народной власти», то убеждаешься вновь и вновь, что они извели в первую очередь как раз истинных народных вожаков, ум и совесть многомиллионного крестьянства — таких людей, как Максим Леонов. При царском режиме, с которым он вел активную политическую борьбу средствами свободного слова, этот крестьянский самородок мог оставаться главой авторитетного товарищества поэтов из народа и даже издателем ежедневной газеты, пусть в отдаленном Архангельске. При «рабоче-крестьянской власти» он очень скоро закончил свои дни в том же Архангельске в возрасте 56 лет чахоточным продавцом игрушечного магазина...

Когда газета была закрыта, а за отцом задвинулись засовы новой темницы «перевоспитания», для сына настала пора быстрых решений. Двадцатилетний юноша, уже понявший, к чему клонится дело, сначала два месяца работает секретарем печатной стенной газеты архангельского отделения РОСТА «Красная ветвь», потом спешит записаться добровольцем в Красную Армию...

Впоследствии Л. Леонов любил упомянуть в газетных статьях, как розоватым поздненоябрьским утром 1920 года вместе с тачанкой типографии дивизионной газеты переходил он вброд Сиваш, выбивая из Крыма Врангеля. И еще долго-долго после 1929-го, когда в Архангельске, в забросе, окончил свои дни Максим Горемыка, над автором таких статей, как топор, висел призрак его «архангельской юности»...

В 1964 году среди нелепых и скоропалительных хрущевских преобразований затевалась и реформа, которая грозила обернуться самыми непредсказуемыми и разрушительными последствиями для культуры. Готовилось крупное силовое вторжение в область русской орфографии, — коренное преобразование русского правописания. Оно было предложено неким ученым синклитом лысенковцев от филологии и было не только одобрено, но уже почти и затверждено свыше. Один из главных принципов, которым отныне собирались облагодетельствовать национальную грамоту и книжную культуру, был подкупающе прост: «как слышится, так и пишется». Высоким реформаторам было невдомек, что сходные откровения уже однажды посещали нечесанную голову фонвизинского Митрофанушки...

Сейчас это звучит дико, почти как анекдот. Но ведь на Руси и не такие анекдоты становились явью. Еще немного, и всем нам пришлось бы писать: заец, мыш, огурци и тому подобное. Два писателя сломали предстоявшую реформу орфографии, это варварское нашествие бескультурья. Одним из них был Александр Солженицин, напечатавший статью «Зачем дегтем щи белить — на то сметана есть». Другим был Леонов, выступивший со статьей «Прошу слова».

Называя начертания слов «трепетной оболочкой мысли», Леонов пытался убедить, что в бездне языковой стихии просвечивает «ступенчатая преемственность поколений, по которой читается последовательность интеллектуального развития нации, что так необходимо для ее исторического самопознания и, следовательно, для ее здоровья... Нам, нынешним, — увещевал он, — бесконечно трудно предугадать, по какому руслу направится языковое творчество, правописание в том числе».

Леонов урезонивал нетерпеливых. Он писал: «И в человеческом организме, кстати, тоже имеются застарелые и вопиющие пережитки, вроде копчика или излишней на нынешнем уровне цивилизации волосяной щетки на щеке, но смотрите, с какой осторожностью природа ведет нас по этапам своего неисповедимого совершенства».

Леонов остерегал, какими бедствиями обернется — «пускать... на свои книжные полки любимых классиков, перечесанных на новый лад». Он гневался и высмеивал: «Кстати, насчет огурцов: если вместо них вырастут огурци, то я не стану есть таких огурцей!» Взывал, наконец: «...Простите, бывают такие поводы, когда на площади в рельсу бьют».

Варварское нашествие под видом реформаторства было отбито. Быть может, тем самым Леонов исполнил-таки один из заветов своего отца...

XII. Последнее Рождество

Два чувства, две мысли, не отпускавшие, кажется, этого человека, неизменно определяли главные темы нашего общения на протяжении двух десятков лет нашего знакомства. Ожидание грядущих катастроф и вера в божественность мироустройства.

Надо сказать, что в первый раз соприкосновение с этим сокровенным мирочувствованием Леонова подействовало на меня ошарашивающе. В

конце 1966 года я был назначен на руководящую должность в отдел литературы и искусства редакции «Известий». И, в свежем приливе сил, позвонил Леонову с просьбой подумать о статье для газеты на подходящую тему. И вот тут Леонов полоснул меня таким откровением, которое потому и засело в памяти, что никак не укладывалось в моей тогдашней голове.

— Что вы? — был ответ. — Мы накануне самых страшных, грозных, последних событий. А в нашей стране все хоругви обоссали! Стадо баранов! Жарь шашлыки, разгоняй хворостиной по любым загонам. Мы беззащитны, полностью беззащитны... Нет!

Так полный бездумного оптимизма литератор впервые услышал от Леонова о его уверенности в неминуемости глобального грядущего краха.

До «малого апокалипсиса» — распада великого государства — оставалось еще четверть века. Колосс СССР горделиво высился, устрашал, развевал кумачевые знамена и благоденствовал. И кто бы даже в мыслях допустил, что рухнет он не под натиском иноземных «двунадесяти языков», а лишь от собственных внутренних недугов? А Леонов из всех этих бед, загнанных в глубину, болезненно ощущал и то, что главная из них — духовная деморализация народа. Ему принадлежит афоризм: «Народ уничтожают со святынь». И потому он так неотступно продолжал работать в те годы над своим романом-предупреждением «Пирамида».

Конечно, представление о том, куда движется наш советский социализм, было неотрывно у Леонова от его общего видения судеб мира. А картина эта убеждала его в том, что человечество в целом быстрым шагом движется к финалу отпущенной ему, как выражается в «Пирамиде» «демон» Шатаницкий, «скромной вечности» и что оно вплотную подошло уже к краю бездны. Среда обитания разрушена. Леса уничтожены. Реки отравлены. Города загазованны. Атмосфера пробита озоновыми дырами. Население плодится в возрастающей геометрической прогрессии, и для него скоро уже будет не найти достаточного прокорма на планете. Обостряются вероисповедные, этнические и социальные противоречия. В то же время под рукой, как пистолет на взводе, лежит орудие коллективного самоубийства. В виде ли ракет с боеголовками, в облике ли сотен новых возможных «чернобылей» или каких-нибудь других, столь же непредсказуемых технических новшеств. Настают времена, когда «страх жизни сильнее страха смерти». На человечество, где «зло превысило свои изначальные полномочия», гневаются уже и космос, и мирозданье...

Все это и заставляет романиста сделать вывод, что настал заключительный этап — старость человечества.

Публикации «Пирамиды» автор предпослал предисловие, датированное 21 марта 1994 года. Это, может быть, вообще последнее, что вывела его рука. «Событийная, все нарастающая жуть уходящего века, — писал Леонов, — позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпилогу человечества: стареют и звезды... Однако наблюдаемая сегодня территориальная междоусобица среди вчерашних добрососедей может

вылиться в скоростной вариант, когда обезумевшие от своего кромешного множества люди атомной метлой в запале самоистребления смахнут себя в небытие, — только чудо на пару столетий отсрочит агонию».

До предела заласканный и как будто неуклонно лояльный советский классик на деле не питал иллюзий и насчет политического режима, существовавшего в стране. В 1968 году я перешел из «Известий» на должность консультанта по литературе Правления Союза писателей СССР и в участившихся встречах с ним мог составить более четкое представление о его взглядах на этот счет. Сходными свидетельствами насыщен и недавно опубликованный «Дневник» К. И. Чуковского, близко знавшего писателя (отказ Леонова официально поддержать вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году, сочувствие к неоднократно подвергавшемуся травле Вас. Гроссману и т.п.).

И уже никаких сомнений в отношении Леонова к советскому режиму не оставляет роман «Пирамида». В письме, которое пишет родственнику близкий автору герой, священник Матвей Лоскутов, есть слова: «Я думал, что новый строй придет, что будет общий улей, где все объединено. Людей ждет удел пчелок золотых, которые работают на хозяина и на Бога. А новые властители собираются перековать род людской на породу шершня, который, как сам видел, среднего размера муху обыкновенную запросто перекусывает пополам».

Он же в конце письма сообщает: «Невольная приходит на ум догадка — не в том ли заключается историческое предназначение России, чтобы с высот тысячелетнего величия и на глазах у человечества рухнуть наземь и тем самым собственным примером предостеречь грядущие поколения от повторных затей учинить на земле без Христа и гения райскую житуху?».

Семен Шуртаков, автор не лишенной интересных наблюдений статьи о романе «Пирамида», сокрушается по этому поводу: «В большом художественном произведении, увидевшем свет через полстолетия после Победы, читатель, наверно, был вправе ожидать от такого опытнейшего, мудрого писателя, автора «Нашествия» и «Русского леса», не одних поношений советскому строю, но и еще чего-то...» («Наш современник», 1997, № 2, с. 158). Но Леонов написал именно то, что хотел и мог написать.

Другое дело — почему так многое он долго таил про себя?

Ответ вычитывается хотя бы со страниц того же «Дневника» К. И. Чуковского, относящихся к первым послереволюционным годам.

«Я часто встречаюсь с Леонидом Леоновым... — записывал Чуковский. — Это сильный человек, отлично вооруженный для жизни. Он приходит ко мне два раза в неделю — говорит без конца, — но *никогда не говорит* о своих планах, удачах, затеях. Завтра у него, скажем, премьера в Малом театре, вчера у него вышла новая книга, — он говорит 3 часа и не проронит об этом ни слова. У него не только нет ни тени хвастовства, но напротив, он всегда говорит только о своих неуспехах, провалах и проч. У него

золотые руки: он умеет делать абажуры, столы, стулья, он лепит из глины портреты, он сделал себе великолепную зажигалку из меди, у него много станков, инструментов, и стоит только посмотреть, как он держит в руках какие-нибудь семена или ягоды, чтобы понять, что он — великий садовод. При видимом простодушии он всегда себе на уме. Это породистый и хорошо организованный человек, до странности лишенный доброты, но хороших кровей, в нем много поэзии, — типичный русский характер».

«До странности лишенный доброты», «в нем много поэзии», «отлично вооруженный для жизни» — сочетание столь контрастно несовместимых черт в одном человеке, скажем прямо, случай нечастый в художественном мире. Куда обычней здесь чувствительные добряки, кабинетные мечтатели, неустроенные фантазеры. Если подобные несочетаемости и могли существовать в одном лице, то только в художнике особого, отстраненно-философического склада, в такой натуре, как Леонов. Вдобавок философичность эта была исковеркана каждодневным прессом и духовной пустыней тоталитарной действительности. Хотя, по слову автора дневника, это и «типично русский характер», но перед нами снова маячит образ уродливого детища пустынь. Кактуса, кактуса, кактуса...

В 1975 году начал выходить очерково-публицистический альманах «Шаги», собиравший под одной обложкой лучшую публицистику года. Обязанности главного редактора возложили на автора этих строк. Это открыло передо мною новые возможности для встреч и сотрудничества с Леоновым.

Для раздела «Писатель и природа (Два выступления на одну тему)» («Шаги», вып. 3, М., 1977) Л. Леонов дал нам статью «Отечество». Его партнерами в публицистическом диалоге выступали Василий Песков и Владимир Канторович.

В 7-м выпуске ежегодника (М., 1981) Л. Леонов опубликовал статью «Раздумья у старого камня». Помню, Л. М. жаловался, что первоначальный текст был искажен и порезан в редакции журнала «Техника — молодежи».

Раздел «Трибуна публициста», открывавший уже в эпоху «перестройки» 12-й выпуск альманаха (М., 1987), содержал подборку суждений Леонова о судьбах планеты и человечества под названием «Мысли, которые необходимо высказать».

Две идеи постоянны в леоновской публицистике тех лет — литератор должен быть «солдатом мира» и «солдатом природы».

Из статьи, напутствовавшей книгу Василия Пескова «Отечество», видно, сколь разных авторов, писавших о защите и охране природы, Леонов близко знал. Он внимательно следил за их работой и фактом своего присутствия сплачивал и объединял если не всех, то многих.

В той же статье «Отечество» неспроста мелькает и сравнение одного из таких литераторов — «друга природы» — с лесковским очарованным странником. Для Леонова в «малых зверюшках, милых пташках наших и всякой полезной муравьиной братии, иногда под предлогом прогресса

сметаемой с лица земли», как и в природных стихиях, всегда разлит высший Промысел, воплощено Божественное начало. Микрокосмос человеческой индивидуальности и космос мирозданья, каждая «росинка жизни» неразделимы и объединены здесь волей Создателя...

При всех сложных мировоззренческих метаморфозах, через которые прошел Леонов, религия «росинки жизни» всегда одухотворяла его творчество. И одна из центральных идей всего романа «Пирамида» — это мысль о том, что именно религия, «подобно пчелиному меду являясь окончательным продуктом всей человеческой деятельности... служит единственным оправданием этого нелепейшего вертящегося мрака, где кружением гигантских маховиков обеспечивается разбег к органической жизни, венчаемой на крайнем своем этапе человеческой мыслью».

Это и есть последнее слово писателя, его художественное завещание, которое по необходимости произносилось невнятно или писалось «в стол».

* * *

7 января 1986 года (есть запись в дневнике) я позвонил Леонову на дачу.

Услышал в трубке молодой сочный леоновский тенор с богатыми модуляциями. Голос жизнелюба и актера. Л. М. был в приподнятом настроении, оживлен. Был праздник Рождества.

Я поздравил Леонида Максимовича. Мы обсудили, как использовать в альманахе подборку его суждений «Мысли, которые необходимо высказать». Затем, в лирическом рождественском благодушии, я спросил, помнит ли Л. М., как в одну из наших первых бесед, лет двадцать назад, он рассказывал мне про точность укола осы и как надо писать? До сих пор не могу забыть: «между пятым и шестым кольцами»!

— Конечно, — сказал Леонов. — Таких точных ос в природе много...

— А как ее название? То ли бимбикс, то ли бембикс?

— Бембекс, — поправил Леонов. — По буквам: Борис... Елена... Мария... Борис... Елена... Константин... Сергей... Бембекс! О ней еще французский энтомолог Фабр писал. Возьмите его десятитомник «Энтомологические воспоминания». Там еще и не такие чудеса есть! Ну, извините. Гости едут. Рождество! А вы не забудьте: оса бембекс!

Больше мы с ним не разговаривали.

Сергей МИХАЛКОВ

«Я СЛУЖИЛ ГОСУДАРСТВУ»

Интервью Ирины АРЗАМАСЦЕВОЙ

В марте этого года литературная общественность России широко отмечала 85-летний юбилей Сергея Михалкова — знаменитого детского поэта, одного из авторов гимна Советского Союза, видного общественного и литературного деятеля советской эпохи.

Мы присоединяемся к тем поздравлениям юбиляру и к тем пожеланиям ему доброго здоровья, долгих лет жизни и нового творческого взлета, которые он в таком изобилии получал в эти дни, а в качестве нашего собственного скромного юбилейного ему приношения печатаем интервью, которое несколько раньше он дал Ирине Арзамасцевой, но которое завизировал как раз в юбилейные дни. В этом интервью Сергей Михалков затрагивает многие острые и спорные проблемы, которые столь бурно обсуждаются сегодня, откровенно и внятно высказывает при этом свои собственные на них взгляды, свое собственное видение и нашего недавнего прошлого, и нашего сегодняшнего дня, и своего места в этом нашем прошлом и настоящем. Взгляды эти, как легко может понять читатель «Континента», во многом находятся в прямом несогласии с литературными и общественными позициями, которые отстаивает наш журнал. Но мы считаем, что интервью Сергея Михалкова, выразительно передающее и особенности мировидения, и сам строй внутреннего духовного мира такого яркого и, следовательно (по Достоевскому), в высшей степени типического представителя уходящей в прошлое советской эпохи, обладает и как документ эпохи, и как человеческий документ той несомненной исторической ценностью и репрезентативностью, которые способны сделать знакомство с ним не только безусловно полезным и интересным, но даже по-своему и увлекательным для любого нашего читателя — независимо от того, согласен и до какой степени согласен он с Сергеем Владимировичем Михалковым.

Редакция журнала «Континент»

Ирина Арзамасцева: Моим ровесникам, независимо от образования, политических пристрастий, очень понравился фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Однако от людей старшего поколения, которые помнят это время, я слышала, что фильм неправдив, что эпоха была иной, что не было таких «дворянских гнезд», полупомещичьей жизни красных командиров. Что Вы скажете об этом несогласии?

Сергей Михалков: Врут эти люди. И известно почему они врут — от зависти. Наш дом был таким, как и многие дома в Подмосковье. Так жила старая интеллигенция. Конечно, были и другие дома — в деревне. Подмосковный поселок работников науки и искусства был организован в 1924 году, там жили такие старухи, академики, ученые, писатели, врачи... И ничего богатого в фильме не показано.

И.А.: Но говорят, аресты происходили иначе, гораздо более буднично?

С.М.: Аресты происходили по-разному. Не было стандарта. Арестовывали в ресторанах, за границей, дома, арестовывали ночью, арестовывали днем. Врут эти люди. Фильм и пользуется таким успехом, что он правдив.

Не может быть произведения искусства, которое всем бы нравилось без исключения. Когда была премьера кинофильма Никиты «Урга», который получил все премии, какие есть за границей, то наша критика писала, что это фильм неправдивый; и крупные кинематографисты считают это большой неудачей. Идет борьба, борьба направлений. Вот и всё. Не в этом дело. Победителей не судят. Фильм нравится всем, и за рубежом, и у нас. И простым людям, и не простым.

И.А.: Для меня очевидно, что в фильме «Утомленные солнцем» нашло отражение творчество Гайдара. Это атмосфера его «Голубой чашки».

С.М.: Там его творчества я вообще не вижу никакого. Там отразилось творчество самого Никиты. Там есть кадры, которые напоминают кадры из его фильмов: чеховское настроение.

И.А.: Иногда Никита Михалков играет как будто Горького, иногда подчеркнуто похож на Вас.

С.М.: Это собирательный образ, это образ не настоящего человека. Такого же не было.

И.А.: Но все-таки в этом фильме есть атмосфера праздника, как понимал его Гайдар.

С.М.: Это и есть праздник — один день отдыха. Он любит жену, любит ребенка. Как люди не понимают, что он нарочно взял человека, который боролся за советскую власть, а женился на представительнице старой русской интеллигенции. Если бы он показал его в рабочей семье — это было бы неинтересно. Там же всё продумано. И потом же — художественное произведение, нельзя же всё мерить по «какэтобыло». У каждого было по-разному. Арестовывали всех по-разному. Предатели приходили в квартиру... Друзья, которые предавали... Это всё очень жизненно. Ведь поэтому он трогает народ, что он жизненно правдив.

И.А.: Сергей Владимирович, в Вашей автобиографической книжке «Я был советским писателем» встречаются имена, которыми впору пугать детей. Как Вы умудрялись служить Власти и опасной, и безнравственной? Именно служить?

С.М.: Я служил государству. У нас же было государство: работали честные ученые, честные преподаватели, честные военные, честные писатели. Вся лучшая русская литература XX века создана в советское время. Вся.

И.А.: А Серебряный век?

С.М.: Я говорю: в лучших своих образцах русская литература XX века создана при советской власти, в советское время. И даже Блок, и даже Брюсов, и Булгаков. Распутин, Белов, Бондарев... И Алексей Толстой. И я всё лучшее создал в советское время.

И.А.: Чем же объясняется, что, действительно, несмотря на «железный» век, настоящая литература и настоящие литераторы всё же были?

С.М.: Настоящие писатели писали то, что хотели писать. Вот я хотел писать пьесы, и никто меня не останавливал. И меня награждали. И других награждали. И спорили с этими произведениями, и ругали в печати, и всё равно давали премии этим писателям, потому что общественное мнение было выше. Те, кто писали против строя, против советской власти (их было не так много), — их, естественно, не печатали, их ругали, их сажали в тюрьму. Потому что они боролись.

И.А.: А обэриуты? Они стояли вне политики, вне какого-либо строя. Тем не менее их судьба печальна.

С.М.: Это было смутное время. Доносчиков было много. Собирается пять человек, а уже тайное общество вроде. Так было на первых порах. С обэриутами я был хорошо знаком. У меня был приятель-обэриут — Александр Введенский.

И.А.: И что он был за человек?

С.М.: Хороший человек. Он у меня жил. Мы с ним были очень дружны.

И.А.: Аркадий Белинков написал скандальную книгу о Юрии Олеше, там он доказывает, что Олешу сломала советская власть. Это действительно было так?

С.М.: Ничего его власть не ломала. Он написал «Трех толстяков» во времена советской власти. Его пьесы шли в Художественном театре. Это была богема. Он сидел в кафе, пил свой коньяк. Его же в тюрьму не сажали. А могли бы посадить **всех**. И лауреатов, и не лауреатов. Маршалов сажали. Это было такое время. Но несмотря на время, всё лучшее, что создано в XX веке (а он уже кончился фактически), создано в советскую эпоху — в театральном искусстве, в науке, в литературе. За семьдесят четыре года. Писатели самые лучшие русские, о которых будут говорить через сто лет, — они родились и жили в советское время, несмотря на режим. Этого не сбросишь. Это не был, так сказать, тот режим, который всё уничтожал хорошее. Неправда. Очень много хорошего родилось в то время. Но и очень плохого было много в то время. А что сейчас?

И.А.: Сейчас литература переживает кризис.

С.М.: Нет литературы. А почему-то в советское время литература кризис не переживала.

И.А.: Почему же? Тогда тоже был кризис. Некоторые писатели находились в очень трудном, порой трагическом положении.

С.М.: Отдельным писателям было трудно напечататься, допустим. Но всё же их печатали?! И ругали. А потом премии давали, Государственные...

И.А.: А сегодняшняя ситуация — и политическая, и ситуация в искусстве — не напоминает ли Вам 10—20-е годы? Можно ли сравнить нашу постперестройку с каким-либо временем?

С.М.: Это всё ерунда. Сейчас смутное время, нет стабильности — из-за правительства, из-за этих идиотских начинаний, которые проваливаются.

И.А.: 20-е годы тоже были смутным временем.

С.М.: Смутное время, да. Это естественно.

И.А.: В конце 20-х годов в литературу вошли Вы...

С.М.: В литературе выступили Блок, Маяковский, Есенин... Да, было смутное время. И всё равно создавались великие произведения, которые печатаются и сегодня, печатались и тогда.

В правительстве сидели люди, которые многого не понимали. Они видели какие-то подвохи. Правительство было слабое. Они боялись, что их снимут. Они и царя-то убили из-за этого — от слабости своей. Они испугались. Это было смутное, тяжелое время, но всё равно потом оно как-то установилось. При всем при том была какая-то стабильность, учреждения как-то работали. И детский театр был создан советским правительством, лучший детский театр в мире — сейчас он разрушен. И лучшая детская литература была создана в советское время, известная во всем мире, — сейчас она разрушена. Лучшее издательство, основанное Горьким, сейчас очень мало печатает. Всё это было стабильно. И весь Художественный театр был создан фактически в советское время. Он зарождался еще в XIX веке, но стал знаменитым русским Художественным театром в советское время. Станиславский, Немирович-Данченко и все остальные — они все умерли, создав Художественный театр. И никуда Вы не денетесь, если будете изучать искусство XX века, всё равно Вы скажете: вот это шедевры. И великие актеры родились в советское время, стали известными в советское время и умерли в советское время, от старости. И космос — в советское время. Это нельзя всё сбрасывать со счетов. И крупнейшие физики, и крупнейшие хирурги XX века в России, несмотря на все трудности, — они родились и создавали всё в советское время. Потому что им шли навстречу: создавали институты, давали деньги на их работу. А сейчас что? дают деньги? кому дают деньги? Никому не дают деньги.

И.А.: Почему же тогда эта стабильность так легко в одночасье рухнула? Никто всерьез не защищался.

С.М.: Очень просто: потому что не было коммунистов, а были члены партии. Потому что руководство наше партийное — это не были коммунисты, ибо они коммунистический кодекс придумали для массы. А масса понимала, что если он не имеет партийного билета, то ему хода нет никуда. Потому и было восемнадцать миллионов коммунистов, так называемых. Они были восемнадцать миллионов членов партии, с партийными билетами. Были среди них коммунисты, были честные люди, которые верили, работали не покладая рук, боясь только потерять партийный билет. Это было самое страшное, потому что тогда у человека не оставалось никаких перспектив. А беспартийный человек, кто бы он ни был, шел только до определенного колышка. А дальше, если он не член партии, идти ему было трудно. И докторскую защитить, и картину получить, за границу поехать — это всё было для членов партии, в основном. Это было несправедливо, но на этом держался режим. А руководство во-обще коммунистами не были, они жили как разложившиеся богатые люди. Царские охоты, царские привилегии, всё детям. Они жили не по-коммунистически. Потому что член партии — это тот, кто имеет партийный билет, а коммунист — это уже идейное убеждение. Ленин был коммунистом, Сталин был коммунистом. А Брежнев, Хрущев — они не были коммунистами. И их руководство привело к тому, что всё рухнуло, потому что стояло всё на глиняных ногах. Вот и всё. Были коммунисты, которые шли в атаку с именем Сталина, потому что они верили. И в тюрьмах умирали с именем Сталина на устах, потому что они думали, что Сталин не знает ничего.

И.А.: Значит, Сталин был коммунистом. Почему же он так жестоко правил страной?

С.М.: Потому что он был больной человек. Он был мнительный человек. Ему казалось, что его хотят убрать, убить. Он никому не доверял, своим ближайшим соратникам он не доверял. У одного сажал жену, у другого — брата, у третьего расстреливал мать и отца. На этом он и держался. Он боялся. Он жил ради идеи мирового коммунизма. Это была идея, может быть, фантастическая. Для себя ничего не брал. Он жил как аскет. Он не собирал часы золотые, бриллианты, шубы и прочее. Он ходил в одном френче, в одних сапогах и спал на кожаном диване. И жил то в одной даче, то в другой, потому что боялся террористического акта. Он был больной человек, это было его горе. У него психика была затронута. Но он понимал, что искусство, литературу, науку надо поддерживать. Он это понимал, и деньги давал. И Академия наук была весомая. Но он людям не доверял. Он должен был опираться на кого-то. И он доверял людям до поры до времени. А потом, много было негодяев, предателей. Ему нашептывали, что этот такой-то, такой-то. Он был человеком очень умным, очень образованным и очень мнительным.

И.А.: Значит, у нас за всё время существования советского государства не было ни одного нормального человека во власти?

С.М.: Может, и были, но их расстреливали. И Рыков не дурак был, и Зиновьев. Но он их убирал. Достойных людей убирали, потому что боялись.

И.А.: Может, стабильность государства и оказалась такой хрупкой, что власть была труслива и подла?

С.М.: Что значит стабильность? Семьдесят четыре года просуществовали, а фашистский режим в Германии просуществовал тринадцать лет всего. А уж, казалось бы, фашизм был какой сильный и крепкий. Всего тринадцать лет.

И.А.: Сейчас, сравнивая коммунистический режим с фашистским, попросту ставят между ними знак равенства.

С.М.: Очень просто: то был тоталитарный режим, и это был тоталитарный режим.

И.А.: А Вы, занимая такие большие посты, чем руководствовались в своих решениях?

С.М.: Справедливостью руководствовался, справедливостью. И ходил ко всем власть имущим, и выручал, и доказывал, что это произведение хорошее. И меня слушали.

И.А.: Вы могли бы назвать имена писателей, которых защищали?

С.М.: Я защищал очень многих писателей. И Дудинцева, и Астафьева, Кешокова, когда обрушивалась на них партийная критика, потому что партийная критика была часто однобокая. Да мало ли мы писали в ЦК, Сталину. Если честно работать, то очень многое можно было сделать. Я националов поддерживал. Сейчас национальные культуры никто не поддерживает. Националы до сих пор благодарны нашему Союзу писателей России. Мы собирали националов, туда выезжали, орденами награждали крупных национальных писателей, которым теперь уже по восемьдесят лет.

А потом, там были люди, которые очень хорошо соображали и шли навстречу. Что же Вы думаете, там сидели одни монстры только? Там были люди равнодушные, были, наоборот, очень отзывчивые, им трудно было в том кругу, где они вращались. Было трудно общаться с высшим начальством, они его побаивались и старались угодить. В общем, сложная была, как при всяком правительстве, жизнь. Там тоже не так легко. Видите, премьер-министров судят за взятки в Японии, в Италии премьер-министр был связан с мафией. Так что политика — грязное дело. Важно честно исполнять **свой** долг, а если ты не можешь — уходи. Я через двадцать лет и ушел.

И.А.: Однако Вы не только защищали, но и выступали против. Верно ли, например, то, что Вы воспрепятствовали детским изданиям поэта Олега Григорьева?

С.М.: Я просто сказал, что это стихи не для детей. И всё. Я и сейчас так считаю. И ничего я в этом плохого не вижу. Спрашивают у меня, это

что, стихи для детей? Я не мешал этой книжке выходить. Я сказал, что это книжка не для детей. Это взрослый черный юмор, я его не люблю. И это не для детей. Ну и что? Его не приняли в Союз писателей. Я и про Остера говорю: он талантливый человек, безусловно, но пишет он не для детей. Это взрослый юмор. Ну и что? его же печатают, его же не гонят из литературы.

И.А.: Раньше были самые большие тиражи у Вас, у Барто, у Эдуарда Успенского. Сейчас самые большие тиражи у Григория Остера.

С.М.: У меня каждый год выходит пять-шесть-восемь книг. Художники помогают этим писателям. Успенского покупают из-за художника Чижикова. Надо, чтобы дети прочитали и попросили бы другую книжку того же автора.

И.А.: Остера дети читают.

С.М.: Пускай читают, это его заслуга, но я считаю, что это не для детей. Если книжка живет пятьдесят лет, значит, такие книжки и надо писать детям. А как писать — это уже от Бога. Не просто развлекать, а чтобы ребенок не понимал, что эта книжка его воспитывает. Если он понимает, он не будет ее читать.

И.А.: Какие цензурные ограничения существовали в детской литературе советского времени?

С.М.: Детский писатель, он сам себя ограничивает от того, что называется цензурой. Он сам себе цензор. Он должен понимать, что можно писать детям, а чего нельзя.

И.А.: В Ваших произведениях был создан образ советского детства, некий поэтический миф о советской эпохе.

С.М.: У меня были стихи действительно направленные, потому что школа была советская, программы были советские. Педагогика следила за этим. Но у меня, кроме этого, были стихи, которые не имели ничего общего с советским образом жизни, и эти книги составляют большинство.

И.А.: Вы жалеете о том, что той страны больше нет?

С.М.: Я жалею, что нет Советского Союза.

И.А.: Но все-таки какие-то оптимистические оценки в отношении нашего времени Вы можете дать?

С.М.: Надо питаться надеждой и стараться быть оптимистом. Раз так случилось, значит, так должно было случиться. Раз самодержавие сгинуло, значит, так должно было случиться в истории. Оправдание можно искать любое. Глупо говорить об этом: ай-ай-ай, то-то не досмотрели... Чепуха. Вот сегодня — демократия, которой нету. И не будет никогда у нас. В России не было никогда демократии. Россия — это особенная статья, совершенно иная судьба.

И.А.: Разве ее особенность в том, чтобы переходить от одной смуты к другой смуте?

С.М.: Я не знаю. Проследите историю России, и увидите, как она развивалась. Так она и будет развиваться. Никогда не будет демократии у нас. Потому что русский народ — это особый менталитет — Запад и Азия. Некоторые ждут, что у нас будет как в Швеции или в Швейцарии. Никогда у нас так не будет.

И.А.: А Вы бы хотели, чтобы Россия жила так, как Швейцария?

С.М.: Поехать на день в Швейцарию — да, потом — скучно.

И.А.: Читаете ли Вы современную литературу?

С.М.: Журналы, которые сейчас выходят, — от случая к случаю.

И.А.: Нашли ли Вы что-то стоящее за последние два-три года?

С.М.: Открыл для себя Набокова. Это очень большой писатель. Я очень люблю Шукшина, Астафьева, Распутина.

И.А.: На наших глазах, как Атлантида со дна, поднялась проза Андрея Платонова. Вы знали его?

С.М.: Платонова я знал. Я его с трудом читаю.

И.А.: Его основные произведения были долго под спудом. Или Сигизмунд Кржижановский — тоже открытие невероятное. Почему они в свое время так не звучали? Только ли в идеологии дело?

С.М.: Тут много разных причин. И критика наша прислуживала вкусам, которые сверху спускались. Достаточно было Суслову прочитать какую-то книжку и сказать какое-то мнение, как сразу накладывалось вето на эту книжку, издатели не хотели печатать, критики начинали ругать. Большинство наших деятелей вообще ничего не читали. Сегодня некоторые прежние критики пишут всё обратное. Это были не писатели вообще, но они писали свои статьи, выступали на собраниях, создавали мнение о писателе. Сейчас, слава Богу, никакого «мнения» нет, сейчас можно что угодно писать о ком угодно и что угодно печатать. Сейчас уже решают читатели.

И.А.: И деньги. Издательства решают. Снова зависимость от «денежного мешка», как говорил Ленин о буржуазной культуре. А раньше советские писатели зависели от идеологического спроса.

С.М.: Одни зависели, другие не зависели. Партийные писатели зависели от партийных установок. А другие писатели этих установок не утверждали, а их печатали так же широко: Пришвин, Паустовский, тот же Леонов. Я возвращаюсь к своему постулату: лучшие произведения русской литературы созданы в советское время.

И.А.: Сейчас появились новые факты из биографии Аркадия Гайдара...

С.М.: Это, к сожалению, соответствует действительности. Ему было девятнадцать лет. Он был начальником карательного отряда.

И.А.: Но как это соотносится с его произведениями? Я учу студентов. Что мне им сказать?

С.М.: Тем не менее он хороший писатель. Это всё очень сложно. Известно, что монахи писали самые скабрезные сочинения. Не обязательно актеру, который играет бандитов и убийц, быть в жизни бандитом. Совершенно не обязательно, что артист, который всю жизнь играет благородных людей, на самом деле негодяй. Писатель с отвратительной личной биографией, аморальный человек в полном смысле слова, писал самые светлые произведения.

И.А.: Это Гайдар?

С.М.: Нет, есть другой. Он пишет о том, чего у него нет. Поскольку это писатель, творческая личность: он тянется душой к хорошему, а делает в жизни плохое. Это такая раздвоенность писательской личности. Вообще по творчеству писателя нельзя судить об его личности как человека.

И.А.: Но ведь традиция русской литературы, идущая от древности, состоит в том, что пишущий должен очистить свою душу, прежде чем тронуть бумагу.

С.М.: Но писатель живет жизнью и отрицательных героев. Он перевоплощается в злодея, когда он пишет о злодее, — Достоевский.

А Гайдар... Романтика, героизм, ложно понятый. Люди, которые сопротивляются советской власти (а он служит этой власти)... Власть ему говорит: «Бей, уничтожай, ты правильно делаешь!». А ему девятнадцать лет. Может быть, он поэтому и пил так сильно, когда стал взрослым. Его что-то мучило. Нельзя его произведения отождествлять с тем, что он творил в жизни. Произведения живут своей жизнью, и ребенку совсем не нужно знать эти главы из жизни автора.

И.А.: А как же Пушкин: «Гений и злодейство — две вещи несовместные»?

С.М.: Из-за того, что он там творил в девятнадцать лет, из-за этого перестать читать его хорошие произведения детям?

И.А.: В том-то и дело, что произведения бесспорно хороши.

С.М.: Вот и всё. Так и смотрите. Вот такие люди бывают. А это уже вопрос к психиатру — раздвоение личности. А Петр Великий? Жесточайший человек, а что он сделал с современной Россией? Личные биографии иногда не сочетаются с тем, что человек сделал в жизни.

И.А.: Тогда непонятно, как судить человека **в итоге** — по его личным поступкам или по свершениям.

С.М.: Если Гайдара надо было судить, то судить до того, как он написал эти произведения. Вот тогда он не был писателем.

«Я не буду читать этого писателя, потому что он убил свою жену», — причем тут жена? причем тут писатель? Какое мне дело до того, кого он убил? Если он написал гениальное произведение, оно живет двести лет после того, как он убил свою жену. И в этом произведении он не призывает убивать жен.

И.А.: Может быть, сохраняется где-то в самой глубине произведения грешный дух автора, соблазняющий и растлевающий незаметно читателя, тем более ребенка?

С.М.: Что общего между тем, что творил Аркадий Гайдар в девятнадцать лет, и его «Голубой чашкой», «Тимуром и его командой», «Чуком и Геком»? Это же добрые книги. Просто не нужно рассказывать детям... Или: «Я не буду читать этого писателя, потому что он был болен сифилисом» — Мопассан. Я не буду Мопассана читать, потому что он был развратник. Какое мне дело до того, что он был развратник? Я читаю его рассказы. Или: «Я не буду смотреть картины Ван Гога потому-то и потому-то». Это мещанский взгляд на искусство. Есть прекрасные, добропорядочные, честнейшие люди, а то, что они пишут, приносит явный вред.

И.А.: Как и жизнь, литература полна парадоксов. Спасибо за беседу.

ОТШЕПЕНЕЦ ЕВГЕНИЙ Б. — СЕМИДЕСЯТНИК

...И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
Евгений Баратынский

Родившись между небом и землей...
Евгений Блажеевский

1

Именно так: семидесятник. Не «один из семидесятников», не «поэт поколения семидесятых». Потому что отвергаемые формулы не только бессильно общи, оскорбительно безлики в сравнении с индивидуальностью поэта, — они вообще сомнительны. Что, сознаю, нуждается в пояснении.

Семидесятники... Шестидесятники... Множественное число... Уже само концевое «и» обнаруживает не столько соборность, сколько расплывчатость, и не зря я начал недавнюю (и подчеркиваю: благожелательную) рецензию на книгу Вайля и Гениса «60-е. Мир советского человека» солоноватым воспоминанием, впрочем, извлеченным из памяти не ради ерничества. А именно: в оное время пришлось знавать некоего члена Союза писателей, сильного по общественной линии, но простодушного (к примеру, рассказывал: «Я ведь не собирался писателем быть. Я в армии служил. Но раз крутил «солнце» на турнике, сорвался, ударился головой, пришлось со службы уйти. Вот и...»). Словом, где-то в разгар оттепельных иллюзий группа коллег, сойдясь в ЦДЛ, полушепотом отдавала дань полугласности: Сталин, Сталин, Сталин... Тридцать седьмой, тридцать

Станислав РАССАДИН — родился в 1935 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. С 1963 года, сменив за пять лет три места службы, перешел на так называемую творческую работу. Член Союза писателей, Союза кинематографистов, российского ПЕН-Центра. Автор ряда книг, в частности: «Драматург Пушкин» (1983), «Фонвизин», «Спутники» (1984), «Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина» (1989), «Очень простой Мандельштам» (1994), «Русские, или Из дворян в интеллигенты» (1995). Живет в Москве.

седьмой... Тот, о ком говорю, проходя, услыхал роковую дату: «А, тридцать седьмой! У меня в тридцать седьмом баба была — вот такие титьки!».

Кто посмеет сказать, будто он исказил исторический факт? И пуще того: если будем учитывать существование и таких современников всякого исторического периода, то, быть может, даже найдем противоядие против дурной (хотя и профессионально понятной) привычки завзятых историков оперировать лишь отвлеченными, словно в алгебре, величинами.

К примеру (из тех же Вайля и Гениса): «Целое...». Да, целое — ни единичкой, ни человечком не меньше того! «Целое поколение советских людей твердило, как заклинание: «Ты спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?». Или: «Шестидесятники топили себя в бескрайнем море Романтики», как, добавлено, мигрирующие стадами грызуны-лемминги. А то даже: «Шестидесятники не окали и не акали, а объяснялись на усредненном говоре, восходящем если не к Хемингуэю, то к Гладилину...».

Конечно, порой и историк, мыслящий, как полководец, армиями и фронтами (тем паче — выгравшийся в роль историка), может дать человеческую слабину: «По сути, каждый диссидент 60-х — отдельная драма, иногда — трагедия». Но торжествует закон больших чисел: «Весь Советский Союз шагал на водные процедуры...» — и поди доказывай, что лично ты, может, купаться ленился. Особенно в море Романтики.

Придираюсь? Конечно, конфузливо полагая при этом, что в идеале (достижения коего, ой, как покуда не хочется!) все мы, сознательно жившие в шестидесятые годы, должны поголовно вымереть, дабы своим брюзжанием не посягать на непререкаемость глобалистики: «Целое поколение... Весь Советский Союз...». Но пока... Что поделать, брюзглива всякая особь, считающая себя слишком шероховатой, чтобы согласно улечься в общую кладку, и если Евтушенко, традиционно избираемый в качестве знаковой фигуры, еще худо-бедно годится на эту роль, то где тот микроскоп, в который, простите за тавтологию, можно увидеть микроскопический вклад в поколенческую сплотку, сделанный Искандером? Владимовым? Чухонцевым? Где оно вообще, *поколение*, если «шестидесятники» — скорей псевдоним времени, чем реальное имя реальной генерации? Если общими надеждами и иллюзиями объединялись старик Паустовский, фронтовик Окуджава, Аксенов, дитя войны? И, наконец подбираясь вплотную к материалу и теме этой статьи, к поэзии Евгения Блажеевского, спрошу: не обречено ли на мифологичность всякое воспоминание об эпохе, исходящее от того, кто тогда практически не жил? Только начинал жить:

Веселое время!.. Ордынка... Таганка...
Страна отдыхала, как пьяный шахтер,
И голубь садился на вывеску банка,
И был безмятежен имперский шатер.
И мир, подустав от всемирных пожарищ,
Смеялся и розы воскресные стриг,
И вместо привычного слова «товарищ»

Тебя окликали: «Здорово, старик!»
...А что еще надо для нищей свободы? —
Бутылка вина, разговор до утра...
И помнятся шестидесятые годы —
Железной страны золотая пора.

Вот оно как — «золотая»... Я, который, кажется, лет на десять старше Блажеевского (возможно, как раз на решающее в разделительном смысле десятилетие), так бы ни за что не сказал. В крайнем случае — «позолоченная», причем надо было очень хотеть обманываться, чтобы не понимать непрочность позолоты.

Итак, еще один миф? Да, но, как говорится, этим и интересен. Вообще — мифы всегда больше рассказывают не о том, *что* мифологизируется, а о тех, *кто* мифологизируют.

С Вайлем и Генисом всё относительно просто или хотя бы понятно. Они талантливо — как подлинные, а не самозванные постмодернисты — сыграли в историков, как в других случаях играют в литературоведов, а коли так, почему бы в их книге шестидесятникам не превратиться в стада, куда-то мигрирующие, или не заговорить в унисон на языке Гладилина? То бишь — не стать постмодернистской метафорой? Сугубо второй, а не первой реальностью, где старший лейтенант Ю.А. Гагарин не просто отправляется в космос по приказу командования, но оплодотворяет небо, «как мужчина оплодотворяет женщину». Мало того — вот и о Храме Христа: «На его месте соорудили... бассейн, заменив... мужской символ женским».

Православный храм как фаллический символ? Однако — ничего не попишешь: эту систему переоценки-уценки нельзя не учитывать.

Хорошо. А — Блажеевский, чье поэтическое существо вполне контрастно по отношению к затейливости отечественного постмодернизма (не говорю уж: к его беспечному паразитированию на предшествующей словесности, на предшествующих эпохах)? Блажеевский, который если и вздумает уничижаться, притом с загульным российским размахом, как будто ничуть себя не щадя:

Я маленький и пьяный человек,
Я возжелал в России стать пиитом,
Нелепый, как в музее — чебурек,
Или, как лозунг, набранный петитом,

— то унижение выйдет именно по-российски: паче гордости. «Я возжелал...» — подумать только, чего! «...Стать пиитом» — и где? В России!

Тут и стародавний «пиит» не случаен: «В России стать поэтом» — то, да не то. Хотя, впрочем, не лексика, а скорей интонации стихов Блажеевского, не чурающегося ораторского, декламационного напора (порою вспоминаешь невольно русский восемнадцатый век и нередко, возможно, уже не без авторской воли — допустим, стих Баратынского), говорят: что его не соблазняет, так это позиция герметиста. И в среду андерграунда

(оговорюсь: в прямом смысле «under» — в подполье, а не в тусовку) он если и попадал, то не по собственному предпочтению, но по злой воле тех, кто не допускал его к читателю.

Никого никому не противопоставляя конкретно (не потому, что не находится опыт, а потому, что речь все-таки о другом), стоит вспомнить слова Пастернака о «художниках-отщепенцах», которые не имеют надежды быть понятыми современниками с полуслова и всё договаривают до отчетливости, до конца. Не то ли у Блажеевского? «В этом мире страшно быть объектом: / Женщиною, полем и Байкалом... / Из добычи становясь объедком, / Доставаться грифу и шакалам», — убийственно содержательная рифма «объектом — объедком» берет читателя мертвой хваткой, не давая ему проскочить мимо жестокой истины. Но, коли на то пошло, различия еще больше не между баловнями и изгоями, а между теми из вынужденных отщепенцев, которые обращаются к людям и Богу, затем-то и договаривая свои мысли до максимальной внятности, — и теми, кому довольно внутрикружкового шифра, приятельской переклички. О чем с достойной хвалы откровенностью высказался, например, один из лидеров нынешнего андерграунда (нет, точнее сказать, вчерашнего, ныне благополучно переместившегося на поверхность тусовок и презентаций) Лев Рубинштейн: в любом тексте он ценит прозрачность, благодаря которой видно лицо автора. Предпочтительней — близко знакомого...

2

Короче: кто же он, Блажеевский? И в каких отношениях был с эпохой, как бы то ни было, формировавшей его, выпускавшей в свет, — с семидесятыми, то есть, годами? Известно же, что время взросления и формирования в неравной для каждого степени, но неизбежно и навсегда откладывается известью в костяке, не давая ему произвольно вихляться туда и сюда.

«Страна отдыхала, как пьяный шахтер» — скажет поэт о шестидесятых. Раз так, семидесятые, значит, — похмелье?

Выходит, что — да. И, точно по Пушкину, «смутное».

Поколения шестидесятников, единого и неделимого, — не было; уж по крайней мере — единого в лучезарно-идиотической преданности «ленинским нормам», «социализму с человеческим лицом» и т.п., а она-то и выдается сегодня за постоянное выражение лица целой генерации. (Между прочим, когда Лев Аннинский, слегка возражая всё тем же Вайлю и Генису, у кого закваской шестидесятых годов объявлена Программа КПСС 1961 года, восклицает: «Да кто ж ее... читал из шестидесятников всерьез!», я возражу и ему. Все ль вообще читали эту Программу? Сам я прочел из нее лишь единый абзац — именно тот, который с ужасом обнаружил в первой собственной книжке: редактор вписал, разумеется, и не подумав спросить разрешения.)

Да, совокупность *шестидесятников* — фикция; утверждаю, не считая утверждение отъявленным парадоксом. Что действительно было, так это сами *шестидесятые*, — и я лишь теоретически допускаю насмешку: дескать, ясно, что были, куда же им деться после пятидесятых? Слишком уж очевидно: историческое время идет не сплошь, а, бывает, с огромными перерывами и провалами в небытие.

Шестидесятые — были, объединенные реалиями и иллюзиями времени, оттепельными послаблениями и отчетливым пониманием (ежели не для всех, то для части общества), сколь относительны и скоротечны данные послабления. Оттого так спешили осуществиться, даже если и бессознательно. И вот именно в этом смысле не было семидесятых. Была «новая цифра», повторяя за скептиком Сашей Черным, который отказывался обозначать движение *времени* в период *безвременья* иначе как сменой одной лишь цифири. Ничего не значащим обновлением нумерации лет.

Что ж говорить о семидесятниках — не имея, понятно, в виду простую случайность рождения, осененного «новой цифрой»?

«В осеннем парке мечется Борей, / Пестрит в глазах от желтой круговерти, / Ложащейся к подножью фонарей / В глухом порыве коллективной смерти». Быть может, не стоит терзаться вопросом, зачем Блажеевский в недавнем стихотворении превратил пейзаж в зрелище «коллективной смерти» — коллектива, который проявляет себя в акте несуществования. Возможно, ответ уже в следующей строке: «Сдувает поколение с берез...». Поколение! То, о котором на двадцать лет раньше было сказано с не менее трезвым осознанием обреченности: «Мы — горсточка потерянных людей, / Мы затерялись на задворках сада... И будущее наше во вчера / Сошло-ушло тихонько, по-английски».

Это или подобное вычитывается в стихах Блажеевского, где похмелье (фигуральное, а отчасти и буквально-взаправдашнее) перерастает в беспросветность продолжающегося запоя (та же самая оговорка). Тут и само пьянство, чем человечество грешило в разные времена, в разных масштабах, по разным причинам, предстает грехом и приметой времени, точнее, безвременья; что ж, так положено у стихотворцев — в конце концов, как замечено, кажется, Чернышевским, лорд Байрон пил не совсем потому, почему пьет забулдыга-сапожник. И дно Москвы, где взаправду пришлось обитать поэту, — как дно эпохи:

А жил я в доме возле Бронной
Среди пропойц, среди калек.
Окно — в простенок, дверь — к уборной
И рупь с полтиной за ночлег.

...Я жил затравленно, как беженец,
Летело время кувырком,
Хозяйка в дверь стучала бешено
Худым стервозным кулаком.

И т.д. Чистый быт, не свыше того, — если бы «чистый» не звучало двусмысленно. Но в нем неотвратимо проступает бытийность, к финалу названная уже впрямую:

И я, любивший разглагольствовать
И ставить многое на вид,
Тогда почувствовал, о Господи,
Как эта грязь во мне болит,

Что я, чужою раной раненный,
Не обвинитель, не судья —
Страданий страшные окраины,
Косая кромка бытия...

Далеко не из лучших стихов Блажеевского — да и написаны они давно, аж в 73-м, когда помянутый декламационный напор еще не умел войти составною частью в тот сплав, где и острая наблюдательность, и чувственная плотскость рисунка, и боль, переживаемая, а не заявляющая о себе. Но «косая кромка бытия» — замечательно. Всего лишь кромка, скошенная, будто выведенная неверной, пьяной рукой, однако же — бытия. Та его боковая, обочинная часть, что еще является бытием, но вот-вот перестанет им быть. Вот-вот перестанет, но покуда — является...

Эта *эстетика кромки*, обочины станет эстетикой Блажеевского. Если его гениальный тезка Баратынский, готовя горестный вздох о непрочности созданий «поэтической мечты», сходной с непрочностью облачных построений, сперва выстроит — для убедительности вздоха — нечто прекрасное: «Чудный град порой сольется / Из летучих облаков...», то взгляд Блажеевского в небо не перестает помнить, во что упирается в земной юдоли. «Града» — не будет:

Облака надвигаются без
Суеты рококо и лепнины.
Небогато пространство для дум
О развалинах дивного замка,
И невольно приходит на ум —
Штукатурка, известка, изнанка,
Потускневших белил густота,
Вороньё над развалом помойки...
И такая вокруг пустота,
Словно ты на заброшенной стройке,
Что уперлась в небесную твердь
Арматурой и кирпичами.

Пустота — запомним на будущее не случайное для Блажеевского слово, отметив покуда лишь то, что здесь оно означает не вдохновенное одиночество Лермонтова во внемлющей Богу «пустыне», а нелепое пребывание на захламленном пустыре. И поэт не столько сам внимает Богу, сколько подсказывает Ему, как разрушительно для сотворенного Им бытия наше существование на «косой кромке»:

О, не с нас ли, Всевышний, ответь,
Началось в небесах одичанье?

Между прочим, стихи о «кромке» называются «1972 год» (писаны годом позже) и содержат точную временну́ю примету: «...Тянуло гарью из Шатуры»; москвичи-то помнят свой город, погруженный тогда во мглу горящих торфов. Через пятнадцать лет к старому стихотворению добавляется новое, вкупе с ним составив диптих. Примета будет воспроизведена, даже экспрессивно осмыслена: «О, год, ушедший в черную дыру / Дымящейся Шатуры и портвейна!», но сам 72-й окажется прощен и вспомянут едва ли не с сентиментальной слезой:

Как обозвать тебя, как обласкать?..
Немытый, словно кружка в общепите,
Ты был прекрасен!.. Если обыскать
Словарь, то не найду другой эпитет.

Ты был прекрасен!.. Хоть в чужом дому
Я ночевал и пиво пил в подвале,
Но молодость была и потому
Со мною времена не совпадали.

Да, молодость, пора, в которую, как сказывают, и пуды были тяжелее, — но, кажется, несовпадение с временами здесь многосмысленней ностальгии по молодой легкости. Скажу покамест не очень внятно, до прямого косноязычия, лишь намечая мысль, которая дальше, глядишь, прояснеет: не совпадая с *временами безвременья*, Блажеевский отстаивал, создавал свое *время*. Свое! Как раз и оказываясь, становясь семидесятником, представителем нереализовавшегося поколения.

Он не то чтобы выпадал из чего-то сложившегося и цельного; он — не совпадал, не совпал. Ни с одним временем, ни с другим. К сожалению или к счастью, это уж как выходило.

С отдаленным прошлым, со сталинщиной — повезло, тут сомнения нет: «От страшного поворота / Я временем отнесен». С настоящим — нет, не повезло: «И будущее наше во вчера / Сошло-ушло тихонько, по-английски». Так может сказать лишь тот, у кого есть только одна реальность, с которой он бы хотел совпасть: «вчера». То есть — в рифму: «железной страны золотая пора». Но вдумаемся! Ведь и это «вчера», подвергнутое простительной идеализации, замкнуто в формулу несовпадения, несовместимости. Где золото, где железо? Можно ль их сплавлять в нераздельное целое?

Одно из пленительных стихотворений Блажеевского начинается аккурат тем словом, на которое я упираю:

Несовпаденье. Путаница карт.
Еще не вечер, но уже не утро,
Готовое направить свой азарт
По голубой спирали перламутра

Туда, где сад особенно тенист
И звонкий лед кладут в стаканы с виски,
И, ставший на колено, теннисист
Шнурует кеду юной теннисистке.

Когда ты это видел и причем
Картинка под Набокова, где Ева
Не яблоком, но теннисным мячом
На корте искушает пионера?..

Откуда этот непонятный пласт
Воспоминаний, наслоенье ила,
Когда тебя негаданно обдаст
Волной того, что не происходило?..

Какая горькая услада — и какая сладкая горечь в пиррихированном, но подпадающем под невольное ударение «не» последней строки! Не было этого — а как будто было. Как будто было (с тобой!) — однако все-таки не было, находясь в немеряном удалении от твоего личного опыта, от «косой кромки».

И ты живешь, как будто по другой
Программе телевиденья в концерте
Участвуешь, и нету под рукой
Ни жизни доморощенной, ни смерти!

Счастье сдвоенной жизни — и несчастье сознания: «не происходило». Не, не, не...

Пожалуй, можно сказать, что Блажеевский продолжил в русской поэзии традицию отщепенства; говорю осторожно-предположительно, потому что бывает ли у отщепенства традиция? Здравомысленно рассуждая, отщепенец на то и отщепенец, что он — та щепка, которая отлетает при рубке леса, при его «коллективной смерти». Или не может, не умеет прилепиться необходимой частичкой к коллективному же строительству. Хотя, с другой стороны...

«...И ношусь, крылатый вздох, / Меж землей и небесами», — помнились ли Блажеевскому именно эти строки из Баратынского, когда он то ли изъявлял собственное желание, то ли подытоживал и предрекал собственную судьбу? «Родившись между небом и землей, / Жить в облаках, не зная про порядки... Растаять без дубового креста / В осенней дымке, в придорожной луже...» Так или иначе, это апофеоз не просто отщепенства, но — несуществования, вольно или невольно откликающийся еще одному из поэтов, выбравших долю духовного изгойства. Вяземскому: «Я жить устал, — я прозябать хочу!».

Вероятно, всё же скорее невольно, чем вольно, и потому лучше говорить не о «преемстве», как выражались во времена Вяземского и Баратынского, а о неизбежном стереотипе (в данном случае необидное слово). Об общей формуле, в основе которой всякий раз свой опыт

самоощущения. У Блажеевского — и известный нам бытовой, непосредственно биографический, когда о судьбе может быть сказано: «До чего ж она пуста: / Бабы да катанье с горок... / Трудно начинать с листа / В тридцать и с копейки — в сорок». И родовой, корневой, когда в стихотворении «Памяти бабушки», уехавшей некогда «тоску за границей лечить», пойдет перечень упреков, прощений, потерь: «Живите в беспечном угаре / На грани любви и греха... / Пусть после на грязном базаре / И кольца уйдут, и меха. / ...Пусть после ваш мальчик несчастный / Оставит меня сиротой». Сама попытка нащупать оборвавшуюся связь явит как раз ее невосстановимость в личном, личностном смысле, найдя замену прекрасному, — но не только твою, лишенную родственной избранности: «Я после Ахматову Анну / Прочту как посланье от вас»...

3

Вот, однако, в чем дело. Сказал бы: вот странность, если бы речь не шла о поэзии, занятии, которое странно уже само по себе.

Несовпадение со своим временем — всегда драма; даже если годы спустя оно покажется вдруг удачей, поскольку «молодость была», то и радость двусмысленна: молодость была и прошла, несовпадение никуда не делось. И отщепенство — всегда драматично. Так что совершенно естественным надлежало б признать жалобный тон: «И всё бы ничего, / Да только вот / Душа — сиротка, беженка, простушка — / Потерянная на большом вокзале, / Не знает где приткнуться, / Как войти / Безденежным / Безликим существом / В холодные потемки мирозданья». Да, надлежало б — если бы это не было столь плохо.

Повод для жалобы может, конечно, многое объяснить: речь — о смерти друга. Но, объяснив, не оправдает «холодных потемок мирозданья», равно как и «большого вокзала», где имеют обыкновение теряться сиротки, — этого страдальческого нажима, попытки разжалобить нас своим отщепенством и одиночеством. Стихотворцу иного склада это, возможно, и удалось бы; Блажеевскому — не удается, точно так же, как прямолинейная публицистичность: «Лагерей и питомников дети, / В обворованной сбродом стране...». Потому что его отщепенство — сила его, а не слабость, за которую резонно было бы пожалеть.

«И променял / Чужбину / На чужбину...» — имеет он право посетовать в «Монологе провинциала», подразумевая географическое перемещение из нелюбимого южного города, «из местной жизни, / Чуждой славянину», в столицу, оказавшейся не такой, как хотелось, гостеприимной. Но даже ни к чему укоризненно вспоминать цветаевское, зацитированное — о «гетто избранничеств», о том, что «в сем христианнейшем из миров / Поэты — жиды». Достаточно прочесть стихи из тех, что наиболее удались самому Блажеевскому, — а нуждается ль кто в пояснении, что поэтам больше всего удается то, где они выражают самую свою суть?

Благословенна память,
Повернутая вспять.
Ты будешь больно падать,
Да редко вспоминать.

Осядет снегом горе,
Дитя увидит свет...
В естественном отборе
Для боли места нет.

Лишь память о хорошем,
О том,
Что стало прошлым,
О нежности,
Которой
Еще принадлежу,

О голосе любимом,
О том,
Что стало дымом,
Необъяснимым дымом,
Которым дорожу...

Самое время рассиропиться. Память, производя непроизвольный отбор, благодарно и благородно отбирает одно хорошее: не защипало ль у нас от расстроганности глаза? Но что-то вновь подмешивает в сироп горечь. Что? Может, само превращение прошлого в дым — неуловимый, *необъяснимый*, то есть забывший свое происхождение, не сохранивший даже следа узнаваемости того, что было и минуло? Тот, которым, конечно, надобно дорожить — но так, как дорожат последним и малым, что еще остается от былой жизни...

Хотя вообще-то память у Блажеевского предстает цепкой и отнюдь не настроенной на дымки́ и ды́мки забвения.

Правда, он может элегически замеланхолить: «Те дни породили неясную смуту / И канули в Лету гудящей баржой», — но где здесь неясность и смутность? Какая такая Лета, если сама элегичность конкретна, вещественна, адресна?

И мне не купить за крутую валюту
Билета на ливень, что лил на Большой
Полянке,
где молнии грозный напарник
Корежил во тьме металлический лом
И нес за версту шоколадом «Ударник»
С кондитерской фабрикой за углом.

«Кривая тень внезапной ностальгии / Ползет за мной...» И — опять ни тумана, ни дыма: «...от Кировских ворот». Точные адреса молодости, педантически указанное направление тоски, хищный вкус к пресловутой

первой реальности: «В шашлычной шипящее мясо, / Тяжелый избыток тепла. / И липнет к ладони пластмасса / Невытертого стола. / Окурок — свидетельство пьянки / Вчерашней — в горчичницу врос. / Но ранние официантки / Уже начинают разнос. / Торопят меню из каретки, / Спеша протирают полы / И конусом ставят салфетки, / Когда сервируют столы».

Дотошность прозы, не так уж обязательная для поэзии? Но когда Катаев или Олеша являют свою необыкновенную зоркость, замечая, как соль спадает с ножа, не оставляя на нем следа, или что дерево с обрубленными ветвями похоже на святого Себастиана, утыканного стрелами («Несносный наблюдатель!» — сказал бы Пушкин), то и другое выход... Нет, не за пределы поэзии как таковой, но за пределы бытописательства, жизнеподобия. За пределы того, что доступно нормальному, обычному глазу, — и в этом смысле равны причудливая ассоциация с христианским мучеником и простецкая соль, бесследно соскальзывающая с ножа (а то мы этого без Олеши не знали, просто не фиксировали на этом внимание!). Всё это в той же мере необязательно для обыденного взгляда, в какой элементарное следование натуре необязательно — стало быть, и ненужно, вредно — для художника.

В стихах Блажеевского о шашлычной сама обостренная наблюдательность — как бы следствие похмельной жадности (стихотворение озаглавлено без затей: «Первый посетитель» — едва, значит, бедняга дождался открытия, еще окурок не извлекли из горчичницы, еще полы недовытерли). Но это всего лишь бытовая мотивировка, то есть как раз сравнительно безразличная для поэзии. Главное — другое. «В жизни» быт вовсе не является нам в виде настолько сгущенном, до состояния эссенции. И при такой густоте самое что ни на есть реалистическое описание может оказаться на грани сюрреализма, может перейти эту грань, — что, кстати, и происходит в «Первом посетителе» с сознанием нашего нетерпеливого клиента: «В толкучке трагедий и залпов, / В нелепом смешении дней / Безумие бреда!..» Словом, может быть так или этак, — главное, повторю, что сама сугубая узнаваемость, плотскость, вещественность мира реальна, однако и ирреальна. *Необъяснима.* Даже не сдвинувшиеся со своих мест «Ордынка... Таганка...» или «Козицкий... Страстной... Тверской...», не говоря уж о ностальгически преображенной золотой поре железной страны, — всего лишь вехи, расставленные на просторе безвременья. Но можно ли мерить и размечать то, чье название начинается приставкой «без», этим знаком псевдосуществования? Пустоты?..

Но вот именно с последним словом, как я уже намекнул, надо быть осторожнее.

4

Читая Блажеевского, по назойливой профессиональной привычке выхватываю из текста излюбленные им слова, основные реалии — не принадлежности быта и биографии, а слова-символы. Чаще других попа-

дается «свобода», что немудрено и само по себе еще не характерно: кто ж ею, свободою, не козыряет? Кто не стремится к ней?

«Еще мы понимаем, что трава / В саду свежа всего лишь четверть года, / Что, может быть, единственно права / Похмельная, но мудрая свобода. / Свобода жить без мелочных забот, / Свобода жить душою и глазами, / Свобода жить без пятниц и суббот, / Свобода жить, как пожелаем сами». Да, не сказать, чтобы молодость понимала свободу сложней и индивидуальней, чем положено и разрешено возрасту.

Ладно, перед нами именно молодость, 1976-й, и хотя стоит заметить, дабы не упростить: эта беспечность — беспечность потерянности и безнадеги (буквально: «Мы — горсточка потерянных людей»), однако веселье всякого висельника обычно свидетельствует скорее о близости виселицы, о ситуации, где терять уже нечего, чем о характере этого весельчака поневоле. Характер, сложившись не сразу, не сразу и выскажется.

Год 1987-й: «...И с ветром, набирающим форсаж, / Ревет над крематорием свобода!..» Это стихотворение «Маме», прощание с ней. 1989-й: «Обратно листаются годы, / И вдруг понимаются как / Российская сущность свободы — / Распад, растворение, мрак...». И — 1990-й. Стихи о тех, которые долгие годы таранили стену лбом — и, пробивши ее наконец, не в силах остановиться, «бодают лбами на юру родное небо». Картинка, исполненная горького — а может, и злого — сарказма. «Мечтанья обратились в дым, в морскую пену. / Как пусто в этой жизни им — пробившим стену! / Они на фоне синевы почти уроды, / Не осознавшие, увы, своей свободы».

Всякий волен, воспринявши картинку в известном роде «найди охотника» (диссидента, писателя-эмигранта, обиженного на неблагодарных потомков шестидесятника...), оценить ее злободневность; меня занимает другое. С одной из существенных, сущностных для Блажеевского реалий, со *свободой*, осознанной уже вовсе не как «это сладкое слово», сошлась наконец вторая: *пустота*. «Как пусто в этой жизни им...» Первая реалия, на добывание которой смельчаки тратили всю свою жизнь, обернулась для многих из них второй. И если частная эта трагедия видится Блажеевскому трагифарсом, то не по причине чудовищной черствости, а потому, что он — отщепенец со стажем. То есть зритель, а не участник действа.

И пустоту — в своем понимании — он не обрел невзначай и походя, в результате разочарования, но выбрал.

Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет, —
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.

Занятно, что на слово «пьедестал» наш политизированный мозг, как павловская собака, реагирует выбросом горькой слюны: знаем и помним,

освобождение каких пьедесталов приветствовали — или не одобряли. «Разрушая памятники, сохраняйте пьедесталы, они могут пригодиться»: даже универсально скептический Станислав Ежи Лец подразумевал, уж конечно, не статуи Микеланджело или Кановы.

У Блажеевского — Поликлет из Аргоса, создатель цифрового закона идеальных пропорций фигуры, авторитет несомненнейший, гневременной. Тем не менее — или тем более...

Потом я взял обычный циферблат,
Который равнодушен и усат
И проявляет к нам бесчеловечность,
Не продлевая жалкие часы,
И оторвал железные усы,
Чтоб в пустоте лица увидеть вечность.

Потом я поглядел на этот мир,
На этот неугодный Богу пир,
На алчущее скопище народу
И, не найдя в гримасах суеты
Присутствия высокой пустоты,
Обрел свою спокойную свободу.

Свою. И — спокойную. Осознав отщепенство уже не как драматический и невольный удел, но как осознанный выбор.

Свобода неощутима и неопределима — вот понимание, доступное зрелости (а как, бывало, она легко и разнообразно определялась: «Свобода жить без мелочных забот... Свобода жить, как пожелаем сами»). Настолько, что ее синонимом может стать пустота — почему бы и нет? Чем меньше житейских примет, подробностей, пояснений — до абсолюта, которым является круглый нуль, — тем *такая*, *твоя* свобода независимее от окружающего мира. Тем труднее ее у тебя отнять.

Это закон, по которому живет внутренняя свобода, каковую можно достичь, и не пробивая лбом стену.

Блажеевскому жаль тех, кто пробивал ее и пробил: на его взгляд, они — жертвы и пленники своего неумения жить вне собственного героического порыва. (Добавлю: тем более, что свобода и помимо этих усилий свалилась на нас на всех, без разбору заслуг по ее добыванию.) Вам кажется, что жалость обидно снисходительна? Что тут подобие ницшеанской позы: «Потом я поглядел на этот мир, / На этот неугодный Богу пир, / На алчущее скопище народу...» — какую такую, мол, высоту, недосягаемую для «этого мира», надменно определил себе зритель?

Мне — кажется, да и не может не показаться. Отщепенство не бывает долей счастливой и сплошь благодарной — миру, который тебя не принимал, пиру, на котором тебя обносили. Но тут реализовано законное право отщепенца, который не может, не хочет *совпадать* — с миром и с пиром, с эпохой, той или иной. А безвременье семидесятых, обокравшее свое несостоявшееся поколение, лишив его надежд, характера, даже

имени («семидесятники» — термин, который если и возникал, то не привился), отняв у него само по себе настоящее: «И будущее наше во вчера сошло-ушло...», — именно это безвременье дало Евгению Блажеевскому шанс, им использованный.

Конечно, не им одним, но всё же одним из немногих — говоря по крайней мере о том, о чем говорим, о литературе.

Худшее из свойств десятилетия, деликатно именуемое «застойностью» и обрекавшее тех, кто начинал тогда жить, на безнадежность или цинизм, Блажеевским было воспринято во благо его поэзии. Входя в сознательную жизнь не на плечах поколения, не подпираемый дружественными локтями, — с чем и у шестидесятников было не так уж густо, как кажется нынче, однако все-таки было, — смолоду сознавая: «Мы — горсточка потерянных людей», поэт взял на себя функцию целой генерации. То, что она свершила бы, если бы состоялась.

Обретя раннюю безыллюзорность, не свойственную шестидесятым, он в то же время доверился «естественному отбору» благодарной и трезвой памяти, в котором выстаивают главные ценности, пересмотру не подлежащие. Прежде всего — свобода, «своя», даже, так сказать, очень своя, не похожая на ту, которую трудно и жертвенно добывали предшественники, но бесконечно далекая и от слабодушной уступчивости, и от бессердечного цинизма. Свойств, находящихся в близком родстве и имеющих обыкновение оправдывать свое существование одной и той же причиной: чего ж вы хотите, время такое...

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

Художественная проза

В журнальной прозе первой четверти 1998 года главную заявку на внимание читателей делает Владимир Маканин романом «Андеграунд» в «Знамени». Однако публикация этого масштабного опуса продолжается и в 4-м номере журнала. А потому и разговор о нем — впереди. Обратимся к другим произведениям.

Традиционно уже значительную часть в прозе сезона составляют воспоминания, бывальщины, байки... Словом, *нон фикшн*, приманивающий читателей обаянием непридуманности.

Ольга Керенская, жена А. Керенского, **в воспоминаниях «Мертвые молчат. Победителей не судят»** («Звезда», №2) рассказывает об обстоятельствах своей жизни в Петрограде в 1917—1920 годах. Это довольно содержательные семейные хроники на фоне драматической эпохи.

Ольга Эйхенбаум в записках «Я вспоминаю...» («Звезда», №2) также сосредоточена на делах семейных: рассказывает о блокадном детстве, о своем отце, известном филологе, и семье, об эвакуации в Саратов.

Анатолий Жигулин в подборке рассказов «Лучше было умереть» («Знамя», №3) делится лагерными воспоминаниями. Особенно интересен малоизвестными подробностями этнографического свойства этюд о лагерных ворах и суках. Так, автор рассказывает о «торжественном процессе ссучивания вора» в зоне, свидетелем которого он однажды был.

Анатолий Ким в повести «Мое прошлое» («Октябрь», №2) вспоминает о своем детстве в Казахстане и на Камчатке, о поездках по России, московской молодости, службе в армии. «Я, потомок поэта Ким Си Сыпа, из рода Каннынгских Кимов, должен был стать русским писателем — и Русь стала приоткрываться мне». Повесть написана в Корее. Обещано продолжение.

Актер и режиссер **Валериан Вачнадзе в мемуарной заметке «Два года в роли Сталина»** («Дружба народов», №2) ведет речь о превратностях судеб. К числу шуток судьбы относит автор и представившуюся ему возможность сыграть роль Сталина на сцене МХАТа, в спектакле «Залп «Авроры». О возникших перипетиях рассказано наиподробнейше. Также Вачнадзе повествует о встречах с опальным Вячеславом Молотовым.

Автор «Легендарной Ордынки» **протоиерей Михаил Ардов в «Возвращении на Ордынку»** («Новый мир», №1) комментирует изданные в 1996 году записные книжки Анны Ахматовой. Некоторые краткие замечания, обрывки фраз пробуждают у автора воспоминания о событиях и суждениях Ахматовой в бытность ее в доме Виктора Ардова, отца мемуариста. Возникают по поводу и другие известные лица: Л. Гумилев, М. Петровых, М. Алигер, И. Андроников... Выясняется, что Ахматова ни разу не была в Художественном театре и считала Троице-Сергиеву лавру лучшим местом на земле.

Ахматова является одной из главных героинь и **в воспоминаниях Эммы Герштейн «Надежда Яковлевна»** («Знамя», №2). Однако здесь в центре внимания — Осип и Надежда Мандельштамы, их окружение начала 30-х годов. Автор далека от «агиографии», она сориентирована на полное выговаривание некоторых потаенных деталей и на проблемное воссоздание строя жизни в этом кругу. Небанальны указания на мотивы тех или иных поступков. Сложной и противоречивой фигурой представлена Надежда Мандельштам. Неожиданные подробности возникают и в связи с известным «романом» Осипа Мандельштама и Марии Петровых.

Евгений Рейн в «опыте фантастических воспоминаний» «Призрак в коридоре» («Новый мир», №3) делится случаями из своей жизни, «старыми историями, правдивыми и не очень». Интересуют поэта преимущественно анекдотические подробности бытия. И, нужно сказать, они действительно живописны и увлекательны. Возникает на страницах воспоминаний и молодой Иосиф Бродский. Ничего чересчур «фантастического» в мемуарах нет.

Владимир Огнев знакомит читателей «Знамени» (№12) и «Дружбы народов» (№1) **со своими воспоминаниями «Блики памяти» «из рукописи книги «Амнистия таланту»**. В «ДН» рассказано о детстве в Анапе (30-е годы), родных и друзьях, войне и отцовской ссылке... В «Знамени» — о делах литературных: начальной писательской поре, знакомстве с Пастернаком, отношениях с литначальниками и рядовыми литераторами (появляются Фадеев, Смеляков, Бергольц, Панферов, Гамзатов), борьбе за либерализацию литературной политики, которую при Советах не за страх, а за совесть вел автор. Мемуары местами занятны, в целом отличаются наличием полезных житейских сведений, но одновременно не всегда, увы, оригинальными лирическими периодами о жизни «вообще».

Владислав Бахревский в некоем подобии **былинного сказа «Посади дерево жизни»** («Наш современник», №3), мифологизируя фигуру Юрия

Гагарина создает своего рода «лаковую миниатюру», наделяя первого космонавта чертами культового героя.

• **Юлий Крелин** представляет **главы из книги воспоминаний «Ушедшее»** («Знамя», №2). Это несколько сюжетов, в разной мере интересных. Рассказано об умирании Эммануила Казакевича, происходившем при необычных обстоятельствах, об оргсекретаре Московского отделения Союза писателей Ильине (вообще популярнейшей фигуре в мемуарах столичных литераторов — вспомнить им, что ли, не о ком, кроме как об этом колоритном чекисте?). Отдельный сюжет — отношения автора с цензурой. По истечении лет и миновании страхов Крелин иронизирует над тем, что даже и цензоры подчас не находили в его медицинской прозе ну никакого криминала.

Питерский диссидент застойных лет **Эруанд Лалаянц в мемуарном очерке «За сто первым километром»** («Звезда», №3) вспоминает, как после концлагеря оказался в 1972 году на свободе и должен был как-то устраиваться в советской жизни. Жить в Ленинграде ему не разрешили, и он обосновался в Старой Ладоге. Вот об этой жизни, о собственных мытарствах и о местном народе и ведет Лалаянц речь.

Флора Литвинова в «Записках об Анатолии Марченко» («Знамя», №1) делится воспоминаниями об известном писателе-правозащитнике. В записки включены отрывки из дневника начала 80-х годов — времени, когда СССР, КПСС, КГБ казались вечными.

Елена Игнатова в мемуаре «Опасные знакомства» («Нева», №2) повествует о встречах с Довлатовым в далекое советское время и описывает процедуру организации выезда из Ленинграда в Израиль по фиктивному вызову, болезненные отношения со злобной чиновницей из ОВИРа. Ныне автор живет в Израиле.

Повесть томчанина **Эдуарда Бурмакина «Дверь»** («Новый мир», №1) выглядит как беглые, фрагментарные заметки мемуарного свойства. Рассказчик делится мыслями, ощущениями, вспоминает о том и о сём. Возникают чернобыльские мотивы. Многие отрывки стянуты, как магнитом, острым переживанием и изживанием гибели дочери рассказчика. Иногда он объясняет несчастия в своей жизни тем, что, будучи сыном репрессированного, женился когда-то на дочери энкаведиста.

Михаил Кураев в рассказе «Шведский сувенир» («Звезда», №2) повествует об общении во время поездки в Швецию с «нашим советским чекистом», «бойцом невидимого фронта». Нюансы этого общения чуть было не рассорили рассказчика с его женой.

Александр Бологов в рассказе «Когда я проезжаю мимо» («Наш современник», №1) вспоминает детство и первую любовь к двоюродной сестре, которую, по случайности, чуть не застрелил из ружья.

Рассказы Вадима Сафонова («Москва», №2) — как хрупкие тонкостенные елочные игрушки, таинственно мерцающие в свете цветных фонариков. Форма их совершенна и разнообразна, каждое описание заставляет забывать изначальный смысл и цвет слов, а финальные предложения вызывают такую же боль, как разбившийся стеклянный шарик. **«Вече-**

рок» — вид из окна старинного дома на площадь с собором, маленькая зарисовка — пьяный и городовой, московский поезд, игрушечными вагончиками промелькивающий мимо соснового бора, — в нескольких абзацах законченная картина огромного внутреннего мира маленького мальчика. Мира, который поблек, а до́ма, площади, собора, красы города, бора и поезда — больше не существует. **«Гиацинт»** — ото всех детских воспоминаний и мыслей мальчик в своих ассоциациях отделил цветок гиацинта — цветок смерти Льва Толстого, потому что мама, подарив ребенку волшебный цветок с завитком, велела запомнить этот день — день смерти Толстого. Как этот цветок и событие, исчезнув, в первозданной ясности и яркости, до мельчайших деталей, остались жить в памяти.

Гораздо беднее представлен *художественный вымысел на исторические темы.*

Роман Эрнста Бутина «Се человек» (книга первая, «Урал», №5—6, 1997) назван автором «романом-апокрифом», то есть попыткой художественной интерпретации библейских, в данном случае — новозаветных — сюжетов. Как известно из истории, апокрифы — «спрятанные, потаенные книги», неканонизированные церковью, писались не только из «графоманского зуда» или от желания беллетризировать ситуацию, представить ее более конкретно, были и глубокие попытки объяснить природу божественного. Многочисленные теософские раннехристианские учения объединяла одна идея, состоящая в том, что материя, плоть, природа, мир — от дьявола, от Бога же — только Дух. Гностики одними из первых начали перекраивать Евангелия: в древнейших апокрифических «Евангелиях Страстей» мы читаем, что Иисус страдал на кресте, но это только казалось, ибо Он на самом деле не имел плоти. Эту гностическую трактовку, видимо, использовал автор в своем романе, где центральной фигурой является апостол Иуда Искариот (в романе — сикариот, прозванный так от названия кинжала-сики, который носили Иуда и его единомышленники). Иуда назван любимейшим учеником, ближайшим другом Равви, как его называет сам Иуда, которого Иисус выделяет из других своих учеников за истовость сердца, живой ум, готовность к действиям. Среди других учеников автором выделен Симон Кананит — сводный брат Иисуса (сын плотника Иосифа от первого брака), угрюмый тяжелый человек; практически — и конкретно вопреки каноническому восприятию Писания — не упоминается Симон Кифа (Петр), а когда упоминается, то явлен читателям не привычным преданнейшим храбрым учеником Спасителя, а немногословным, сомневающимся тугодумом.

Первая книга романа, опубликованная в журнале с некоторыми сокращениями, фабульно заканчивается перед Великим Четвергом, перед Тайной Вечерей. За день до этого Иисус (объяснив Свое желание погибнуть на кресте грядущим Воскресением, чтобы люди поверили в Него) *просит* Иуду, чтобы тот пошел и выдал Его синедриону. Иуда сперва отказывается, и тогда Иисус является ему вместе со своим двойником.

«Значит, на крест вместо Тебя пойдет этот?.. получается, что страдать будет он, а не Ты, не Тебе станет больно, а ему! это я понял, когда Ты про эфирное тело рассказывал!» — говорит Иуда Спасителю и, успокоившись, отправляется к первосвященникам. Здесь мы прочитываем вышеупомянутую гностическую трактовку Страстей Господних.

«Следует отметить, что то, как изображает Иисуса автор романа, говорит не о Христе, не о Евангелии, а о том, как художественное произведение связано с внутренним мировосприятием автора. Основные неоднократно повторяемые определения речи и поступков Иисуса таковы: «раздраженно сказал», «нетерпеливо дернул головой», «скучающе глядя в сторону», «вяло пробормотал», «неопределенно пожал плечами», «процедил сквозь зубы» и т.д. Видимо, автор не стремился к возвышенному изображению придуманного, так же, как, например, автор «Евангелия Фомы-философа» (где Иисус в детстве изображен как крайне жестокий и чванливый отрок). Согласимся с мнением о. Александра Меня: «Уникальность новозаветной литературы, подлинной, канонической, уникальность Евангелий еще более ясно предстает перед нами, когда мы сравниваем их вот с этой, околоевангельской литературой, парабиблейской литературой тех времен», но так же не будем забывать, что та парабиблейская литература, в отличие от романа Бутина, претендовала на подлинное свидетельство. В целом первую книгу романа «Се человек» можно назвать талантливой, неспекулирующей беллетристикой.

Василий Белов заканчивает **роман «Час шестый (хроника 1932 года)»** («Наш современник», №2, 3, начало в № 9, 10, 1997), где дает панорамный срез общества. Всё в этом обществе искажено и деформировано, работящий крестьянин либо сорван со своего места и отправлен в ГУЛАГ, либо ждет этого со дня на день, в тюремном бараке коротает дни монах, исключен из морского училища курсант, отказавшийся стать стукачом... А на вершине власти, в сталинском окружении — интриги, возня. Сталин читает книгу Шмакова «Свобода и евреи», которая открывает ему глаза на некоторые эпизоды политической истории, помогает понять текущий момент и выстроить стратегию на будущее.

Рассказ Василия Шендрикова «Побег» («Урал», №5—6, 1997) повествует о счастливом избавлении четырех советских солдат, сумевших сбежать из фашистского концлагеря на территории Норвегии в сопредельную Швецию. Рассказчик ни на секунду не ослабляет напряжения и ожидания опасности, караулящей героев за каждым поворотом, настолько, что до последней строки не верится, что побег удался.

В новейшей нашей прозе сложилось своего рода направление: регулярно появляются произведения бытописательного свойства, отчетливо объединенные «еврейской тематикой». Это, разумеется, не какой-то отдельный жанр, а лишь особый вектор, осознанная избирательность писательского внимания, обычно определенная жизненным опытом автора. К их числу относится и вполне в этой связи характерный **роман Давида Маркиша «Быть как все»** («Знамя», №12, 1997). По сути, это беглые наброски еврейских судеб

и характеров на фоне позднесоветских гонений и неорыночного беспредела. Жизнь сталкивает в России, а затем и за ее пределами евреев-диссидентов, сионистов, подпольных дельцов черного рынка, полковника КГБ и пр.. Есть в действии и коммерческая интрига, связанная с покупкой земель в окрестностях Иерусалима. Ближе к неимоверно грустному финалу евреи дружно покидают Россию, причем некоторые из них прихватывают с собой и особо близких русских. Роман тяготеет к очерковости, сдобренной беллетристическими неожиданностями.

Разные виды вымышленной прозы о *современной жизни*, потесненные продолжающейся модой на нон фикшн, представлены в журналах небогато.

В романе Валерия Ларина «Нейронный шок» («Звезда», №1—2) в позднесоветских декорациях разворачивается ниишно-гэбистско-партийная история, возникают угрожающие замыслы управления человеческим сознанием. Роман непомерно длинен и водянист.

Продолжается публикация печатаемого частями **романа Олега Ермакова «Свирель вселенной»**. Его вторая часть названа автором «Единорог» («Знамя», №2; первая книга — там же, 1997, №8). Герой тот же: юный бродяга Даниил Меньшиков. Он не прижился в заповеднике, был призван в армию, но и здесь не вынес тягот дедовщины и ушел из части. Повествование представляет собой очерк его скитаний в бурятских дебрях, случайных встреч и неотчетливых воспоминаний — главным образом о доармейском прошлом. Во второй книге романа есть живописные подробности, но нет никакой особенной глубины, смысловой емкости. Это, в сущности, развернутый рассказ.

Очередную **порцию «Записок из-под сапога»** предлагает читателю **Олег Павлов** («Октябрь», №2; «рассказы из «Степной книги»). Это снова живописно изображенные ужасы армейской службы. Мрачный, духовно опустошенный мир. Убогие люди-калеки и уроды. Впрочем, количество историй такого рода в запасе у прозаика небесконечно; по крайней мере один из рассказов публикуется невпервые. Это оставляет надежду, что автор вскоре найдет более светлые поводы для вдохновений. Не солдатчиной же, скажем так, единой.

Повесть Игоря Козлова «Отход назначен на позавчера» («Север», № 11 — 12, 1997) жанрово определяется как «морская проза» (непревзойденным мастером которой является писатель Виктор Конецкий). Алексей Котов, инженер, просит направить его на корабль, совершающий рейсы за границу, а его вместо этого посылают «на двадцать суток в Баренцево море на треску под трал» на нелепой посудине под названием «Пингвин». За эти три недели молодой инженер вкушает все прелести рыбной ловли тралом и радости выполнения и перевыполнения плана. И еще неизвестно, захочется ли после этого Котову плавать за границу, или он решит остаться на «Пингвине». Крепкая производственная повесть, с хорошим чувством юмора.

Рассказы Владимира Судакова («Север», №11—12, 1997) объединяет вера в благородство окружающих нас людей. **«Непонятно, на чьем берегу...»** — о том, как, невзирая на крайнюю неприязнь к богатым соседям, люди бегут тушить пожар на даче этих самых соседей. А в рассказе «Выездная торговля» незадачливый уличный продавец яиц вынужден «и в зной, и в дождь, и в снег, и в бурю» стоять возле своих лотков до тех пор, пока за ним не приедет грузовик и не заберет его «с точки». Люди ему сочувствуют, присылают еду и горячее питье, потом даже зовут в дом, чтобы продавец укрылся от непогоды, а когда за ним почему-то не приезжает грузовик, помогают перетащить в квартиру оставшийся товар. Продавец искренне проникается нежданным человеческим сочувствием, а потом сокрушается, обнаружив, что нечаянно продавал яйца этим людям по гораздо большей цене, чем следовало.

Современная **повесть Лазаря Карелина «Риск»** («Москва», № 1, 1998) рисует сильного, сурового человека, удачливого бизнесмена, решившего отойти от дел и затеряться в глуши и дали, чтобы успокоить нервы, вырваться из бессмыслицы вечной погони за благосостоянием. Затеряться в глуши ему удается, но не удается уйти от разборок с местными авторитетами. Обретенная любовь и вера вернут человеку спокойствие и силу жить дальше (за кадром).

Героине **повести Андрея Влизкова «Катерина Савельева»** («Север», №1, 1998) «были небезразличны неизвестные люди и расстояния». Приемная дочь комиссара Савельева Катя отправляется на поиски своего отчима, попавшего в мясорубку 37-го. Она ищет «наитием», находясь вне реальности и не считаясь с ней: села неведомо в какой поезд, отстала от него, села в другой — вместе с этапированными на Север женщинами, ни разу не усомнившись в правильности направления своих поисков. Это бессомненное наитие питается мистически появляющимися стихотворными посланиями Савельева, которые Катерина обнаруживает в самых необъяснимых местах. Путь ее вбирает в себя самые разные ситуации и самых разных людей: задерживается у чекиста-убийцы, рожает от него дочь, оставляет ее бездетной паре, потом остается у старика-татарина, потерявшего в лагерях сына, работает посудомойкой в Доме колхозника, едет «в глухариной край за солью» — таков сообщенный ей пароль поисков. Обстоятельства и люди впитываются в нее, и Катерина всё принимает своей инфантильной чистотой, всё еще веря в то, что она найдет своего комиссара. И она находит — могилу Савельева, с приколоченным к железнодорожной шпале обрезком доски, с начертанной химическим карандашом прощальной стихотворной речью бригадного комиссара, предназначенной Катерине. И, рыдая от горечи за свою запоздалую зрелость и позднее прозрение в любви к Савельеву, единственному родному человеку в мире, его приемная дочь и несостоявшаяся жена, Катерина Савельева, отправляется в обратный путь, в тревожную и неведомую сторону — в изнанку ее ирреального мира, исчезнувшего со смертью комиссара.

Вячеслав Артемов предлагает читателю объемный **роман «Обнаженная натура»** («Наш современник», №1, 2), который выполнен по законам авантюрного жанра: интрига вокруг главного героя, писателя и скромного сотрудника прогорающего журнала, закручивается благодаря смерти старухи-соседки Розенгольц, бывшей революционной комиссарши, хранящей тайну исчезнувших бриллиантов. Героя беспрерывно бьют, похищают, выманивают деньги, опаивают, его соблазняют красивые, но фальшивые девушки — жизнь крутится вокруг него со скоростью клипа. По мере развития повествования фантасмагоричность нарастает — в текст вклиниваются откровенно сюрреалистические куски, например, штурм объединенными силами зла (бандитами, кавказцами, иностранными фирмами, которым помогает предатель — стремящийся на историческую родину некто Макс Ундер) дома, где живет герой, и героическая оборона его жильцами огромной коммунальной квартиры. Нарастает и обличительный пафос. Очевидно, что автор предлагает аллегорию на тему «Россия сегодня», и выводы его самые пессимистические. В конце романа герой, потеряв всё, включая дурную, но любимую женщину, приходит к мысли, что разрушится всё, но останется Церковь, и даже перед самым концом где-нибудь на Руси пройдет Крестный ход.

Продолжается начатая в прошлом году публикация широкомасштабного **романа Юрия Голубицкого «"Новый" — вечно русский»** («Молодая гвардия», №1—4), идейное ядро которого составляют события 3—4 октября 93-го года; «лучшие люди России» подъезжают к Останкину. В следующих номерах вероятно ожидать штурм Белого дома.

Начат, но не закончен **роман Александра Кротова «Неведомая Россия»** («Молодая гвардия», №1—4), где герой, боксер-самородок, одновременно что-то вроде мистического спасителя отечества, делит свое время между рингом, женой-актрисой и разного рода темными личностями.

Николай Иванов предлагает выполненную по законам кинобоевика **повесть «Спецназ, который не вернется»** («Наш современник», №2, 3), где разоблачает криминализированную власть, которая греет руки на Чеченской войне и, заметая следы, сначала бросает на секретное задание особый отряд обманутых военных, а затем уничтожает его руками других обманутых военных. Главный герой, единственный из уцелевших, грозит в финале мстить за погибших товарищей.

Роман Вячеслава Сукачева «В мертвом городе» («Москва», №2—3) напоминает плохой сценарий третьеразрядного политического детективообразного фильма с непременными атрибутами подобных произведений — чистой любовью героя к прекрасной девушке, расчетливым сексом с мафиозной женщиной-вамп, борьбой коррумпированных структур, в которую вовлечен герой — редактор газеты. Кончается всё плохо, герой сломлен и уезжает со своей любимой на ее родину — в Германию. Текст, сдобренный бесконечными трагическими рассуждениями о реалиях мира сего, о негодяйстве демократов, о купленности всего и вся (кроме души

главного героя, конечно), оставляет ощущение неловкости перед собой за потраченные впустую два часа чтения.

Петр Проскурин в рассказе «Дружеский ужин» («Наш современник», № 1) усаживает за банкетный стол киносъемочную группу. Заканчивается пиршество тем, что оплативший банкет композитор-миллионер с говорящей фамилией Каменев-Пегий, разочаровавшись в жизни, стреляет себе в голову.

Виктор Карпов в рассказе «Жил-был Генка Домкрат...» («Наш современник», № 1) рассказывает печальную историю деревенского силача-самородка, который в перестроечные времена устроил собственный цирк, прогорел, спился и умер.

Героиня **повести Надежды Васильевой «Блаженны кроткие...»** («Север», № 1, 1998) переживает все муки и сомнения, уготованные решившему обратиться в веру Христову человеку; в итоге кротость побеждает гордыню, героиня обретает покой и радость, вырываясь «из дьявольской гонки по кругу суеты». Скучно продуманные сюжетные повороты, стилевая безвкусица, неестественные диалоги, скомканый ритм этой повести-вариации-на-тему делают чтение утомительным.

О *современной жизни* писатель также нередко повествуется в очерковой манере. Такая художественная очеркистика подчас весьма небезынтересна, хотя и редко глубока.

Волгоградец **Борис Екимов в «Житейских историях»** («Новый мир», №3) делится наблюдениями над жизнью. Поводы возникают полуслучайно. Пищу вдохновению дают и семейные воспоминания, и прогулки по окрестностям, и рассказы соседей. Обычные лейтмотивы: общий упадок жизни, жалость к заблудшему человеку, обыденные чудеса бытия.

Нина Горланова рассказала в «Знамени» (№1) еще **несколько историй** из своей жизни в провинции. Неамбициозная будничность ее прозы, наполненной мусором повседневности, разговорами, анекдотами, неконцептуальными происшествиями, неизменно вызывает симпатию. Прелестный хаос пермской жизни бывает не слишком содержательным, пульс бытия бьется неровно; но эта проза все-таки дает случай окунуться в шумы времени.

Александр Коркотадзе в «Челноках» («Дружба народов», №1) дал превосходный очерк поездки мелкого торговца-челнока из Белоруссии в Турцию за товаром. Ярко, картинно, с эмоциональным комментарием подаются путевые встречи и наблюдения.

Андрей Неклюдов в повести «Я — контрабандист» («Нева», №1—2) пытается придать челночным перипетиям художественную форму авантюрного свойства. Геолог занялся коммерцией, раз уж наука больше никому в России не нужна. Он овладевает новым искусством, плавает по Тихому океану. Однако удачи чередуются с провалами, лишающими героя присутствия духа. Повествование ведется бойко, но интрига увязает в случайных деталях.

«Русские мальчики» Феликса Светова («Знамя», №12) — «рассказ о любви». Это история прогулки рассказчика с подругой по писательскому поселку Переделкино. Автор озабочен перипетиями своего романа, но не устает делиться и сведениями о застольях и возлияниях, спорах-разговорах писателей-ветеранов Карякина, Ю.В. Давыдова, Жигулина. За отсутствием прочих героев в них и надлежит нам опознать искомых «русских мальчиков», допытывающихся до последней истины. «Проклятые вопросы», однако, в интерпретации Светова, своим содержанием могут огорчить читателя, привыкшего почтительно относиться к известным литераторам.

Семен Файбисович в «Трех историях из жизни одного дома» («Новый мир», №2) рассказывает, как он менялся квартирами с сумасшедшим, о ветхой старухе-соседке, а также о том, как он давал в долг окрестной шантрапе и что из этого вышло.

Прозаик **Алексей Варламов в записках «Любимовка»** («Октябрь», №3) рассказал о том, как однажды довелось ему попробовать себя в качестве драматурга, дабы съездить на фестиваль молодой драматургии. Своей пробой Варламов остался, судя по всему, премного доволен. Впрочем, оказалось, что и в мире драматургии есть свои злые «немзеры», хотя бы и «в юбке».

Кирилл Кобрин в очерке «Буддический город» («Октябрь», №3) повествует о том, как он обживает «возлюбленный Петербург», все глубже забираясь «в самую потаенную, внутреннюю питерскую плоть». Обживание происходит на редкость интенсивно и пристально, так что читатель может насладиться не только домыслами автора о связи Петербурга с буддизмом, но и тщательно просмакованными подробностями своих (почти эротических по чувственной напряженности) свиданий с городом на Неве.

Анатолий Приставкин в «Празднике в чужом окне» («Октябрь», №3) делится впечатлениями о поездках в Париж. Однажды гвоздику, предназначенную устроителями поездки быть положенной на могилу Мориса Тореза, он возложил на могилу Эдит Пиаф. Рассказано также о забавной находке в музее-квартире Ленина на улице Мари-Роз, о посещении порносеанса, о свидании с Моной Лизой. Возникает в записках и непременный друг писателей, предмет литераторских сарказмов, секретарь-чекист Ильин (см. выше — о воспоминаниях Крелина).

Рассказчик приезжает в Париж и **в повести Григория Кановича «Продавец снов»** («Октябрь», №1) — по приглашению школьного друга, Натана Идельсона. Их связывают общие воспоминания об учителе математики Вульфе Абелевиче Абрамском. В Париже старый приятель организует для рассказчика своего рода шабашку. Тот ходит по евреям-выходцам из Литвы и разговаривает с ними как посол из давно потерянного прошлого. «Продает сны». Эта поездка навевает рассказчику много печальных мыслей. В «Дружбе народов» (№2) опубликованы несколько рассказов Кановича из старолитовской еврейской жизни.

Парижанин **Борис Носик в рассказах из книги «Города-побратимы»** («Звезда», №3) рассказывает о своих поездках в Иерусалим и Стамбул. Автор в характерной для него с молодости манере воссоздает ауру места, пытается передать аромат самобытной повседневности в древних столицах Востока. Много в рассказах и сентиментального, есть анекдоты из французской жизни и ненавязчивый опыт раздумий о себе и своем литературном деле.

Автор из США **Ирина Муравьева в подборке рассказов «Москва—Петербург—Москва»** («Звезда», №3) делится впечатлениями от посещения названных городов. Впечатления, прямо сказать, небогаты, опыт скудноват. Это встречи с частными извозчиками-таксистами, с однокурсником по филфаку Юрой Прозоровым, ныне ученым секретарем Пушкинского Дома, наблюдения на московском таможенном посту (как провозят контрабанду и больного СПИДом). Случались у Муравьевой и более содержательные рассказы.

В прозе сезона немало и *сентиментально-лирических, сентиментально-дидактических, бытописательных историй*, где сам автор добровольно отступает на задний план или вовсе старается пропасть из виду.

Галина Щербакова в романе «Армия любовников» («Новый мир», №2—3) рассказывает о хваткой, энергичной московской даме и ее многочисленных бойфрендах, коих меняла та в течение своей богатой перипетиями жизни «в поисках *окончательного мужчины*». Роман Щербаковой, как обычно, выполнен умело, мастерски. Он увлекает. Повествование ведется от имени житейски опытной рассказчицы, входящей в различные подробности без застенчивости и недомолвок. Эта «бабская» откровенность кажется иногда уже и чрезмерной, уже и какой-то внехудожественной. Вероятно, неслучайно и сама рассказчица пытается как-то дистанцироваться от беспутной подружки, похождения которой не устает, однако, смаковать.

В рассказах Ларисы Ванеевой («Октябрь», №1) горожане приезжают к родичам в деревню, испытывая по этому поводу немало разных чувств. История плавно перетекает в воспоминания одной из героинь о молодости, когда она чуть было не попала под каток НКВД.

Маргарита Шарапова в повести «Коверный» («Октябрь», №3) рассказывает о жизни цирковых артистов — о грубой ее бытовой изнанке, о цирковых романах и драмах. Повесть интересна на фоне прозы 90-х годов небычностью жизненного материала.

Алексей Усалко в цикле рассказов «Крым. Конец столетия» («Новый мир», №1) повествует о трудной доле простых крымчан на историческом переломе. Жить в Крыму ныне непросто, но народ все равно сюда едет за счастьем. И, бывает, его находит.

В киноповести Вячеслава Рыбакова «Хроники смутного времени» («Нева», №2) героиня блуждает по современной жизни, теряет свою квартиру, надрывается от безысходности, заходит в тупик. Автор ведет наблюдения быта и нравов. Текст представляет собой, в сущности, литературный киносценарий.

«Деревенские рассказы» Лидии Сычевой («Новый мир», №1) — бытовые истории о бабьей доле, о буднях и праздниках селянок. Главное, конечно, в их жизни — мужики; а вот что такое любовь — сие им не всегда ведомо.

Наталия Толстая в новых рассказах («Звезда», №1) делится, по обыкновению, анекдотическими историями из питерско-шведской жизни. В одном рассказе обнищавшая интеллектуалка сдает квартиру иностранцу — и как-то незаметно привязывается к нему, а его перехватила другая... В другом рассказе речь идет о забавных странностях преподавания русского языка и русской культуры в Швеции. В третьем рассказе мир увиден глазами 12-летнего мальчика, старательного наблюдателя жизни, которого мать увозит из Петербурга за границу навсегда. Сильная сторона Толстой — умение найти или придумать смешные детали, за некоторыми из них стоит, чудится, и какая-то острая мысль.

Новые рассказы предлагает читателям «Дружбы народов» (№1) **Юлиу Эйдлис** (ранее его фамилия писалась, помнится, как Эдлис). В рассказе «Танья» итальянец Родольфо, готовивший себя к миссии священника-миссионера в России, познакомился с русской девушкой из ансамбля танца, полюбил ее и забыл о былых намерениях. Родольфо и Танья поженились, живут в Риме и счастливы, хотя небогаты. Рассказ **«На сквозняке»** — исповедь уличного музыканта, который играл и пел когда-то в подземном переходе в Москве, а теперь занимается примерно тем же в Иерусалиме.

Борис Евсеев в рассказе «Баран» («Новый мир», №3) ведет речь о судьбе барана, которого приготовили для заклания. Но баран выжил — а вот те, кто готовился его убить, сами отошли в мир иной. Так завернута пружина интриги. История о баране позволяет эскизно наметить реалии современной московской жизни, где наемные убийцы сами становятся жертвами, где чадно дышит казино. Рассказ ведется энергично, ткань евсеевской прозы крепка и упруга.

«Косиножка» Павла Лаврёнова («Новый мир», №1) — рассказ о детской жестокости на кратко обозначенном позднесоветском фоне. Дети злы, потому что не научены добру. Мир в рассказе увиден взглядом одного такого мазурика, Димки. Его приятель нашел как-то «крестик маленький, алюминиевый. Димка его сам на зуб пробовал. На кресте человек мертвый, почти голый. В увеличительку смотрели. Леха предложил Димке на пистолет меняться, а он — дурак, что ли: кто крест имеет — значит, в тюрьме сидел. Всем известно. Кресты у тюремщиков на руках нарисованы. Они людей убивают, а потом, когда в тюрьме посидят, рисуют себе. От креста опасность. Мертвого на себе носить — сам умрешь. Всем ясно. Его и показывать никому нельзя. Никто с Лехой меняться не стал. Он расплющил его кирпичом и выбросил»... Фрагмент впечатляет, но не выдумано ли всё это читательского шока для? Тем не менее рассказ сопровождает небольшая рекомендательная заметка А. Солженицына.

Специфична, как обычно, сентиментальная стихия в прозе **Людмилы Петрушевской**. Ее **«сказочная повесть» «Приключения утюга и сапога»** («Октябрь», №1) — это история о любви утюга и чернильницы. Сказочный ее колорит (в духе Андерсена) остроумно сочетается с приметами расхристанной современности. А **повесть** Петрушевской **«Маленькая Грозная»** («Знамя», №2) — это история о властной жене советского начальника, которая стоит на страже своей 150-метровой квартиры в центре столицы, изгоняя из нее всех претендентов на эту жилплощадь, включая детей и внуков. Душевная патология героини в прозе этого автора сочетается с физиологией номенклатурного быта, с цепким интересом к подробностям отмирающего житейского уклада. Возникает монументально-цельный образ человека, в жестоких причудах которого преломилась бесчеловечность эпохи.

Есть в прозе сезона и вещи, которые выделяются из общего ряда. Или, может быть, ряда для них за столь короткий период не сложилось.

Рассказ Дмитрия Бакина «Сын дерева» («Знамя», №1) — обычная для этого автора не слишком внятная история с претензией на развитие неких экзистенциальных традиций. Герой-инвалид наблюдает протекающую мимо него и как будто сквозь него жизнь, ощущая себя «грешным деревом, корни которого скрепляют почву семьи, воспрепятствуют ее распаду, прививают месту жизнь». Довольно элементарный смысл в прозе Бакина часто не соответствует многозначительным пассажам, тяжеловесности словесных конструкций и прочим приметам интеллектуального нарратива.

Иначе подходит к жизни **Вячеслав Пьецух в рассказе «Темное дело, или О значении очистительного пути»** («Октябрь», №3). Реальность предстает здесь как повод для философствования автора об истоках истоков и причинах причин. Убийство «махинатора» Иосифа Банта, отнесенное к 1984 году, дает толчок к детективной интриге, однако Пьецух постоянно разрушает ее динамический ритм, отвлекаясь на умозрения о прежнем и новом времени, о судьбе и грехах России. Финал рассказа не порадует любителей жанровой прозы.

Чуть-чуть своими конструктивными особенностями близок к рассказу Пьецуха **рассказ** молодого питерца **Дмитрия Рождественского «Игнатий Корнелиус»** («Нева», №1). Имитируется дневник молодого ученого Евгения Ивлинского. В загадочном доме ему являются видения, он настраивает себя на мистическую волну — и гибнет, взяв на себя некую непосильную задачу. Причиной же всему — то, что дом, где снял комнату Евгений,— непростой. Построил его в Петербурге масон-эмигрант, и с тех пор масонские тайны обжили здешние края. Авантюрно-романтическое повествование стилизовано автором в намерении обозначить таинство жизни.

Наталия Никитинская в «новогодней сказке» «Потоп» («Нева», №1) придумала такую ситуацию: с неба на землю выпали бумажные деньги — отчего обесценились труды тех, кто в поте лица, унижаясь, зарабатывал свои гроши.

Екатерина Садур в повести «Праздник старух на море» («Дружба народов», №2) рассказывает в основном о двух влюбленностях героини. Одна имела место в детстве, ее предметом был одноклассник. Другая случилась в недавнее время, в Ялте; героиня как бы невзначай соблазнила там мальчика — сына хозяев. Повесть написана раскоординированно, без общей точки схода, отчего ее можно читать по любой диагонали. Е. Садур не откажешь в наблюдательности. В основе подхода автора к жизни то ли весьма неброский эстетизм, смакование подробностей, то ли автоматическая фиксация потока жизни. То ли Е. Садур еще сама не поняла, зачем она, собственно, ставит слово после слова.

Не совсем обычна и **повесть Марины Вишневецкой «Вышел месяц из тумана»** («Знамя», №3). Герой вспоминает там свою молодость. В раннезастойные времена группа молодых провинциальных вольнодумцев затевает игру. Они создают организацию *лютых*, преследуют на улице случайных пешеходов, покуда те не перепугаются до смерти — тем самым они намерены вывести из равновесия человека, связанного рутиной будней, обновить его жизнь. Организация скрепляется объединяющим ее участников чувством к заезжей столичной практикантке, которая учит провинциалов свободным вкусам и нравам. Кончается игра, однако, весьма печально: однажды преследуемый покалечился и остался инвалидом на всю жизнь. Игроки ищут аргументов, чтобы оправдаться, однако со временем проникаются и чувством вины за случившееся, осознают иные события в своей жизни как некое воздаяние за преступление. Этот мотив изживаемой вины и сознаваемого греха относится к числу редчайших в современной прозе. Нужно, впрочем, заметить, что и у Вишневецкой он полузаслонён томлениями и перипетиями юношеской влюбленности и, затем, муаром воспоминаний постаревшего героя о былых амурных обстоятельствах. Место уделено и художественным забавам персонажа, сочиняющего на досуге афоризмы. Вишневецкая — искушенный рассказчик, однако в ее манере есть чрезмерная какая-то мелочность, вязкость — и склонность к излишней красивости в деталях.

Можно предположить, что украиноязычный **роман Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса»** («Дружба народов», №3; перевод Ю. Ильиной-Король) открывает новые для украинской литературы ресурсы свободного, беспредельно раскованного повествования на скоромные темы. Роман написан в форме доклада для иностранцев, что позволяет автору с «научной» дотошностью вникнуть в изгибы украинского секса. Для современной русской литературы реалии и лексика Забужко не в новинку.

Отдельные литературные произведения имеют, так сказать, *экспериментальный характер.*

Повесть Веры Чайковской «Случай из практикума» («Дружба народов», №1) — весьма умело выстроенная конструкция (деконструкция?)

любовного романа между врачом-психиатром и его пациенткой. Повествование строится как параллельное развитие, разыгрывание разных возможностей, которыми столь богата ситуация. При этом автор апеллирует прежде всего к Чехову, производя на свет нечто вроде римейка его рассказов, а впрочем, не связывает себя никакими внятно заявленными обязательствами.

Рассказ Ивана Алексеева «Здравствуй, смерть» («Знамя», №12) представляет собой невразумительное, нарочито усложненное повествование декадентского оттенка. Есть московская приятельская компания. Погибает знакомый одного из молодых героев — и все прочие используют это как повод для затяжных странноватых траурных церемоний и мемориальных воспоминаний. Время действия, отраженное в некоторых деталях, — 70—90-е годы. Рассказчик прохаживается насчет «всех этих моральных уродов — кафок, камю (множественное число), сартров и пр., заморочивших всякой экзистенциальной туфтой наши невежественные головы», однако кафки тут не совсем при чем. Ближе к манере Алексеева модернизированный Пшибышевский, Зиновьева-Аннибал и пр.. Особенно впечатляют своей бессмысленностью старательно распределенные постранично примечания к повествованию с мелкими подробностями «к случаю» — знак компьютерного происхождения текста.

Рассказы москвича **Андрея Бычкова** («Звезда», №1) придуманы как заведомо странные тексты. В одном из них, **«Когда отключают ток»**, героями являются мусорщик, зомби и милиционеры. Общение между ними протекает без явного смысла, но эта абракадабра временами даже забавна. В другом рассказе, **«Черный доктор»**, герой — довольно прихотливое созданье — перед собственной свадьбой расхотел вдруг жениться. «Алексей взял, помедлив, и... пронзил фотографию. Через полупрозрачное платье. Между ног, между ног». Только так.

Несколько **эссе Валерии Нарбиковой** («Знамя», №3) в очередной раз демонстрируют способность этого литератора говорить ни о чем — пусто и тупо, в режиме механического проборматывания попутных и поперечных мыслей. Возможно, есть у Нарбиковой и житейская философия, но она поглощается вечным стебом, ставшим нормой и явившим миру свою в этом качестве монотонную убогость.

Сергей Залыгин в рассказе «Предисловие» («Новый мир», №2) дает конспект романа из современной жизни, разыгрывая его в сознании писателя Н.Н. (а затем и сочинителя М.М.). Среди возможных поворотов сюжета — «вариант коммунистического двадцать первого века»: сжатый очерк антиутопии.

Литературная критика

Начало 1998 года оказалось довольно щедрым на интересные критические работы. Возникла даже забавная коллизия. В журнале «Октябрь» критик Павел Басинский опубликовал статью «Прощание с Зоилом» (№1), где утверждает, что 1997-й год останется в истории русской критики годом конца русской критики. Прекратились критические дискуссии. Закончилась борьба литературных партий и началось их вялотекущее сближение на почве полного равнодушия к идеям. Нет надежды на появление в критике новых имен, ибо нет литпроцесса. Проза-то приспособилась к изменению культурного климата, оттого что наименее аристократична; но поэт лишился «национальной поэтической атмосферы», а критик — см. выше. Критика — это жанр исключительно *имперский*, как и поэзия. Критик «возникает там, где в культуре еще не остыла святость», «самая подлая критика возможна лишь в соседстве с великим». Ныне «литература перестала быть делом аристократическим». «Литературный авторитет отныне станет фактом либо рынка, либо общественного договора»... Однако эти довольно убедительные построения Басинского до странности не совпали с разнообразием литературно-критического ландшафта в те самые недели и месяцы, когда журнал «Октябрь» печатался и шел к читателям.

Начнем, как всегда, с «критики общих тем и вопросов». Какие проблемы волновали здесь литераторов?

Сергей Чупринин в статье «И воздастся каждому по делам его» («Общая газета», №12) делится своими мыслями, навеянными юбилейными торжествами по случаю 85-летия Сергея Михалкова и 90-летия Сергея Сартакова. Чествуют сегодня сталинских соколов, хрущевских орлов, брежневских грифов. Это знак того, что власть и общественное мнение распрощались с взглядом на советскую эпоху как на национальную катастрофу, оскорбительный перерыв в исторической традиции. И вот уже правозащитники воспринимаются как правонарушители, а цепные псы из КГБ — как верноподданные слуги Отечества. Отмечают даже бесталанных — верноподданных сочинителей, «ибо служили». Общечеловеческие ценности замещены идеей служения, профессионализма. Вот и «пламенный борец с американским империализмом Генрих Боровик (...) за несколько всего месяцев не только стал «лицом» телеканала «Культура», но и эффектно вернул себе (см. письмо деятелей культуры в «Независимой газете» от 14 марта) звание «одного из лучших наших публицистов», выданное ему не Политбюро даже, а еще хрущевским Президиумом ЦК КПСС». Критик не берется спорить с очевидностью, но все-таки спрашивает себя и коллег: понимаем ли мы, что творим?

Леонид Теракопян в статье «Расстыковка» («Дружба народов», №1) сожалеет о распаде общесоюзного литературного пространства, давая массу примеров позитивного литературного сообщения в былые времена. И вот кругом хаос и смута.

Михаил Золотоносов в «заметках о петербургском» **«И приходит Акакий Акакиевич...»** («Кулиса НГ», №3, февраль 1998) рассказывает о современной литературе Петербурга, об основных проблемах, волнующих литераторов. Нынешняя питерская литература воспринимается Золотоносовым как литература во всех смыслах провинциальная. Свобода выявила творческую немощь некоторых сочинителей (А. Житинский, С. Лурье, авторы журнала «Постскриптум», как впрочем и отделов прозы и поэзии журналов «Звезда» и «Нева»); исписались Д. Гранин, Б. Стругацкий, В. Попов. Их литературное значение кажется совсем ничтожным на фоне всего вернувшегося из небытия и вновь напечатанного. Главное для всех наших авторов — не раскрыться посредством текста, а спрятаться за текст, за плетение словес, как за стенку. Это причина кризиса современной прозы. Похоже, писатели боятся раскрывать свои «психологические глубины». Исключение — Д. Галковский, А. Королев, Н. Кононов. Плачевны и поэтические дела. Стихи Кушнера — «подобие модного в 1960 годы пластмассового декоративного литья», поэт озабочен желанием быть великим, отсюда принципиальная суета... Устройство дел — вот содержание «литературной жизни Петербурга». Войти в Историю — этого хотят нынче все маленькие люди Петербурга. Типично провинциальное явление — роман А. Наймана «Б.Б. и др.»: памфлет, главным героем которого сделан Михаил Борисович Мейлах, живущий ныне где-то в Африке. Найман же занят чисткой рядов перед вхождением в Историю. Из группы «ахматовских сирот» в будущее берем только Бродского, Рейна, Бобышева и самого Наймана... Одна из существенных черт литситуации в Петербурге — зависть к Бродскому. В параллель к сказанному Золотоносовым об Анатолии Наймане напрашивается резюме анонимного отзыва о рассказе Наймана «Великая душа», посвященном Иосифу Бродскому, в рубрике «Аннотации» «Знамени» (№12). Критик «Знамени» считает, что у Наймана «нам явлен образ субъекта, крайне неприятного в общении, почти мизантропа, тирана и честолюбца, да к тому же и не всегда блистающего умом недоучки». Автора аннотации смущает двойственность позиции («лицемерие»): о друге вспоминает друг — но реальность текста выдает то ли непрощенную обиду, то ли уязвленную гордость.

Среди критических работ, посвященных современной прозе, не может не обратить на себя внимания обширная **статья-манифест** прозаика **Олега Павлова «Метафизика русской прозы»** («Октябрь», №1). Ее автор рассуждает о современной литературной ситуации. Мечта западников 60-х о свободе от идеологий завела их в пустоту. В литературном подполье завелись нигилизм и безверие. Их плодом стала ироническая литература (упомянуты Петрушевская, В. Попов, Ю. Козлов, Бородыня, Т. Толстая, Пьецух, Пелевин, Буйда). Ирония здесь образует форму вещей, разрушая всё высокое. Все предметы превращаются в анекдот. Жизнь оглупляется. «Разоблачение мира оказывается разоблачением самого себя. Потаенная извращенная умственная свобода оказывается не свободой духа, а пороком». Как цинизм обесчеловечил ироническую прозу, так жестокость

обезобразила современную *реалистическую* прозу. Она тоже становится бесчеловечной. Далее Павлов предостерегает от перечеркивания *литературы советского времени.* Он делает неожиданный вывод: «Отказываясь от соцреализма, мы на деле-то (...) ударяем по русскому художественному реализму» в лице Шолохова, Платонова и других «мастеров реалистической прозы». Писатель критически отзывается о писаниях А.Синявского, Вик.Ерофеева, Н.Ивановой, С.Чупринина, провозглашавших конец литературы Больших Идей и Задач. От заражения западным опытом получается пораженная злом литература. Затем Павлов дает набросок культурной истории России и размышляет о путях русского реализма вообще. «И если есть реализм, то это есть наша вера». Силой веры косноязычие превращается в совершенство, искренность в мастерство, а мастерство и совершенство без веры «превращают слово в пустой, мертвый звук». Статья местами яркая, умная, хотя ее трактатный объем и тон делают ее, возможно, вещью в себе.

Андрей Немзер выдал очередной свой обзор: **«Взгляд на русскую прозу в 1997 году»** («Дружба народов», №1). Критик начинает так: «Тоскливо мы живем». Таково суммарное впечатление от прозы 1997 года. Мало больших вещей, а тем, что есть, критик как будто не рад. Много самоповтора или покушения на новизну с негодными средствами (Битов, Ким, Пьецух, Петрушевская, Садур, Кураев, Искандер). Нет впечатляющих дебютов; куда-то пропали и яркие дебютанты прошлых лет, а также и некоторые мастера (Горланова, П. Алешковский, Вишневецкая... Маканин, Давыдов, Киреев). Далее, видимо с отчаянья, критик описывает «собачью» линию в современной прозе (где герой — собака). Сравнивая Мелихова и В. Попова с Аксеновым, предпочтение отдает последнему (кудеснику и забавнику). Осуждает за предсказуемость приверженцев «мифологизма» — и Буйду, и Варламова. У Павлова находит непреодоленность мрачного материала. Азольскому приписано: пробавляется солоноватыми байками. Зато хороши не попавшие в журналы романы М. Успенского «Там, где нас нет» и «Посмотри в глаза чудовищ» (в соавторстве с А. Лазарчуком), их Немзер разбирает довольно подробно. Также одобряет критик «Б.Б. и др.» Наймана и комплиментарно отмечает романы Слаповского, Полянской, Славниковой, призывая читать их медленно.

М. Нехорошев в статье «Чисто советский детектив» («Нева», №2) рассуждает о детективном потенциале проблемной прозы, в частности сочинений Дудинцева. Затем он перекидывает оттуда мостик к повести Азольского «Клетка», считая ее событием в современной словесности и редкой яркости картиной. Гармония здесь тщательно выверена алгеброй. Главный герой повести — личность исключительная, несоветский человек с жаждой познания мира. Он берется за дело не ради риска и корысти, поэтому неправомерно, с точки зрения Нехорошева, сопоставлять его с Остапом Бендером, как сделал это критик Ермолин.

Сергей Земляной в статье «Замечательные люди» как «воскрешенные отцы» («Ex libris НГ» КО, №13, апрель 1998) анализирует состояние

известной книжной серии «Жизнь замечательных людей», в которой вышло 750 книг. Автор кратко излагает историю серии, отмечая, что проект Горького вписывается в жизнестроительный контекст. Горький мобилизовал русскую интеллигенцию на Общее Дело — написание биографий «замечательных людей» прошлого с целью насыщения психической конституции советских людей созидательными прометеевскими энергиями. Жизнеописание инженеров и ученых стилизовалось под агиографическое повествование о новой «святости» — за счет отбраковки жизненного материала. Новый подход к биографии предложил Ю. Лотман в «Сотворении Карамзина», сделав заявку на «роман-реконструкцию»; ему удалось безраздельно историзировать процесс рождения творческой личности из психической эмпирики.

Сергей Семанов в статье «Восстановленный «Тихий Дон» («Наш современник», №1) защищает авторские права Михаила Шолохова. Семанов сличает текстуальные расхождения между «авторским» изданием 41-го года и изданием 53-го года с «посторонней» редактурой, это утверждает его в мысли, что Шолохова и «Тихий Дон» *«ненавидят все ненавистники коренной России и русского народа»*.

Сергей Дворянов в статье «Время героев» («Наш современник», №1) прочитывает пушкинского «Золотого петушка» под углом зрения политического символизма, отождествляя петушка с *«идеологией материального могущества»*, царя с *«архетипом современного политика»*, Шамаханскую царицу с вожделением (которое в системе автора работает как политическая категория), а звездочета определяет как некоего *«мага»*, намеренного *«извлечь свою выгоду»*.

Емельян Вепрев в статье «Рождение героя» («Молодая гвардия», №4) хвалит журнал «Молодая гвардия» как феномен, прозу и публицистику главного редактора «МГ» Александра Кротова, а также материалы других авторов, напечатанные на страницах этого журнала.

Не оставляют критики вниманием и отдельных прозаиков, размышляя об их творческом пути и его итогах.

Андрей Василевский в статье «Аксенов есть Аксенов есть Аксенов» («Новый мир», №1) пишет о самой новой прозе известного сочинителя. Лучшее в его последних (и не только последних) рассказах — что о себе и от своего лица, причем о себе — молодом. У него слаб дар вымысла. Точкой отсчета для прозы Аксенова всегда была советская власть. С ее концом ухнули в пустоту его сочинения, включая недавний роман «Новый сладостный стиль». В его книгах, утверждает Василевский, «происходит, простите за неловкую грамматику, одно — аксеновский язык. Этот специфический антисоветский язык как вызов и как альтернатива (по-моему, ложная) не менее специфическому советскому языку всегда являлся и является поныне их единственным содержанием». И затем критик демонстрирует дефекты аксеновского стиля.

Инга Кузнецова в большой и нестройной **статье «Андрей Битов: серебряная ложка в птичьем гнезде»** («Знамя», №2) объявляет Битова блестящим

стилистом, постоянно контролирующим свои высказывания, но имитирующим подчас спонтанность. Он пространно и прекрасно рассуждает о невозможности написать текст. Битов — интеллектуальный писатель. И его герой может позволить себе много думать и много говорить. Ядро этой прозы — внутренний монолог героя. У раннего Битова он рождается от мечтательности. Герой тосковал по дружбе, по любви, ждал, что его полюбят и оценят. А сам как-то не спешил поступать. Битов безжалостно честен и точен к себе и к нам. Внимателен к подлости. Прочитывать Битова глубоко — стыдно, мучительно, легче соскользнуть в раздражение. Далее Кузнецова увлеченно и остроумно отзывается о главных вещах Битова, особенно выделяя «Пушкинский Дом» и фиксируя нарастающий творческий упадок прозаика. Искушенный мастер последние два года пишет неузнаваемо слабо. Вероятно, он не чувствует настоящего. Зачем он так много цитирует себя и всё составляет и переставляет давно написанные книги?

Глеб Горышин в памфлете «Проза престарелых красавцев» («Наш современник», №3) весьма агрессивно выясняет отношения с Андреем Битовым и Валерием Поповым, никак не объясняя своего раздражения относительно внешности своих героев.

Александр Агеев в рецензии «Странствующий гуманист» на последние вещи Александра Мелихова («Знамя», №12) замечает, что писатель этот пишет в ныне «запрещенном» жанре интеллектуальной исповеди. Герой пошлялся по пространствам Державы и по глубинам интеллигентских «исканий». Читателю подарили счастье временного, но осмысленного существования, возможность и логического, и откровенно чувственного «поедания» жизни. «Я не хочу столько знать о жизни, окружающей меня, сколько сообщает в своих текстах Александр Мелихов»,— пишет критик.

Павел Басинский в статье «Сквозь шум» («Новый мир», №3) делится впечатлениями от прозы Романа Солнцева. Конкретный разбор он предваряет принципиальным соображением: реалистическая манера письма сегодня — трудное и почти невозможное искусство. Не так просто, как кажется некоторым, *присоединиться* к традиции. Эстетика книги Солнцева «Дважды по одному следу» глубоко *больна*. Но это не болезнь художественного эксцентризма, а «болезнь художественного зрения, которое видит мир в его же формах и не может ни отказаться от них, ни быть ими удовлетворенным». Солнцев не может оторвать взгляд от метаний и кривляний современного человечества, от российской теперешней мерзости, поднять угол зрения градусов на тридцать повыше. Но отсюда и самое драгоценное в его прозе — стихийно-русское искание муки. Можно и в грязи выстрадать истину.

Инна Борисова в обширной, богатой впечатлениями и наблюдениями **статье «Схлест»** («Дружба народов», №2) предлагает опыт прочтения романа Олега Павлова «Дело Матюшина». Павлов пишет мир, превращающийся в лагерный барак. Ключ ландшафта — лагерная вышка. Зона — те, кого охраняют,— втягивает в себя тех, кто охраняет. Истощаются

мировые силы перед бесхозным лагерным светом. Писатель фиксирует предел безысходности.

Ольга Тимофеева пишет о Викторе Ерофееве в связи с выходом второго, дополненного издания его книги «Мужчины» (**«Азарт непохожести»**: «Общая газета», №9). Его ругают отсталые критики. Это «неконтролируемое недоверие к благополучию». Ерофеев писатель западный. Он сознательно привлекает внимание к себе, но притом «не подсовывает читателю утильсырье или дешевые поделки, а удивляет тонкостью и точностью наблюдений, стилистическим изяществом, насущностью смыслов». Он запечатлевает время, демонстрируя «оттеночное знание психологии российской жизни». «Критикам всех мастей» же, по Тимофеевой, не мешало бы обрести себя «в мировом контексте».

Татьяна Касаткина берется все-таки и «ругать» Ерофеева **в статье «Искусственный венок»** («Новый мир», №1). Ею отрецензирована книга Ерофеева «Русские цветы зла», где тот собрал тексты разных авторов, объединенные одной идеей. Чужие тексты должны служить идее составителя, хотя не все из них этого хотят. Касаткина показывает, как в предисловии Ерофеев произвольно искажает смысл рассказов В.Попова, В.Астафьева, Ф.Горенштейна и других авторов.

Статья Олега Павлова «Комментарии к прочитанному. Лагерная проза» («Москва», №1, 1998) полемична по отношению к антологии «Русские цветы зла», составленной Виктором Ерофеевым, где утверждается, что вся *литература зла* XX века выведена из Шаламова и Солженицына, которые (по Ерофееву) перешли рубеж дозволенного и утвердили своими произведениями в литературе зло. Также Павлов спорит с М. Липовецким, рассматривающим в своей статье «Учитесь, твари, жить» («Знамя», 1997, №5) Зону и ГУЛАГ «в контексте Великой Параноидальной Традиции», а наше прошлое, только что ставшее историей, называет русской паранойей. Павлов обращает наше внимание на то, что «мемориал лагерных книг, остов духовной современности, обратился в одинокие камни, а лагерная проза оказалась осмысленной только в массовом потоке разоблачений и горьких правд», а Ерофеева и ему подобных обвиняет в том, что на это «заброшенное в литературе поле ходят только мародеры», и Ерофеев «оболгал Шаламова, внедрив в его творчество свои мыслишки, а потом и обокрал, взяв рассказ в свою антологию». Лагерная же тема (Павлов приводит примеры незаслуженно забвенных произведений И. Римской-Корсаковой (Головкиной), В. Зубчанинова и др.) закрытой и завершенной быть не может и не должна, потому что это «стон и голос наших мертвых... донести правду о пережитом дано было немногим — выжившим и оставшимся людьми». И непозволительная роскошь для нас, не прошедших ад, — называть эти свидетельства злом, отребьем, потому что слишком велика цена, которой наш народ доносит правду о себе.

Алексей Варламов в статье «Платонов и Шукшин. Геополитические оси русской литературы» («Москва» №2) объединяет двух писателей разных

эпох одной формации, обладавших силой, которая заключена в «цельном, доверчивом, бесстрашном, чистом и детском взгляде на мир». И неважно, к какому политическому лагерю современности примкнули бы прозаики в наше смутное время, ибо они писали не об абстрактных идеях, сословиях и классах, но о человеческом достоинстве народа, напраслины ни на кого не возводили и льстить своему народу не собирались.

Леонид Быков в статье «Итогдалие» пишет о сборнике рассказов пермского прозаика Нины Горлановой («Урал», №7, 1997). Он определяет Горланову как «Петрушевскую, излагаемую по Довлатову, а реальность на страницах рассказов писательницы трудна, бедна, безобразна, бестолкова и при том — заманчиво-упоительна своей не приедающейся обыденностью. И если Петрушевская, по мнению другого критика «Урала» — О. Славниковой, — мастерски владеет всеми оттенками черного цвета, то Горлановой все же интересны более яркие и жизнеутверждающие краски. Название своей рецензии Быков взял из одного из рассказов, ибо дворовый сей окказионализм *«итогдалие»* богат смысловыми оттенками, в этом словечке, как и во всей книге, совместились «желание зафиксировать разнообразные мгновения бытия и понимание того, что итоги в жизни, покуда она длится, — всегда предварительные».

Николай Александров в статье «Искушение бестселлером. Русские писатели на грани и за гранью графоманства» («Ex libris НГ». КО, 12 февраля 1998) рассуждает о романах Д. Липскерова «Пространство Готлиба» и Э. Лимонова «316, пункт В». Роман Липскерова — набор фантазий и причудливых историй, высосанных из пальца. Это очередное свободное фантазерство, мешок воображения, чудовищная постмодернистская мешанина держится на «бестселлеровой» основе, определенной кознями некоего зла. По Александрову, столкновение постмодернизма последней пробы с массовым чтивом обернулось поражением того и другого, а также и читателя. (Меж тем, есть критики, которые говорили о «Пространстве Готлиба» как о самом крупном литературном событии сезона.) Лимонов тоже поддался на соблазны массовой литературы. Его роман — антиутопия, заимствующая приемы бестселлера. Идеологический акцент романа — критика современной западной демократии, которая, по Лимонову, ничем не лучше тоталитаризма. Роман примитивен по мысли и слишком схематичен, рационалистичен по построению. Но как писатель Лимонов всё же лучше Липскерова.

Роману Лимонова посвятил свою **статью** памфлетного типа **Борис Евсеев** («Lucky Bastard, или Роман с попугаем»: «Литгазета», №6, 1998). По Евсееву, Лимонов-антиутопист — это очередная личина писателя. Однако — самая неудачная, самая жиденькая из всех, что были.

Ада Горбачева посвящает свою содержательную **заметку «Милорды, вперед!»** («Знамя», №2) творчеству Александры Марининой Это автор женского детектива — смеси детектива, мексиканского сериала и дамского романа. Героиня у нее женщина, фантазии автора, в том числе эротические, типично женские. Подробные описания пыток и убийств

отсутствуют. Незамысловатое философствование на уровне женских романов льстит читательницам. Изображение «светской» жизни вполне соответствует их представлению о ней. Романы Марининой скроены по зарубежным лекалам. Но автор сохраняет и привычные советские схемы (бескорыстные сыщики, умный добрый полковник милиции, еще более умный суровый генерал; все гуманные, деликатные, скромные, живут в честной бедности; отрицательные герои — большей частью интеллигенты, порой инородцы; живут в роскоши). Появляется и новый персонаж: положительный мафиози (в городе, где он властвует, устанавливаются порядок и благоденствие; прежде такой герой был секретарем обкома). Горбачева намекает на вероятность создания романов Марининой группой авторов. «Милорд, может быть и глупый, но отнюдь не бедный».

Поэзия переживает какое-то смутное время. Читателю трудно понять и оценить по достоинству многое из того, что появляется под соответствующими рубриками в журналах. Возможно, поэт теряет чувство адресности своего послания?

Дмитрий Бавильский в большой **статье «Молчание»** («Знамя», №12; с посвящением Ольге Седаковой) размышляет о сущности поэзии, каковая «является последним прибежищем истинного (...) бытия». В момент «гонки развлекательных вооружений» действенная тишина. Победило сегодня в поэзии как творческая стратегия не прямоговорение, а молчание (минимальное количество текстов, минимальная явственность читателю). Молчание («сублимация вечности») предпочитает тексту свои мерцающие представления о нем. Части интереснее и важнее целого. Далее делаются глубокомысленно-заумные с явными признаками косноязычия (возможно, высокого) суждения о способах и типах замолкания у А.Еременко, А.Парщикова, И.Жданова, а также о стихах Драгомощенко, Кутика, Айги. «Замолкаем и мы»,— завершает свою статью Бавильский.

Наталья Иванова в статье «Кафка, пишущий стихом Фета» («Общая газета», №9) пишет о поэте Иване Жданове по случаю присуждения ему премии им. Аполлона Григорьева. Его поэзия в наше время шока, эпатажа и имиджа удивляет отсутствием сценарного плана поведения. Поэту не близка литературная игра. Пейзаж его поэзии — «это пейзаж непреходящей Голгофы». На мнение о темноте, скучности, намеренной непонятности стихов Жданова Иванова возражает: эти стихи таинственны сочетанием несочетаемого, спокойной формы с ужасом и содроганием. Это слово не желает быть усвояемым без усилий. «Остановка дыхания, обморок, почти клиническая смерть — чтобы многократно умножилась свежесть едва не потерянного и вновь обретенного сокровенного сада».

Илья Фаликов в статье «Ивиков петух» («Литгазета», №9, 1998) рассуждает о поэзии Олега Чухонцева по случаю выхода его сборника «Пробегающий пейзаж». Молодой Чухонцев ощущал себя в полуподвале: его знали, но это была полужизнь. Чухонцев — это история естественного человека в уродливой истории. Ему претит иждивенчество на пора-

жении. Сильны у него две струи: протестная и религиозная. Он выпал из романтического ряда, интимен по сути, преимущественно элегик, но его элегия отдает самым натуральным одическим пафосом.

Владимир Славецкий в статье «Голошение» («Новый мир», №1) пишет о новых стихах Геннадия Русакова. Бог у него доступен, досягаем. Где-то совсем рядом. Он и пишется у Русакова с маленькой буквы. Славецкий видит тут нечто ветхозаветное. Постоянно идет тяжба *между своими.* Обвиняя всех и вся, и Господа Бога прежде всего, герой таким образом пытается избыть свое собственное чувство вины. Поэт сам точно обозначает интонационную доминанту своего творчества — «голошение». На фоне иссякания лиризма как пафоса, имперсонализма современной поэзии лирическое Я у Русакова нашло воплощение в образе голосящего плакальщика, мучительно избывающего горе-горькое.

Елена Айзенштейн в статье «Я из людей, и больно мне людское...» («Звезда», №2) осмысливает некоторые аспекты творчества Беллы Ахмадулиной. Довольно патетически разбираются ее отношения с Цветаевой, с Пушкиным.

Валентин Курбатов в статье «Дети родины и истории» («Дружба народов», №2) рассуждает о стихах Татьяны Бек. Ее новая книга горька и напряженно одинока. Это одиночество растет из времени, из нашего общего дня. Правило Бек — не страшиться тьмы, преодолевая ее властью музы, досматривая рассыхающиеся связи мира до конца. Она не бегает от времени. А сегодня всяк бежит из отчей земли на свой лад. О последних стихах Татьяны Бек отозвалась и **Лариса Миллер («Прессуя страдальческий опыт»**: «Новый мир», №3). Стихи у нее темпераментные, динамичные, спонтанные. Поэт жалуется, но утешать ее не надо. Высший пилотаж — самому творить новизну, каждый раз начиная с нуля. Важно одно: жить бодрствуя.

Громкие дебаты о современных критике и критиках остались позади. И возвращение к этим сюжетам происходит полуслучайно, где-то на периферии литературно-критического процесса. Вероятно, многое из важного и главного уже сказано, а ситуация с тех пор принципиально не изменилась. Нет повода возвращаться к старым спорам. Впрочем, всякое правило знает исключения.

Наталья Казьмина в статье «Случай Быкова. Молодые критики на тропе войны» («Независимая газета», 13 февраля 1998) разбирает статью Быкова о Ст. Рассадине («Кулиса НГ», №2, 1997) как манифест молодого критика. По Быкову, Рассадин предал свой талант, занимаясь грязной публицистикой (как колумнист «Новой газеты»), не выработал собственной философии, не имеет собственной концепции, целится неточно и невнятно... А сегодня потребны профессионализм и узкая специализация. Но и сам Быков, замечает Казьмина, отнюдь не стремится к специализации, высказываясь по всякому поводу. Его обвинения в адрес шестидесятников неблагородны. Новое поколение критиков подозрительно

серьезно относится к себе. В последнее время у Быкова хаос сминает его систему координат, тоска и обида делают его желчным и злым, а желание говорить комплименты иногда необъяснимо.

Творчество петербургского литератора Самуила Лурье стало поводом для размышлений о становлении нового жанра «высокой словесности». **В заметке Петра Кириллова «Книга рождения жанра»** («Октябрь», №3) Лурье представлен как мастер эссе, жанра, заявившего о себе в новой литературной ситуации, когда «солидные, заслуженные» жанры вроде «романа» откочевывают на обильные пастбища массовой культуры. Дается набросок родословной русского эссе, рождение коего Кириллов и связывает с именем Лурье. «Жанр родился, жанр оснащен по всем правилам — набоковорхесовской цепкостью к детали, розановским словечком, квазифилологической метафорой, гемютным лотмановским прогрессизмом». Лучшие вещи Лурье — не о текстах, а о «стиле поведения» их авторов. Разговор ведется не в пользу текстов, а в пользу людей. Творчеству С. Лурье посвящает замысловатую **статью** и **Николай Крыщук** (**«Формула судьбы»**: «Звезда», №1). Его работы — это импрессионистическая проза филологически оснащенного писателя, это исследовательская беллетристика. Он работает в жанре собственного имени. Комментарий Лурье к сцене Райского и Веры в романе «Обрыв» Крыщук считает «одними из лучших строк в русской словесности». Строки действительно хороши.

Дмитрий ПОСПЕЛОВСКИЙ

Ниже мы печатаем присланные нам ***Дмитрием Владимировичем Поспеловским*** *для публикации в «Континенте» тексты двух его писем Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Недавнее, более позднее (печатаемое первым), объясняет причины, по которым автор решил предать гласности предыдущее, первоначально к этому не предназначавшееся (оно было послано Патриарху в первых числах марта с.г.).*

В. Поспеловский — заслуженный профессор Университета Западного Онтарио (Канада, г. Лондон), автор многих книг (The Russian Church under Soviet Regime, 1917—1982, тт. 1—2, Crestwood, N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press, 1984; На путях к рабочему праву — Франкфурт/Майн: «Посев», 1987; A History of Soviet Atheism in Theory and Practice and the Believer, тт. 1—3, London/New York: Macmillan & St. Martin's, 1987—1988; Русская Православная Церковь в XX веке — Москва: «Республика», 1995; Православная Церковь в истории Руси, России и СССР — Москва: «Библейско-богословский институт, 1996) и более 100 научно-публицистических статей по истории России, русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам.

Д.В. Поспеловский родился в 1935 году в Ровенской области (тогда Польша) в русской дворянской (в прошлом) семье. С материнской стороны Д.В. Поспеловский — внук К.Д. Ушинского; отец его, Владимир Константинович Поспеловский, происходил из старинного священнического рода. В 1949 году, еще мальчиком, Д. Поспеловский вместе с матерью и двумя сестрами эмигрировал в Канаду из лагерей для беженцев в Западной Германии. В Канаде, в университете Конкордия (Монреаль) получил высшее образование (политология и экономика), затем вернулся в Европу, работал в НТС, на БиБиСи, окончил аспирантуру Лондонского института экономических и политических наук. Затем работал на радио «Свобода» и в качестве профессора русской истории Университета Западного Онтарио (1972—1997). С 1990 года ежегодно читает лекции по истории РПЦ (особенно советского периода) в церковных и гражданских вузах России и занимается исследованиями в российских архивах по вопросам советской церковной политики и новейшей истории РПЦ. Член православного миссионерского (англоязычного) Преображенского прихода Антиохийской Патриархии в Лондоне (Канада).

Редакция «Континента»

Ваше святейшество, дорогой Владыко!

Посылая это письмо Вам два месяца назад, я не думал предавать его гласности. Но теперь, когда за запретом о. Георгия следует систематическая чистка других выдающихся пастырей — о. Владимира Лапшина,

о. Павла Вишневского, — не вижу иного способа довести письмо до Вашего сведения (ибо есть подозрения, что Ваше окружение возможно некоторые письма к вам не допускает) кроме как через периодическую печать, — в надежде привлечь к этим трагическим событиям и внимание российской общественности. Может, хоть это остановит руку врагов Христа, выступающих от имени Церкви!

Недостойный Ваш молитвенник —

Дмитрий Поспеловский

Москва—Центр, Чистый пер., 5.
Московская Патриархия.
Его Святейшеству,
Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию.

Ваше святейшество, дорогой Владыко!

Кровью обливается сердце с каждым новым известием о гонениях на самых лучших, самых миссионерски деятельных и успешных пастырей Русской Православной Церкви и на плоды их духовного, педагогического, миссионерского творчества.

И самое ужасное то, что гонителями их оказываются не КГБ или еще какие-либо силы воинствующего атеизма, а Вы, Предстоятель Русской Церкви. Хочется верить, что Вы делаете это по неведению, будучи введены в заблуждение какими-то злыми силами, окружающими Вас. Но ведь у Вас есть возможность лично проверить факты и добиться истинной информации или по крайней мере ознакомиться с показаниями другой стороны, прежде чем гнать и запрещать! Вот если бы Вы хотя бы побывали на богослужениях таких пастырей... К сожалению, в отношении о. Георгия это сейчас невозможно, пока он под запретом.

Помните, как года два назад Вы меня заверили, что ни в коем случае не будете мешать миссионерско-просветительной деятельности о. Георгия Кочеткова, и согласились со мной, что в этой области его деятельность положительна и уникальна, что, вероятно, ни один пастырь в РПЦ не приводит новых чад в Церковь через такой продолжительный и доскональный процесс катехизации, как о. Кочетков. Но вот в прошлом году, по наветам только одной стороны — психически больного иерея Михаила Дубовицкого и двигавшими им в провокационных целях Шевкуновым и К°, — Вы запретили о. Георгия в служении; кстати, буквально накануне того, как прокуратура признала обвинения против него несостоятельными, а психиатрическая экспертиза признала Михаила Дубровицкого психически больным! Так что именем Вашим произведенное судилище оказалось Шемякиным судом (не будут ли историки в будущем сравнивать его с судом над Максимом Греком в XVI веке?) или, как я

писал Вам прошлой весной, судом Буратино: тебя обокрали, значит ты виноват!

С большим опозданием — из-за медлительной почты — получил печальную весть о ничем не оправданном снятии Вашего благословения со всех школ, основанных и руководимых отцом Георгием, то есть изъятии этих школ из образовательной структуры Московской Патриархии. И это при крайнем дефиците как количественном, так и качественном учебных заведений в РПЦ, когда большинство ее семинарий — не говоря уж о духовных училищах — находится на очень низком академическом уровне, а подавляющее большинство духовенства, богословски безграмотное и невежественное, вместо духовного просвещения и сеяния зерен любви Христовой занимаются запугиванием своей паствы всевозможными мифами о враждебном окружении, о мифическом жидо-масонском заговоре. Согласитесь, что эти мифы и дух ненависти и подозрительности, распространяемые теми, кто по призванию должны учить любви и всепрощению, гораздо опаснее и для человеческой личности, растлеваемой и такими пастырями и таким «учением», и для российского общества в целом, чем то, что Вам может не нравиться в пастырской деятельности или богослужебной практике о. Георгия. Тем не менее он под запретом Вашим (а теперь тому же подверглась и его школа), его двухтысячная паства лишена пастыря и храма, который теперь пустует при новом настоятеле, а при о. Георгии был переполнен интеллигентной молодежью, неофитами; а священники-обскуранты процветают, и в храмах их распространяются «Протоколы сионских мудрецов», изъятые из продажи в царствование Николая II, по настоянию Столыпина, как фальшивка, человеконенавистнические брошюры вроде «Антихриста в Москве», «Радонеж» и прочая макулатура.

Неужели Вы не понимаете, что уступки обскурантам грозят поставить Вас в то положение, в котором находится теперь Грузинская Патриархия? Что такая церковная политика неизбежно ведет РПЦ по пути маргинализации в обществе?!

Как Вы знаете, я много езжу по России, читаю лекции не только в семинариях, но и в государственных учебных заведениях и вижу будничную жизнь Церкви, а не наполнение или переполнение храмов по случаю Вашего приезда и служения. С грустью наблюдаю рост падения интереса к Православной Церкви. К протестантским и католическим миссионерам идут не потому, что они агрессивны, а потому, что люди, ищущие пути к Богу, не находят его в заурядных приходах. Пришлось мне разговаривать на эту тему с некоторыми студентами, ставшими одни католиками, другие протестантами. Все они начинали с того, что пошли в Православную Церковь, даже некоторые крестились в ней, но места себе не нашли: службы на славянском языке не понимали, ни священник, ни приход на них внимания не обращал, никто не пытался просветить, воцерковить их. И они ушли. В Красноярске, например, я побывал в местной католической монашеской общине. Там встретил немало (относительно к католи-

ческой общине и по сравнению с положением в православном соборе) студенческой молодежи — новообращенных католиков. Там и библиотека, и музыкальный кружок, и кружки духовного самообразования. Зайдя в первый раз в католическую церковь на богослужение, они, во-первых, услышали богослужение на родном и понятном русском языке, во-вторых, к ним подошли, на них обратили внимание, окружили любовью и предоставили возможность духовного роста с помощью дружественных и хорошо образованных пастырей. Вот в чем суть.

Аналогичное отношение к пастве и к приходящим впервые в храм в РПЦ я встретил только в следующих храмах: у о. Георгия Кочеткова, в храме Косьмы и Дамиана, что в Столешниковом переулке, в Бобреневском монастыре у о. Игнатия и у о. Павла Вишневского на Никитской. И вот одна из таких редких общин, которая успешно привлекала не только неофитов, но и обращала бывших сектантов в православие, теперь Вами или Вашим именем ликвидирована. Очередь за остальными???

Грустно и больно, что приходится писать такое горькое письмо в первый день Великого поста — времени покаяния, стремления к внутренней духовной гармонии. Простите меня, Владыко, великодушно, если чем обидел; но покаяние, метания, это прежде всего самоочищение, и вот в этом письме я попытался очистить свою душу перед Вами, изложив самое наболевшее.

Испрашивая Ваших архипастырских молитв, остаюсь недостойный

Дмитрий Поспеловский

Редакция приносит свои глубочайшие извинения читателям журнала и родным Серафима Ильича Четверухина за то, что по случайному редакционному недосмотру в оглавлении и в самой публикации рассказов С.И. Четверухина автор обозначен как «Сергей Четверухин», хотя и на обложке, и в редакционном предисловии к публикации написание имени автора правильное.

На странице 89 в стихотворении Е. Блажеевского, в строфе, начинающейся строкой: «И что сказать? — », эту строчку следует читать: «И что тебе сказать? — ».

На странице 157 в повести В. Илюшенко (17-я строка сверху) вместо «шимковского героя» следует читать «шишковского героя»;

на этой же странице (21-я строка сверху) и на странице 188 (последняя строка) вместо «еврейский« и «еврейскими» следует читать «еврейкий» и «еврейкими»;

на странице 170 (20-я строка снизу) вместо «Липечке!» следует читать «Липитьке!»;

на странице 197 в последней стихотворной цитате (6-я строка снизу) вместо «они пошепчут» следует читать «они прошепчут».

Художник *В. Лаврентьева*
Компьютерный набор и верстка *М. Егоровой*

ЛР № 010184
Подписано в печать 18.05.98. Формат 84x108/32. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 20,25. Тираж 5000 экз. Заказ № 236

Адрес издательства «Московский рабочий»
и редакции журнала «Континент»:
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Контактные телефоны:(095) 201-57-41,
925-98-12, 194-34-73

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати
107005, Москва, Денисовский пер., 30

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы в каталоге «Роспечати»

73218
и
71682

(годовая подписка)

Поскольку очередные номера журнала выходят в конце каждого квартала, годовая и полугодовая подписка на «Континент» 1998 года может быть осуществлена до февраля 1998 года.

Благодаря ИНКОМБАНКу, генеральному спонсору журнала, каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» журнал — 16 р. на полгода, 32 р. на год.

В помещении редакции «Континента» ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 12.00 до 15.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок на условиях самостоятельного получения выходящих номеров в редакции

* * *

«КОНТИНЕНТ»

высылается по индивидуальным заказам агентством
«Книга-сервис» — тел.: (095) 129-29-09

Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции

* * *

«КОНТИНЕНТ»

приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ИНКОМБАНКа,

генерального спонсора журнала,
и других предпринимательских структур
позволяет редакции «Континента» предоставлять

БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ БИБЛИОТЕКАМ РОССИИ

на условиях самостоятельного получения
выписанных экземпляров в редакции журнала
или оплаты почтовых расходов по их пересылке.
Для оформления библиотечной подписки
необходимо прислать на адрес журнала
заявку и гарантийное письмо,
определяющее способ получения
выписанных экземпляров.

ПЕРЕСЫЛКУ ПО ПОЧТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ООО «Центроэкс»

ИНН 7714109278,
р/с 40702810003000030368
в отделении "Сокол" АБ "Торибанк",
БИК 044583715,
кор. сч. 30101810800000000715

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Новые стихи

Владимира Алейникова
Беллы Ахмадулиной
Виктора Кривулина
Игоря Петрова
Валентина Соколова
Олега Чухонцева

Повесть **Сергея Каледина** «Тропой Моисея»
Повесть **Марии Ремизовой** «Не делай мне больно»
Повесть **Оксаны Тимашевой** «Неликвидная любовь»
Новые повести и рассказы **Анатолия Азольского, Василия Аксенова, Сергея Бабаяна, Юлия Крелина, Рээт Куду, Владимира Маканина, Евгения Попова, Вячеслава Пьецуха**

В разделах
РОССИЯ, РЕЛИГИЯ и ГНОЗИС

- Продолжаем публикации по материалам Чтений памяти В.Е. Максимова «Прошлое, настоящее, будущее России» (Москва, июнь 1997);
- статьи и очерки **Сергея Аверинцева, Игоря Виноградова, Юрия Кагарманова, Наума Коржавина, Ларисы Пияшевой, Лидии Польской, Григория Померанца.**

В разделах
ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- Статьи и очерки **Павла Басинского, Евгения Ермолина, Михаила Копелиовича, Станислава Рассадина, Инны Ростовцевой;**
- беседы о современном искусстве с **Сергеем Арцыбашевым, Анатолием Васильевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Евгением Колобовым, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским.**

сийской мафиозно-номенклатурной псевдодемократии, способной привести страну к тотальной катастрофе, — **то это Ваш журнал**;

— Если Вы сознаете, что возрождение России невозможно вне общих для современной цивилизации измерений демократии и либеральной экономики, способной стимулировать развитие национального производства, науки и культуры, обеспечить надежную социальную защиту и гражданский порядок, но при этом отдаете себе отчет и в том, как гибельны поиски таких путей не в русле органического для России опыта ее истории, ее духовных традиций и ее самосознания, а по чужим образцам и вехам, — **это Ваш журнал**;

— Если Вам дороги наши национальные традиции, духовная и культурная уникальность России, но Ваше национальное достоинство оскорбляет всякий крен в сторону шовинизма, ксенофобии, националистических мессианских или имперских амбиций, — **это Ваш журнал**;

— Если Вы, будучи верующим или неверующим, понимаете, как много может сделать Русская Православная Церковь для возрождения России, но видите всю опасность намечающегося опять сращения ее с государством и трансформации в своего рода духовно-идеологическое ведомство при нем; если Вы приветствуете только подлинную свободу ее деятельности в обществе, несовместимую ни с какими правовыми конфессиональными привилегиями ни для нее, ни для других конфессий и ни с каким подчинением ее собственной жизни тотальной фундаменталистской политизации, диктатуре и казарменности, — **это Ваш журнал**;

— Если Вы открыты в искусстве любым формальным поискам вплоть до чисто игровых эстетических конструкций, но отстаиваете при этом приоритет его духовно-эстетической содержательности; если Вы стоите на том, что духовное безразличие и тем более ценностно-нравственный релятивизм разрушительны для него, а потому Вам и сегодня дорога классическая русская культурная традиция, всегда исходившая из признания высокой духовной значимости искусства как формы творческого искания и утверждения Истины, Добра и Красоты, — **это Ваш журнал**;

— И даже если, наконец, Вы по каким-то из этих позиций и не совпадаете с нами, но готовы их обсуждать и Вам важно знать, какие точки зрения на этот счет существуют, — **это всё равно Ваш журнал**. Потому что, как уже сказано, именно готовность к серьезному обсуждению любых проблем — наш непременный и важнейший принцип. «Континент» всегда хотел бы оставаться и в этой области континентом порядочности, честности и добросовестности, журналом подлинной культуры дискуссий, терпимости и уважения к любому добросовестному мнению, какое бы мировоззрение, религию или культуру оно ни выражало. Это всё тоже входит в наш журнальный кодекс чести, и всё это мы тоже имеем всегда в виду, когда говорим о «Континенте» как о журнале, который хотел бы и всегда стремится быть журналом **христианской** культуры.

Редакция «Континента»

"КОНТИНЕНТ" № 96, 400 стр., подписной индекс 71682.